Валерий ПОЛЯКОВ
АДМИРАЛ
КОЛЧАК

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Роман известного современного писателя В.Поволяева рассказывает о жизни и судьбе исследователя, адмирала, одного из организаторов Белого движения в годы Гражданской войны, Александра Васильевича Колчака.

- Валерий Поволяев
  - Часть первая
    - ■
  - Часть вторая
    - ■
  - Часть третья
    - ■
  - Часть четвертая
    - ■
  - Часть пятая
    - ■
  - Часть шестая
    - ■
  - Об авторе
    - ■
  - Хронологическая таблица
    - ■

Валерий Поволяев
Адмирал Колчак

Полвека не могу принять,
Ничем нельзя помочь,
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь...

Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.

А. В. Тимирева

Часть первая
Северная экспедиция

Экспедиция барона Толля [1]пропала, не оставив после себя никаких следов. Она будто бы растворилась в бескрайнем белом пространстве, тускло освещенном холодным, похожим на большую очищенную луковицу солнцем, среди торосов, пупырей, надолбов и «жандармов», как зовут на севере спекшиеся ледовые клыки десятиметровой высоты, прочностью своей превосходящие прочность гранита. Пропала среди бескрайних снеговых полей, промоин, воронок, кратеров, ям... Заплутать в этом марсианском пейзаже ничего не стоило: куда ни глянь – всюду одно и то же.

Надежда была на то, что Толль перезимовал на берегу, в удобном тихом месте, среди мелких, разрушенных холодом скал, около одной из продовольственных баз – подле них можно было продержаться несколько месяцев, перевести дыхание, переждать морозы, а потом объявиться на людях. Но Толль не объявился, и теперь экспедиция Колчака искала его.

– Надо добраться до продовольственного депо, последнего, откуда Толль мог сделать бросок к земле Беннета... Там все станет ясно, – твердил лейтенант Колчак своим спутникам – боцману Бегичеву [2]и рулевому старшине Железникову, [3] – последнее продовольственное депо нам, как гадалка, все карты раскроет...

Кроме Бегичева и Железникова в составе экипажа было еще четыре человека – трое поморов и один молчаливый якут по имени Ефим.

Они шли вдоль берега на вельботе – чаще на веслах, реже под парусом, стараясь выбирать места в черной пузырящейся воде помельче, отпихивая баграми льдины, почтительно огибали тяжелые, с обсосанными блестящими макушками айсберги, рубили лед и часто приближались к берегу – им надо было найти хотя бы одну зацепку, хотя бы малый след Толля и трех его спутников, но ни зацепок, ни следов не было, и Колчак упрямо продолжал поиски.

Иногда ледовые поля отжимали вельбот в море, и тогда берег пропадал бесследно, сливался с белым ломаным пространством, способным привести в бешенство даже очень спокойного человека; иногда берег приближался едва ли не вплотную к борту вельбота, мрачно нависал над самыми головами людей, с камней вниз летела спекшаяся снежная крупа, твердая, как дробь, больно секла лица.

Часто шел снег, очень похожий на слепой дождь, только вместо воды на землю падали влажные, крупные, как обрывки ваты, холодные хлопья. Снег шел при солнце, белая мутная луковица не исчезала из глаз, она просвечивала сквозь пелену ваты, на торосы, воду, ледовые поля. На кромку берега иногда наползала вязкая недобрая темнота, и делалось холодно, как зимой.

Снег был настоящим бедствием, от него люди вымокали до исподнего, мокрая холодная одежда прилипала к телу, мешала дышать, и когда становилось невмоготу, вельбот сворачивал к берегу. Выбирали удобный проход – извилистую черную дорожку между льдинами, втыкались в одну из них носом, и дальше начиналась борьба со льдом... В конце концов лед уступал.

На берегу собирали плавник [4]и разводили костер.

Час отдыха – с горячей едой, непременным чаем («Чай не пил – откуда сила? Чай попил – совсем ослаб», – шутил Бегичев, посмеивался мелко, дробно), с подвешенной над огнем одеждой и непременными разговорами о доме, – и снова в дорогу...

Китобойный вельбот [5]их был громоздким, тяжелым – сорок с лишним пудов чистого веса, – это без груза, без съестных припасов, – на мелкотье он часто садился на лед, и его приходилось волочить за собой.

Чтобы «корабель» этот было удобнее тащить по льду, Колчак приказал к бортам вельбота прибить деревянные полозья.

Но сколько ни приставали к берегу, сколько ни всматривались в ледовые нагромождения – следов Толля так и не нашли.

Оставалась одна надежда, одна ниточка – главная продуктовая база, депо, заложенное на берегу, среди льда и камней. Там была и избушка, слепленная из камней и льда, кое-где внутри утепленная брезентом, чтобы не продувало. В этой избушке можно было и обогреться, и обсушиться, и пургу переждать, и даже перезимовать. Барон Эдуард Толль никак не мог обойти эту избушку стороной.

Главная база располагалась в пологом распадке с удобным выходом к воде. На карту она была нанесена в виде красного треугольничка-дома, напоминающего армейскую палатку; к ней, к этой уютной палатке, и устремлялся Колчак...

– Суши весла! – скомандовал лейтенант, и вельбот словно врезался носом в невидимую плоскую преграду, будто в сугроб всадился, – под днищем глухо зашуршала шуга – ледяная крошка.

Впереди двое медведей охотились на нерп, не обращая никакого внимания на вельбот. Не боялись они здесь ничего и никого – ни вельботов, ни людей, – поскольку это была их

вотчина, и медведи хорошо знали, что их территорию не захватит никто: побоится. В Арктике сильнее белого мишки зверя нет. Никто с медведями не вступает здесь в единоборство, даже свирепые моржи.

– Может, шугануть их выстрелом? – спросил Никифор Бегичев – боцман, рослый молодой мужик с окающим волжским говором, и потянулся к винтовке.

– Не надо, – остановил его Колчак, – иначе спугнем им добычу. Когда они еще организуют такую великолепную охоту.

А охоту медведи организовали действительно великолепную, по всем правилам. Остроумно, с выдумкой...

В черной, гладкой, как стекло, полынье резвились нерпы, выпрыгивая наружу, лупили сильными ластами по гладкой поверхности воды, ныряли в угольную чистую глубь, вновь возникали. Устав, нерпы выбирались отдохнуть на оглаженный, будто отлакированный до зеркального блеска лед, разваливались беззаботно на солнышке, отдохнув, со счастливыми всхлипами встряхивались, снова прыгали в полынью, ныряли в черную глубь, гонялись там за головастыми, похожими на треску рыбехами, вновь ловко, в прыжке, выметывались из воды на лед, не боясь разодрать об острые заструги [6]свою нежную меховую шкуру.

Нерпы беззаботно играли, не чуя беды, когда из-за высокого тороса-«жандарма» показался крупный, в пожелтевшей от солнца шубе медведь, взревел громко, лениво и, встав на задние лапы, сделавшись еще больше, неуклюже двинулся к нерпам. Те испуганно попрыгали в полынью.

Медведь взревел довольно – ему будто доставляло удовольствие ощущение собственной значимости, – подошел к полынье, заглянул в черную воду, поймал глазами несколько быстрых светлых промельков и сладко зажмурился: страсть как хотелось зацепить лапой одну из этих вертких тварей. Покосился на застывший в ледяной шуге вельбот с людьми, шумно вздохнул, оглянулся на мелкие ледяные надолбы. Одного короткого броска было достаточно для того, чтобы достать до воды. Надолбы, находящиеся у воды, – это было то, что надо. Медведь довольно, будто перекормленный поросенок, хрюкнул, хотя был голоден донельзя – вялый живот у него уже едва ли не втянулся в глотку.

В это время сзади к полынье, бесшумно пластаясь брюхом по льду, подбирался второй медведь. Он подполз к крайнему надолбу, из-за которого можно было уже увидеть гладь воды, и затаился, слился со льдом, снегом, пупырями, надолбами – стал частью пейзажа.

Первый медведь, увидев, что «коллега» уже обосновался прочно, порычал еще немного, наклонившись к полынье, пугая

нерп, потом вновь поднялся на задние лапы. Порыкивая, похлопывая себя лапами по брюху, гигант развалистой морской походкой ушел за торос.

Сделал он это демонстративно, так, чтобы уход его видели нерпы.

– Вот умная скотина! – восхищено произнес Бегичев, покрутил головой, словно не веря тому, что видит. – Мозга не больше, чем у кошки, а как хорошо кумекает по охотничьей части.

– Умнейшее животное. Зверь! – Колчак пошевелился, поплотнее закутался в брезентовый плащ. – Мало, к сожалению, изученный. А изучи мы этого зверя получше, перейми кое-что у него для себя – и наши арктические экспедиции горя бы не знали.

Медведь, затаившийся за надолбом, лежал не шевелясь, будто пожелтевший от ветра и соленых брызг сугроб, ледяная глыба; нерпы, плавающие в черной глуби, так и не заметили его. А вот уход первого медведя, наоборот, засекли все нерпы – даже самая подслеповатая, самая растяпистая из них. На этом, видно, и строилась медвежья охота. Медведь, лежавший в засаде, продолжал терпеливо ждать. Нерпы по-прежнему носились в воде, в черной холодной глуби, обретя прежнюю беспечность. Но долго находиться в воде они не могли, им надо было обязательно вылезти на лед или хотя бы высунуться из проруби, хватить немного воздуха...

Вот из полыньи вынырнула одна нерпа, оглядевшись, всползла на лед, затем – вторая, потом, после паузы, – сразу несколько.

Нерпы растянулись на льду с блаженным видом, подставляя мутному белесому солнцу свои тела, гладкие, как будто вылепленные из податливого, мягкого материала. Хитрец, сидевший в засаде, даже дышать перестал, чтобы, не дай бог, на нежных нерп не потянуло псовым звериным духом; вельбота нерпы не боялись, поскольку не встречали его раньше и, может быть, принимали его за добродушного плавающего здоровяка, схожего с китом.

– Ну, давай! Ну, давай! – азартным шепотом нетерпеливо подгонял медведя Бегичев. Он сидел на корточках у борта вельбота, пригнувшись, спрятав голову, чтобы его не засекли нерпы. Около его ног, приткнутая стволом к борту, стояла винтовка. Бегичев из этой винтовки одной обоймой мог уложить и белого хитреца, обратившегося в сугроб, и нескольких нерп, рука у него от азарта дергалась, тянулась сама по себе к цевью, пальцы непроизвольно сжимались и разжимались, он хватал винтовку за ложе и тут же отпускал. – Давай, косолапый, чего тянешь?

– Погоди, не мешай, – остановил Бегичева Железников, – он лучше тебя знает, когда нападать.

– Да тянет же косолапый. – Бегичев сморщился, будто у него заныли зубы, азартно стукнул кулаком по борту вельбота. – Сейчас упустит смородину с сахаром, и тогда поминай это варенье как звали!

Лейтенант Колчак молчал, спокойно поглядывал по сторонам, стараясь, чтобы ничто, ни одна деталь, ни одна мелочь не остались незамеченными.

Из воды выползло еще несколько нерп, цепляясь крепкими передними ластами за срез льда, сопя и радостно поскуливая, выбрались на поверхность, расположившись кружком. Медведь продолжал, не двигаясь, лежать в засаде. Он ждал. В полынье тем временем показались еще три нерпы – последние, самые осторожные. Вскарабкались на лед и, постанывая, будто люди, щуря большие влажные глаза, разлеглись на солнце.

В ту же секунду из-за надолба взметнулось неряшливое лохматое облако – будто бы сугроб подпрыгнул, белесое солнце мигом потускнело, сделалось холодно, нерпы даже сообразить ничего толком не успели, лишь две или три из них пискнули тонко, когда разметавшийся в воздухе до необъятной шири сугроб свалился на них.

С рявканьем медведь полоснул лапой по одной нерпе, легко срубив ее голову, будто у глиняной копилки, – с мокрым чавканьем голова заскользила по льду, брызгаясь жирной красной сыпью, ударил вторую нерпу, и та, беспомощно вскрикивая, задергалась, словно большая пиявка (он перебил ей хребет), потом, стремительно перекатившись через голову, подмял третью нерпу – жирную, старую, осторожную. Но осторожность не выручила ее, нерпа легла под ударом медвежьей лапы – ткнулась тяжелой гладкой мордой в лед и затихла.

Медведь успел уложить и четвертую нерпу – небольшую, пузатую, словно не разродившуюся поздним детенышем, – царапнул по ней страшной своей лапой с длинными, громко щелкающими когтями, выдирая куски шкуры вместе с мясом, потом изловчился и клацнул зубами – прикусил ей голову, и нерпа мигом сделалась неподвижной.

Лед в течение нескольких секунд был залит яркой свежей кровью. Нерп на льду уже не было – оставшиеся в живых попрыгали в воду. Медведь угрюмо глянул в черную, недобро посвечивающую холодным мраком полынью, засек там несколько гибких быстрых промельков и заревел. Все было смешано в этом реве – и боль, и ликование, и досада, и торжество, и ярость. Медведь был готов сейчас растрепать еще несколько нерпичьих

лежбищ, хотя столько добычи ему было не осилить, даже если он будет стараться вместе с напарником, – поднялся на задние лапы, выпрямился во весь рост и снова зарычал.

Из-за тороса послышалось ответное рычание, и через несколько секунд оттуда выкатился на четырех лапах первый медведь, лобастый, страшный, с приплюснутым на манер утюга черепом и злыми, брызгающимися черным огнем глазками, рявкнул что-то «напарнику», и тот покорно опустился с двух лап на четыре. Первый медведь, видимо, в этой охотничьей двойке был командиром.

Оба приступили к трапезе, выбрали себе по нерпе и принялись рвать зубами нежное кровоточащее мясо.

– Ну, что, будем вмешиваться в этот обед, ваше благородие Александр Васильевич, или нет? – спросил боцман у лейтенанта, продолжавшего внимательно рассматривать происходящее.

Колчак предупреждающе приложил палец к губам, словно призывая к тишине, но сделал он это совсем по другому поводу. Колчак сплюнул на ладонь и с досадою вздохнул – слюна была с кровянистыми волокнами, спросил тихо, неверяще, ни к кому не обращаясь:

– Неужели цинга?

Бегичев заглянул в ладонь, поморщился.

– У нас лук репчатый есть в достаточном количестве. Целых полпуда. Надо есть лук, Александр Васильевич.

– Мертвому – припарка. – Колчак вытер ладонь о полу плаща-брезентовика, украшенного форменными флотскими пуговицами.

– Не поможет. А хитрых медведей этих трогать не будем, Никифор Алексеевич, обойдем их стороной. Никогда не видел такой высокоорганизованной охоты.

– Я тоже не видел, – сказал Бегичев, берясь за весло, – хотя на севере провел времени много.

Под днищем вельбота противно заскреблась, зашуршала шуга, в прогале между несколькими грудами холодной давленой крошки проглянула завистливым оком черная бездонь, под плоским носом вельбота забормотало чертенячьи что-то, над вельботом взнялось сверкающее сеево холодной пыли, и Бегичев не выдержал, выругался.

Ледовые заструги потемнели, приподнялись, словно хотели навалиться на вельбот, пустить его вместе с людьми ко дну; треск шуги сделался сильнее, и громоздкая льдина, схожая с островом, дрогнула и медленно поплыла в сторону.

– И-и р-раз! – скомандовал Железняков хриплым голосом, приводя разрозненные взмахи весел в единое, общее движение. – И – два! И – р-раз!

Колчак, сунув под мышку длинный черенок руля и придавив его к телу локтем, достал из кармана брезентовика блокнот, черкнул в нем несколько коротких слов – на всякий случай, чтобы из памяти не выпало. На первой же стоянке он перепишет «засечку» в дневник, дополнит ее деталями, даст увиденному свое толкование: Колчак был занят не только поисками пропавшей экспедиции, он осуществлял и научную работу, вел гидрологические наблюдения, которые, если не завтра, то послезавтра могут очень здорово пригодиться.

Очередная «стыковка» с берегом ничего не дала – экспедиция Эдуарда Толля точно сквозь землю или сквозь воду, что еще хуже, провалилась: ни следочка, даже малой зацепки, какого-нибудь линялого клочка бумаги или старой пуговицы с обломанным ржавым шпеньком – и тех не было. Будто бы не существовал на белом свете барон Толль со своим давним товарищем магнитологом Зебергом, с которым он работал вместе несколько последних лет, будто не было двух каюров, ушедших с учеными на поиски Земли Санникова. [7]Земля эта – загадочный северный материк, о котором много говорили, – вожделенная мечта каждого полярника.

Толль, как и многие, считал, что материк этот существует на самом деле, осталось всего ничего, чтобы найти его и нанести на карту – лишь дотянуться рукой. Но сколько к таинственной земле ни тянулись, она все не давалась, ускользала из рук – строптивой оказалась.

И это только заводило исследователей, превращало их в азартных школяров, стремящихся первыми сорвать с дерева лакомый плод. Таким азартным «школяром» был и барон Толль.

Когда в прошлом году шхуна барона застряла во льдах неподалеку от Новосибирских островов, Толль решил не терять время и двигаться дальше пешком.

И пропал...

Не хотелось верить в то, что Толль погиб – это была бы слишком дорогая потеря для русской полярной экспедиции. Пока найдется другой такой Толль – пройдет много лет, а Север ждать не может.

Колчак уже проверил два продовольственных склада, куда должен был зайти Толль, – никаких следов барона там не обнаружил. Теперь надо было проверить третий склад, самый большой, и от него, как от порога, «танцевать» дальше. Колчак сунул блокнот в карман, привстав, вгляделся в месиво шуги, снега, мелких льдин, стремящихся припаяться к льдинам крупным, хрипло вздохнул – у него пошумливали легкие – и вновь опустился на осклизлую холодную доску, подровнял рулем

ход вельбота, направляя его в длинный черный рукав, глубоко вклинившийся в разваренное ледовое поле, – надо было прибиваться к берегу. Колчак оглянулся: как там пируют медведи? Но медведей уже не было видно – их скрыли несколько высоких, уродливо слепленных торосов, похожих на скалы. Жесткое лицо Колчака дрогнуло, потом разгладилось, он снова подставил себе под подбородок ладонь, сплюнул. На ладони была кровь.

Лейтенант недовольно пожевал губами, глаза у него посветлели, в них мелькнуло что-то испуганное, но испуг был мимолетным, проходящим, в следующий миг он сменился упрямым выражением, и Колчак, который хотел что-то сказать боцману – второму человеку в их крохотной спасательной экспедиции, – промолчал. Подняв голову, он увидел мелкие перышки-облака, плавающие в бездонной глуби неба, на высоте, до которой никакая птица не дотянется, отметил, что перышки – недобрый знак. К непогоде.

Хорошо одно – лето на дворе. Летом непогода долго не продержится, побушуют ветры дня два-три, подерут глотку, покуражатся пьяно, гульбиво и выдохнутся – сил у них не то что зимой, снег летом долго валить не может, он хоть и противный, докучливый, хуже дождя, но быстро скисает.

На берегу вновь ничего не нашли – ни следочка, кроме медвежьей топанины, волчьих тропок да сухой расщепленной лесины, в которую было вбито несколько кованых гвоздей. Лесина была с мясом выдрана из какой-то старой поморской барки, потерпевшей крушение. Бегичев топором вырубил один из гвоздей, подал Колчаку. Тот осмотрел гвоздь, сказал:

– Лет сто пятьдесят будет этому изделию. Корабельный гвоздь. А корабль... корабль тот был задавлен льдами. – От слов его невольно пахнуло бедой. Колчак помолчал, потер гвоздь пальцами и не говоря больше ни слова, сунул его в карман брезентовика – пригодится для отчета.

– Погода портится, ваше благородие Александр Васильевич. – Бегичев звал Колчака только так, усложненно: «Ваше благородие Александр Васильевич». Колчак лишь внутренне улыбался такому обращению и ничего Бегичеву не говорил. Вначале он пробовал поправлять боцмана, но Никифор – человек упрямый: если у него что-то поселится в мозгу – это уже не выковырнуть.

– Да, я уже заметил цирусы на небе, – сказал Колчак, – их все больше и больше. Вопрос один – когда это начнется? Сегодня, через несколько часов или же позже, завтра?

Бегичев поднял красное, обожженное злым северным светом лицо, поскреб пальцами жестко затрещавшую щетину, проговорил

озабоченно, по-волжски окая:

– Через два часа и начнется.

– Тогда надо вельбот вытянуть на берег.

Потерять вельбот здесь, в оглушающем безлюдье – значит потерять все, даже более чем все, – потерять жизнь.

Вельбот стоял в десяти метрах от берега, на мелкотье, между двумя неподвижными льдинами, прикипевшими ко дну. Колчак первым вошел в воду, разбрызгал ее, с удивлением засек, как из-под сапога выскочила, вильнув хвостом, некрупная головастая рыба. На эту рыбу – помесь трески с плавником – не зарятся даже чайки, она почти несъедобна, состоит только из головы да хвоста, больше в ней ничего нет, есть еще желудок, но он запутался где-то в жабрах, – ни в варево, ни в жарево эти головастики не годятся. И все-таки это – живые существа, населяющие холодный океан. Их надо беречь.

Уже в воде, обогнав Колчака, Бегичев ухватился за конец прочной веревки, сплетенной из сизаля, привычно поплевал себе на пальцы, крякнул – он всегда производил много звуков, но это не мешало ему быть самым работящим человеком в экспедиции, – перекинул веревку через плечо:

– Ваше благородие Александр Васильевич, вы бы того... А? Мы и без вас справимся. А?

– Нет, Никифор. – Колчак упрямо наклонил голову и ухватился за вторую веревку – ему не нравилось, когда для него делали исключения, он считал, что все тяготы надо делить поровну, нахлебников и барчуков с пухлыми розовыми ручками в экспедиции быть не должно.

– И-и – р-раз! – скомандовал Никифор.

Вельбот качнулся, нехотя прополз по мелкотью сантиметров двадцать и остановился.

– И-и два! – гулким кашлем выбил из себя Бегичев.

Вельбот снова качнулся, мачтой проскреб полметра по небу, на котором легких белых перьев заметно прибавилось – теперь они были ровно разбросаны по всему свету, от горизонта до горизонта, накренился на одну сторону, попав правым полозом в ломину.

– И-и р-раз! – вновь скомандовал Бегичев.

Вельбот дергался следом за рывками людей, скрипел суставами, проползал совсем немного и опять застывал, будто примерзнув к мелководью. Он делался тяжелым, неподвижным, словно гигантский утюг; дерево, окованное по днищу металлом, трещало, и Железников, выкручиваясь из веревочной петли, которую он надевал на себя на манер офицерской портупеи, сипел озабоченно, сдвигая в одну линию мохнатые черные брови:

– А бот у нас не рассыпется?

– Не рассыпется, – сипел ему в ответ Бегичев, – бот специально построен для китобойного промысла, а там в ходу посудины прочные.

Колчак молчал, не вступал в разговоры. Он вообще любил работать молча.

– И-и – два!

Лицо у него затекало, как будто становилось ободранным – горький пот был способен, как кислота, выесть глаза. Ноздри щипало, изо рта текла тягучая, будто сироп, слюна, в груди сипели, лопались впустую легкие – здесь, на высоких широтах, всегда не хватало воздуха. Стоило только немного напрячься, как в теле появлялась чугунная тяжесть, губы начинали хлюпать впустую, стараясь хоть чуть-чуть захватить кислород, снег перед глазами делался кровянистым, словно медведи обильно полили его нерпичьей кровью.

Коварнее и злее белого медведя в здешних местах зверя нет. Отбиться от медведя можно только пулями. Бурый медведь от схватки с человеком уклоняется: с одной стороны, побаивается двуногого, с другой – лень, с третьей – летом он сыт, а бурый мишка злой бывает, только когда голоден, сытый же просто уходит в кусты, порыкивает, лежа где-нибудь в малиннике, да поплевывает презрительно в сторону человека. А белый медведь словно специально ищет стычек с человеком: если сойдется с ним на льду и у человека с собою не окажется ружья – будет худо. Медведь, завалив его, сдерет скальп, поскольку очень не любит человеческого взгляда, закроет им глаза, переломает ребра, расплющит хребет и, отъев голову, оставит смятого, растерзанного, лежать на льду...

С жестокостью и непонятной ненавистью полярного медведя к человеку Колчак и Бегичев сталкивались уже не раз.

Такое впечатление, что медведь специально старается не пустить людей в Арктику, с рычаньем встает у них на пути – оберегает снег и льды, оберегает хрупкую здешнюю природу. Кто знает, может, в этом и заключена некая сермяжная правда – та самая правда, которую не знают ни Колчак, ни Бегичев.

– И-и – р-раз! И-и – два! – размеренно командовал Бегичев, с хрипом и слюной выплевывая из себя слова, торопясь: вдруг на море стронутся льды, подопрут, выдавят вельбот на берег со смятой кормой – от здешнего моря всего можно ожидать, всяких чудачеств и фокусов. – И-и – р-раз! И-и – два!

Колчак сипел, напрягался вместе с экипажем, ощущал, как веревка с противным хрустом вгрызается в брезентовик – лейтенант решил на манер опытного Сапожникова сделать себе

«портупею» – получилась обычная узкая петля, на портупею не хватило веревки, перекинул ее через плечо; слышал, как рядом натуженно сопит молчаливый якут Ефим – иногда Ефим что-то шептал себе под нос, видимо, шаманил, молился своему узкоглазому богу, прося, чтобы тот облегчил ему жизнь.

Через двадцать минут вельбот уже находился на берегу – был вытащен на сушу едва ли не целиком и привязан двумя веревками к камням.

Перья-облачка, густо испятнавшие небо, тем временем набухли белым взваром, опустились к земле и уже почти целиком закрыли высокий свод, места свободного практически не осталось – все произошло быстро, очень быстро, гораздо быстрее, чем предполагали Колчак и Бегичев. Вверху, в гибельной выси, что-то задавленно гукнуло – словно прозвучала грозная воинская команда, из-за скал примчался куражливый ветер, с хохотом пронесся над водой и льдами, сгребая выплеснутые волною на поверхность и уже обсохшие и склеившиеся куски шуги, разный сор, иссосанные, отвердевшие горбушки снега, пошвырял их в воду и стих. Бегичев обеспокоенно огляделся.

– Волна как тянет! – пробормотал он, смахивая со лба густую едкую морось пота. – Палатку бы успеть спроворить. – Прикрикнул на Сапожникова: – Парень, помогай! – Затем разбойным ветром накинулся на двух молчаливых работящих поморов: – А ну, тащите, мужики, с бота штыри и кувалду!

В следующую минуту он, быстрый, с точными, ставшими резкими движениями, верткий, как колобок из известной сказки, уже раскладывал на большом плоском камне брезентовое полотнище.

Углы палатки, чтобы полотнище не задирал ветер, не свернул в большую рогульку, крепили железными штырями. Их вгоняли кувалдой в камни, в мерзлую прочную землю, в какую-нибудь щель – словом, во что придется, – а потом выдирали, раскачивая клещами или слабенькими размеренными ударами той же кувалдой, но обязательно вытаскивали из земной плоти. Каждая железка в экспедиции была очень дорога. Дороже золота, которое в этих краях годилось только на баловство да на пуговицы к плащу, а железо было тем металлом, который помогает человеку на Севере выжить.

Поморы метнулись к боту, один проворно перевалился через борт – только короткие ноги, затянутые в рыбьи сапоги, мелькнули в воздухе, – загромыхал там имуществом, швырнул на снег напарнику связку железных костылей, нанизанных на веревку, потом, едва ли не целиком перегнувшись через борт, осторожно опустил кувалду.

Тишь сделалась совсем гнетущей, мрачной, она, словно некое глухое покрывало, была специально брошена на землю, это невидимое покрывало спеленало и лед, и камень. Ни одного звука в природе! Даже вода – северная, холодная, на что уж беспокойный характер имеет – и та перестала плескаться в камнях. Твердое лицо Колчака изрезали складки и морщины, в черных глазах возникло и тут же исчезло выражение ожидания.

Север – штука опасная, стоит только опоздать на несколько секунд либо, наоборот, на несколько секунд высунуться раньше – и все, ты уже плаваешь в воде, среди льда и шуги.

Эта вода здешняя ошпаривает хуже огня; иной человек, плюхнувшись в шугу, мгновенно теряет сознание – жгучий холод скручивает тело почище самой прочной веревки, и несчастный, если никто не заметил, как он упал за борт, камнем идет на дно, на место вечной своей прописки.

Тревожно было в природе, тихо. Но вот принесся ветер, шевельнул где-то среди камней старую, высохшую до звона корягу, отщепил от нее отслоившуюся мерзлую кору и погнал, будто кусок жести, по обледенелым валунам, следом, пыжась, похрипывая от возбуждения и натуги, стал толкать саму корягу... Не осилил. Тогда на помощь к нему пришел еще один ветер, посильнее, поухватистее, вдвоем они напряглись – и вот уже громоздкая коряга, будто невесомая, понеслась по камням. Затишье кончилось.

Где-то вверху, в перине неба, перья уже сомкнулись плотно. Прорех совсем не стало, ни одной щели, такое плотное получилось одеяло – даже солнца не было видно. Хоть и не грела эта бледнотелая, окруженная водянистым облаком луковица, недозрелый огородный овощ, попавший раньше времени в кастрюльку, а душу все же освежала, веселила своим присутствием, теперь же стало совсем неуютно и холодно. Что-то задавленно громыхнуло. Будто гром по весне – неурочное явление природы. Колчак поднял голову, всмотрелся в небо. Скоро и вовсе сделается темно, хотя на улице полярный день, нескончаемый и печальный... Лейтенант прислушался к недоброму небесному громыханию, которого в Арктике вообще быть не должно, но человек предполагает, а Бог располагает, вот гром и громыхнул. Донесся тяжелый чугунный шорох, от которого по коже рассыпаются мурашки, под ноги Колчаку шлепнулась огромная снежная лепешка, сырая, как коровий блин, обдала мокретью сапоги.

– Никифор Алексеевич, проверьте, пожалуйста, бот хорошо накрыт? – попросил Колчак боцмана. Тот бегом кинулся к суденышку, мигом ставшему таким крохотным, раздавленным

пространством, что у лейтенанта даже что-то защемило в горле. То же самое почувствовал и Бегичев – без этого суденышка им и двух дней не прожить в здешних просторах, – обежал бот кругом, проверяя веревки, натяг широкого брезентового полога, обкрутку мачты, махнул рукой один раз, потом другой – все, мол, в порядке, и Колчак полез в палатку.

Для него наступали скучные часы – период писанины, ничего другого в непогоду делать он не мог. Эту нудную кропотливую работу он не прерывал ни на один день, занимался гидрографическими и океанографическими исследованиями, фиксировал состояние льда и воды в море, измерял глубины – особенно тщательно во время подходов к берегу, наблюдал за земным магнетизмом, все это очень важно было знать для нового, лишь недавно появившегося в России ледокольного флота, способного давить металлическую оболочку, оковывающую море зимой.

У Колчака имелось несколько тетрадей, которые он всегда носил в непромокаемой, сшитой из толстой, специально обработанной кожи сумке, которую всегда старался держать при себе.

Императорская Академия наук приобрела в Христиании, [8]как в ту пору называли Норвегию, специально оборудованную шхуну «Заря», и Колчак специально ездил принимать ее в Христианию и там часто встречался со знаменитым Фритьофом Нансеном [9]и брал у него «полярные» уроки.

В июле 1900 года экспедиция Толля двинулась на «Заре» к Таймыру – огромной, почти не исследованной земле. Там Колчаку довелось перенести трудную зимовку, а весной 1901 года Колчак вместе с Толлем совершил пятисотверстную поездку по Таймыру на собаках: надо было описать неведомую землю. Затем на собаках пересек остров Котельный, замерив все тамошние высоты. Все это первым в России, в основном в одиночку, без страховки, так как Котельный считался нехоженым, необитаемым островом. Позже Колчак занимался устройством продовольственных депо для северных экспедиций, обмерами земли, описанием птиц и животных. Работы было много, и Колчак во всякое порученное ему дело вгрызался, что называется, с головой, целиком. Толль был очень доволен лейтенантом, ценил его и даже назвал именем Колчака неведомый, не нанесенный на географическую карту мира остров, а также новый мыс. [10]

И вот Толля не стало – исчез загадочно, не оставив ни одного следа.

Если следов не окажется и у главного продовольственного склада, то придется идти дальше на север – к Земле Беннета.

[11]Может быть, Толль со своими спутниками обнаружится там?

Возвращаться в Санкт-Петербург с пустыми руками Колчак не мог, не имел права – ему надо было понять, что произошло с Толлем, и об этом также доложить Академии. Не мог же все-таки человек исчезнуть совершенно бесследно – не пушинка ведь, не Божья птичка куропатка, их полярный волк заглатывает целиком едва ли не десятками, вместе с перьями и лапами, а потом выплевывает из пасти слипшийся мокрый комок пуха.

Толль был не один, а со спутниками. И с грузом. И тем не менее – растворился. Арктика громадна, здешние льды одним взглядом не окинуть – это невозможно. Кто знает – вдруг Колчак ходит совсем рядом с Толлем и не может найти то, чего ищет, – такое на туманном севере случается сплошь да рядом.

С неба тем временем повалила такая тяжелая, такая убойная мокреть, что невольно показалось: несколько таких грузных лепешек обязательно сшибут палатку, сбросят ее на лед, в открытый водяной бочаг, но костыли и веревки держали палатку крепко. Люди сидели в ней тесно, жались друг к другу – все семь человек. Посреди палатки Бегичев поставил новенькую норвежскую керосинку, разжег ее, на черную, испятнанную брызгами плохого горючего решетку водрузил чайник и довольно потер руки:

– Чай не пить – откуда сила...

Якут Ефим не замедлил отозваться:

– Чай попил – совсем ослаб.

Колчак отреагировал на популярную присказку отстраненной хмурой улыбкой – он продолжал что-то записывать в одну из своих тетрадей и одновременно думал о пропавшем Толле, мучался болью, которую держал в себе, не выплескивая на спутников свою тяжесть. Боль варилась в нем, будто в закрытом котле, все выжигала вокруг, мешала дышать, мешала двигаться, иногда даже мешала соображать, но Колчак был упрямым человеком: то, что принадлежало ему, – ему и должно принадлежать.

Снег гулко бухался в тяжелое влажное полотно палатки, отпрыгивал, будто от резины, сверху сыпались новые лепешки, производя продолжительный вязкий грохот. С таким снегом Колчак встретился в Арктике впервые – несколько раз неверяще качнул головой, в темных глазах его мелькнуло сомнение, еще что-то – то ли боль, то ли оторопь – не понять. Он поднял воротник меховой куртки, которую надевал под плащ, отвернулся от керосинки и тронул пальцами щеку. Затем надавил посильнее и услышал тихий сосущий звук.

Боли не было, было какое-то странное тупое жжение, которое

быстро прошло, сменившись онемением. Колчак поморщился, тихо, очень ровно и невыразительно попросил Бегичева:

– Никифор Алексеевич, налейте всем понемногу спирта. Пусть люди согреются. – Потом, когда Бегичев, оживившись, завозился в распахе мешка, вытаскивая оттуда обшитую крепкой парусиной флягу, неожиданно потер руки и добавил: – И мне тоже.

Выпив спирт, Колчак отказался от воды, которой пользуются все питоки, чтобы залить спиртовое пламя – ему хотелось, чтобы горький спирт своим обжигающим вкусом помог одолеть неприятное ощущение, сидевшее в нем, – удивился тому, что спирта не почувствовал, выпил его, как обычную воду. Не поверив этому, Колчак допил из кружки остатки жидкости, втянул сквозь зубы воздух, ожидая, что спирт ошпарит ему рот, но ничего не почувствовал: вода и вода. Колчак вздохнул, отдал кружку Бегичеву.

– Ваше благородие Александр Васильевич, вы солонинки с луком съешьте, – предложил тот, – солонина с луком очень полезна для организма.

Колчак отрицательно качнул головой.

– Зубы расшатываться не будут, ваше благородие Александр Васильевич... А?

Колчак вновь отрицательно качнул головой. Он сейчас находился далеко отсюда, лицо его было задумчивым и тяжелым. Бегичев больше ничего не сказал ему, лишь вздохнул едва слышно и вновь налил в кружку спирта.

– По одной – это не по-христиански. – Он бросил быстрый взгляд на Колчака, ожидая, что тот будет возражать, но Колчак промолчал, и Бегичев протянул вкусно пахнувшую кружку якуту Ефиму.

Колчак отвернулся, опять приложил палец к щеке, помял, потом, неприятно поморщившись, сунул несколько пальцев, сложенных щепотью, в рот и вытащил оттуда зуб.

Целехонький, боковой, вышелушившийся из костной ткани, из челюсти, без всякой боли зуб. Что-то душное толкнулось ему в грудь, перекрыло дыхание, он сморгнул с глаз какую-то липкую соринку – может, и не соринка это была, а что-то другое; кадык у Колчака дернулся сам по себе, он слышал булькающий звук, и ему сделалось неловко.

Хорошо, что это слезное бульканье не услышали товарищи по экспедиции – в полотно палатки все лупили и лупили сырые снежные лепешки, кроме стука падающего снега ничего не было слышно, даже голос Бегичева, и тот исчез – и Колчак успокоился: товарищи его вообще ничего не должны знать, кроме, может быть,

Бегичева. Ко всякому проявлению слабости Колчак относился отрицательно. То, что он показал Бегичеву ладонь с плевком, в котором плавали красные нити крови, – это слабость.

Слабость, которой не должно быть.

Колчак отер выпавший зуб пальцами и спрятал в карман. Настроение у него было подавленным, в душе прочно поселилась тревога – сильная тревога, раз она из глаз вышибает слезы... Беспокоила судьба Толля... Колчак неожиданно поймал себя на мысли, что он только сегодня смирился с тем, что Толль мертв.

Судя по всему, и последняя кладовка – большой продовольственный склад – окажется нетронутой.

На севере человек все ощущает обостренно, тут все усиливается – существуют какие-то токи, волны в атмосфере, которые заставляют громко биться сердце, сдавливают глотку, в душе рождают боль. В легких прожигают целые дыры. Все-таки Север человеку – враг. Хоть и тянет он человека, хоть и кружит ему голову, заманивает так, что тот теряет рассудок, начинает «болеть» и готов бывает отдать все, что у него есть, снять исподнее, только чтобы вновь очутиться на Севере, зачерпнуть ладонью немного прокаленного морозом, особо пахнущего снега, разжевать его, почувствовать вкус и запах.

Ничто так ошеломляюще не действует на человека, как Север, – никакая другая сторона света, никакая иная земля. И тяга к Северу, нездоровая любовь, привада, если они поселяются в человеке, – то навсегда.

И обид, притеснений от Севера человек терпит, как нигде. Много боли, много тревоги и забот рождает в нем Север: холодом сводит сердце, отмерзшие руки перестают слушаться, иногда совсем не двигаются, не хотят выполнять простую работу. Север взял его тело и, надо полагать, возьмет и душу, как только наступает предел – все, человека уже не спасти. Он обречен. Север взял его к себе. Нет ничего более прекрасного и страшного на белом свете, чем Север, и все больше и больше людей становятся его заложниками...

Тяжело было Колчаку. Грустные мысли теснились в голове: хотя цингой он еще не заболел, но внутри уже поселилась тревога: а что будет, когда заболеет, если уже сейчас выпадают зубы.

Над палаткой с куражливым хохотом пронесся ветер, самый дурной в здешних краях, самый заполошный и безжалостный – северный, с полюса, вполне возможно, с самой макушки земли прискакал. Он сгреб прилипшие куски снега, вгрызся зубами в металлические колья, на которых держалась палатка, засипел натуженно, закхекал, запукал, но железо одолеть не смог и тогда

впился в веревку, державшую палатку по углам, будто пробуя перекусить, и почти преуспел в этом, но с обратной стороны, с земли, принесся другой ветер, более сильный, чем северный уркаган, сшибся с ним грудью.

И покатились, понеслись по земле два ветра, пытаясь одолеть друг друга. Только толстые вековые льдины затрещали под их бешеным напором, из трещин полезла вода, с «жандармов» полетели шапки – не приведи Господь оказаться на пути клубка из двух ветров.

Застонало пространство, задвигалась, будто живая, земля под палаткой, тугой звон пошел по воздуху, пробил небо на многие километры, растаял в горней выси, на смену звону пришел злобный звериный хохот – это северный уркаган торжествовал свою победу, но не тут-то было – через минуту хохот превратился в задавленный кашель – материковый ветер вывернулся из-под него.

Приподнялся на коленях в тревожной охотничьей стойке Бегичев, встретился глазами с Колчаком, покачал головой, плеснул в мятую оловянную кружку еще немного спирта, протянул лейтенанту. Тот взял, выпил одним глотком. Бегичев протянул ему вторую кружку – с водой, но Колчак опять отрицательно качнул головой: не надо воды...

Предки Колчака были людьми закаленными, войну считали главным делом своей жизни, происходили они из Турции. Один из предков Колчака в чине полковника воевал еще против Петра Первого, [12]отличался храбростью и редкостной воинской изобретательностью, за что был отмечен султаном и в конце концов стал трехбунчужным пашой – по-нынешнему трехзвездным генералом. Он получил в подчинение сильнейшую крепость на Днестре Хотин и командовал ею успешно.

Это сыграло не последнюю роль в дальнейшем продвижении бывшего булюбаша-полковника (именно в этом звании был впервые замечен паша Колчак) – в 1736 году он был вызван к султану и получил титул визиря. Визирь – это нечто вроде главного министра или председателя правительства при султане.

Когда Турция начала воевать с Россией и Австрией, визирь Колчак стал во главе войск султана на русском фронте и воевал успешно, пока его на этом посту не сменил Вели-паша. Через два года войска под его командованием были превращены русскими в ошмотья. Высшие командиры армии, в том числе и бывший визирь, оказались в русском плену. Сам же Колчак вместе со старшим сыном Мехмет-беем был увезен в Петербург.

Когда через несколько лет Колчак был отпущен домой, он не стал возвращаться в Турцию – наверное, имел на то основания, –

а осел в Малороссии. Потомки бывшего визиря приняли православие и стали верно служить русскому государю. Особенно отличился в ратных делах сотник Бугского казачьего войска Лукьян Колчак [13]– вполне возможно, что вместе с императором Александром Первым он побывал в Париже [14]и оставил неизгладимый след среди прекрасных француженок.

Лукьян Колчак был прадедом лейтенанта русского флота Александра Васильевича Колчака. Он имел неплохие земельные нарезы на юге России, в Херсонской губернии. Это имение и стало родовым гнездом Колчаков, из которого вышло немало славных представителей государства Российского – морские офицеры и артиллеристы, генералы и военные инженеры.

Отец лейтенанта, Василий Иванович Колчак, [15]будучи мальчишкой – усы еще не росли, – воевал в Севастополе с французами, держал оборону на знаменитом Малаховом кургане, [16]вгрызся намертво в землю, в камни и не уходил оттуда, отбивая одну атаку за другой, не пускал врага на курган, но был ранен и в беспамятном состоянии взят в плен. Но в плену не пропал – заштопал у французов раны, вылечился, выкарабкался; изголодавшийся, шатаясь от слабости, вернулся домой, умудрившись проделать длиннейший путь с Принцевых островов, [17]расположенных в Мраморном море. Дома его немного подкормили, привели в божеский вид. Молодой ветеран Крымской войны Василий Колчак, почувствовав вкус к жизни, не стал засиживаться в имении – укатил на север, в российскую столицу.

Он окончил институт горных инженеров, стал крупным специалистом по металлам, затем основательно изучил ружейное дело в Златоусте, старался разгадать некоторые тайны производства прочной стали – ведь знаменитая златоустовская сталь по качеству не уступала дамасской. Вернувшись с Урала, Василий Колчак долгое время работал в Питере, на Обуховском сталелитейном заводе, куда был откомандирован приемщиком от военного ведомства. Вышел в отставку в генеральском чине.

Произошло это четыре года назад.

Как быстро все-таки летит время! Словно это было лишь вчера.

Отец ушел в отставку по военному ведомству, но не по заводскому и с Обуховки не уволился. Такие светлые головы, такие инженеры, как он, всегда нужны: Василий Иванович Колчак остался работать на заводе.

Жалко, нет матери – скончалась слишком рано, мать всегда была отцу надежной опорой, лучом света в доме, надежным тылом у военного человека, и когда ее не стало – показалось,

земля сделалась совсем пустой. Матушка лейтенанта Колчака умерла девять лет назад. Саше тогда исполнилось всего девятнадцать годов – двадцатый пошел... Фотоснимки отца и матери [18]– небольшие, запечатанные в твердую слюду, – он возил с собой в портсигаре. Отец – уже в годах, в генеральской форме, при орденах и широкой «кавалерской» ленте, с аккуратной бородкой «буланже» и насмешливым взглядом – вопросительно поглядывал на сына всякий раз, когда тот открывал портсигар, словно спрашивал: «Ну что, сын? Чего добился в жизни?» На этот вопрос лейтенанту было что ответить, он всегда мог перечислить плавания, в которых участвовал, научные труды, статьи и доклады, опубликованные в печати, в конце концов мог предъявить остров своего имени...

Мать смотрела на сына с нежностью, казалось, замечала всякую его боль, всякий всплеск тоски – она, будто живая, все обостренно чувствовала, она мерзла вместе с ним на Котельном и Земле Беннета, бродила в мокрых сапогах по отмелям северной кромки Таймыра, торговалась с продавцами собак в Якутске, где лейтенанту надо было купить две сотни ездовых псов для того, чтобы тяжелый китобойный бот, на котором они сейчас идут, перетащить по суше из Тикси к Устьянску, – мать все время была с ним.

И все время из своего небытия благословляла его, старалась помочь, отвести от него беду.

Колчак тяжело вздохнул, согнулся и, склонив голову к коленям, постарался уснуть.

За палаткой бушевала непогода, снег валил плотно, мотался в воздухе, подбиваемый ударами ветра, стонал, гулко шлепался на брезент и с хриплым зловещим шуршанием оползал вниз. Около палатки вырастали сугробы.

Им везло на встречи со всякой живностью...

Через два дня, когда пристали к берегу – пологому, ровному, будто отглаженному утюгом мастеровитого портного, на людей вдруг выскочил заяц – шальной, с желтоватой, словно прокисшей на солнце шкурой, с глазами, объятыми ужасом, – морозоустойчивый заяц бесстрашно шарахнулся людям под ноги, потом, словно запоздало испугавшись, подпрыгнул вверх и проворно, как колобок, у которого странным образом выросли ноги, взбрыкивая и подскакивая на ходу, понесся прочь от людей.

Тут же со снега, будто бы выйдя из его плоти, поднялась большая северная сова, щелкнула клювом, неторопливо поплыла вслед за зайцем, который несся что было мочи, вкладывая в бег все свои жалкие силенки, а сова плыла над ним неторопливо, с достоинством, она знала, что заяц от нее не уйдет.

Железников крякнул, потянулся за винчестером, висевшим у него за спиной, но боцман перехватил его руку:

– Не надо. Это не наша добыча.

– Так живой же заяц, Никифор! Свежее жаркое!

– Все равно не надо. Не мы его выследили – не нам и лакомиться. – Бегичев скосил глаза на Колчака, словно бы ища у него поддержки.

Колчак согласно наклонил голову.

– В природе все взаимосвязано. Если сова не съест зайца, значит, не сможет накормить своих птенцов, если она не накормит птенцов, те сдохнут. Если они сдохнут, то разведется непомерно много мышей, и эти прожорливые грызуны незамедлительно устремятся на юг, на хлеба, если они появятся там, то в закрома зерна попадет гораздо меньше, хлеба будет меньше, люди начнут голодать...

– Ну, ваше благородие Александр Васильевич, ну, ваше благородие!.. – Бегичев восхищенно покачал головой. – Вы прямо как учитель в гимназии. Очень складно говорите!

– Я получше всякого учителя буду, Никифор Алексеевич, – серьезно произнес Колчак. – Учитель передо мной – тьфу!

– А я в этом ни секунды не сомневаюсь. – Бегичев прицыкнул зубами, он умел это делать очень лихо: – Ну, все, спекся косоглазый!

Сова хоть и плохо видела при белесом солнце, а от зайца не отрывалась – косой нырял от нее то в одну сторону, то в другую, ощущая над собой тень страшной птицы, но сова незамедлительно повторяла маневр и поворачивала за ним.

Наконец она сделала скользящее движение вниз и всадила в спину зайца когтистую лапу. Заяц взвизгнул надорванно, будто человек, угодивший в большую беду, рванулся от совы в сторону, попытался нырнуть под нее, затем совершил прыжок вбок – все было бесполезно: соскочить с когтистого страшного зацепа не удавалось. Даже если сова захотела бы отпустить его – тоже ничего не смогла бы сделать. Лапа ее глубоко увязла в заячьей спине – не выдернуть, сове сейчас оставалось одно – бить зайца и бить, пока тот не перестанет дергаться, иначе косой унесет ее на своей спине куда-нибудь в каменную щель, разобьет старуху.

Сова ударила зайца клювом в темя – промахнулась, слишком ходко шел косой, потом, словно вспомнив, что в таких случаях надо делать, выставила перед собой свободную правую лапу, вскользь мазнула ею по снегу, взбила длинный белый шлейф, снова мазнула, окуталась радужно посверкивающим мелким облаком. Действуя свободной лапой как тормозом, сова сбила бег зайца – вот он уже и спотыкаться начал, – затем снова принялась

долбить его клювом. Только белый пух полетел во все стороны.

Затем, расправив крылья, птица рванулась вверх, приподняла зайца над землей. Он заперебирал лапами в воздухе, задергался, голодная птица дважды саданула его клювом, дала возможность зайцу коснуться лапами земли, но лапы бескостно подогнулись, и сова для страховки сделала еще несколько ударов и кособоко, судорожно взмахивая крыльями, где на лету, а где отпихиваясь от земли свободной лапой, поволокла его в сторону. На обед.

– Жаль, не дали вы мне зайца у совы отбить, – произнес Железников недовольным дергающимся голосом, – было бы свежее жаркое у нас, а не у птицы.

– Сова теперь засядет где-нибудь в распадке и будет сутки свою лапу выклевывать, когти освобождать, – сказал Бегичев, не обратив внимания на дерготню в голосе своего приятеля, – пока не выклюет – хода ей никакого нет.

– Насчет суток – это ты, Никифор, загнул. Три часа – самый максимум, больше этой чертовке не понадобится.

Колчак, стоя в стороне, что-то быстро заносил карандашом в блокнот – то ли рисунок делал, то ли схему, – лицо у него было темное, чужое, отстраненное.

– Мертвый заяц у совы, как гиря, с такой лапой она никуда... А если волк на нее набредет?

– Аллес [19]капут тогда бабушке.

– Однажды я видел, как куропатка промышляет, как она кормится, едрена вошь... Это зрелище еще более затейливое, чем то, что мы видели. Незабываемое зрелище, как говорят сочинители. – Бегичев взглянул на Колчака, стараясь понять, слышит тот его или нет; угрюмый темноликий Колчак взгляда его не почувствовал, он был погружен в себя, в свои записи, и его карандаш оставлял на бумаге короткие рваные штрихи.

– И как же? – спросил Железников. – Как твоя куропатка промышляет? За мышами, что ли, по земле гоняется? Куропатка с волчьими зубами?

– Ага, с волчьими. Таким, как ты, все, что болтается меж ног, откусывает. Чтобы не размножались.

– Не лезь в бутылку, Никифор, я не хотел тебя обидеть.

– Меня обидеть трудно, ты это знаешь. А по части комарья куропатка – умница невероятная. Я видел одну... Встала на пригорке, головенку повернула встречь ветру, клюв распахнула... Ветер гонит комаров тучею и сам ей в клюв засовывает. Остается только разжевывать. Как в ресторации. Полчаса – и куропатка сыта.

Краем глаза Бегичев отметил, что Колчак сунул блокнот в карман и кивнул удовлетворенно: рассказ Бегичева он слышал.

За снежником, испятнанным заячьей топаниной и широкими мазками, будто дворник прошелся метлой – следами совы, – начиналась голая, без единой снежинки земля. Даже в пазах между камнями, в щелях и глубоких схоронках, где снег должен лежать все лето, до следующей зимы, снега почему-то не было; Колчак и это пометил у себя в блокноте: выходит, не везде вечная мерзлота забирает из пространства последнее тепло – она располагается линзами.

Два часа провели на берегу люди Колчака, но следов экспедиции Эдуарда Толля так и не нашли. Колчак сделал в дневнике соответствующую запись и первым направился к вельботу, уже вмерзшему в шугу.

А в нескольких тысячах километров от студеного севера одна красивая женщина думала о Колчаке.

Саша Колчак пообещал ей во время последней встречи:

– Как только вернусь из экспедиции – обвенчаемся. Жди!

Сонечка Омирова [20]уже подходила к той невидимой черте, переступив которую девушки становятся, по выражению сочинителей, «старыми девами». Дочь гражданского генерала – начальника Казенной палаты Подольской губернии – по бумагам, второго лица после губернатора (а по существу – первого), поскольку тот, вечно больной, одышливый, любящий вкусно поесть и сладко поспать, губернией уже не управлял.

Она была человеком строгих правил. Всегда держала свое слово. В ее предках числились воинственный барон Миних [21]и генерал-аншеф Берг – выходцы из Германии. Софья Омирова умела стрелять из револьвера и знала семь языков, чем иногда приводила Сашу Колчака в замешательство – тот знал только три. Впрочем, свои три он знал превосходно, мог объясниться с кем угодно: с дипломатом и юристом, с крестьянином и священником, Софья же Федоровна превосходно знала тоже только три – французский, немецкий и английский, – в остальных же, если разговор велся на других, затягивался и принимал сложный оборот, то ей нужно было делать в разговоре паузы, чтобы сводить концы с концами.

Человеком она была волевым и независимым – сказывались немецкие корни и, наверное, горячая кавказская кровь, текшая в жилах предков. Она не терпела возражений и в доме себя поставила так, что ее побаивался даже отец.

Сонечка Омирова отдыхала на Капри. Погода стояла золотая, дни были похожи друг на друга, полные света, тепла, голубого моря, цветов, птичьего пения и прогулок по кипарисовым аллеям, где с деревьев почему-то все время падали крупные, с мохнатыми лапами жуки.

Они должны были пожениться с Сашей Колчаком еще в прошлом году, после его возвращения из экспедиции, но обстоятельства сложились так, что Саше, издерганному, исхудавшему, вновь предстояло отправиться в экспедицию – искать барона Толля, и задуманное венчание отложилось. Иногда ее наполняла затаенная тоска, но это была тоска не по Саше, не беспокойство за его судьбу – было нечто другое, и она даже не понимала, что именно: печальное красивое лицо ее теряло краски, глаза делались блеклыми. Однако Софья Омирова умела быстро брать себя в руки, выдавливала из себя горечь, даже если она успела проникнуть глубоко, и ее лицо вновь становилось веселым, молодым, каким, собственно, и должно быть лицо незамужней женщины.

Впрочем, для посторонних печаль, терзавшая Софью Федоровну, была объяснима: недавно умер ее отец, действительный статский советник, так и не успев занять причитающееся ему по праву губернаторское кресло. Софья была ошеломлена его смертью – по ночам закусывала подушку и ревела, а утром вставала бледная, ослабшая, едва живал. Но молодость взяла свое, и она оправилась от потери.

Софья смотрела с белого, крашеного балкона на недалекое пронзительно-синее море, на островерхие, гибкие, как тростник, кипарисы и думала о Саше. В гибких макушках призывно гукали невидимые горлицы, шебуршились в ветках, пробавляясь молочными зернами, которыми были густо набиты крупные продолговатые шишки. В Малороссии тоже водились горлицы, но в родном Каменец-Подольске они были крупнее, сильнее здешних. Раньше они там не водились, но потом откуда-то из-за моря прилетели диковинные розовые птицы и повели себя очень воинственно: кроткие гукающие горлицы напрочь выдавили с городских улиц голубей. Вскоре голубей в Каменец-Подольске не стало.

При воспоминании о родных краях перед Софьей опять возникло лицо отца, и в уголках глаз неожиданно появились слезы. Она выдернула из рукава шелковый платок, пахнущий цветами, промокнула им глаза. Оглянулась: не видит ли кто ее слезы? Нет, она была одна.

«Бедный отец. Уйти из жизни в расцвете сил, таким молодым, полным надежд... В губернаторах папа точно пребывал бы недолго – обязательно пошел бы на повышение. Слишком он был приметен среди серого чиновного люда. Бедный отец!» – Она вновь промокнула платком глаза.

Несмотря на вечер, было жарко, солнце продолжало неторопливо плыть в высоких небесах; на море, на мелких

бирюзовых волнах появился золотой налет – проворные живые блестки, которые, будто аквариумные рыбки, перемещались с места на место, скользили по воде, пропадали и возникали вновь: эта веселая игра, вызывающая в душе легкую грусть, означала приближение вечера. Софья Федоровна заметила еще в прошлый приезд на Капри: хотя солнце стояло еще высоко и день находился в разгаре, а море уже начинало дорого золотиться, готовилось к ночи. Она снова промокнула платком глаза.

– Бедный папа! И Саша... Как он там, на своем страшном, холодном Севере?

Она подняла взгляд, всмотрелась в небо, будто стараясь отыскать там что-то дорогое, близкое, нужное, но ничего не разглядела и вновь вздохнула. Несмотря на высокое свое происхождение, она привыкла к трудностям, впрочем, высокое происхождение у нее было лишь по линии матери – маршал Миних, Максим Берг, наголову разбивший Фридриха Великого [22]в Семилетней войне, [23]учитель Суворова, а по линии отца происхождение было самое обычное – священники в нескольких поколениях. И покойному ее папеньке Федору Васильевичу Смирнову также надлежало стать священником, но он взбунтовался и из бурсы ушел на юридический факультет Московского университета.

Юристом Федор Смирнов оказался от Бога, в студенческие годы его даже называли молодым Сперанским, [24] – иначе он вряд ли взял бы в жизни такую высокую планку и стал действительным статским советником. Недаром прежняя фамилия отца была Гомеров, но потом неудобный для русского слуха Гомеров преобразовался в Омирова. [25]А Гомеров – это от Гомера, умного человека.

Отец ушел из жизни, оставив двенадцать детей, Софья Федоровна была одиннадцатой. Она никогда не считала себя белоручкой, умела работать, умела «держать удар», как говорят кулачные бойцы.

Странные сюжеты иногда выстраивает жизнь. Ее предок по материнской линии, любимец Екатерины фельдмаршал Миних, [26]взял в плен крупного турецкого генерала Колчак-пашу, предка Саши Колчака. Это Колчак-паша и Миних были злейшими врагами. А она, находясь в прямом родстве с Минихом, собирается выйти за потомка Колчака.

Эх, Саша, Саша...

При упоминании его имени у Сони в висках начинает дергаться крохотная нервная жилка, и следом в ушах возникает тихий звон. То ли колокольный это звон, то ли звень телеграфных проводов, то ли гуд крови – не понять. Сашу Колчака она любит.

Скоро они поженятся. Она разделит с ним все тяготы его офицерской жизни, будет с ним везде, куда бы ни забросила его судьба – если понадобится, будет рядом с ним даже на миноносце, хотя, как известно, женщин на боевые корабли не пускают: по странному, невесть кем изобретенному уставу это не положено. Плохая, дескать, примета...

Солнце неожиданно клюнуло вниз, враз, в несколько секунд опустилось, коснулось макушек кипарисов, высветило головки цветов, каждый цветок обратив в небольшой фонарик, которые напомнили ей фонари вокруг Смольного института в Санкт-Петербурге. Там, в Смольном институте, на балу, который институт проводил вместе с Морским корпусом, она познакомилась с юным стройным фельдфебелем роты морских кадетов Сашей Колчаком.

Саша был первым учеником среди своих товарищей. Через год – в девятнадцать лет – он стал мичманом. [27]Соне к той поре исполнилось семнадцать. Господи, как давно это было!

После окончания кадетского корпуса Саша Колчак ушел в плавание на новеньком, только что снятом со стапелей крейсере первого ранга «Рюрик», [28]доплыл до Дальнего Востока и провел там, на краю земли, целых четыре года. Лишь в 1899 году, уже будучи лейтенантом, он вернулся в Кронштадт и вскоре попросил перевести его на службу в Императорскую Академию наук: там готовилась экспедиция на Север. Саша очень хотел принять в ней участие.

Мир на стыке двух веков – девятнадцатого и двадцатого – серьезно заболел Севером. В «белое безмолвие», как газеты стали выспренно величать это царство льда, морозов, снега и бешеных ветров, потянулись одна экспедиция за другой.

Софья Федоровна невольно вздохнула: если бы не Север, они бы с Сашей давно соединили свои судьбы. А так – увы: две зимовки – на Таймыре и Новосибирских островах, летом – работа по намеченным в зимнюю пору маршрутам... Да еще – редкие письма от него. И неожиданный подарок, самый необычный из всех подарков, что только могут быть: Саша назвал ее именем мыс на острове Беннета...

Солнце снова сделало резкий нырок вниз, словно ему было тяжело держаться на небесах, земная твердь силой тянула его к себе, требовала: «Пора и честь знать!» – и могучее светило, как ни сопротивлялось, не нагляделось еще на здешние красоты, вынуждено было подчиниться.

Тени, отбрасываемые деревьями, потяжелели, обрели некую недобрую суть, словно в них могли прятаться злые басурмане, [29]травы поникли, свет, горевший в цветочных фонариках, погас.

Запахло орхидеями. Их дух пьянил, словно старый мед, из которого древляне [30]готовили веселящие напитки, – он исходил от земли волнами, тек вверх, заставлял кружиться голову, рождал в груди сладкое щемление и легкие, совершенно невесомые, схожие с воздухом слезы – нет цветов более таинственных, более красивых и более нетрезвых, чем орхидеи.

А здесь, на старой ухоженной территории, орхидеи росли редкостные. Хозяин для любимых цветов даже построил специальную теплицу: орхидея – растение нежное, перепадов температуры не любит, из всех состояний природы признает только одно – теплое. В теплице водились даже дисхидии – так называемые двулистые орхидеи, очень редкие. Диво природы. Устроенные, кстати, очень разумным образом: одни листья у таких орхидей обычные, плоские, мелкие, будто бы выжаренные солнцем, другие – крупные, лопушистые. Эти свернутые наподобие свиного уха листья накапливают в себе влагу, и внутри у них кустятся, распускаются корни. Вот такое удивительное и умное растение. С цветками невероятной красоты.

Есть редкостные орхидеи, которые цветут целых девять месяцев в году, а есть такие, которые не цветут девять лет, а потом вдруг выкидывают по двадцать-тридцать цветоносов сразу, и тогда одно такое растение способно заменить целый сад.

Она пыталась представить себе, где сейчас находится Саша Колчак, что и кто его окружает, какие люди. Лицо ее замкнулось, губы дрогнули и сжались – Софья Федоровна пробовала перенестись в дальнюю даль, к своему суженому, но это не получалось, словно в полете она натыкалась на некую прозрачную стену и откатывалась в мыслях назад, сюда, на Капри, на благословенную теплую землю, к орхидеям, горлицам и кипарисам.

Саша Колчак был человеком Севера, любил то, чего она боялась, – холод, лед, странствия в заснеженных скалах, Соня же Омирова была человеком юга. Но, несмотря на эту разницу, они обязательно должны были соединиться, он и она...

– Здесь продуктовое депо, ваше благородие, здеся, Александр Васильевич. – Бегичев ткнул красной, ошпаренной ледяной водой рукою в берег, в прикрытые белесым пухом, изможденные, в морщинах-щелях скалы.

Колчак сверил это место с пометками, нанесенными на карту, вспомнил, как сам карабкался в прошлом году на здешние каменные кручи, и устало наклонил голову:

– Причаливаем.

Железников уперся ногами в борт, прихватил рукой нижний конец паруса, загнул его, но полотнище, только что покорно

ловившее ветер, вдруг взбунтовалось, залопотало по-лешачьи, захлопало краями. Железников, руки которого были, как у Ивана Поддубного, [31] – пятаки свободно гнул, будто корье какое, – засипел, потянул веревку на себя, перебарывая парус, и тот сник. Нос вельбота спокойно и легко вошел в горло узкого длинного канала, дугою разрезавшего лед подле берега.

Часть канала, до изгиба, они прошли по воде, а вторую часть – отрезок до заиндевевших, покрытых то ли туманом, то ли снеговой моросью, то ли вообще слизью, сброшенной с неба и скал, – пришлось одолевать по льду. Другого пути не было – только так: надрываясь и хрипя, тащить бот за собою на полозьях.

На это потратили целый час. Когда повалились на берегу на камни, чтобы отдышаться, привести в норму легкие, сердце, изгнать из ушей заморочный гуд, Бегичев приподнялся на льду, взмахнул рукой, будто подбитый тюлень, и предупредил:

– Медведем пахнет. Очень близко медведь ходит. Держите, мужики, кто-нибудь винчестер наготове.

Старый якут Ефим приподнял седоватую, будто присыпанную солью бровь:

– Однако, правда, – есть медведь.

У Колчака заныло сердце – уж не на продовольственный ли склад забрел криволапый?

Оказалось, забрел. Медведь был старый, грязный, с длинными волосяными лохмами, отваливающимися от шкуры, с лысой, как у старого конторщика, головой и мутными, в сладкой слизи глазками. Он сидел, будто человек: на заднице, вольно раскинув лапы и пьяно раскачиваясь из стороны в сторону.

Густо облепленные воском консервные банки – сотни три – медведь раскидал вокруг себя, будто камни, – играючи, подобно несмышленому ребенку, которому на глаза попались забавные кругляшки – очень хорошо катаются; солонину – несколько ящиков, запаянных в цинк, – также отшвырнул подальше, отбросил еще кое-что не понравившееся – рваные мешки с мукой, несколько железных бутылей с керосином, а вот полсотни банок, также густо обваренных жидким воском, подгреб, наоборот, к себе.

– Что это он? – заинтересованно спросил Колчак, который присматривался ко всякому полярному зверью, изучал повадки, хотя и не считал это главным в своей работе. Зверьем в прежних экспедициях всегда занимался Бируля – зоолог-наблюдатель Бялыницкий-Бируля, человек мягкий, доброжелательный, требовавший от всех членов экспедиции, в том числе и от педантичного, сурового Толля, уважительного, на «вы», отношения к зверью. И Колчак, который раньше рассматривал

арктическую живность только через прицел винчестера, изменил взгляд на братьев наших меньших – ныне старался больше наблюдать, чем стрелять. Стрелял же в самых необходимых случаях, когда не было выхода или кончилась еда.

– Хрен его знает. – К Колчаку подсунулся Бегичев, выставил перед собой ствол винтовки. – Тю-тю-тю! Весь склад раскидал, кривозадый!

Медведь, почувствовав людей, громко рыкнул, но в их сторону не то что не повернул головы – даже не покосился, ловко выхватил из-под себя банку, подкинул ее в воздух, как цирковой фокусник, перехватил лапами, приладился получше и, закряхтев натуженно, сипло, с пуком, невольно вырвавшимся из-под широкой лохматой задницы, надавил на банку с двух боков.

Банка лопнула с тугим звуком. На лапы медведю выбрызнула белая густая жидкость. Косолапый заурчал от удовольствия, зафыркал, запричмокивал тубами, смешно вытягивая их в хоботок и проворно слизывая с лап сладкую белую гущу.

– Что это? – вновь спросил Колчак.

– Не пойму... Кажется, сгущеное молоко жрет. – Бегичев отер кулаком глаза. – Во, вражина! – произнес он беззлобно. – Может, все-таки пощекотать его из винчестера? – Бегичев тронул рукой ствол ружья, которое держал в руках Колчак.

– Не надо.

Медведь продолжал урчать. Он что-то пришептывал, бормотал про себя, лязгал банкой, давил ее лапами, облизывал длинные черные когти, схлебывал с губ слюну, старался извлечь из банки каждый засахаренный комочек, каждую капельку тягучего белого лакомства, хрипел и стонал – звуков этот медведь рождал, как целый духовой оркестр.

Опустошив банку, он оглядел ее сожалеючи, прохрюкал что-то, словно передвинул на счетах очередную костяшку, вычеркнул оприходованное из общего числа и, не глядя, швырнул ее за спину.

Банка с грохотом покатилась по обледенелым черным камням. Медведь тем временем ловко подхватил еще одну жестянку, крутнул в воздухе, поймал и, закряхтев, будто мужик, соображающий, как же лучше поступить, приладился к ней лапами. Банка с тугим треском лопнула.

– Пока он не съест всю сгущенку, отсюда не уйдет, – сказал Колчак.

Держа винчестер наизготовку, он вышел из укрытия.

Медведь покосился на лейтенанта, замер на мгновение, будто соображая, как быть дальше, потом согласно мотнул головой, примиряясь с присутствием людей, и проворно забренчал,

залопотал языком дальше, вылизывая из жестяных складок сладкую молочную гущу.

Стараясь не обращать внимания на медведя – известно ведь, что косолапые не выносят человеческого взгляда, – Колчак поднял с камней одну банку. Из тех, что медведь отшвырнул от себя. На банке через слой воска проглядывала маркировка: большая, с выпуклыми гранями, буква «М», что означало «мясо говяжье». Поднял другую банку – в ней также находилось говяжье мясо: сквозь воск также проступала буква «М».

Колчак хорошо помнил, как в позапрошлом году они вместе с Толлем закладывали это продуктовое депо, помнил, что конкретно они оставили тут. Консервы были в основном американские – говяжья тушенка в длинных ребристых пеналах, – такой тушенки было немного, всего тридцать «пеналов», ее можно было определить и без маркировки, говядина с пряностями, помеченная буквой «Г», мясо свиное с пряностями «МС», каша гречневая с ливером и салом, обозначенная просто, одной буквой «К», масло топленое – «МТ», молоко сгущеное, сладкое «МС»... Все банки, кроме тридцати американских пеналов, были совершенно одинаковые, похожие друг на друга, как сестры-близняшки, только одно отличие имелось у них, но в нем этот лохматый, со слезающей, омолаживающейся шерстью зверь никак не мог разобраться – буквы маркировки.

Однако из всех банок он выбрал самые нужные, со сгущенкой, остальные не тронул. Как, каким способом он через жесть, через воск отличает, что конкретно есть в банке? Нюхом? Неужели нюх у него настолько тонкий, что медведь способен учуять то, что находится под железом?

Лейтенант швырнул опустошенную банку в снежную прогалину, лежавшую между двумя каменными плахами. Продукты, конечно же, надо собрать, хотя медведь будет против... Как тут быть? Пристрелить? Нельзя. Да и жалко: и без того человек бывает очень жесток к тем, кто здесь живет, любой спор со зверем обращает в свою пользу нажатием пальца на курок. Колчак и сам раньше поступал только так, но потом, поняв, как трудно здесь живется «братьям нашим меньшим», как туго приходится им в лютую стужу, когда лапы примерзают ко льду, а с дыханием из ноздрей брызгает кровь лопнувших легких, отмяк и стал смотреть на северных зверей иначе.

Дело доходило даже до того, что когда заболевала ездовая собака, он не давал ее стрелять – а вдруг выживет? Однажды он повздорил на этот счет с самим Толлем. Толль смотрел на него недоуменно, как и погонщики-якуты: так было всегда – заболевших собак убивали. Это проще и дешевле, чем их лечить,

выхаживать, снова ставить в упряжку – так было раньше, так будет впредь. Колчак все– таки одолел Толля, уговорил его. И отчасти был прав: шесть ездовых псов из одиннадцати заболевших выжили.

Точно так же он перестал палить в тюленей и нерп, в песцов и медведей: и не только потому, что жалко, он понял, что северного зверя выбить очень легко, но вот ведь незадача – другой-то не разведется. Кроме того, неожиданно объявилось вот какое обстоятельство: несмотря на суровые условия, природа здешняя оказалась очень нежной. Хрупкой. Такой хрупкой, что временами на нее и дышать-то было боязно. Отпечаток тяжелой неаккуратной ноги, выдавившей в ягеле лунку, сплющившей живую ткань, – этот след будет мертвым чуть меньше, лет десять, но все равно десять лет – это срок огромный… Что уж говорить о следах от костров – им зарастать по меньшей мере лет восемнадцать.

Навалится народец на Арктику числом побольше – ничего тут не останется. Только лед да голые камни.

К Колчаку боком, боком, будто краб, не отрывая взгляда от медведя – хоть и добродушный на первый взгляд дядя, мирный, а все может случиться, вдруг в следующую секунду ему взбредет что-нибудь в голову, он вскинется, в одно мгновение по воздуху переместится к людям, посшибает головы, – придвинулся Бегичев.

– Ваше благородие Александр Васильевич, может, уложим мерзавца?

– Не надо. Судя по числу банок, Толль здесь не был. Нужно поискать следы кругом. А медведь… Пусть пока лакомится косолапый. Понадобится прогнать его – прогоним. Выстрелами. Проблем не будет, Никифор Алексеевич.

Медведь тем временем выхватил из-под широкого мохнатого зада еще одну банку, легко, будто фокусник, полвека занимающийся изящным обманом, крутнул ее в воздухе. Банка неожиданно игриво сверкнула боками в мутноватом луче солнца, пробившемся сквозь белесую хмарь, и исчезла в широкой медвежьей лапе, как в кошельке спряталась. Медведь понюхал ее и, приладившись второй лапой, коротко и сильно надавил.

Банка с хрустом раскололась на две половинки: оловянная блескучая пайка оказалась непрочной. Медведь заурчал довольно, вновь заприхлопывал языком, завздыхал часто – век бы одну сгущенку только и ел, ничего больше не признавал, на людей он по-прежнему не обращал внимания.

– То ли непуганый, то ли дурак, – с удивлением произнес Железников. – У меня же на руках ружье, бабах – и нету дурака.

– А он хоть и без ружья, а все равно – вооруженный. Если

захочет что сделать с нами – сделает. И ружье может не спасти. Опасный зверь. – Бегичев аккуратно, боком, настороженно оглядываясь, обошел медведя, поднялся на крохотное плато, выстуженное ветром до лакированной глади, в лицо ему ударил жесткий, пахнущий льдом ветер, выбил мелкие частые слезки. Бегичев, стерев их кулаком, пробормотал недовольно: – Зима по календарю еще не наступила, а ею вон как крепко пахнет. Не только слезы, а и дух изнутри вышибает.

Ковырнул носком сапога голыш, впаявшийся в мерзлый снег, – показалось, что не голыш это, а отколотый бочок какого-то измерительного прибора, в душе шевельнулось что-то беспокойное: а вдруг это действительно отколотая эбонитовая штуковина от прибора, утерянного бароном? Нет, это был обычный, с осклизлыми боками черный голыш.

Разбившись по направлениям, каждый пошел в свою сторону, настороженно, до ломоты в глазах вглядываясь в землю – в каждый предмет, в каждый лохмот мха, в каждый окатыш, – а вдруг возникнет след пропавших людей.

Из серой наволочи посыпала мелкая, клейкая крупа, тихий, вкрадчивый звук ее рождал в душе холод – и без крупы было холодно, а этот мерзлый влажный сахар еще больше добавлял холода. Бегичев поднял капюшон плаща, вгляделся в серое, исчерканное падающей крупой пространство, засек слева размазанный промельк – это по осклизлым камням шел Колчак, а вот кто шел за ним – уже не было видно, все скрыла серая мерзлая мга, справа тоже никого не было – Бегичев шел крайним.

«Это же край краев земли, – толкнулась в сердце тоскливая мысль, – ничего и никого отсюда не видно. И нас не видно. Погибать будем – никто не выручит, не протянет руку. Кричи отсюда, не кричи – все едино, не докричишься никогда. Вой, не вой – не довоешься. Дальше этого края – холодная бездна, ад». Бегичев шмыгнул носом, вновь покосился на Колчака.

Тот шел в туманном, размытом облаке крупки едва приметный, неторопливый, уверенный в себе – Бегичев завидовал уверенности лейтенанта... Не знал Бегичев, что за внешней невозмутимостью, спокойствием Колчака, неразговорчивостью и холодом тоже кроются сомнения, а он сомневался во всем – и был прав, что сомневался. Безоговорочные истины – наперечет, и все они давным-давно открыты. Этому Колчака учил барон Толль, это лейтенант хорошо понимал и сам.

Поиски ни к чему не привели: Толль здесь не был.

Колчак помрачнел еще больше, темное лицо его будто обсыпало порохом.

– Ну что, ваше благородие Александр Васильевич? – спросил

Бегичев.

– Будем искать дальше. – В голосе Колчака просколъзила болезненная досада: он не понимал, как могла исчезнуть целая экспедиция, ничего не оставив после себя – нич-чего, ни единого следочка. Ни клочка бумаги, вмерзшего в лед, ни пустой консервной банки, ни просто отпечатка ноги, втаявшего в лед. Так ведь не бывает, чтобы ни единого следа...

Он засунул руку под брезентовый плащ, под старый мятый китель, ощутил собственное тепло и, морщась, помял пальцами левую часть груди, там, где находилось сердце.

Спустились вниз, к раскуроченному продуктовому депо. Медведь, как и прежде, сидел на старом месте, покосившись на спускающихся по обледенелому каменному склону людей, он выдернул из-под зада очередную банку...

Колчак остановился, вытащил из кармана часы. Щелкнул крышкой. Время было уже вечернее. Через пару часов надо будет определяться на ночлег.

Он глянул в небо. Солнце холодным белесым зраком, похожим на бельмо, равнодушно посматривало на них, дивилось тщетной суете этих людей, одолевающих усталость, боль, самих себя, пытающихся кого-то или что-то найти в этом страшном «белом безмолвии». А чего искать? Самих бы не потерять. Пропасть здесь – плевое дело, совершенно ничего не стоит. Вон якут Ефим, на что уж бывалый человек, и тот с ужасом посматривает на небо, молится – боится узкоглазый...

Колчак подождал, когда медведь справится с банкой, и резко вскинул винчестер, передернул помповый затвор, загоняя патрон в ствол, и в ту же секунду выстрелил вверх.

Звук выстрела ударился в скалы, рассыпался звонким горохом, медведь испуганно вскочил, завертел большелобой хищной головой, Колчак передернул помпу винчестера еще раз и вновь выстрелил. Медведь подпрыгнул, поймал взгляд стрелявшего человека, прорычал что-то громко, мощно, стараясь одним духом своим сбить его с ног, но не тут-то было: в следующую секунду грозное рычание обратилось в слабый задавленный сип, медведь ошалело покрутил головой, не понимая, как же это человек не боится его, когда все в Арктике избегают с ним встречи, опускают глаза и стараются уйти в сторону: он здесь царь, он и больше никто, – и оттого, что плюгавые двуногие существа не хотят понять эту простую истину, медведю вдруг сделалось страшно.

Вновь передернув помпу затвора, Колчак выстрелил в третий раз. Медведь сжался. Над головой у него образовался, опасно навис огромный лохматый горб, сделав мощное тело зверя

уродливым, перекошенным. Опустив голову, он вновь помотал ею из стороны в сторону, словно хотел вытряхнуть из ушей громкий резкий звук, взревел коротко, глухо, окутываясь сырым серым паром, покосился на Колчака, и лейтенант вдруг увидел, что на глазах у медведя показались слезы.

Он ожидал, что там появится совсем иное выражение – уж не обиды, во всяком случае, не слез. Ярости, ненависти, бешенства, еще чего-нибудь, еще, от чего по коже бегут мурашки, но только не детской слезной обиды.

– Уйди, дурак, – сказал ему Колчак. – Мы тебе все сладкие банки оставим, ни одной не возьмем. А сейчас – уйди!

Он говорил так, и слова произносил таким тоном, будто медведь понимал человеческую речь. Все-таки, видимо, не слова бывают важны в речи – важна интонация. Медведь, неожиданно понурив голову, поднялся и медленно двинулся по ложку вниз, к воде, туда, где веревками к камням был привязан вельбот.

– Он нам посудину не раздолбает? – обеспокоился Бегичев.

– Не раздолбает, – заверил его Колчак, продолжая следить за медведем: вдруг тому действительно что-нибудь взбредет в голову, и он пойдет куролесить, месить снежник, камни, людей, консервные банки, – но нет, медведь вел себя мирно, что-то порыкивал себе под нос – то ли ругался, то ли жаловался, ну точно подвыпивший мужик, да сокрушенно мотал головой, – жаль, сладкое не дали доесть.

Пока люди приводили в порядок склад, он сидел в сиротливой позе в стороне, горестно свесив с камня лапы и наклонив набок голову, не выпуская из вида ничего, ни одной детали, ни одной оставленной на снегу банки, ни одного человека. Колчак, оглядываясь на обмякшего медведя, растекшегося жидкой бескостной тушей на камнях, посмеивался – этот сладкоежка со сплюснутыми глазами ему нравился, а вот Бегичеву – наоборот, боцман предпочитал настороженно отгораживаться от медведя винтовочным стволом – мало ли чего.

Консервы – говядину, свинину, кашу, масло, а также солонину – сложили в глубокой каменной нише, сверху завалили тяжелыми каменными булыжинами, которые медведь вряд ли возьмет – даже во всем сомневающийся Бегичев и тот признал, что с тяжелыми камнями этими медведь в одиночку не справится, а позвать на подмогу себе подобного, такого же задастого и сильного, он вряд ли сообразит (хотя кто знает), банки со сладкой сгущенкой оставили на плоской каменной плите, как Колчак и обещал медведю-сладкоежке. На видном месте, чтобы медведь не совал свой длинный свиной хрюк в разные щели, не губил последний провиант.

Бегичев сбегал на вельбот, к своему имуществу, достал из бумажного ящика банку белой масляной краски, кисточку, хотел было нарисовать на одном из камней опознавательный квадрат, но Колчак остановил его:

– Другая краска есть?

– В смысле? – Бегичев наморщил лоб.

– Ну, другого цвета?

Морщин на лбу боцмана стало еще больше, он глянул в сторону, помял двумя пальцами нижнюю губу, соображал, зачем же нужна другая краска.

– Кажись, клал одну банку, ваше благородие. Красную, либо синюю, – ответил он сдержанно, хотя точно знал, что клал банку красного сурика – для того, чтобы подправлять, защищать от ржавчины покалеченные железные части на корпусе вельбота.

– Красная краска – это то, что нужно, – сказал Колчак, – А еще лучше – оранжевая. Метка должна быть видна издали, с моря. Белая сольется со снегом, ее в двух метрах не разглядишь. И если не будет карты под рукой, запросто промахнешь мимо. А это уже вопрос жизни и смерти, Никифор Алексеевич. Особенно для заблудившегося голодного человека.

– Верно бабушка мне говорила: век живи – век учись, – удрученно пробормотал Бегичев. Колчак был прав – прав в деле, где боцман съел собаку, возразить лейтенанту было нечем, и Бегичев вновь поспешно скатился вниз, к вельботу.

Банка сурика находилась на месте, он проворно подхватил ее и, тяжело дыша, сплевывая под ноги тягучую слюну, поднялся наверх, показал лейтенанту:

– Вот, ваше благородие Александр Васильевич.

Колчак мельком глянул на банку, махнул рукой:

– Годится!

– Чего нарисовать лучше на камне – квадрат или круг? – спросил Бегичев.

– Рисуй круг. Пусть среди квадратных камней появится идеальная геометрическая фигура.

– Чего-то я сомневаюсь, чтобы круг был идеальной фигурой, – сварливо пробормотал Бегичев. – А квадрат? Квадрат, он ведь тоже идеальный.

– Идеальный-то идеальный, но только глазом все время за углы приходится цепляться. А то и одежкой.

– Не-е, квадрат тоже ничего фигурка, ваше благородие Александр Васильевич, – продолжал кропотать [32]боцман, вскрывая банку и окуная в нее толстую кисть с торчащими во все стороны остьями щетины. – Мужская фигура.

– Ага. Цирковой борец. Давным-давно, Никифор Алексеевич,

жил философ Пиррон. [33]Его учение было построено на сомнении. Он сомневался во всем. В том, что вода – это вода, а небо – это небо, сомневался в научных теориях и системах доказательств. Когда он умер, то ученики поставили ему на могиле памятник и на памятнике написали, знаете что?

– Никак нет.

– «Здесь лежит Пиррон, ему кажется, что он еще не умер». Так и вы, Никифор Алексеевич, что-то начали во всем сомневаться. Еще древние, еще великий математик Пифагор доказал, что круг – идеальная геометрическая фигура... А вы говорите – квадрат. В таком разе, почему не эллипс, не треугольник, не восьмигранник?

Вместо ответа Бегичев покрякал удрученно – лейтенант задавил его – и кистью начертил на камне широкий красный круг. Колчак отступил на несколько шагов.

– Во, это другое дело!

– Внутри круга краской замазывать?

– Обязательно! – Колчак подхватил одну из банок – ясак, оставленный медведю, подкинул ее. Банка была тяжелая, холодная, увертливая, она грузно шлепнулась в руку, Колчак едва удержал ее – банка отбила пальцы – и, спустившись немного по ложку вниз, кинул медведю:

– Ешь!

Медведь дернулся было на камне, туша его вареным салом колыхнулась, сквозь мех проглянула, высветившись восково, старая желтая кожа, маленькими сплюснутыми глазками медведь проследил за полетом банки – Колчак кинул ее с силой, далеко, и когда она подкатилась к его ногам, вновь дернулся, вытянул, как гимнаст, заднюю лапу и ловко подгреб ее к себе...

В следующую минуту он уже довольно урчал, слизывая с лап сладкую гущу, чмокал губами, щелкал языком, бормотал что-то про себя.

– Этого медведя можно сделать ручным, – сказал Колчак.

– А зачем он нам?

– Вот именно – зачем? Ручной медведь – большая обуза.

– Куда будем дальше держать курс, ваше благородие Александр Васильевич? – Бегичев, справившись со своей работой, теперь, картинно откинувшись назад, будто живописец, любовался ярким алым пятном, украсившим камень.

– На север, – сказал Колчак. – К Земле Беннета.

На север пошли ходко – за «казенный счет», как языкасто подметил Бегичев: с юга подул ветер, Железников поднял парус, и вельбот будто поплыл сам по себе, на хорошем машинном ходу, наваливаясь тяжелым телом на мелкие льдины, со свинцовым шорохом разгребая шугу, лавируя между крупными льдинами,

вспугивая редких тюленей и моржей. Тюленей можно было не бояться – это тварь некрупная, ласковая, не вреднее зайца характером, так и хочется при виде иной симпатичной морды с сахарными усами потянуться за морковкой и сунуть ее в улыбающуюся пасть, а вот моржи, особенно самцы, охраняющие потомство, были свирепы. Пара этих сильных громоздких зверей, разозлившись, могла запросто превратить вельбот в щепки, поэтому ухо надо было держать востро. И глаза прикрывать от ветра, чтобы не слезились. Колчак сам сидел на руле, изредка уступая место Железникову.

Команда отдыхала. Отдыхал, распустив безбородое, безусое, гладкое лицо, работящий якут Ефим, отдыхали поморы.

На открытых местах, там, где не было ни шуги, ни льда, вода гулко шлепала в днище вельбота, шипела, взрывалась белыми пузырчатыми султанами; когда в нее попадал луч солнца, становилась видна глубина – бутылочно-бледная, страшноватая, порою в глубине этой возникала рябь – шел косяк, и, видя рыбу, Бегичев радовался, как ребенок:

– Есть жизнь в студеном море!

Двенадцать дней до этого благословенного ветра им пришлось идти на веслах, выкладываясь так, что воздух перед глазами становился кровянисто-красным, а на черенках оставались лохмотья кожи; там, где льдины зажимали вельбот, не давали прохода, приходилось впрягаться в постромки, выволакивать бот на лед и тащить его на себе, задыхаясь, прислушиваясь к тоскливому звону жидкого обескислородненного пространства, давя в себе усталость, нытье разбитых, скрученных холодом мышц, давя печаль, которая на Севере мертво прилипает к человеку и ни вытряхнуть ее, ни выбить, ни выжечь из себя – она давит, давит, давит.

До того может додавить печаль, что человек, не выдержав, уткнет ствол ружья себе в кадык и выпустит заряд картечи либо литую пулю пустит себе в голову, снизу вверх, по косой, через всю черепушку. В тяжелой, изнуряющей работе разные мысли приходят. В большинстве своем – черные, тоскливые.

Когда проходили поверху затор и спихивали бот в воду, становилось легче – и физически, и душевно: на воде все воспринимается по-иному.

Ветер туго бился в парус, Железников от радости только руки потирал:

– Вот хорошо-то как! – и повторял удачную фразу Бегичева: – За казенный счет плывем!

Колчак говорил мало – сосредоточенно посматривал через окованный железом нос вельбота в холодную зеленую воду и

молчал: отвлекаться, находясь на месте рулевого, было опасно – вдруг из бутылочной глуби проглянет иссосанный бок подводной ледяной скалы, айсберга, прикипевшего своим многотонным задом к океанскому дну либо просто плывущего неведомо куда, неведомо на чью погибель; можно наскочить и на приглубый лед, который за века спекся в монолит, стал тверже камня, – это верная смерть.

– Вот повезло, – продолжал восторженно восклицать Железников, – без всякой натуги плывем, не корячимся, руки не ломаем.

Якут Ефим, как и командир, молчал, посасывал коротенькую глиняную трубочку, окольцованную медной набойкой, да равнодушно посматривал за борт. Железняков, глядя на его безволосое лицо, удивлялся:

– А ты, Ефим, чего так к морю, к воде пристрастился? Ведь вы же, самоеды, [34]в морских делах ни бэ, ни мэ. Тундра, олени, волки – это ваше дело, но чтоб в матросы – ты первый, братка! Не только во всей Якутии, а и в Самоедии первый!

На такие расспросы Ефим внимания не обращал, отмалчивался, курил трубку да тихонько поплевывал по сторонам, словно пес, который метит свою территорию. Иногда за целые сутки он не произносил ни одного слова.

– Ну, ты, братка, и даешь! – изумлялся Железников. – Язык так может прирасти к нижней губе, и тогда – все! Потеряешь речь. Глухонемым останешься на всю жизнь.

Ефим молчал. Колчак тоже молчал. Вельбот под парусом ходко двигался на север, только студеная вода по-кошачьи шипела под днищем, да о борта стукались мелкие твердые льдины.

Впереди из воды неожиданно выметнулось ловкое серое тело, пронеслось по воздуху метров пять и почти беззвучно вошло в воду. За первым тяжелым телом выметнулось второе, взбило высокий фонтан брызг – водяной сноп долетел до вельбота – и врезалось в стеклянную гладь моря.

– Свят, свят, свят! – охнул Железников и на всякий случай перекрестился.

– Белухи, [35] – спокойно пояснил Бегичев, – северные дельфины.

– Очень умные животные, – не отрываясь от руля, подал голос Колчак. – Я вообще подумываю о том, чтобы подать в Главный морской штаб бумагу об использовании их в морском деле. Из белух могут получаться отличные подводные минеры, уж не говоря о том, что они могут спасать тонущих людей.

– Только белухи, ваше благородие Александр Васильевич? А

черноморские дельфины для этого не годятся?

– Годятся. Но у белухи лучше развито чутье, эхолот помощнее, – Колчак усмехнулся, сравнение показалось ему забавным, – мозгов побольше, она посильнее будет физически, умеет плавать под льдами, послушнее и живет дольше, чем черноморский дельфин. Прирученная афалина, [36]конечно, тоже может много сделать, но белуха, думаю, сделает больше. И качественнее.

Вода перед носом вельбота вновь взорвалась серебристым снопом, послышался протяжный горький стон, в воздух взвилась белуха и, проскользив несколько метров по пространству, мощным ударом разбила взбугрившуюся на ровном месте волну.

За первой белухой из воды выскочила другая, веретеном ушла вертикально вверх, повисла на несколько мгновений, как огромная рыбина на леске, ошалевшая от того, что увидела людей, которых раньше никогда не видела, как не видела ни вельбота, ни тряпки, туго натянутой на шест, – все белухам было внове, и они радовались этой новизне. Протяжный горький стон, словно перекликаясь с первой белухой, издала вторая.

– Может, они от касаток бегают? – предположил Бегичев.

– Касаток белухи не боятся, – ответил лейтенант тихо, закашлялся. Прислушался к своему дыханию: ему показалось, что внутри сыро хлюпают, плавая в простудной мокроте, легкие, шамкает там что-то по-лешачьи, скрипит, шлепает – звуки эти, свидетельствующие о хвори, были неприятны. Если бы рядом находился барон Толль, он обязательно снял бы лейтенанта с плавания и отправил бы в Санкт-Петербург лечиться, но сам себя лейтенант с маршрута никогда не снимет. Да и заменить его некому.

Впрочем, если бы Толль и попытался отправить на Большую землю, то Колчак сопротивлялся бы до конца, не дал бы себя отправить; здесь, в Арктике, короткие летние дни решают все, неделя проволочек, десять дней отсутствия – это провал. Он снова покашлял в кулак. Точно сипит, плавится в легких гной, надо лечиться...

– А раз белухи касаток не боятся, то касатки на них не нападают, – добавил он спокойно, прежним тихим голосом, – нападают только на китов... И расправляются с ними беспощадно. А белуху касатка хоть и пополам перекусить может – на один зуб, ан нет, не удается: белухи, когда вместе, и ловчее, и сильнее, и умнее касаток. Касатки хорошо знают, что белухи обязательно обдурят, обыграют их, потому и не связываются. Касатки очень часто ходят в одиночку, только для нападения на китов сбиваются в стаи, словно волки... Белухи же одиночества не

переносят – предпочитают коллективную жизнь. А коллективное существование рождает коллективный ум. Коллективный ум всегда был сильнее ума индивидуального. Это закон.

Громадная серая белуха в третий раз взорвала воду перед носом вельбота, тяжело дыша, повисла в воздухе, потом снова ушла вниз, затем стремительной торпедой вылетела на поверхность. За первой белухой на поверхности воды показалась вторая. И обе они пошли пластать море, как два стремительных адмиральских катера.

Неожиданно раздался сильный, густой крик, заставивший людей пригнуться. И небо, и вода от этого крика дрогнули, по морю пошла рябь. Железников побледнел:

– Что это?

– Крик белухи, – пояснил Бегичев. Кожа на его щеках так же, как и у Железникова, высветилась, побледнела. – Никогда не слышал?

– Такой – никогда. Плач слышал, стенанья, хрипы, сипение – все это слышал, но такого рева не слышал никогда.

– Белуха этим ревом рыбу глушит, – откашлявшись, пояснил Колчак. Кашель беспокоил его, он не хотел, чтобы подчиненные подумали, что он заболел. Он – здоров, здоров, здоров! Для них – здоров. – Крик белухи часто бывает сродни артиллерийскому снаряду – такой же по силе. Рыба вверх брюхом сразу опрокидывается. Взрослая белуха, между прочим, в день съедает несколько пудов рыбы.

Колчак замолчал. Подумал о том, что крики белух тоже можно использовать в военных целях: белуха может передавать команды в воде на добрый десяток километров. Человек же способен это сделать лишь с помощью гидрофона – специального устройства для усиления звука. Белухе никаких гидрофонов не надо. Но не это главное, а то, о чем уже говорил: белуха под водой может минировать чужие корабли и причальные стенки, надо только обучить... Может доставать со дна упавшие предметы: нырнуть на двести метров и тут же вернуться на поверхность моря для белухи – одно удовольствие. Для человека это – несколько часов мучений, сидение в компрессионной камере, ломота в костях. Определенно, из белух могут получиться отменные ученики-исполнители, которые понадобятся и на севере, и на юге, и на востоке.

На востоке японцы последнее время начали очень важничать, Россию уже не ставят ни в грош, вместе с ними зашевелились и маньчжуры, [37]и китайцы, и Бог знает кто – все разбойники, словом, скопившиеся в том углу беспокойной матушки-планеты.

Если начнется война, ему придется покинуть русскую

полярную экспедицию и вновь уйти на корабль.

Белуха взревела опять, уже в воде; в прозрачной глубине вспух пузырчатый воздушный султан, на поверхности моря раздалось несколько хлопков – как будто лопнули перезрелые луговые грибы-шары, в уши толкнулся вязкий, мощный гул. Невозмутимый Ефим едва трубку изо рта не выронил – такой был сильный звук, – озадаченно покачал головой, но внезапно наступившая глухота не проходила, и он поковырялся пальцем в ухе, потряс головой, пытаясь одолеть звон и глухоту, безволосое лицо его затряслось, и якут невольно подивился тому, что слышал, страшному крику этому, разлепил губы, произнес свое любимое словечко:

– Однако!

...Вельбот шел на север, к Земле Беннета.

Зеленоватый, сколотый по всей высоте лед бывал особенно красив, когда в срезы попадали лучи солнца – внутри ледяных скал тогда что-то оживало, вспыхивало дорого, шевелилось, занимало глаза; зрелище было настолько красиво, что невольно перехватывало дыхание. Колчак зачарованно щурил глаза, прикрывался от света ладонью – можно было обжечь зрачки, – чувствовал, что усталость, делающая все тело вялым, неповоротливым, чужим, отступает, стараясь спрятаться где-то в глубине мышц, в костях, движения становятся легкими. Солнечные лучи, попавшие в лед, обладали, похоже, целебными свойствами. Даже Бегичев, человек опытный, много повидавший, и тот вдруг оторопело замирал, моргал глазами, стараясь сбить с коротких рыжих ресничек внезапно выступившие слезы, и произносил восхищенно:

– О!

В квадратный крепкий парус вельбота по-прежнему продолжал толкаться, дуть южный ветер – он то ослабевал, то, переводя дыхание и набравшись силенок, крепчал. Главное, он не менял своего направления, не рыскал воровато то в одну сторону, то в другую, тянул строго на север. За несколько дней люди пришли в себя, в глазах у них появился живой блеск, саднящие, переставшие разгибаться от непосильных нагрузок руки отмякли, лица украсились слабыми улыбками.

Как-то утром, после ночевки, когда все лениво выбирались из палатки, Железников, сидевший в задумчиво-расслабленной позе на хозяйственном сундучке и любовавшийся розовыми облаками, повисшими над темным срезом моря, вдруг привстал со своего сиденья и критически оглядел своего приятеля Бегичева. Потом ткнул пальцем ему живот:

– Слушай, Бегичев, а ты случайно не забрюхател?

Обычно находчивый Бегичев стушевался:

– Ты что? От кого?

Железников захохотал:

– Да от кого угодно. От безволосого Ефима, например.

– Ну и шуточки у тебя, братка! На плечах не голова, а кусок репы. И как ты можешь такое говорить, а? По шее получить не боишься?

– Шучу, шучу. Это я на тот счет, что без работы ты больно толстым сделался.

Колчак молчал. К подобным выходкам, не требующим ни ума, ни изобретательности, он относился равнодушно.

Под днищем вельбота гулко хлопала вода. Иногда они оставались одни в огромном пространстве – только вода да вода, ни единой льдинки, ни одного островка, ни тюленей, ни моржей, ни белух, и тогда на людей накатывал невольный восторг, который, впрочем, очень быстро сменялся подавленным состоянием: откуда-то изнутри, из глубины наползал страх – липкий, сосущий, противный. Страх этот сковывал тело хуже всякой усталости: отказывали и руки, и ноги.

Люди понимали: если с ними что-то случится, то они будут обречены – помочь им никто не сумеет.

Безрадостное, замученное солнце медленно катилось по ровной небесной дороге, к ночи сваливалось вниз, но за горизонт не заходило – время еще не подоспело, но очень скоро подойдет пора, солнце покинет здешние края совсем, до следующего года, и будет царить в Арктике долгая полярная ночь; сейчас же, повисев немного в грустном раздумье над далекой, чугунно-темной кромкой воды, вновь начинало свой неспешный бег по небу, вызывая невольное изумление, а то и оторопь: когда же светило все-таки спит?

И если на востоке было светло круглосуточно – там всегда сияла жаркая, аккуратно обрезанная полоска света, особенно утром, то на западе уже сгущалась, насыщаясь угольной тяжестью, ночь, пороховые недобрые пятна ночи проступали уже и кое-где в небе, внезапно возникая то в одном месте, то в другом, рождая в душе беспокойство, мысли о том, что мал, ничтожен человек перед громадными холодными пространствами; в конце концов высосут его эти безбрежные просторы, перемелят, и ничего от людей не останется – ни одежды, ни костей, ни лодки, в которой они плывут.

Врастают льды в небо с одной стороны вельбота, смыкаются с облаками, образуя единое целое, врастают с другой, также плотно смыкаясь с воздушной серой ватой, – и нет уже, кажется, свободного места, прохода, куда можно направить лодку, и надо

бы остановиться, но вельбот все равно упрямо продолжает свое движение, только шумит под днищем вода, да костисто хрумкает мелкая шуга.

Ветер увял неожиданно, так же неожиданно, как и возник. Туго натянутый парус, позванивающий железом от напряжения, угас, под днищем перестала хлопать вода, и сделалось тихо. Так тихо, что все услышали довольное сопение Ефима, попыхивающего своей глиняной трубочкой. – Вот и кончились проездные денежки в казенной кассе, – объявил Бегичев, рот у него обметали разочарованные скобки морщин. – Пора переходить на собственное довольствие.

Колчак посмотрел на карту, сориентировался по штурманскому прибору – выходило, что до земли Беннета оставалось плыть немного – если под парусом, со скоростью литерного поезда Николаевской железной дороги, [38]как они шли, – пару суток, если же на веслах, то в три раза дольше.

Он вздохнул: шесть суток – это гудящие руки, измотанное тело и ощущение полной обреченности, за которым наступает отчаяние. Самое худое, что может быть здесь, – отчаяние.

Железняков не выдержал, выругался.

– Погоди, братка, еще не все потеряно, – сказал ему Бегичев.

Он вгляделся в чистый зеленоватый скол ближайшей льдины, схожей с крейсером, торчком выставил перед собой большой палец.

– Ты только посмотри, – протянул он изумленно через минуту, почмокал губами, – ты только посмотри, кум, какие чудеса творятся на белом свете!

Железняков тоже вгляделся в край льдины, схожий с мощным корабельным бортом, щетина на его щеках неверяще затряслась.

– Надо же! – проговорил он тем же тоном, что и Бегичев.

Огромная льдина шла со скоростью едва ли не в два раза большей, чем вельбот. Словно у нее имелся персональный двигатель.

Колчак мельком глянул на льдину, достал из кармана брезентового плаща блокнот, что-то пометил в нем; Бегичев привстал на цыпочки, потянулся, чтобы увидеть запись, – ему хотелось узнать, что же лейтенант зафиксировал в блокноте, ведь наверняка это касается необычной скорости льдины, но ничего не увидел, значки какие-то, и все. Колчак поднял голову, посмотрел на боцмана насмешливо и колко – он все заметил и понял.

– Обычная вещь, – сказал он, – приглубая льдина, [39]на много метров уходит вниз, а там – сильное течение. Вот она и прет, как крейсер. Весла на воду! – неожиданно зычно скомандовал он, и поморы, [40]среагировав на его команду, поспешно разобрали

весла: они поняли, что собирается сделать лейтенант. – Убрать парус, – подал Колчак вторую команду, и Железников бросился скатывать в рулон полотнище.

Льдина, шурша, поскрипывая таинственно, как будто внутри у нее и впрямь работал скрытый механизм, постукивая «железным» бортом своим о бок лодки, уходила на север – в том направлении, куда устремлялся и лейтенант со своими людьми.

– Навались! – зычно, резко скомандовал Колчак, лицо его посветлело от напряжения, в глазах появился азарт, поморы и якут Ефим разом вскинули весла и сделали дружный гребок.

Вельбот пошел рядом с льдиной.

– Еще навались! – вновь скомандовал Колчак, и лодка пошла в обгон льдины.

Они быстро отыскали пологое место – льдину словно бы специально обработала вода, облизала ее своим гигантским языком, – втянули на льдину вельбот, поискали, за что можно было бы закрепить веревку, но ничего не нашли – поверхность льдины была ровной, ни единого пупыря – и решили оставить вельбот незакрепленным: все равно никуда не денется тяжелая, как утюг, посудина с плоским дном. Бегичев подошел к краю льдины, свесил ноги, сплюнул в воду:

– Это ты во всем, Железняков, виноват, это ты все накаркал... Зачем подхватил мое высказывание насчет того, что мы идем за казенный счет? Неверно это, не за казенный счет мы шли... Это была лишь пена на поверхности супа, полуказенный счет, а не казенный. Вот сейчас, братка, мы точно едем за казенный счет. Со всеми удобствами. – Он снова лихо сплюнул в воду, с вкусным хрустом поскреб пальцами золотистую щетину на щеке. Потянулся, выкинув руки в обе стороны: – Хорошо жить на белом свете...

Он был молод, здоров, дурашлив, удачлив. Колчак, глядя на Бегичева, улыбнулся про себя, позавидовал: что дано одному, совершенно не дано другому – вряд ли он когда почувствует себя так легко, раскованно, дурашливо, как Бегичев. Характер не тот.

Плавание на север продолжалось. Через час на льдине разложили костер – в вельботе всегда имелся запас плавника. Как только причаливали к берегу, этот запас обязательно пополняли, Бегичев следил за этим строго, знал, что если однажды не окажется топлива для костра, Колчак взыщет с него, как это уже было однажды, а повторения того, что уже было, Бегичев не хотел. Железников, большой мастер по обедам, сварил пшенный кулеш с мясной тушенкой, потом поставил на огонь закопченный котелок, набитый мелким ледяным крошевом.

– Для чая? – поинтересовался Бегичев. – У нас же чайник есть.

– Нет, не для чая.

– А для чего?

– Увидишь, – расплывчато ответил Железников. – Это суприз.

Через несколько минут он достал из деревянной коробки, которую обычно прятал под широкой лавкой рулевого, среди множества других хозяйственных коробок, десяток небольших синеватых яиц, покрытых мелким крапом, сунул их в котелок.

– Что это? – спросил Бегичев.

– Самое полезное из того, что сейчас можно найти на расстоянии пятисот верст. Бери в любую сторону – хоть на юг, хоть на запад, хоть в обратном направлении. Александру Васильевичу это будет очень полезно. – Железников покосился на Колчака, сидевшего на продуктовом ящике, вытащенном из вельбота. Колчак, сосредоточенно морща темный лоб и жуя губами – привычка эта появилась у него после того, как начали выпадать зубы, – что-то писал в блокноте, нервно подергивал одним плечом и снова жевал. – Потому как в яйцах этих, – продолжал Железников и поднял указательный палец, – свежих, на которых еще не успели посидеть кайры, [41]много всяких пользительных веществ. Очень это помогает, когда человека начинает допекать цинга.

Бегичев, сощурив глаза, посмотрел на Колчака, подумал, что солнце разыгралось в эти часы неожиданно сильно, сильнее обычного, сделалось по-южному ярким, лейтенант запросто может опалить еебе глаза – бумага, снег, наледи, все, что белое, сверкает так, что слезы у одного из поморов, словившего «зайчики», льют из глаз в три ручья, не переставая, – скоро льдина начнет подтаивать от теплых слез.

– Да, свежие яйца для цинготника – лучше лука, – согласился он, вспомнив, как пытался в лечебных целях потчевать Колчака луком. – Главное, чтобы яйца в кипятке не лопнули. Не то вся пользительность из них вытечет.

Но Железников знал, что делал: он яйца опустил в тающий лед, не в воду, если бы опустил в воду – обязательно бы лопнули, улыбнулся понимающе – сам, мол, с усам, – хлопнул Бегичева по плечу.

– Сколько их у тебя тут, – Бегичев приподнялся, стрельнул одним глазом в котелок, – а? – Яйца в котелке сгрудились плотно, будто в кайрином гнезде, защищенном от холода и лютых простреляных ветров. – А?

– Одиннадцать штук. По одному нам, остальные – Александру Васильевичу.

– Нам не обязательно. Все – Александру Васильевичу.

– Все – нельзя. Он не возьмет.

– Чего так? Уговорим! – Брови на лице Бегичева подпрыгнули, он посчитал все правильно: никто в экспедиции, кроме Колчака, пока не проявлял цинготного беспокойства, все, кроме лейтенанта, были здоровы.

– Не уговоришь. Я уже пробовал... Да и повод у меня есть. – Железников привстал, добродушным медведем навис над костром, достал из одного кармана одну бутылку «монополькы», [42]из другого другую. Поставил бутылки на лед. Спросил, прищурившись оценивающе, будто коня торговал у цыган на рынке: – Понял, чем дед бабку донял?

– Неужто...

– Да. Полукруглое число.

– А-а... – Бегичев вновь покосился на Колчака.

– Возражать не будет. Этот вопрос с их благородием уже обсужден. – Железников выразительно пощелкал пальцами, вновь склонился над костром, над закопченным котелком, в котором лежали кайриные яйца.

Это были самые безмятежные часы, проведенные спасательной группой Колчака за всю экспедицию.

Они сидели на льдине, как на неком пароме, посматривали вниз, в пузырчатую воду, пили из оловянных и алюминиевых матросских кружек «монополькы», шумели и точно шли на север – льдина, словно кем-то управляемая, никуда не сворачивала, быстрым своим ходом вызывая восхищение и одновременно опасение – а вдруг этой льдиной командует нечистая сила? Бегичев похохатывал неверяще, скреб пальцами щетину на зачесавшихся, обожженных солнцем щеках и прикладывался к кружке; Колчак, работяги-поморы и Ефим молчали, Железников подыгрывал Бегичеву: то на губах бренчал, теребил их пальцами, исполняя популярную народную мелодию, то рассказывал что-нибудь веселое, то кряхтел и стонал, изображая бабку-инвалидку, форменную ведьму, испортившую ему детство, – от некого внутреннего восторга, подступившего к нему, от внезапной легкости, оттого, что сегодня ярко светило солнышко и крутом безмятежно голубела вода. Море неожиданно обрело звучный, южный цвет, оно все время меняло окраску: было черным, было бутылочно-зеленым, было синим, с чугунным налетом, сейчас стало голубым. День удался.

Железников чувствовал себя удачливым, везучим человеком, способным вброд перейти море, перепрыгнуть через горы, ему хотелось часть своей души – впрочем, чего там часть, всю душу – подарить людям, находившимся на льдине вместе с ним, и он

старался как мог.

Вельбот поскрипывал снастями – он был на этой льдине барином, наездником, уработавшимся до пота, теперь «барин» отдыхал, – светило солнце, шипело, плескалось соленой водой море, бросало в людей тонкие, звенящие, будто стекло, льдинки, заигрывало, веселило душу, и люди отзывались на это веселье своим весельем.

Даже Колчак и тот улыбался, сидя на поставленном на попа ящике, тянулся оловянной кружкой ко всем поочередно, чокался, отпивал немного «монопольки» и снова тянулся кружкой к своим товарищам. Вареные яйца кайры он съел безропотно, вняв утверждению Железникова о том, что «более сильного врага у зубовыпадания, чем кайриные коки, нет», все остальные съели по одному яйцу и были довольны.

Яйца оказались свежие, ненасиженные – Железников не обманул – и по вкусу мало чем отличались от куриных.

– У всех птиц яйца одинаковые, – с видом знатока заявил Железников, потеребил пальцами губу, – вкусом друг от друга не отличаются. Что у ворон, что у перепелок, что у грачей, что у кур. Отличаются только размером.

– Это что ж получается, ты все эти яйца пробовал? – выдернув трубочку изо рта, изумленно спросил якут. – И вороньи, и этих самых... грачей?

– Все пробовал.

– И боги птиц не наказали тебя?

– Как видишь – нет!

– Однако, – пробормотал Ефим и сунул трубочку обратно в рот.

Веселье продолжалось.

Но недаром говорят, что смех к добру не приводит, если человек много смеется – обязательно должно что-то случиться.

До утра решили со льдины не сниматься. Разбили палатку, в лед вогнали костыли, потуже натянули веревки, чтобы палатка не дергалась, не заваливалась, если в ночи вдруг подует ветер и начнет трепать плавающие льды. Внутри палатки установили пару распорок, выколотив для них углубления, чтоб те не скользили, постелили брезент, сверху бросили несколько оленьих шкур, Бегичев на полную силу раскочегарил норвежскую керосинку – жилище получилось уютное.

Спать улеглись довольные – день выдался хороший.

Бегичев укладывался дольше всех, ворочался, вздыхал, сморкался – расчувствовался отчего-то боцман: то ли Волгу свою, с протоками-ериками и многопудовыми осетрами вспомнил, то ли по зазнобе затосковал. Если затосковал по зазнобе, то дело

опасное – соскучившийся мужик может и за винтовку не дай Бог схватиться, сгоряча обязательно начнет стрелять, и тогда беда обязательно опустится на людей.

Пока она витает над головами в пространстве – ничего страшного, просвистит по-разбойничьи над макушкой и исчезнет, но когда приземлится и начнет чистить лапы у чьего-то порога, тогда худа не избежать.

Затосковал боцман по дому своему, по Большой земле, явно затосковал... Колчак относился к такой тоске сочувственно, но ничего Бегичеву не говорил, не успокаивал – предпочитал молчать. А что он, собственно, мог сказать, какие слова? Он и сам находился в таком же положении, как и Бегичев.

Наконец Бегичев улегся, хрустнул костями и успокоился.

Было слышно, как совсем рядом шумит вода, лопается в ней что-то, бурчит, лопочет; вода ведь – тоже живое, все хорошо ощущающее существо, такое же, как и человек. Во всяком случае, в это хотелось верить.

У Колчака ныла щека, ныли зубы – глухо, далеко, очень противно, зубная боль всегда бывает очень противной, но что он мог сделать здесь, за тысячу километров от ближайшего поселения? Похоже, через день-два он потеряет еще пару зубов. Внутри возникла жгучая тоска, обварила его, Колчак вздохнул, прикусил нижнюю губу.

– Ваше благородие Александр Васильевич, – не выдержав, шевельнулся в сером ночном сумраке Бегичев. – Я вот про какую хренотень хочу спросить... Правда ли говорят, что камни – обычные цветастые камешки, которые мы и тут, на севере, находим, способны влиять на человека, изменять его судьбу и вообще даже убить... Верно это?

– Никифор Алексеевич, вы же православный человек, а к православным людям это не имеет никакого отношения. Это все – бесовское.

– Интересно же. – В голосе Бегичева послышались виноватые нотки.

– Говорят, даже мудрый царь Соломон [43]носил перстень с большим изумрудом, считая, что изумруд помогает человеку сохранить здоровье. А изумруд – некоторые считают – главнее всех камней.

– Не брильянт, а изумруд?

– Изумруд, так сказать, главнее бриллианта. У него больше силы. А алмаз либо бриллиант – как хотите, так и называйте – это камень ворожей, колдунов. Изумруд считается камнем богини Венеры и, помимо всех других достоинств, способен отгонять дурные сны. Царица Клеопатра, например, любила жемчуг.

Специально даже пила воду с растворенным жемчугом, считая это залогом долголетия. Египетские фараоны всем другим камням предпочитали огненные сердолики. – Колчак замолчал, вспоминая, что же еще он знает о камнях.

– Интере-есно-о, – восхищенно протянул Бегичев, – просто сказка.

– Сказка. – Железников хмыкнул. – Ну ты даешь! – Не выдержав, Железников заворочался, высунувшись из-под шкуры, потянулся, поправил завалившиеся сапоги-верхонки, стоявшие у входа. – Даешь, Бегичев, России мармелада...

– Интересно как, – словно не слыша приятеля, повторил боцман, – целая наука. Век живи – век учись!

– Древние мудрецы вообще считали, что камень – это... – Колчак замялся, покрутил в воздухе ладонью, подбирая нужное слово, – это живая энергия... нет, живая материя, связанная с потусторонней энергией. Либо с энергией Вселенной. В общем, отношение к камням в древние времена было святым. Это у нас сейчас камни надевают на балы, богатством своим хвастаются. Раньше такого не было.

– Надевают только те, у кого эти камешки есть, ваше благородие Александр Васильевич. Если в моей семье таких камней нет, то бабам бегичевским и трясти нечем.

– А насчет алмаза имеется еще вот что, – вспомнил Колчак, – он якобы может все рассказать про прошлое и будущее человека. Потому колдуны и смотрят в него часами.

– А этот самый камень... синего цвета, очень холодный, прямо лед.

– Сапфир? Сапфир, Никифор Алексеевич, в Древней Греции и Риме считался священным – камнем философского созерцания, его могли носить только жрецы – он далек от земной суеты. Еще есть холодный камень александрит, он считается вдовьим камнем, александриты нельзя дарить. Что еще? Бирюза, – вспомнил Колчак. – Это живой камень в самом прямом смысле слова: в молодости бывает белым, в зрелости – ярко-голубым, в старости – зеленым. Если бирюзе что-то не нравится в человеке, во владельце – она меняет цвет. Зеленую бирюзу носить нельзя – по поверьям, она может умертвить.

– Колечко с бирюзой... Надо же, какой злой камень! А я и не знал. – По голосу Бегичева стало понятно, что он слушает рассказ, но думает о чем-то своем, только ему одному ведомом и от камней совсем далеком. Потрясло что-то Бегичева, всколыхнуло все внутри, вызвало тоску, – собственно, и у Колчака тоска тоже сидела внутри, не проходила, – пытается боцман успокоиться, но никак не может. – Ох, какая злобная штучка,

оказывается, эта бирюза. Просто ведьминский камень...

– Может, и ведьминский, – согласился Колчак. – Все камни, Никифор Алексеевич, немного ведьминские, я же сказал. Они – не для православного, не для русского человека. Хотя Пушкин, например, никогда не снимал с пальца перстень с сердоликом, подаренный ему княгиней Воронцовой. [43]А Пушкин был истинно православным человеком.

– Истинно православным человеком, – послушным эхом повторил Бегичев. – Ведь Пушкин – это Пушкин.

– А сейчас – спать! – приказал Колчак и перевернулся набок, давая понять, что все разговоры окончены, никаких «лекций» больше не будет. – Завтра льдина «подвиснет», остановится, опять придется браться за весла.

Работа веслами на тридцатипудовом боте – штука изматывающая, кожа с ладоней слезает, целиком мясо стесывается до костяшек, из-под ногтей сочится кровь, и никакие лекарства, никакие мази и припарки не помогают, руки нужно только залечивать; перед глазами все делается красным: красное небо, красная вода, красный борт вельбота, красные лица товарищей, блескуче красный, вышибающий слезы лед; дыхание рвется в глотке, застревает кусками и снова рвется, превращаясь на холоде едва ли не в стекло, до крови обдирающее глотку.

На веслах хорошо только по пруду ходить, барышень катать, развлекать их шлепками весел по воде, но не по океану.

Выхода у Колчака не было – сквозь льды и торосы он мог пройти только на таком малом суденышке, способном двигаться и на веслах, и под парусом, которое можно и волоком перетаскивать через косы, и толкать, будто телегу, перед собой, и двигать, словно шкаф, боком – никакая другая посудина для такого плавания не годится: крупное застрянет, сделается неуправляемым, маленькое будет незамедлительно раздавлено льдами, как ореховая скорлупка, – подходил только бот.

– Ох, не хотелось бы браться за весла. – Железников красноречиво поохал, громко пошмыгал носом и затих.

Все уснули. Только Бегичев не спал – внутри шевелилась боль, терзала его; Колчак точно угадал: Бегичев думал о доме, он заскучал по теплу астраханскому и арбузам. Сейчас уже подоспели арбузы, весь берег волжский, там, где к дебаркадерам пристают пароходы, завален ими, в воздухе плавает медовый дух, а тепло августовское выгоняет из груди любую мокреть, любую хворь – в Астрахани, как в Крыму, сухими ветрами, воздухом можно лечить туберкулез. Бегичев бесшумно втягивал ноздрями воздух и ощущал запах меда и степи. Степь тоже бывает хороша в эту пору, пышет жаром, пахнет чабрецом, полынью, лисами,

верблюдами, сухотьем трав и молодыми волками, которых мать выводит на простор, чтобы обучить охоте.

Бегичев ворочался и, задерживая дыхание, беззвучно вздыхал: хоть и говорят, что Север обладает некой привадой, которая как болезнь входит в человека и живет в нем, вызывает тоску и слезы, гонит сюда едва ли не силком, но Север ему здорово надоел, он готов хоть сейчас расстаться со здешними красотами и тем более трудностями. Хотя люди здесь собраны исключительно хорошие...

Тревожно было Бегичеву. Тишина стояла. В тревожной тиши этой он и забылся. В прозрачном полусне он фиксировал каждый звук, доносящийся извне, пропускал его через себя и отмечал: «Это кусок льда откололся, шлепнулся в воду, это вода плеснула о срез льдины, это ветер просвистел – примчался из далекого далека – кажись, с самого полюса, а это белухи в ночи играть начали...» Потом звуки удалились, он неожиданно увидел самого себя, голоногого, вислопузого – его в детстве прозвали Вислопузым за то, что он мог съесть много рыбы, – довольного жизнью, беззаботного: Никишка Бегичев плескался в теплой, дымной от солнца воде и смеялся.

Смеялся он недолго – неожиданно услышал, что откуда-то сбоку к нему подбирается тяжелая угрюмая волна, ломает камыши, стенкой вставшие у берега, с корнем выдирает тростник и мелкие кусты, вот-вот она навалится на него – и ему сделалось страшно... В следующее мгновение он услышал другое – нет, не услышал, а почувствовал, у него даже кости в теле защищали – тяжелый удар: в бок палатки хлестнула волна. Она высоко поднялась под порывом ветра, рассыпалась с металлическим звоном, заскользила с шумом вниз, за первой волной ударила вторая, словно льдина их, на которой они плыли, как на огромном пароме, угодила в лютый шторм.

«Вот те и путешествие за казенный счет, – мелькнуло в голове досадное, – вот те и дорога задарма...» Бегичев поспешно выполз из-под мехового одеяла, раздвинул руками застегнутый на пуговицы распах палатки, выглянул наружу.

То, что он увидел, заставило зашевелиться на голове волосы: по серому, слабо освещенному белесым ночным солнцем морю неслись водяные валы, льдина под ударом одного из валов раскололась, и отколотый край, огромный, как поле, неспешно отваливал от ледяного огрызка, на котором стояла палатка. Вельбот, накренившись, тихо съезжал в пролом.

Бегичев закричал, но крик его, сдавленный ужасом, осознанием того, что они останутся без суденышка на этом огрызке льда и обязательно погибнут, застрял у него в глотке, он словно прилип к горлу, а вместо крика раздалось лишь сипение,

никто из спавших в палатке людей даже не пошевелился на этот задавленный сип, боцман замотал головой, продираясь сквозь застегнутый распах палатки наружу...

Металлические пуговицы горохом посыпались на лед.

– Ваше благородие Александр Васильевич! – вновь закричал Бегичев, и крик снова застрял в нем. Сжатый ужасом крик опять обратился в слабенькое куриное сипение.

Льдина продолжала уходить от их огрызка, черная гибельная трещина увеличивалась, вельбот носом сваливался, уползал в эту трещину.

«Хорошо, что носом, а не бортом, – мелькнула в голове сплющенная мысль, – если бортом, то бот был бы уже в воде. А там его ни за что не достать». – Неожиданно он ощутил, как внутри словно свет какой пробил, из горла словно бы вылетела пробка, и Бегичев снова закричал – сквозь сип прорезалось какое-то мычание, на этот раз громкое.

– Ваше благородие, – трескуче и громко закричал Бегичев и, обрывая последние пуговицы, вывалился из палатки и кубарем покатился по льду.

Он прокатился до самого бота, вздыбившего свой исцарапанный, в глубоких порезах, оставленных сколами льда, задок, вцепился в него обеими руками.

– Да помогите же наконец!

Из распаха палатки высунулся Колчак с темным сонным лицом, щеки у него дернулись – он мигом оценил обстановку, развернувшись, схватил за ногу Железникова, тряхнул его, закричал что было силы:

– Подъем!

В следующую секунду Колчак оказался рядом с Бегичевым, вцепился руками в кромку борта, сжал зубы, удерживая бот на огрызке льдины. Но все равно вдвоем удержать больше двадцати пудов было не под силу, как ни надрывайся, лицо Колчака перекосилось от натуги, он закрутил головой, оглянулся яростно на палатку: чего там медлят друзья-связчики, в следующий миг из палатки, как почувствовав гнев и растерянность начальника, ревом отозвался Железников:

– Сей секунд! Архаровцев никак не могу поднять.

Через несколько мгновений уже четырнадцать пар рук держали вельбот, люди кряхтели, надламываясь в хребтах, впивались ногтями в обмерзлое дерево, в железо, держали бот... И удержали – посудина перестала сползать в воду.

Громадная льдина, гладкая, как стол, испятнанная следами людей – вчера ходили по ней, как по земле, радовались, сбивались в кучки, гомонили, разогретые водкой, а следом за нею – и спиртом, который разрешил достать Колчак, – ускорила свое движение, ровно и ходко пошла на север.

Бегичев, наливаясь кровью, плюнул ей вслед:

– Сука!

Колчак, упираясь обеими ногами в заструг, боясь дышать – а вдруг этот заструг обломится, – откинувшись всем телом назад, подумал отстраненно и спокойно: «При чем здесь льдина? Не льдина, а мы сами виноваты, что не заметили трещину...» Крохотная, не толще волоса, совершенно неприметная – невооруженным глазом не углядеть, а углядеть надо было обязательно, потому что от всех этих микроскопических волосков, невидимых мелочей, от пустяков зависит жизнь человеческая, – она едва не погубила людей.

На Севере жизнь человека стоит много меньше, чем на Большой земле, и поэтому она во сто крат, наверное, всякому человеку бывает дороже.

– И-и – р-раз! – вскинувшись по-рыбьи телом и потянув борт вельбота на себя, упершись так же, как и Колчак, ногами в заструг, скомандовал Бегичев.

Люди на команду среагировали мгновенно, и хотя под каблуком у боцмана лопнула ледышка и он оскользнулся, вельбот дернулся, поддаваясь общему усилию, прополз несколько сантиметров и замер.

– И-и – р-раз! – скомандовал Бегичев хрипло.

Бот снова прополз несколько сантиметров и остановился.

Через полчаса они подтащили его к самой палатке и, оглушенные усталостью, повалились прямо на лед, чтобы немного отдышаться.

Колчак, сдерживая рвущееся на части дыхание, помотал головой, сморгнул, чтобы убрать невольно выступившие слезы.

– Не сидите на льду, – предупредил он людей, – это очень опасно.

– Да-да, – поспешным хрипом отозвался на предупреждение Колчака Бегичев, – ледовая стынь может быстро в кости забраться. Тогда ее ничем оттуда не прогонишь. Путь останется только один – на погост.

Хоть и отозвался Бегичев на предупреждение Колчака, но ни одного движения, чтобы подняться со льда, не сделал, он даже пальцем шевельнуть не мог, так наломался, дыхание с гудом вырывалось из запаренного черного рта боцмана, в легких что-то хлюпало, будто в сапоги натекла вода и болталась теперь там, грудь стискивала боль.

– Па-адъем, господа хорошие! – скомандовал, продолжая лежать на льду, Бегичев. – Кому сказали!

В ответ опять никто не пошевелился: усталость обратила мышцы людей в дряблый студень – никак не сгрести себя в кучку, не собрать воедино дыхание, биение сердца, не погасить

противный звон в ушах. И главное – боль. Боль скрутила мышцы хуже судороги. Колчак приподнялся, уперся руками в лед, перевернулся на четвереньки, постоял немного в звериной позе, выплевывая изо рта тягучую соленую слюну, смешанную с кровью, поднялся с четверенек на колени и ухватил Бегичева за воротник:

– А ну, вставай, Никифор Алексеевич!

Боцман в ответ помотал головой, Колчак думал, что тот и сейчас не сделает ни одного движения, чтобы подняться, но Бегичев покорно зашевелился, потом прохрипел задавленно, так же, как и Колчак, выплевывая изо рта кровь:

– Сейчас, ваше благородие... Александр Васильевич... я сейчас.

Бегичев сделал попытку подняться, но ноги у него подогнулись, и он вновь удрученно покрутил головой.

– Я сейчас, Александр Васильевич... сейчас. – Бегичев опять завозился на льду, пытаясь оторваться от него, извернулся телом, как крупная рыба, зашамкал губами, хватая воздух, но воздуха не было, и Бегичев, давя в себе боль и неверие в то, что он сделался немощным, застонал.

Колчак переместился чуть дальше, ухватил за шиворот Ефима, подергал его:

– Подъем!

Якут по-птичьи, словно петух, покивал – ну ровно зерно склевал, но подняться не смог, у него от перенапряжения также свело все мышцы, Колчак вновь встряхнул его как мешок, и якут, закряхтев, приподнялся, подтянул к себе ноги и через полминуты укрепился в новой позе – на корточках.

– Молодец, Ефим! – похвалил его Колчак.

Ночное небо было мертвым. Холодное, лишенное живых красок солнце также было мертвым, находилось оно совсем рядом, но его не было видно. Из облаков сыпался белый пух, похожий на сохлых мертвых мотыльков; льдина, освободившаяся от груза и людей, отплыла уже далеко – у нее и впрямь имелся собственный, вызывающий удивление двигатель; огрызок льдины с палаткой, вельботом и «пассажирами» тихо бултыхался в воде и никуда не двигался.

Люди начали потихоньку подниматься со льда – понимали: если холод проникнет в кости – вечный ревматизм им обеспечен, не говоря уже о воспалении легких или гнили в печени и в мочевом пузыре – все воспалится и сгниет.

Первые удары ветра в льдину были предупреждающими – за плевками-порывами, мол, придет ветер настоящий, он и пришел, не заставил себя долго ждать – свистящий, гогочущий, закрутил в

воздухе тучи невесомых белесых мотыльков, сгреб их вместе, швырнул на лед – не понравилось, тогда он сгреб их со льда и вновь зашвырнул в воздух.

Запело, заиграло что-то в пространстве; явно издеваясь над людьми, захохотал кто-то невидимый, стремясь испугать, но те, наломавшиеся, усталые, на хохот даже внимания не обратили, подтащили вельбот вплотную к палатке, притиснули к матерчатому холодному боку и несколько раз обвязали веревкой – если уж срываться в воду, так вместе с палаткой.

Одну веревку, намокшую, сделавшуюся твердой, негнущейся, словно железо, Бегичев даже затащил в палатку, конец сунул под себя, под шкуру. Когда вельбот потащит снова, он это почувствует.

– Ты лучше к ноге веревку привяжи, – посоветовал Железников, хмыкнул хрипло, – не ошибешься. Тогда вельбот точно не потеряешь.

– Если понадобится привязать – привяжу, – спокойно пообещал Бегичев, пожевал губами недобро, сглотнул что-то твердое, сбившееся во рту в комок. – Чтобы ты, дурак рыжий, домой вернулся целеньким-здоровеньким. Понятно?

– Однако, – привычно молвил Ефим. По любому поводу он согласно наклонял голову и произносил: «Однако менял только интонацию. На сей раз он произнес свое „однако“ насмешливо. Повторил: – Однако! – прибавив к прежней насмешливой интонации одобрительные нотки. Он одобрял действия Бегичева.

Кряхтя, стеная, забрались под шкуры. Железников хотел было залезть в кукуль – меховой мешок, но Бегичев остановил его – если что на льдине случится, Железников из мешка выпрыгнуть не успеет, пойдет на дно – и тот свернул кукуль на манер подушки, положил себе под голову.

Бегичев прохрипел что-то – слов было не понять, да и не слова были важны в этом хрипе, а, как у Ефима, одобрительная интонация. Скоро, наверное, все перейдут на этот язык.

Уснули разом. Дружно, будто по команде. И проснулись также разом. Через час.

Бегичев закашлялся, замотал головой во сне, пощупал рукою под собой, проверяя, на месте ли веревка, тянувшаяся от вельбота, успокоенно вздохнул – веревка была на месте, и боцман, стараясь не тревожить товарищей, полез к выходу. Русская натура ведь какова – все надо увидеть своими глазами. Пока не увидит – не успокоится. Бегичев высунул голову наружу.

Вельбот находился на месте, и боцман, растянув растрескавшиеся губы в довольной улыбке, стрельнул глазом на серые лохматые облака, низко ползущие над водой. В

неряшливости их, в неприбранности он разглядел что-то недоброе для себя, для своих товарищей, улыбка стремительно стерлась с его лица, и он скорбно поджал губы.

По морю змеились длинные плоские волны – самые противные из всех, противнее нет – на таких волнах очень сильно трясет всякую плавающую посудину. Особенно крупные корабли. Если попадешь в них – все проклянешь. У человека, стоящего на корме, такие волны запросто вышибают зубы. Волны ползли навстречу, под ветер, в нос их ледяному огрызку. «Корабль» их, похоже, стоял или вообще откатывался назад: отколовшись от буксира – длинной мощной льдины, – он не имел никакого хода. А льдины той совсем уже не было видно – она унеслась вперед.

Боцман задом вполз обратно в палатку.

– Ну, как, братка, цела наша посудина? – свистящим чужим шепотом поинтересовался проснувшийся Железников.

– Цела твоя кастрюля, спи. – Бегичев успокаивающе придавил рукою воздух, хотел что-то добавить к сказанному, но сил не было, и он, с трудом втянув свое большое тело под одеяло, отключился.

Через час боцман проснулся снова и опять, встревоженный, вылез из палатки проверить бот – на месте ли?

То, что веревка находилась под ним, бугрилась твердой змеей под шкурой, как некая ощущаемая очевидность, уже не успокаивало боцмана, он, как и в прошлый раз, должен был увидеть вельбот своими глазами. Кряхтя, он протер кулаком слипающиеся глаза.

Вельбот находился на месте.

Сна больше не было, хоть и спать хотелось очень.

Через два часа вельбот спихнули с огрызка льдины в воду и сели за весла – огрызок по-прежнему неподвижно сидел в воде, словно утюг, подошвой своей, основанием приросший ко дну.

Еще через два часа они приткнулись к какой-то льдине и решили сделать передышку – совсем выбились из сил: ныли кости, ныли мышцы, боль и усталость засели, кажется, даже под ногтями. Привязались к толстому отростку, образовавшемуся на тяжелой ноздреватой льдине на манер кнехта, [44]и уснули, как мертвые, каждый на своем месте.

Сырая ватная наволочь на небе тем временем раздвинулась, ветер стих, море сделалось спокойным, вода почернела. Вода в северных морях обладает способностью быстро менять цвет – собственно, как и во всех морях, но только здесь это происходит резко, и дело не в игре света и теней, не в том, какие камни нагромождены на дне и просвечивают сквозь воду, влияя на окраску моря, дело в чем-то ином – в каком-то северном

колдовстве, в неких силах, в колебаниях земель и океанов, в движении звезд, еще в чем-то непознанном, что понять до конца человек не способен.

Вновь устанавливалась хорошая погода.

Через несколько дней они достигли Земли Беннета.

Дело было к вечеру. Долгий – почти два месяца длиною – северный день хоть и не растерял еще былого – своих светлых, доводящих до неистовства ночей, а позиции свои уже начал сдавать, небо в ночные и вечерние часы становилось хмурым, пропитывалось дымной серостью, предметы расплывались, делались неясными, теней не было вовсе, и человеку невольно казалось, что он слеп как курица.

Землю Беннета они увидели утром – из серой вязкой мги вытаял черный каменный клык, приподнялся над водой. Железников, который первым засек этот клык, закричал ликующе:

– Земля!

Гребцы бросили весла, поднялись со скамеек. На усталых, красных от ветра лицах возникли улыбки – надоело людям болтаться в море, надоело ощущать под собою бездну: это так важно, чтобы иногда под ногами была твердая земля.

Но до самой Земли Беннета добрались нескоро – лишь к вечеру. В расплывающемся, дрожащем сумраке причалили к черным, высоко поднимающимся в небо скалам, исчерканным снежными бороздами. Снег, набившийся в каменные морщины, был вечным, он здесь никогда не таял.

Колчак обследовал несколько камней, с одного, обледенелого, окатываемого водой, едва не сорвался, вернулся на вельбот.

– Ночевать здесь негде. Поплыли искать отмель. Ночевать будем там, на отмели.

– И-и – р-раз! – привычно скомандовал Железников. Бот медленно двинулся вдоль острова.

На острове было много птиц: чайки сидели на камнях, в выбоинах между морщинистыми, искрошенными сильными морозами грядами породы, на промерзлых пятаках земли; топорки, [45]отгоняя вельбот, прыгали с камней прямо в воду, плыли навстречу, щелкали тяжелыми клювами – они принимали вельбот за животное, оберегали свою территорию от посягательств; кайры зло вытягивали шеи из гнезд и шипели... Здешняя земля была поделена на территории, и у каждого куска пространства имелись свои хозяева.

– И-и – р-раз! И-и – два! – размеренно командовал Железников. Бегичев, вторя ему, подхватывал:

– И-и – р-раз! И-и – два!

Подходящую отмель нашли минут через двадцать, она длинным плоским языком вылезала из-под нагромождения черных камней, дно было видно метров на пятнадцать – чистое, без мусора, который обычно оставляет человек, живущий около моря, с крупными валунами, сброшенными когда-то в воду разрушающимися скалами.

– Причаливаем! – скомандовал Колчак, гребцы довернули нос вельбота к суше, прошли немного и услышали, как под днищем зашуршала галька, зацепились веревкой за высокий кривой пупырь.

Суденышко вытащили на отмель, на каменном пятаке разбили палатку. Удастся ли им найти здесь следы Толля? Если нет, то надо разрабатывать новый маршрут... Какой, куда? На это Колчак не брался ответить. И подсказать ответ ему никто не мог.

Он долго стоял у кромки воды, вглядываясь в серое ночное пространство, слушал плеск волк, птичьи крики и думал о Толле.

Где лежит сейчас этот человек? В море ли, на земле ли? Что осталось от него? Внутри сидела глухая сосущая боль, мешала дышать.

Из палатки высунулся Бегичев:

– Ваше благородие Александр Васильевич! Пожалуйте к ужину! Ужин у нас сегодня – м-м-м! – Он прижал к губам ладонь и звонко чмокнул. – Пальчики оближешь. И даже больше.

Колчак оглянулся, жесткое лицо его помягчело.

– Жареная солонина. С луком и картошкой, – пояснил Бегичев. – У Железникова поварские способности объявились. На старости лет он себе хороший кусок хлеба будет иметь. Где-нибудь в ресторации на Васильевском острове.

Голос у Бегичева был свежим, обрадованным, в нем появились звонкие, какие-то юношеские нотки – и боцман и команда были рады, что добрались до острова. Земля – не вода, даже если она и необитаемая, человек на ней все равно чувствует себя увереннее, чем на воде. Колчак разделял радость своей команды.

– Иду! – сказал он; примерившись, перепрыгнул с берега на камень, наполовину скрытый водой – надо было вымыть сапоги, – на макушке камня прокрутил одной рукой «мельницу», стараясь удержаться на ногах.

Вода была пронзительно стылой, от нее ломило пальцы.

В палатке действительно был накрыт стол – «пальчики оближешь»; от горячей еды, от расслабленных людей, от теплого духа, что распространяла норвежская керосинка, от света фонаря исходило что-то домашнее, невольно защемившее горло – все-таки ощущение дома, привязанности к очагу прочно сидело в

каждом из этих людей. Особенно – в Бегичеве. Боцман каждый обед, каждый ужин старался украсить, старался сделать приятное измотанным людям.

Вот и сейчас он отличился – раскинул в палатке на манер скатерки четыре рушника, как он называл простенькие, сшитые из «вафельного» полотна утирки для рук, расставил на них небьющийся «хрусталь» – оловянные тарелки, за чистотой которых он следил особенно строго – заставлял каждого мыть свой «прибор» («Отстрелялся, братка, вымой прибор! Через несколько часов снова стрелять придется. Главное – чтобы из-за объедков и грязи не прохудился хрусталь!»). Исключение было сделано только для Колчака, но лейтенант своим правом не пользовался, он предпочитал быть, как все.

Блюдо из опротивевшей солонины получилось будто домашнее; хоть и заявил Бегичев, что Железников постарался, это его произведение, а Колчак уже понял: без Бегичева и тут не обошлось.

Откашлявшись, лейтенант помял пальцами шею – в глотку словно земля попала, мешала говорить; выбить из себя эту «землю» было нельзя, она сидела мертво, – произнес тихо:

– Ну, что ж, друзья, поздравляю вас с Землей Беннета... Добрались! Земля эта стоит того, чтобы ее отметили. – Колчак выразительно пощелкал пальцами, поглядел на Бегичева: – Никифор Алексеевич!

– Вас понял! – готовно вскинулся боцман, подтянул к себе мешок, ловко выудил из его забитого разным тряпьем нутра флягу со спиртом. Спирт у Бегичева был разлит по одинаковым, обшитым парусиной фляжкам, и точное число этих фляжек не знал никто, даже Колчак.

Бегичев откупорил фляжку, выразительно помотал над ней ладонью, подгребая к себе вкусный дух, не оставляющий равнодушным ни одного русского мужика, сладко затянулся им и разлил спирт по кружкам.

– Ваше благородие Александр Васильевич, после ужина можем обследовать остров, – сказал он Колчаку, – на сытый желудок самый раз будет.

– Остров будем обследовать завтра, – голос у Колчака, в отличие от голоса боцмана, был простуженным, трескучим, будто у коростеля, вечером у него голос всегда становился чужим, – завтра, – повторил Колчак, потянулся к своей кружке, – а сегодня после ужина будем спать. Вволю!

К утру океан стих, сделался гладким, как стекло, дружелюбным – редкое состояние для здешней воды. Глубь

заблистала такой яркой синевой, что в голове невольно возникли мысли о том, что океан этот не может быть враждебным человеку, никак не может: океан воспринимался как разумное существо, и два разумных существа – океан и человек – не могли вредить друг другу. Особенно здесь, на краю краев земли, где зови не зови на помощь – все впустую, никого не дозовешься, никто не придет на подмогу, никто не протянет руку. Хотелось верить в то, что здесь не может одно разумное существо обижать другое... Но на деле же все происходит наоборот: может, еще как может! И человек проигрывает, если ввязывается в борьбу с океаном, с холодами здешними, с Севером.

– Ить, море какое поганое, – не выдержав, пробурчал Железников, – к ногам ластится. Будто собака. А ведь действительно собака... И характер собачий имеет.

– Не ругай море – отомстит, – предупредил Бегичев. – Ты лучше хвали его, хвали, тогда оно покладистее будет.

Они уже прошли по кромке острова несколько километров, обследовали несколько мест, где, по их разумению, каюры, ушедшие с Толлем, могли сделать схоронку. По части устройства схоронок, кладовок и разных тайников, до которых не мог бы добраться зверь, каюры соображали хорошо. Но на острове было пусто.

Колчак неверяще вздохнул – неужели Толля и тут не было? – устало втянул в себя воздух, хотел было достать блокнот и пометить, что на мысе Эммы, где они сейчас находятся, также нет следов экспедиции барона, как вдруг Бегичев сощурил острые рысьи глаза и выдохнул изумленно:

– Весло!

Лейтенант невольно остановился.

– Где?

– Да вон же, вон! – Бегичев, наливаясь радостью, азартом, словно на удачной охоте, ловко перепрыгнул с камня на камень.

– Сюда, ваше благородие Александр Васильевич!

– Башку себе не сломай! – прокричал ему вслед Железников. – Прыгаешь, как... Пушкин.

Железников почему-то по наивности своей считал, что Пушкин – знаменитый гимнаст. Но Бегичев хорошо знал, кто такой Пушкин, читал его сказку про старика, которого старуха едва в гроб не загнала своими дурацкими капризами, и про золотую рыбку, принципиальную, как классный наставник из показательной гимназии, носящей имя императрицы Александры Федоровны. [46]В другой раз он бы просветил Железникова, чтобы тот не обзывался, но сейчас боцман даже не услышал своего приятеля; примерившись, поерзав сапогами по камню, на котором

стоял, он сделал еще один рискованный прыжок.

Теперь Колчак тоже видел весло. Лопатка весла, выцветшая до бумажной белизны, смотрела в океан, торец был специально заострен и показывал на камни.

Весло было прочно пристроено между несколькими камнями, чтобы его не сбило в сторону ветром или не снес лапой чересчур любознательный медведь.

– Молодец, Никифор Алексеевич! – похвалил боцмана Колчак.

Похоже они наткнулись на след Толля. Наконец-то! Это была типичная для северных экспедиций метка.

Бегичев первым добрался до весла, встал над ним, посмотрев, куда показывает заостренный черенок, увидел угрюмый черный камень, похожий на большую бабью задницу. Под камнем чернел узкий песцовый лаз. Бегичев устремился к нему.

– Е-есть! – закричал он, прихлопывая руками, вскрикивая, словно индеец, содравший скальп со злейшего своего врага.

В песцовую норку была засунута бутылка. Зеленоватое донышко ее тускло посвечивало из неглубокого лаза.

Бегичев на ходу подхватил какую-то коряжку, но она развалилась в руках. Боцман, выругавшись, с досадою отшвырнул ее в сторону. Подхватил другую деревяшку – более подходящую, со следом сгнившего рыжего гвоздя, сунул ее в нору одной стороной, потом другой, проталкивая внутрь норы скопившийся мусор, затем аккуратно, сдерживая дыхание, расшатал бутылку и вытащил ее из лаза.

Протянул подоспевшему Колчаку.

– Бутылка не старая. Меньше года тут находится.

Колчак оглядел бутылку. Была она в подтеках грязи, с тонкой трещиной, косо пробившей бок и зацепившей донье, с горлышком, залитым парафином, – люди, спрятавшие эту бутылку в камнях, залили пробку остатками свечного отгара, тем, что остается, стекает со свечки вниз. Не сделай они этого, сырость и холод сожрали бы бумаги, спрятанные в бутылку, за несколько месяцев от них одни лохмотья остались бы.

– Ну что, ваше благородие Александр Васильевич? Толль это или не Толль? – Бегичев, не в силах сдерживаться, возбуждено потер руки.

– Сейчас узнаем. Несколько минут терпения... – Колчак еще некоторое время вертел бутылку в руках, продолжая изучать ее, потом протянул ладонь к Бегичеву, показал глазами на нож, висевший у того на поясе в твердой кобурке, обшитой нерпичьим мехом.

Боцман поспешно расстегнул клапан, выдернул нож,

протянул Колчаку. Лейтенант печально улыбнулся, темное, лицо его неожиданно осветилось изнутри, словно он вспомнил что-то приятное, но по тому, как нервно и горько дернулись у него губы, было понятно, что воспоминание это – не из самых приятных.

– Плохая примета, Никифор Алексеевич, – сказал он, – нож нельзя передавать из рук в руки. – Он нагнулся, хлопнул ладонью по камню. – Кладите сюда!

Бегичев положил нож на камень.

– Что за примета? Никогда не слышал.

– К ссоре.

– Полноте вам... – Бегичев искренне рассмеялся. – Ваше благородие Александр Васильевич, разве вы не знаете меня? Неужели мы с вами можем поссориться? А?

Ничего не ответив, Колчак соскреб ножом свечной вар с горлышка, под ним оказалась самодельная деревянная пробка. Пробка была выстругана аккуратно, сидела плотно. Можно было бы хрястнуть кулаком по донышку бутылки, и тогда пробка вылетела бы, как миленькая, но тогда и бутылка, имеющая малую трещину, тоже разлетелась бы...

– Расколите бутылку – и дело с концом, – посоветовал Бегичев.

Колчак отрицательно качнул головой.

– Если это бутылка Толля, ее надо обязательно сохранить. Она может украсить экспозицию любого музея. – Он ковырнул пробку в одном месте, в другом выщепил несколько волокон, снова ковырнул, сбросил сор под ноги, повторил: – Любой музей эта бутылочка украсит. – С шумом втянул ноздрями воздух и, будто поймав себя на неинтеллигентном поступке, недовольно сжал обветренные губы.

Когда бумага была извлечена из бутылки, Колчак, еще не разворачивая ее, понял: это Толль. Толль и дневники вел, и записи свои делал на немецком языке, русским же, боясь ошибок, того, что он может попасть в смешное положение, старался не пользоваться.

Часть текста поплыла, сделалась невнятной, часть сохранилась очень хорошо, буковка льнула к буковке – текст был свежим, словно его написали только вчера.

К записке был приложен план острова с жирно помеченным крестом – местом, где располагалась хижина Толля.

– А где сам Толль? – перегнувшись через плечо лейтенанта и проскользив глазами по записке, неожиданно каким-то жалобным, растерянным голосом спросил Железников.

Колчак не ответил Железникову, Бегичев тоже предпочел промолчать.

– Надо идти к хижине, – сказал Колчак, сличил план с местностью.

Двигаться через скалы без веревок, без крючьев было опасно, кромкой моря, по валунам, тоже не пробраться – слишком много обледенелых камней, на которых легко поломаться, а любой перелом ноги или руки в здешних условиях – дело гиблое, обязательно приведет к «антонову огню» – заражению крови, поэтому решили идти третьим путем – по припайному льду.

Припай был довольно прочный, хотя и ноздреватый, кое-где чернел опасной тониной – истончился до того, что сделался будто стекло, сквозь него было видно глубокое темное дно с нагроможденными на нем крупными камнями.

– Ну что, Никифор Алексеевич, сможем пройти по припаю? – спросил Колчак.

Бегичев спустился на лед, потопал по нему ногами, затем прошел метров двадцать вперед, снова потопал, потом чуть взял в сторону, ударил по гладкой черной тонине каблуком – на льду, как на твердом стекле, не осталось даже царапины.

– Лед молодой, – сказал он, – ему примерно год... Но прочный. Думаю, пройдем.

– Не провалимся?

– Увидим опасное место – обойдем по берегу. Все в наших руках.

– Все в наших ногах, – сказал Железников и засмеялся.

– Верно.

Облака попрозрачнели, сквозь них на скудную здешнюю землю пролился серый свет, но и его было достаточно, чтобы природа преобразилась, обрела звучные краски. Скалы, казалось, были не черными, а имели синеватый и легкий малиновый, сказочный оттенок, камни на угольно-темном дне – бутылочно-зелеными, с рыжим металлическим крапом, опасные черноты на льду также обрели синеву.

Бегичев не выдержал, проговорил зачарованно:

– Красиво-то как! – и смутился оттого, что произнес это слово. Он произносил его очень редко, считая слово «красиво» бабьим, мужики редко высказывают свое восхищение вслух, они больше молчат, задавленные тяжелой работой, непутевой жизнью, заботами о хлебе насущном и чарке с вином, которое, как известно, тоже называют «жидким хлебом», это женщины с их «охами» и «ахами» подвержены влиянию всяких сантиментов, колдовских штучек...

Железников засек сказанное Бегичевым, помотал сокрушенно головой: до крайности, дескать, дошел человек, раз переключился на бабий язык – значит, потянуло мужика на пухлое тело, –

рассмеялся хрипло:

– Очень красиво. Так красиво, что чем дальше – тем страшней.

А ведь действительно, как способна даже малая толика радости, какие-то два жалких лучика света преобразить мир: только что он был угрюмый, давящий, готовый распластать все живое – не важно, кто окажется под прессом, зверь ли, человек ли; и вдруг все это слетело, будто ненужное одеяние, и вот в голову уже приходит невольная мысль, что природа здешняя – нежная, застенчивая, будто девица, она боится человека и нуждается в заступничестве. Словно и не было недавних стенаний, недовольства ею. Эх, люди, люди, сколько мы ни живем на белом свете, а все разум детский имеем, повзрослеть никак не можем.

По льду двинулись цепочкой: впереди – Бегичев, за ним – Колчак, потом два помора с якутом Ефимом, замыкающим – насмешливо кхекающий Железников. Одного помора оставили на вельботе – мало ли что может произойти: и медведь-разбойник способен нагрянуть, разломать вельбот, и песцы накинутся на съестные припасы, и вообще... Достаточно вспомнить случай с расколовшейся льдиной. Если бы тогда Бегичев вовремя не проснулся, лежали бы сейчас на том обсосанном огрызке льда семь холодных трупов, подмораживались бы на солнышке.

Шли осторожно, сдерживая дыхание, слушая хруст льда под ногами – вдруг гнилье попадется либо солевой пузырь, который даже в двадцатиградусный мороз не замерзает и может запросто продавиться под ногой. Пузыри здесь могут быть гигантские, такие, что в них вельбот скроется вместе с парусом, не только человек.

Из-за скал, растекающихся в сером мороке, [47]будто приведения, играло солнце, но радовало глаз недолго, минут десять всего, и вновь стыдливо спряталось в облаках, натянуло на свои зраки меховое непроглядное «одеяло», ровно и не было его. Принесся шальной ветер, завизжал по-ведьмински, сделал около людей круг и вновь унесся за скалы, через несколько минут он принесся вновь. Поднял со льда жесткую колючую крупку, швырнул людям в лицо, завизжал и опять исчез. Здесь, на Земле Беннета, похоже, живут свои ветры. Как и свои ведьмы, свои лешаки-ледолюбы – коренные жители Севера, здесь свои привидения и страхи – вообще свой «животный» и прочий мир. Колчак на ходу доставал блокнот и делал пометки – повадки северной нечисти тоже надо было фиксировать, все подробно описывать и знания эти передавать другим.

В нескольких местах в припае попались открытые полыньи, вода в них шипела, пузырилась, будто кто-то выдавливал ее

изнутри, на далеком дне громоздились камни, они были хорошо видны. Бегичев в такт шагам крутил головой, стараясь держать в поле зрения пространство и слева, и справа, видеть то, что находится под ногами, и то, что делается над головой. Он вел себя как охотник на опасном промысле, был сгруппирован – в любую секунду мог совершить длинный звериный прыжок в сторону, хоть и не было вроде бы никакой видимой опасности, а опасность он чувствовал. У него было что-то заложено внутри; и хотя говорят, что охотниками не рождаются, охотниками становятся, – это неверно.

Идти было трудно – не хватало кислорода, губы впустую пытались зацепить хотя бы немного воздуха, по телу пробегала судорога, кожа на лице делалась резиновой, рот шлепал впустую, лоб покрывался потом, лицо тоже делалось мокрым. На зубах хрустела ледяная крошка, в виски натекала боль, дышать было нечем, ватные ноги было трудно перетаскивать даже через плоские заструги, через обычные утолщения льда, они спотыкались не только о ровный лед – спотыкались о жидкий обескислороженный воздух, в легких что-то лопалось, пофыркивало.

Дважды делали короткие привалы, рассаживаясь на корточках прямо на льду – под команду «Сели – встали!», – и затем двигались дальше.

– Ваше благородие, вы обратили внимание, что на припае нет ни одного медвежьего следа? – спросил Бегичев, придержав шаг. Колчак покосился на него, отметив про себя, что Никифор побледнел, губы и лоб в лоту, скулы заострились – Бегичеву доставалось не меньше, чем другим.

– Обратил.

– А медведи тут, на Земле Беннета, есть. И немало... Интересно, в чем же дело? – Бегичев окутался облачком легкого, позванивающего стеклом пара – будто в мороз, хотя мороза не было: здесь, на Земле Беннета. существовали не только свои духи и ветры, существовали какие-то свои особые законы, общим законам не подчиняющиеся.

В других местах беломордые увальни уходят во льды на добрые пятнадцать-двадцать километров, пятнают округу своими следами во всех направлениях, ищут, где бы поймать тюленя и сытно пообедать, а здесь – ни одного следочка.

– Может, медведи с этой земли вообще ушли?

– Куда, ваше благородие Александр Васильевич? Не могли они уйти. Потому что некуда им уходить. Не нравится мне этот лед. – Усталое лицо Бегичева поугрюмело, уголок рта нервно задергался. – Может, пойдем не по льду, а по берегу, самой

кромкой? – предложил он.

– Не пройдем. Все равно придется сворачивать на лед. Только время потеряем.

– Э-э... – Бегичев хотел что-то сказать, но лицо его дрогнуло, он махнул рукой и снова ушел вперед.

Он, боцман Бегичев, издали чувствовал беду, на расстоянии, словно был заложен в нем некий прибор, заставляющий в ту или иную минуту настораживаться. И хотя на Севере человек и без того всегда насторожен, не расслабляется даже во сне, эта всегдашняя готовность к беде не каждый раз помогает.

Через десять минут лейтенант Колчак провалился в воду. Группа ступила на белесый, ровной полосой уходящий от берега к морской кромке лед – край этого странного высветленного пласта был словно отбит по линейке, – едва начали двигаться по нему, как лед затрещал.

– Можем не пройти, – предупредил лейтенанта Бегичев. – Не свернуть ли?

В ответ Колчак медленно покачал головой: обходить по берегу, делать крюк – значит потерять время. А вдруг Толль жив, вдруг греется где-нибудь у слабого костерка, держится из последних сил – не дождется подмоги? Такое тоже может быть – на Севере всякие штуки случались.

– А, ваше благородие Александр Васильевич? – вновь повторил вопрос Бегичев, ему показалось, что Колчак не расслышал его, но тот в ответ вновь медленно покачал головой; в уголках его глаз застыла выбитая ветром мокреть.

Прошли метров двадцать, и под Колчаком неожиданно, гнило захрустев, будто размокшая фанера, продавился лед. Бегичев, шедший впереди, этот участок миновал без осложнений, а под Колчаком лед просел, побежал во все стороны черными быстрыми стрелами. Обычный лед, темновато-прозрачный, рождающий стеклянный звон в пространстве и тоску в душе, идет белыми стрелами, а этот, наоборот, застрелял черными молниями. И – никакого звона, только гнилой хруст, вызывающий противную пустоту в желудке...

Бегичев стремительно оглянулся и повалился на живот.

– Ложись, мужики! – закричал он. – Гнилой лед!

Первыми попадали поморы, они с таким неприятным явлением, как гнилой лед, были знакомы хорошо – случалось уже бывать в подобных передрягах, хоть раз в жизни, но обязательно случалось. Якут Ефим недоуменно сжал косые глаза в две крохотные черные точечки, охнул и также шлепнулся на брюхо. И Колчак упал на лед, но он опоздал – под ногами у него образовалась пустота, и он ушел вниз. В пролом высунулся

шипучий водяной язык, медленно пополз по льду, в следующую секунду Колчак уже по грудь очутился в воде.

Вода имела очень низкую температуру, стреляла паром, обжигала холодом, это была самая опасная для человека вода. Мычание Колчака угасло, сквозь сжатые зубы начал выпрастываться лишь свистящий выдох, птичий сип, словно сквозь проткнутую оболочку выходил воздух. Лейтенант ухватился рукой за край льда, втиснулся на него грудью. Бегичев что-то кричал ему, горько скаля крупные белые зубы, но Колчак не слышал его: холод стремительно выдавливал из тела остатки жизни, он так скрутил его, что лейтенанту в следующий миг отказали руки, его лицо от напряжения сделалось совсем черным, глаза ввалились в череп, их не стало видно.

Изменившееся лицо лейтенанта было страшным, еще секунда – и он уйдет под лед, и тогда все – никто никогда не сумеет достать его. Экспедиция останется без руководителя.

– Сы-ы-ы, сы-ы-ы! – сипел, надрывался он из последних сил. Дыхание осекалось, стало рваным.

– Держитесь, ваше благородие Александр Васильевич! – прокричал Бегичев, сдергивая с себя матросский ремень с латунной бляхой.

Все произошло быстро, очень быстро, но этих восьмидесяти секунд было достаточно, чтобы очутиться в небытии.

Бегичев кинул бляху Колчаку.

Она шлепнулась в мокрый лед рядом с лейтенантом, взбила сноп брызг, обдала жидкой крупитчатой кашей лицо Колчака, он попробовал подтянуться к пряжке рукой, но ничего из этого не получилось, мышцы одеревенели и не слушались его – пальцы пошевелились и замерли. Колчак засипел, на подбородок изо рта у него протекала кровь – от напряжения лопнуло несколько ослабших десен, – снова попробовал потянуться рукой к пряжке, но движение это было угасшим, обессиленным.

– Ах ты, Боже ж мой! – слезно, горестно воскликнул Бегичев, боком продвинулся к пролому, перекинул пряжку поближе к лейтенанту.

Сияющая бляха очутилась теперь перед самым лицом Колчака – шлепнулась в ледяную кашу около его носа. Колчак вновь замычал, подтянулся чуть к пряжке, ухватился за ремень зубами – повыше пряжки, – переместил руку к ремню, сомкнул на нем судорожно скрюченные оцепеневшие пальцы, попытался подтянуться дальше, но не смог.

– Ах ты, Боже ж мой! – Бегичев еще немного продвинулся к Колчаку, прикрикнул на мужиков, оторопело лежавших на льду по ту сторону пролома: – Помогите кто-нибудь!

Поморы зашевелились, дружно двинулись к пролому, но Бегичев зарычал на них:

– Не все сразу, дураки! Один кто-нибудь! Кучей лед продавите!

Один из поморов замер, проворно отполз назад, к якуту Ефиму, Железников, чуть помедлив, также отполз, к Колчаку двинулся крепкий, с белесыми, пушистыми, будто у белки, бровками, помор.

Бегичев изловчился, подтянул ремень к себе, наполовину выволок лейтенанта из пролома, затем, изогнувшись по-рыбьи, ухватил Колчака за воротник брезентового плаща, потянул к себе, Колчак, засипев от боли, выплюнул ремень изо рта. Вместе с ремнем на лед шлепнулся окровавленный зуб, выдранный с корнем.

– Ах ты, Боже ж мой! – Бегичев завозил ногами по льду, стараясь во что-нибудь упереться, напрягался, чувствуя, как в горле у него с хрустом рвется дыхание, засипел совсем как лейтенант, выдавливая из нутра последние силы, последнее тепло, окутался паром и, передвинувшись чуть назад, вытащил за собою и Колчака.

Переместился по льду, перехватывая поудобнее ремень, вновь потащил за собою лейтенанта. Белобровый помор помог – уперся своими ступнями в ступни Колчака, оттолкнул от себя. Получилось ловко; если бы не помор, пришлось бы Бегичеву вволю напурхаться на льду. Не дай бог, вообще примерз бы ко льду губами, лицом – примерз бы целиком, а лейтенанта не выволок бы.

Перевернувшись на спину, Бегичев вытянул ноги, глянул в низкое морочное небо, в котором уже не было ни одной искринки, ни одного светлого пятнышка, проводил глазами стаю чистиков, дружной компанией перечеркнувших пространство, со стоном перевалился на бок, потом перевернулся на живот – ни на хрипучих чистиков этих, ни на обрыдшее небо, ни на угрюмые давящие скалы смотреть не хотелось.

– Ваше благородие Александр Васильевич, – просипел он, – как вы?

Колчак медленно открыл сведенный судорогой рот, повозил в нем языком, двинул головой в одну сторону, потом в другую, простонал едва слышно:

– Не очень.

Хоть и легок он был телом – почти невесом, будто птица после дальнего перелета, – и подвижен, а вытаскивать его из воды было трудно: тут он оказался тяжел и неувертлив, словно гроб с покойником. И одежды на лейтенанте было вроде бы немного –

как и на каждом из них, – а за одежду не уцепишься, все выскальзывает из пальцев: схватишься за воротник – воротник сам вылезет из зацепа, зажмешь в руке клок рукава – ничего не окажется и в руке. Бегичев всосал в себя воздух, разжевал его вместе с осколками льда, попавшими в рот, произнес настырным скрипучим тоном:

– Ваше благородие Александр Васильевич... надо подниматься... нельзя лежать на льду.

Ему сделалось жаль Колчака: лейтенант и так начал терять зубы, а тут вон еще один, окровяненный, валяется на льду, режет глаза свежим краснотьем, да и купание сегодняшнее также даром не пройдет... Ладно хоть вытащить удалось, жив остался. Колчак замычал, зашевелился, стремясь отодвинуться по льду подальше от опасного пролома. Бегичев перевернулся в сторону поморов:

– Мужика, помогите их благородию...

Первым около Колчака очутился белобровый, бормоча что-то успокаивающе – все, мол, будет хорошо, – подхватил лейтенанта под мышки, пытаясь поднять его со льда, закряхтел – простое вроде бы дело – поднять человека, ан нет, не удается, – но на подмогу подоспел второй помор, подступил к лейтенанту с другой стороны, приподнял его, подсунулся плечом под мышку, ухватил рукой за пояс, белобровый сделал то же самое, и они поволокли Колчака к берегу. Бегичев подтянул к себе колени, оттолкнулся руками ото льда, постоял немного на четвереньках, крутя головой, как зверь, потом поднялся на ноги.

Его шатнуло – слишком неверным, скользким был под ногами лед.

На берегу пытались развести костер, но все попытки собрать плавник – хотя бы чуть-чуть, хотя бы на маленький костерок – были тщетными.

– Мужики, скидавайте одежду, – решительно скомандовал Бегичев, первым стянул с себя плащ, потом скинул подбитую легким мехом куртку.

Колчак однажды сказал ему, что внесет наверх, к начальству, проект: такие куртки должны быть у всех членов русской полярной экспедиции, легкие, теплые, не сковывающие движений, – надо организовать их массовый пошив... Если не хватит денег в кассе Императорской Академии наук, которой подчиняется экспедиция, значит, надо найти мецената, не найдется меценат – оплатить из своих денег.

– Вы тоже, ваше благородие Александр Васильевич, вы тоже скидавайте с себя, – сказал Бегичев Колчаку.

Синюшное лицо Колчака порозовело – он пришел в себя, мог уже двигаться и говорить, сделал слабое протестующее движение

рукой.

– Зачем?

– Раздевайтесь, раздевайтесь – ворчливо потребовал боцман, голос у него сделался по-сорочьи скрипучим, настырным, – все мокрое скидавайте с себя... Будем менять вам одежду. В этой одежде оставаться нельзя.

С лейтенанта содрали все, во что он был одет, Железников отдал ему свои брюки – на нем оказалось двое, одни полегче, другие потяжелее, из. форменного матросского сукна, белобровый помор выделил рубаху – протянул ее лейтенанту с улыбкой: «Не побрезгуйте, ваше благородие. Вшей нет, сам лично выжарил их на архангельском причале... Всю одежку прокалил на противне», меховую куртку натянул на лейтенанта Бегичев.

– А теперь быстрее к зимовью Толля, – прежним безапелляционно-скрипучим тоном скомандовал Бегичев – при живом лейтенанте он взял власть в руки, и никто против этого не стал возражать, сам Колчак тоже не стал возражать, лишь раздвинул в слабой улыбке почерневшие губы.

– Никифор, может, повернем назад? – предложил Железников. – Иначе заморозим лейтенанта.

– Никаких назад! – В скрипучем голосе боцмана появились свинцовые нотки. – Только вперед. Пойдем быстро... Согреемся.

– Ну, Никифор, ну, Кощей Бессмертный. – Железников покрутил головой, будто воротник давил ему на горло. – Хватка у тебя, как у Полкана с гарнизонной гауптвахты.

Бегичев даже не обратил на слова приятеля внимания, словно Железников говорил в пустоту – знал, как воспитывать дружка, чем зацепить его и вообще сделать так, чтобы тот больше не возникал, – выжал одежду лейтенанта, перетянул ее ремнем и взвалил себе на спину, косо глянул на приятеля, хмыкнул и произнес уже спокойным голосом, без скрипучих командных ноток:

– Пойдем по берегу. Если будем замерзать и потребуется пробежка – побежим. Понятно? – Он перевел взгляд на поморов. – А, мужики?

Мужики молчали. А молчание, как известно, – знак согласия.

– Тадысь всё. Ать-два – марш! – Бегичев развинченной кособокой трусцой поспешил по кромке берега на север, к зимовке Толля, Колчак за ним, следом – поморы.

Идти по берегу было много труднее, чем по льду, – избитая истина, которая не требует подтверждения, – но даже готовый ко всему Бегичев не думал, что будет так трудно: людей выворачивало наизнанку, они хрипели, на ходу выкашливая свои легкие, но не останавливались – останавливаться было нельзя. До

зимовки Толля дошли без единой остановки, а там, у промерзлой хижины барона, разожгли костер. Дрова у хижины были – Толль, готовясь зимовать, набрал со своими спутниками много плавника, за ним ходили в добычливую бухту, куда сильное течение приносило всякий сор, попадающий в море, в том числе и целые бревна. Мертвую бухту, в которой Колчак провалился под лед, Толль обходил стороной.

Зимовье, сложенное из камней, укрепленное деревянными перекладинами, обшитое изнутри досками, нарезанными из плавника, со сбитой набок трубой, уже начало заваливаться. Всякое жилье, за которым нет присмотра, очень скоро сдает, кособочится, рушится, на севере все стареет гораздо быстрее, чем на Большой земле, где-нибудь в Курской губернии или в Малороссии, в родном имении Колчака: Толль, придя сюда, первым делом подремонтировал жилье, иначе бы оно совсем завалилось, – а потом ушел...

Каменная россыпь вокруг зимовья была не тронута – ни одного следа, по крутым склонам распадка лежал иссосанный солнцем и слабеньким теплом снег, там тоже не было следов, снег мертво прикипел к камням, и если бы по нему хотя бы краем прошел человек, он обязательно оставил бы отпечаток. Медведь – тем более. Но отпечатков не было.

Сыростью, тоской, бедой повеяло от сдыхающей избушки, от продавленной ее крыши, от нетронутой целины снега.

– Нету, – огорченно проговорил Бегичев, оглядев склоны распадка, – Толль ушел отсюда, ваше благородие Александр Васильевич, год назад...

– Ушел год назад, – эхом повторил Колчак, губы у него дрогнули, задергались было в немых задавленных всхлипах, но лейтенант быстро справился с собой, крепко жал рот.

– Железников, у тебя, братка, костер гаснет, – предупредил боцман приятеля.

Тот охнул, кинулся к костру. Через десять минут вокруг шумного яркого костра уже развесили одежду Колчака, укрепив ее на кольях, одежда очень скоро задымилась – пар от нее пошел сизый, густой, как дым из печи, белобровый помор шустро подскочил к кольям, перевернул плащ, душегрейку, раззявленные, будто бы разорванные по швам штаны Колчака.

– Так недолго и без брюк остаться, – засмеялся он.

Бегичев достал из кармана флягу, обтянутую парусиной, в кружку налил спирта, молча протянул Колчаку. Тот поморщился.

– Надо, – сказал ему Бегичев. – После такой гонки обязательно надо.

– Ладно, – сказал Колчак и выпил спирт, обвел кружкой

спутников, – всем налейте, Никифор Алексеевич... И давайте вскрывать зимовье.

Дверь зимовья была придавлена тремя тяжелыми камнями, которые вмерзли друг в друга, прочно срослись. Двое поморов с якутом и Железниковым, кряхтя, с трудом отвалили один камень, потом другой.

Белобровый помор, тяжело дыша, покрутил головой:

– Тяжесть эта под силу только паровой машине. – Он смешно, будто пингвин, приподнял руки, похлопал ими по бокам. – Одежда-то опять дымит... Ай-ай-ай! – Проворно перекатился к костру, перевернул кол со штанами, затем поменял местами два кривых, выбеленных до свечения кола, на которых висел плащ лейтенанта, передвинул в другой край кол с утепленной курткой Колчака.

Пока белобровый спасал одежду руководителя экспедиции, его напарник вместе с Ефимом и Железниковым выдрал из мерзлых тисков последний камень, затем выдернул небольшую толстую слежку, загнанную в ушки двери, оглянулся на Колчака:

– Открывать?

Тот махнул рукой:

– Открывайте!

Поморы приподняли дверь, выдирая ее из промороженного грязевого натека, отодвинули в сторону, и присутствующие невольно зажмурились: из избушки потянуло холодным мертвенным духом, склепом. Железников не удержался, передернул плечами, как будто его до костей пробил сквозняк: всякий человек, сколько ни будет жить на белом свете, никогда не привыкнет к тому, что жилье, призванное согревать, может обваривать холодом, выдавливать слезы из глаз, отбирать последнее, чем жив путешественник, – тепло его тела.

Железников посторонился, пропуская в избушку лейтенанта. Тот, пригнувшись, прошел внутрь, с хрустом раздавил ледяной гриб, выросший на полу, потянулся к полке, на которой стояла экономная лампа-пятилинейка. [48]

Снял с хвостами копоти стекло, провел пальцем внутри. Лицо у Колчака было холодным, замкнутым, губы горько сжались в морщинистую щепоть, глаза потухли. Он вздохнул. Было видно, что Колчак уже забыл о беде, стрясшейся с ним, забыл о том, какой кричащей болью отдается холод в костях и мышцах, забыл о том, что часть их жизни осталась на ледяном обмылке, где им с большим трудом удалось удержать вельбот. Он не думал о том, что еще много чего останется на Севере, жизнь их сделается рваной от потерь – в эту минуту Колчак забыл о прошлом и настоящем, об отце своем и невесте, он был жив сейчас только

одним – внезапным открытием, которое может произойти через несколько мгновений...

Бегичев черкнул металлическим обломком по куску кремня, подобранного в одной из бухт на Новосибирских островах, выбил искру, запалил фитиль, Колчак взял лампу в руку, тряхнул ее, проверяя, есть ли керосин. В ответ в лампе с жестким скребущим звуком забряцал песок – вот во что обратился керосин за год, – и лейтенант сухо произнес:

– Обойдемся без света.

В углу избушки, на черной сгнившей скамейке лежала брезентовая сумка. Колчак поднял ее. Смахнул пыль, расстегнул замок. В сумке находились документы экспедиции Толля. В стопе бумаг он заметил тетрадку в коленкоровом переплете – глаз не подвел его, Колчак понял, что эта тетрадка главная. Он выдернул ее из сумки, раскрыл. Это был дневник Толля.

Колчак открыл дневник, вслух прочитал несколько строчек по-немецки, потом, поняв, что они звучат нелепо, странно, дико среди людей, ни одного слова не знающих из этого языка, замолчал.

Обвел заслезившимся чужим взглядом людей, сгрудившихся в избушке, ощутил, как у него само по себе, произвольно дернулось одно плечо, правое, и опустил голову. Он окончательно осознал, что Толля им не найти никогда.

Толль писал в своем дневнике, что на остров Беннета он с тремя своими спутниками прибыл летом 1902 года. Поиски Земли Санникова ни к чему не привели, и он решил здесь, в этой избушке, перезимовать. Продуктов было мало, запас мяса надо было пополнять. Как? Способ только один – охотой.

Охота не сложилась – прилетных гусей было мало, патронов – тоже, те птицы, что сами лезли на мушку – кайры, чистики, топорки, плавунчики, – были несъедобны, тюленье мясо также мало годилось для еды... Это было ни мясо, ни рыба. Так в маете подоспел октябрь. Сделалось совсем холодно, и Толль принял решение покинуть зимовье и пробиваться на юг, к материку.

Судя по тому, что Колчак нигде на юге не обнаружил его следов, Толль туда не пробился, погиб по пути. Скорее всего, провалился в замерзающее море и ушел на дно. С ним – и трое его спутников.

Лейтенант перелистал еще несколько страниц. Рот его горько сжался.

В избушке находилась коллекция камней, разных предметов, собранных Толлем, – тех, что, по мнению барона, представляли интерес для геологии, геодезии или истории, здесь же был аккуратно сложен инструмент пропавшей экспедиции.

– Ну что, ваше благородие Александр Васильевич? – шепотом спросил Бегичев. – Есть Толль или нет Толля?

– Толль погиб, – пожевав губами и поморщившись от внутренней боли, сказал Колчак. – Погиб, как бы ни хотелось верить в обратное.

– Что будем делать? – прежним задавленным шепотом, словно у него пропал голос, спросил Бегичев.

– Экспедиционный инструмент Толля и коллекцию перенесем на вельбот, обследуем землю и отправимся обратно...

В один прием имущество Толля перенести не удалось. Бегичев с поморами, Железниковым и якутом Ефимом отправился к избушке Толля снова. Колчак остался на вельботе – его знобило, жар обметал лоб, губы, – лег на настил и накрылся брезентом.

Лекарства, которые имелись у экспедиции, были что мертвому припарки – проку от них никакого, единственное, что сейчас могло бы ему помочь, – баня. Раскаленная так, чтобы трескались доски, обжигающая не только ноздри и глаза, а обваривающая все тело. К бане же – пару хороших березовых веников, мятную настойку, чтобы кинуть на камни, да хорошие руки знахаря-разминальщика, который мог бы прощупать, растереть пальцами каждую косточку... Но ни бани, ни веников, ни знахаря-разминальщика не было. Колчак застонал и забылся.

Вскоре в прозрачном зыбком мареве он увидел Сонечку Омирову, радостно улыбнулся ей, протянул руки. Соня улыбнулась лейтенанту ответно, также протянула руки, двинулась навстречу. Они шли друг к другу, но никак не могли одолеть нескольких метров, разделяющих их.

В конце концов Колчак не выдержал и побежал к Соне, выкрикнул на бегу что-то смятое, неразборчивое, собственного крика не услышал и крикнул снова, уже громче, что было силы, ощутив даже жар собственного дыхания: «Сонечка!» – и вновь не услышал своего крика.

Сонечка также спохватилась и побежала ему навстречу. Под ногами у нее вспыхивал яркий синий огонь – всполохи ультрамарина накатывали волнами, лизали точеные лодыжки, причиняли ей боль – Колчак отчетливо увидел, как изменилось Сонечкино лицо, глянул себе под ноги – он был наряжен в одежду, в которой провалился в трещину, с него текла вода, но холода он не ощущал – ощущал только жар. Сапоги его также были погружены в синий огонь.

– Сонечка! – снова прокричал Колчак, в ответ услышал зловещее воронье карканье, всхлипнул задушенно: откуда здесь, в Арктике, взялись кладбищенские вороны?

Колчак заболевал.

Он не заболел, вытянул – очнулся, наглотался лекарств, хотя память о купании в море около Земли Беннета осталась в нем навсегда – его часто прихватывали приступы жесточайшего ревматизма, тело, кости, мышцы скручивало так, что хоть криком кричи. Не помогли ни спирт, ни микстуры, ни порошки, ни банки – ничего.

Китайские знахари с их чудодейственными иглами, к которым он обратился через год после той экспедиции, уже находясь в Порт-Артуре, – также оказались бессильны.

Зубы у Колчака продолжали выпадать, беззвучно и безболезненно вышелушиваясь из больных челюстей, – к сорока годам Колчак уже почти не имел зубов. Своих зубов. Впрочем, с «чужими» – разными громоздкими протезами, насадками и прочее – ему тоже не очень везло. Север отнял у Колчака очень многое, и прежде всего – здоровье.

Взамен дал известность. О Колчаке заговорили как о серьезном исследователе – особенно после «экспедиции на остров Беннета, снаряженной Академией наук для поисков барона Толля» (таково было официальное название, данное плаванию вельбота с семью смельчаками). Экспедиция была оценена высоко – как «необыкновенный и важный географический подвиг, совершение которого было сопряжено с трудом и опасностью». Колчаку была вручена высшая награда Императорского географического общества – Большая Константиновская золотая медаль. [49]

Практически Колчак очень близко подошел к одной чрезвычайно важной для России проблеме – открытию Северного морского пути. Суда на Севере в ту пору, конечно же, ходили, но эти плавания были каботажные; [50]широкого караванного пути, как сейчас, не было, караванный путь из Мурманска во Владивосток проходил вокруг земного шара, через многие моря и океаны и занимал несколько месяцев... Колчак хорошо понимал, что значило для России открытие такого пути.

Он уже начал работать над монографией «Лед Карского и Сибирского морей», [51]она была опубликована через несколько лет после Русско-японской войны, в 1909 году. В послесловии он написал: «Основанием для этого исследования послужили наблюдения над льдом в Карском и Сибирском морях, а также в районе Ледовитого океана, расположенном к северу от Новосибирских островов, произведенные Русской полярной экспедицией в течение 1900, 1901 и 1903 гг.». Колчак издал также четыре северные карты, перевел на русский книгу датского физика и океанографа Кнудсена [52]«Таблицы точек замерзания

морской воды». Все это было очень важно для строительства будущего ледокольного флота, для освоения Северного морского пути, вообще для России...

2 января 1904 года в канцелярию Императорской Академии наук поступила телеграмма. Текст ее был длинный, приводить целиком телеграмму нет смысла – это был обычный отчет, – приведу только концовку.

«Найдя документы барона Толля, я вернулся на Михаилов стан двадцать седьмого августа. Из документов видно, что барон Толль находился на этом острове с двадцать первого июля по двадцать шестое октября прошлого года, когда ушел со своей партией обратно на юг...

По берегам острова мы не нашли никаких следов, указывающих на возвращение кого-либо из людей партии барона Толля. К седьмому декабря моя экспедиция, а также и инженера Бруснева [53]прибыли в Казачье. Все здоровы. Лейтенант Колчак».

В воздухе пахло войной: против огромной России поднималась маленькая, злая, ощетинившаяся, будто еж, стальными колючками Япония. Двум странам стало тесно в безбрежных морских пространствах Дальнего Востока.

Поселок Казачий (или Казачье) – маленький, деревянный, тихий, в зимнюю пору дымы над трубами домов поднимаются на добрые полтора километра, растворяются в оглушающей выси, где-то около самой луны, превращаясь в светящийся туманный окоем. Люди здесь хорошо знают друг друга, знают, кто чем живет, кто что ест, кто какое исподнее носит.

Колчак прибыл в Казачий на собачьих нартах вместе с Бегичевым – лейтенант торопился и потому решил оторваться от основной части своей экспедиции, хотя выигрыш во времени оказался очень маленьким, – разместились на постоялом дворе. Колчаку досталась крохотная комната с окошком размером в книгу, промерзлым настолько, что под слоем льда и снежной махры не было ничего видно: ни стекла, ни пространства.

Колчак поставил у простенькой, с проржавевшими набалдашниками кровати, заправленной плотным «коньевым» одеялом, два кожаных баула – это все имущество, что имелось у него, – огляделся и тяжело вздохнул.

Из узкой щели, вырубленной в стене прямо напротив кровати, высунулась крохотная мышиная мордочка, уставилась смышлеными блестящими бусинками глаз на лейтенанта.

Коты на севере – редкость, мыши чувствуют себя здесь вольготно, хотя в общем-то мыши тут тоже редкость, они не

выдерживают пятидесятиградусных морозов, в такую студь комочек плоти мигом съеживается, превращается в высушенный чернослив – становится таким же крохотным, сморщенным.

Впрочем, северные коты мышей не ловят – не царское это дело, – они больше дерутся с собаками, добывают себе еду и вообще ведут нешуточную борьбу за жизнь. Но не в домах, а на улице.

Домой свирепых уличных котов никто не пускает. А если, случается, иной сердобольный хозяин впустит к себе глазастого мурлыку, то мурлыка, отведав харчей с хозяйского стола и проведя пару ночей на мягкой подстилке около двери, в приютившем его доме больше не задерживается – старается снова обрести волю.

Страшная гибельная воля для таких котов – много слаще теплой сытой неволи, и они спешат покинуть сытость и тепло.

Здешние коты – страшные существа, ни одна собака не рискует связываться с ними. Ни одна. Даже в схватках с самыми свирепыми псами коты выходят победителями... Колчак встретил пару таких котов на улице, когда шел к постоялому двору. Те сидели на промерзлой, ошпаривающей студью дороге, на которой шипел, шевелился снег, – прикипеть к такой опасной земле задницей можно в два счета, но коты на это не обращали никакого внимания, они влюбленно глядели друг на друга и молчали – этакие две толстые, покрытые густой медвежьей шерстью тумбочки. Да, коты северные похожи именно на тумбочки. Либо на табуретки. У них нет каких-либо выступающих «деталей» – все заподлицо, все прикрыто шерстью – нет ни хвостов, ни ушей, ни усов. Все это отморожено. Только лапы, шерсть да посверкивающие яростным желтым светом глаза, схожие с корабельными прожекторами.

Если стая собак неожиданно встречается с таким котом на улице, она вежливо уступает дорогу.

Мышь продолжала глядеть на Колчака. Колчак смотрел на нее и молчал. В голове стоял усталый звон, в теле тоже ничего, кроме усталого звона, не было. Мышь смешно надула щеки, сжевала какую-то крошку, отмокавшую во рту, – свой неприкосновенный запас. Похоже, жильцов в этой комнате не было давно – мышка находилась на их иждивении, и пока разные бородатые купцы, сборщики песцового меха да ушкуйники, [54]оставив тут свое добро, в том числе и еду, мотались по Казачьему по делам, мышка времени не теряла, набивала кладовку крошками, в отсутствие постояльцев тем и жила... Выгребала из кладовки какой-нибудь окаменевший кусочек, засовывала его за щеку, чтобы отмяк, а потом съедала. Сейчас

мышь добивала последнее.

Потому она с такой надеждой, так сосредоточенно смотрела на человека. Колчак невольно усмехнулся: что-то излишне сентиментальным он стал, мотаясь по Северу. Отвык от людей, от общества, потому так и размяк.

– Брысь! – шуганул Колчак мышь.

Мышь смешно пошевелила усами, но с места не сдвинулась. Поскребла лапой нос, снова пошевелила усами, черные бусинки обрели горький блеск: ведь она была здесь хозяйкой, она, а не этот чернолицый усталый человек, у которого голос от мороза обратился в некий птичий клекот, – и человек, вопреки всем законам, гонит ее из родного угла...

– Брысь! – повторил Колчак, отер рукой лицо и спиной повалился на кровать.

Север делает человека сентиментальным; ко всякой мыши, на которую в Питере обязательно ставят капкан либо кидают в норку хлебные шарики с отравой, здесь относятся как к существу, чуть ли не равному себе.

В девятисотом году, когда они впервые с Толлем пошли в экспедицию, [55]барон рассказывал, как несколько норвежцев зимовали в одном благоустроенном доме, возведенном на маленьком каменистом островке в Северном море. Запасы еды у зимовщиков были хорошие, связь с миром тоже имелась – раз в месяц к ним пробивался саам [56]с несколькими собачьими упряжками, а вот с развлечениями у них было туго.

Развлечение у зимовщиков имелось лишь одно: муха. Обыкновенная живая муха, которая обитала у них в домике. Несмотря на сильные морозы, на треск снега за окном и вой лютого ветра, муха эта неплохо себя чувствовала.

Муху звали Кристина, имя дали после долгих споров, устроив конкурс, – ее кормили, за ней ухаживали, ублажали... В общем, муха стала на зимовке любимицей.

А потом Кристина чем-то рассердила одного из зимовщиков, и тот с досады прихлопнул ее ладонью.

Над зимовщиком устроили показательный суд. В результате его сняли с зимовки и с очередной собачьей упряжкой отправили домой. Но это еще не все: бедному зимовщику навсегда закрыли дорогу на Север – из вердикта следовал запрет всем экспедициям включать его в свой состав.

С одной стороны, Север делает человека сентиментальным, мягким, как мякина, а с другой – жестоким. Необычайно жестоким. Без этих двух несовмещающихся качеств среди льдов и мороза просто не выжить.

Он закрыл глаза и забылся. Сколько времени провел он в

забытьи – не заметил: просто провалился в тихий прозрачный сон, где ничего, кроме покоя и тиши, не было – ни лиц, ни видений, – а потом неожиданно почувствовал в комнате постороннего человека и разом пришел в себя.

Приподнялся на кровати.

В комнате никого не было. На столе горела керосиновая лампа. Слабый дух пламени, тепла, сгоревшего керосина всегда рождал в Колчаке ощущение дома – он столько времени провел под керосиновой лампой на зимовках, – рождал что-то нежное, далекое, щемящее, в горле обязательно возникал тугой комок, будто от слез, но ни комок, ни затаившиеся слезы эти не были в тягость.

Мышь исчезла. Мзды за прописку с нового постояльца она так и не получила.

Почему же тогда у него возникло ощущение того, что в комнате находится кто-то еще? Он даже слышал, он ощущал дыхание этого человека. Колчак поднялся с кровати, пригнувшись, заглянул в залепленное льдом и снегом крохотное оконце, ничего там не увидел, ни темени, ни света, с трудом выпрямился. Услышал хруст собственных застуженных костей, ощутил тупую боль в спине. Беззвучно охнул.

Купание в ледяном проломе будет отзываться этой характерной болью – тупой, далекой, способной скрутить все мышцы в жгут – всю оставшуюся жизнь.

В дверь раздался стук – тихий, деликатный; здешний напористый народ так не стучит – предпочитает бить ногой, горланя, вваливается в жилье вместе с собаками и оружием... «Кто же это может быть?» – подумал Колчак с горьким удивлением, ощутил, как у него сами по себе неверяще дрогнули и застыли губы.

Откуда эта безысходная сердечная боль, что давит на него, давит и давит? Может, душа чувствует то, что он, огрубевший в экспедициях, совсем перестал чувствовать? Внутри возникла и тут же погасла надежда: «А вдруг это Соня?» Нет, это исключено. Да и не может Сонечка Омирова знать, что он сейчас находится в Казачьем.

Стук в дверь повторился. Робкий, как и прежде, стук. Колчак выпрямился.

– Войдите!

Дверь открылась. Колчак не поверил глазам своим, протер их, растерянно улыбнулся, сделал шаг к двери и тут же остановился, пробормотал что-то невнятное, вновь сделал шаг вперед и вновь остановился.

На пороге комнаты стояла... Сонечка Омирова.

Колчак неверяще потряс головой, услышал слезный сдавленный звук, родившийся у него в груди, застонал будто от боли и сделал еще один шаг к двери.

– Ты? – шепотом спросил он.

– Я, – так же шепотом отозвалась Сонечка Омирова.

– Ты приехала?..

Ну что может быть глупее этого вопроса? Разве можно задавать такие вопросы? В такой ситуации? Он почувствовал, как от разлившейся внутри теплоты оттаивает лицо и одна его половина словно ползет в сторону, и вообще вид делается глупым и счастливым – Колчак это чувствовал, даже не видя себя, без всякого зеркала.

Сонечкины глаза неожиданно расширились, стали огромными, жалобными, в них возникли слезы, эти слезы перекрыли Колчаку дыхание, он никогда не видел, чтобы она плакала. Оглушенно помотав головой, чувствуя, что у него совершенно пропало дыхание и он задыхается – вот-вот задохнется совсем, – лейтенант кинулся к ней.

Обхватив Сонечку за плечи, прижал к себе, пробормотал неверяще:

– Неужели правда, что ты приехала? Неужели это ты?

А Сонечка плакала. Плечи у нее тряслись, она хотела что-то сказать, но не могла, слова размякали у нее в горле, делались невнятными. Ей понадобилось минуты три, чтобы успокоиться.

Лейтенант Колчак никогда не видел свою невесту такой расстроенной – хотя определение «расстроенная» никак не могло подходить к Сонечке, здесь было что-то иное, и Колчак, ощущая внутри жалость, радость, нечто еще – чувство было сложным, смешанным – сам неожиданно задавленно всхлипнул. Всхлип родился у него в груди сам по себе и, родившись, тут же угас.

– Ты? – вновь шепотом спросил Колчак. Других слов он не находил, просто не мог найти, их не было в нем, они все пропали – наступила некая немота, состояние, понятное многим влюбленным людям.

– Я. – Сонечка подняла голову и пальцами вытерла глаза. – Я очень боялась за тебя, Саша, когда ты отправился в эту экспедицию. На крохотной шлюпке, во льды...

– Не на крохотной шлюпке – на вельботе, – поправил Сонечку Колчак.

– Все равно. Ты знаешь, что в Петербурге экспедицию хотели отменить? Но только не смогли достать вас, вы уже находились вне зоны досягаемости.

– Впервые об этом слышу.

– Да, Саша. Некие трезвые головы посчитали, что вы в ста

случаях из ста будете раздавлены льдами и погибнете... В общем, шум был большой.

– Хорошо, что не вернули. Я бы себе никогда не простил этого.

– Саша... – Она коснулась ладонью его щеки, потом волос, провела пальцами по виску. – Саша...

– М-м... – Он почувствовал, как в горле у него что-то сыро хлипнуло.

– Саша... – Она что-то хотела сказать Колчаку, но не могла.

На глазах у Сонечки вновь заблестели слезы, губы дрогнули, Сонечка сжала их, стараясь унять дрожь, но не справилась и всхлипнула.

– Я тебя люблю, Соня, – прежним, едва различимым шепотом произнес он.

– Я тебя тоже люблю, Саша.

Он вновь притиснул ее к себе, вздохнул благодарно – представил на мгновение, какой длинный путь проделала она сюда, в Казачий.

– Ты из Петербурга?

– Я с Капри. В Петербурге я находилась совсем недолго.

– Сонечка. – Колчак вновь неверяще прижал к себе ее плечи, вздохнул: здесь, в далекой глуши, даже представить себе трудно, что такое Капри и вообще что есть такая земля на белом свете.

Конечно, Колчак хорошо знал остров Капри, бывал на нем, знал, какие там растут кипарисы и что за птицы обитают в райских кущах, но все равно здесь, в холоде, в снегах, трудно было поверить, что тепло и райская земля существуют на самом деле.

– Я привезла продукты, – сказала Сонечка. – Для всей экспедиции, Саша.

– Соня, зачем? – Он укоризненно откинулся от нее, глянул в глаза. – Для этого в Академии существует специальная служба.

– Служба эта, Саша, способна только покупать себе галоши и пить водку в служебных кабинетах.

– Это верно. – Колчак, помрачнев, вздохнул.

– А потом, продукты я купила на свои деньги, без всяких служб...

Позже, устроив Сонечку в отдельном номере – самом лучшем, что нашелся на постоялом дворе, Колчак, лежа в своей крохотной «меблирашке», думал о ней, о долгой дороге, проделанной Сонечкой Омировой, о близких людях, без которых свет кажется печальным и убогим, и чувствовал, как от нежности к ней у него пересыхают, становятся горячими, заскорузлыми губы.

– Сонечка, – прошептал он едва слышно, но неприметные,

растаявшие в воздухе слова эти прозвучали громко, будто победный барабанный бой.

Он твердо решил: откладывать больше нельзя, надо с Сонечкой обвенчаться.

С этой счастливой мыслью Колчак уснул.

Сквозь сон он некоторое время слышал, как дерутся собаки на улице, как неожиданно хрипло и страшно заорал северный кот, явно присмотревший себе на закуску собаку, как порыв шального ветра сбил с крыши сноп снега, а потом все звуки исчезли...

В конце января на собачьих упряжках Колчак прибыл в Якутск. Якутск мало чем отличался от Казачьего – может быть, только размерами да тем, что в Якутске было больше снега. А в сугробах, достигавших крыш, были прорезаны длинные извилистые штольни – пешеходные дорожки.

Некоторые штольни были широкие – по ним, несмотря на пятидесятиградусный мороз, гуляли люди, назначали друг другу встречи, гудели трактиры, а в двух ресторанах, расположенных на центральной улице, грохотала медь оркестра и танцевали пары – жизнь здесь кипела, как и во всяком ином крупном городе. Над армейской казармой, засыпанной снегом по самую трубу, висел сморщенный мерзлый флаг, от инея превратившийся из трехцветного в белый, – флаг мятой жестянкой высовывался из длинного горбатого сугроба и не вызывал у местных жителей никаких патриотических чувств.

Экспедиция с вихрем и воем промчалась по центральной улице Якутска, поднимая столбы белой твердой пыли – мерзлый снег сек лица хуже стальной крошки, попадая в глаза, вызывал боль и ожоги; ездовые собаки из колчаковских упряжек, прибыв в город, ошалело грызлись между собой, погонщики остужали их пыл длинными палками; Колчак, кутаясь в меховой полог, лежал на передних нартах, Сонечка Омирова, также под оленьим непродувным пологом, – на вторых. Следом двигались Бегичев и Железников с якутом Ефимом.

Поморы покинули экспедицию давно, еще когда она находилась на острове Котельный, случилась оказия уйти морем, и поморы ушли. Колчак же на Котельном довольно долго приводил в порядок свои записи и разбирал геологическую коллекцию, найденную в избушке Толля.

На острове он был до тех пор, пока не замерзло море, и лишь потом переместился в Казачий, где так счастливо и благополучно встретился с Сонечкой. Именно благополучно, ведь они могли разминуться, и шансов разминуться было много больше, чем

шансов встретиться.

Когда подъезжали в Якутске к отелю – двухэтажное деревянное здание с четырьмя трубами, на которые были надеты кокетливые железные «дымники», манерно называли «отелем», – увидели, как навстречу на собачьей упряжке с шумом, ветром и секущей поземкой пронесся узкоглазый человек без шапки, одетый в короткую нарядную дошку.

Человек, широко, по-крабьи раскинув кривые ноги, стоял на нартах, держа в одной руке длинный гибкий хорей, [57]в другой – винчестер.

Увидев Колчака, он поднял винчестер и пальнул в воздух:

– Война!

Борт его упряжки с визгом и треском оцарапал борт упряжки лейтенанта – еще бы немного, и обе они перевернулись, закувыркались на снегу клубком, но, слава богу, обошлось, обе упряжки устояли на полозьях.

– С кем война? – выкрикнул вслед лихому каюру Колчак, хотя можно было и яе кричать, не спрашивать, и без того ясно, с кем могла сцепиться огромная Россия. С Японией, только с ней.

– С япошками, – прокричал каюр в ответ и снова гулко пальнул из винчестера в воздух.

«Вот и все, вот и кончилась мирная жизнь, – спокойно и устало подумал Колчак, вновь оседая на нарты, – все северные приключения будут восприниматься на войне как обыкновенная мирная преснятина». В том, что он попадет на фронт, в действующую армию, на воюющий флот, Колчак не сомневался.

Навстречу попалась еще одна собачья упряжка с таким же воинственным погонщиком, пьяным, крикливым, размахивающим тяжелым охотничьим ружьем, будто палицей. На лице его ярко светился рисунок, нанесенный то ли свеклой, то ли порошком, которым красят ткани, – несколько смыкающихся треугольников. Колчак невольно усмехнулся: а это что еще за индеец?

В гостинице Колчак узнал, что прошедшей ночью на русскую эскадру, стоящую на внешнем рейде Порт-Артура, напали японские миноносцы и повредили либо даже потопили – точно никто же знал, хотя новости до Якутска доходили быстро, телеграф работал отменно – три русских корабля. Командовал миноносцами японский адмирал Хэйхатиро Того, один из самых смелых и опытных моряков Страны восходящего солнца.

– Ночью телеграф работает? – спросил Колчак у заспанного старичка, приставленного к двери «отеля». Главной задачей старичка было следить, чтобы через щели в «отель» не проникал морозный дух, за остальное он не отвечал и, что, например, перед именитыми гостями следует распахивать двери, совершенно не

знал.

Протерев глаза маленькими морщинистыми кулачками, старичок наклонил голову с ровным, расчесанным железным гребнем и приглаженным с помощью слюней пробором.

– Так точно, ваше благородие.

Ночью Колчак отбил телеграмму президенту Академии наук великому князю Константину Константиновичу с просьбой откомандировать его в действующую армию по военно-морскому ведомству.

Великий князь заколебался: ему не хотелось терять Колчака.

Колчак пообещал: как только закончится война, он вновь вернется в Академию, в Русскую полярную экспедицию, с тем чтобы продолжить работу Толля. В том, что война будет недолгой, были уверены все: ведь моська же напала на слона. Как только слон развернется, он тут же наступит ногой на жалкую собачонку, и от нее останется лишь мокрое место. Скрепя сердце великий князь Константин Константинович [58]согласился...

Колчак получил предписание – после завершения работы над письменным отчетом о поисках пропавшего Толля явиться в Порт-Артур.

Вместе с Сонечкой Омировой и боцманом Бегичевым Колчак снялся со своего места в Якутске, в «отеле», где он уже успел обжиться, и на собаках – этот вид транспорта Колчак считал лучшим в утонувшей в снегах Сибири, даже лучше оленьего – отправился на юг, в Иркутск.

Работу над отчетом о поисках Толля он завершил 9 марта 1904 года, уже в Иркутске.

Это в средней полосе России, даже под Санкт-Петербургом март может оказаться весенним месяцем, брызжущим солнцем, с раскисшими рыжими полянами и сильным запахом распускающихся почек в лесу, в губернском же городе Иркутске март – это еще зима. С лютыми морозами. На улицах, бывает, находят замерзших от холода кошек и воробьев. Здешние кошки отличаются от страшных северных котов – это существа изнеженные...

Дворы мобилизационных пунктов города были забиты людьми. Молодые парни в треухах, с зоркими глазами, способными рассмотреть белку на расстоянии в двести метров и уложить ее одной дробиной из дедова ружья, деловито доставали из сидоров [59]литровые бутыли, заткнутые деревянными пробками, извлекали кружку – иногда одну на всех – и, веселясь, пускали бутыль по кругу.

– Мы этим кривоглазым покажем, как топить нашу посуду на рейде Порт-Артура! – грозились они. – Живо глаза на задницы натянем!

Колчаку было грустно и неловко слышать эти речи: славные сибирские ребята, способные в одиночку завалить свирепого медведя-шатуна, становились заложниками политики, им отводилась одна только роль в большой игре, разворачивающейся на Дальнем Востоке – роль пушечного мяса. В одиночку Япония не осмелилась бы не только гавкнуть на Россию, она даже косо взглянуть в ее сторону не посмела бы... За Японией стояла Англия, у которой здесь также имелись свои интересы, в частности в Корее и в Китае.

Многие из этих ребят вообще не вернутся с войны – вон темная печать смерти лежит на их лицах, люди уже помечены ею, только не видят этого, многие вернутся искалеченными, и лишь малое число из них возвратится живыми, иные даже вообще нетронутые пулями, сбереженные Богом для продолжения жизни на земле.

В Иркутск приехал Василий Иванович Колчак – отец лейтенанта, грузный, насмешливый, колкий на язык, знаток музыки и поэзии, с большой лысой головой, над которой слабым облачком взлетал невесомый темный пух. Он приехал в старой генеральской форме, тщательно отремонтированной, в теплых, на меху, сапогах, в которых ходили, наверное, еще офицеры героической Шипки, [60]с небольшим кожаным баулом в руке.

Отец ввалился в номер, который снимал Колчак, обваренный холодом, заиндевелый, смеющийся и веселый, будто дед Мороз, кинулся к сыну, притиснул его голову к себе, поцеловал в макушку.

– Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, – сказал он, еще раз звонко чмокнул лейтенанта в макушку и неожиданно озабоченно произнес: – Сын, а у тебя в голове появились седые волосы.

Колчак поднял голову, глянул в бровастое умное лицо Василия Ивановича, подумал, что хорошо, отец не знает о его ревматизме, о вываливающихся зубах и перепадах в дыхании, ответил спокойно:

– Чего же ты хочешь? Годы, папа, годы... К сожалению, они не уменьшаются, они – прибавляются. Процесс этот неостановим. Увы!

– Мне сообщили в канцелярии Морского министерства, что ты отправляешься в Порт-Артур?..

– Совершенно верно.

Василий Иванович не выдержал, вздохнул тихо, в себя, потом,

после минутной паузы, одобряюще кивнул. Но аккуратная седенькая бородка «буланже», которую он три раза в неделю обязательно подправлял ножницами, горько задрожала, выдала его состояние. Он понимал, что расклеиваться нельзя и вообще нельзя показывать сыну, что обеспокоен, покашлял в кулак.

– Честь рода нашего, Колчаков, уверен, ты никогда, Саша, не замараешь... Извини меня за ненужную патетику. Какое будет назначением Порт-Артуре?

– Пока не знаю. Хотелось бы по интересу – на миноносец.

– Только что назначен новый командующий флотом на Тихом океане – Степан Осипович Макаров. [61]

Темное сухое лицо Колчака ожило в обрадованной улыбке:

– Великолепно! За это надо выпить шампанского! Степан Осипович – один из самых светлых адмиралов в русском флоте. Люблю таких людей!

– Таких людей не любить грешно, Саша. На них земля наша держится.

В номере Василия Ивановича оказалось старенькое разбитое пианино, полгода назад вынесенное за ненадобностью из богатых апартаментов, а поскольку выбрасывать инструмент хозяину гостиницы было жалко, он и определил его вместо мебели в номер двумя разрядами ниже. Вечером, когда сели ужинать втроем – Сонечка Омирова, Василий Иванович и Саша Колчак – и выпили по стопке водки, настоянной на скорлупе кедровых орехов, коричневой, вязкой, как деготь, крепкой и вкусной, Василий Иванович подсел к пианино. Открыл крышку.

– На нем играть все равно, что на банке с квашеной капустой или корзине с грибами. Пианино разбито вконец. – Александр налил немного водки Сонечке, поскольку та от шампанского отказалась, да и благородное «Клико» было очень дорогим – на шампанском в Иркутске золотишные воротилы просаживали целые состояния, – налил себе и отцу.

– Не скажи, – возразил Василий Иванович. – Я эту корзину с грибами, как ты изволил выразиться, уже осмотрел, кое-что подтянул, кое-что подклеил, кое-что отпустил, поэтому инструмент хоть и имеет расхлябанный вид, хоть и западают на нем педали, а выдать на-гора еще кое-что может.

– Выдать на-гора, – не выдержав, хмыкнул сын.

– Исключительно так, – подтвердил отец веселым тоном, – я ведь себя все еще на сталелитейном производстве да на руднике ощущаю. И пользуюсь рабочим языком, который там в ходу...

Он прошелся мягкими короткими пальцами по клавишам – звук у разбитого пианино действительно оказался приличным, хотя и чуть «просквоженным», словно в нем поселился ветер,

поработал немного в низком регистре, – покосился на сына – взгляд у него был печальным, задумчивым, младший Колчак понимал, о чем думает сейчас отец, – из «низкого угла» перешел на «среднее поле», вновь пробежался до всей клавиатуре слева направо и обратно и запел чуть надтреснутым, невыправленным, но очень приятным голосом:

Гори, моя звезда,
Гори, звезда приветная,
Ты у меня одна заветная;
Других не будет никогда.

Сойдет ли ночь на землю ясная,
Звезд много блещет в небесах,
Но ты одна, моя прекрасная,
Горишь в отрадных мне лучах. [62]

Василий Иванович сделал несколько звучных аккордов, послушал их словно бы со стороны и, печально улыбнувшись чему-то своему, далекому, ведомому только ему одному, вздохнул едва приметно и продолжил:

Звезда надежды благодатная,
Звезда любви, волшебных дней.
Ты будешь вечно незакатная
В душе тоскующей моей.

Твоих лучей небесной силою
Вся жизнь моя озарена.
Умру ли я, ты над могилою
Гори, гори, моя звезда.

Умолкнув, Василий Иванович несколько раз тронул пальцами клавиши пианино и опустил руки. Пожаловался:

– Ноют. Кости ноют. Это к непогоде. К сильной непогоде.

Сонечка Омирова запоздало зааплодировала:

– Браво, Василий Иванович! Браво!

Василий Иванович привстал с небольшого круглого табурета, неуклюже поклонился.

– Извините меня, Сонечка, если что не так. – Василий Иванович снова покашлял в кулак. – Возраст. Нет той гибкости, что имелась раньше. Ни в мыслях, ни в речи, ни в голосе, нигде нет...

– Что вы, что вы, Василий Иванович, – девушка приподнялась, поклонилась ответно. – Спасибо вам. Все очень хорошо получилось.

– А мне кажется, слова у романса лучше, чем музыка, – неожиданно проговорил Колчак.

– Что ты, Саша! Разве можно критиковать классику? – укоризненно проговорила Сонечка.

– Можно. Можно и нужно.

– Не зарывайся, сын, – предупредил Василий Иванович.

– Повторяю, папа, можно и нужно. – В голосе лейтенанта появились упрямые нотки, в следующий миг тон его сделался виноватым: – Извини меня, пожалуйста.

– А чем тебе не нравится музыка?

– Серенькая какая-то, унылая, после нее хочется пойти в ванную и почистить зубы.

Василий Иванович то ли восхищенно, то ли горестно покачал головой, ухватил аккуратную свою бородку в кулак:

– М-да. И что бы ты хотел видеть вместе этой музыки?

– Тоже музыку. Но только другую. – Александр поднялся, подошел к пианино, через плечо отца тронул зубастые холодные клавиши. Пианино покорно отозвалось тихими короткими звуками.

– Садись, сын. – Василий Иванович поднялся с табурета. – Покажи нам «тоже музыку».

Лейтенант сел на табурет, помял пальцы – они стрельнули болью, ломотой, холодом, проникшим в них, подумал о том, что Север теперь будет сидеть в нем всегда, всегда будет стрелять болью, холодом. Внутри у него что-то тоскливо сжалось, замерло. Боль перехватила ему дыхание и тоже замерла, но на лице это никак не отразилось – Колчак хорошо владел собою. Он снова помял пальцы, взял несколько аккордов. Разминаясь, пробежал по всем клавишам, опять помял пальцы – они были словно чужие...

– Ну! – нетерпеливо проговорил Василий Иванович.

– Погоди чуть. Дай размяться. Я ведь столько лет не садился за инструмент. Забыл все. – Он снова пробежал пальцами по клавишам, дернул расстроенно головой, будто его контузило и последствия контузии допекают до сих пор, вздохнул, опустил руки, виновато глянул на отца, на Сонечку и вновь ударил пальцами по клавишам.

В том саду, где мы с вами встретились,
Ваш любимый куст хризантем расцвел,
И в моей груди расцвело тогда
Чувство яркое нежной любви... [63]

Голос у Колчака был похож на голос Василия Ивановича – в меру сиплый, собственно, как у многих людей, близких к музыке, но поющих время от времени и всякий раз испытывающих неловкость перед инструментом, перед людьми, находящимися рядом, перед самим собою.

Отцвели уж давно
Хризантемы в саду,
Но любовь все живет
В моем сердце больном.

Опустел наш сад, вас давно уж нет,
Я брожу один, весь измученный,
И невольные слезы катятся
Пред увядшим кустом хризантем.
Отцвели уж давно...

Голос Колчака угас, он вздохнул, опустив голову, тронул несколько клавиш, беря заключительный аккорд, и повторил тихо и печально:

– Отцвели уж давно...

– Браво! – Отец захлопал в ладони. – Ты очень проникновенно спел романс.

Александр на похвалу никак не отозвался, вновь взял несколько аккордов, прошелся пальцами по клавишам; Василий Иванович наморщил лоб, вслушиваясь в мелодию, которую играл сын: было в ней что-то знакомое, но... Нет, в ней было больше незнакомого, чем знакомого. Колчак пропел первую строчку романса «Гори, моя звезда» удлинив ее на одно слово – добавив еще одно «гори», потом пропел вторую, взяв старую строчку, из прежнего текста, тряхнул головой протестующе – вторая строчка не уложилась в музыкальный размер, взятый им, третья строчка «Ты у меня одна заветная» легла точно, и Колчак одобрительно наклонил голову. Глянув на Сонечку, улыбнулся скупо, краем губ... Четвертая строчка «Других не будет никогда» также не вместилась в размер и требовала переделки.

– Интересно, интересно, – проговорил Василий Иванович одобрительным тоном. – Твой вариант романса действительно лучше. А ну, пропой еще!

Послушно кивнув, Колчак сделал несколько вступительных аккордов – на этот раз более сжато, и получилось более печально, и это дошло до Василия Ивановича, глаза у него потеплели –

печаль ведь всегда трогает душу, – пропел первый куплет романса целиком.

– Не вмещается в размер, – пожаловался он.

– Вижу, сын. Вторая и четвертая строки. Их надо переделывать. Но нашего таланта на это не хватит. Надо приглашать профессионала.

– Это уже после войны.

– А мелодия получается неплохая. Не думал, что тебе может прийти в голову такое... У тебя есть задатки талантливого композитора.

– А в Петербурге, в Академии наук, говорят, что он талантливый исследователь, – добавила Сонечка.

– В Главном морском штабе считают – талантливый офицер.

Василий Иванович подхватил игру, предложенную Сонечкой.

– А в Императорском географическом обществе Саша – в числе самых сильных картографов.

Колчак рассмеялся.

– Хвалите, хвалите. Смотрите только, не перехвалите – вдруг забронзовею!

Свеча, стоявшая на пианино, задергалась, затрепетала; небольшое, похожее на осенний лепесток, сорванный с ветки, пламя приподнялось над черным шпеньком фитиля и поплыло в воздухе. Оно плыло долго, будто маленький светящийся шар, устремляясь по косой в угол комнаты, но до угла не дотянулось и угасло.

– В красный угол устремилась свечка, – шепотом произнесла Сонечка.

– К иконам, – подтвердил Василий Иванович.

Но икон в гостинице не было – не положено.

«Не к добру это», – мелькнуло в голове Колчака, он почувствовал, как у него дернулась правая половина лица, прижал к щеке руку, задохнулся едва слышно – в конце кондов все приметы касались его одного: ведь он уходил на фронт, а отец с Сонечкой оставались здесь. А здесь пули свистеть не будут. Ни в Иркутске, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге.

Ему показалось, что спина у него сейчас выглядит слишком сутулой – будто гнутая, с искривленным позвоночником и выступающими острыми костлявыми гребнями-лопатками, он поспешно выпрямился, зажег свечу, проговорил просто и спокойно:

– Сквозняк.

На следующий день, 5 марта 1904 года, в Градо-Иркутской Михайло-Архангельской церкви состоялось венчание Александра Колчака с Сонечкой Омировой. В книге бракосочетаний

сохранилась соответствующая запись. В графе «звание, имя, фамилия, отчество и вероисповедание, который брак» Колчак записал следующее: «Лейтенант флота Александр Васильевич Колчак, православный, первым браком, 29 лет».

В той же графе по поводу невесты записано следующее: «Дочь действительного статского советника, потомственная дворянка Подольской губернии София Федоровна Омирова, православная, первым браком, 27 лет».

Далее, в графе «кто совершил таинство» указано: «Протоирей Измаил Ионнов Соколов с диаконом Василием Петелиным». «Кто были поручители» у жениха: «Генерал-майор Василий Иванович Колчак и боцман Русской полярной экспедиции шхуны „Заря“ Никифор Алексеевич Бегичев». У невесты: «Подпоручик Иркутского Сибирского пехотного полка Иван Иванович Железников и прапорщик Енисейского сибирского пехотного полка Владимир Яковлевич Толмачев».

Вечером в гостинице, в номере со старым пианино накрыли стол, пригласив, как и положено, поручителей-офицеров, сибирских пехотинцев, которые так же, как и Колчак, готовились отбыть в Маньчжурию, боцмана Бегичева и старинного знакомого Василия Ивановича, худенького, сморщенного, как сушеный гриб, дедка, украшенного тремя серебряными Георгиями, с которыми они, будучи еще юношами, ели землю на склонах Малахова кургана, а потом вместе выбирались из плена. Дедок ел мало, говорил тоже мало, Василий Иванович пытался его расшевелить, но попытка не удалась – дедок и вовсе замкнулся, сделался угрюмым, как сыч.

Впрочем, из застолья он не выпадал, скорее напротив, оттенял собравшихся и потому органично вписывался в вечер. Колчак подумал о том, что если бы не было такого дедка, его надо было бы придумать как некий барометр, по которому можно определять собственное состояние.

Когда прозвучали первые тосты и молодые расцеловались, Колчак выдернул из-за воротника форменного морского сюртука салфетку, произнес, обращаясь к собравшимся: «Простите меня, я отлучусь на десять минут», – извинился перед женой и вышел из номера.

Он появился в номере ровно через десять минут – можно было часы проверять, – и в затемненном, пахнущем свечным варом помещении сделалось светлее, даже на улице, чей серенький морок неохотно пробивался в номер сквозь запыленные стекла, и то стало светлее – в руках Колчак держал букет белых гвоздик.

Софья Федоровна не удержалась, порывисто поднялась из-за

стола, на лице ее возникла слабая неверящая улыбка: здесь, в заснеженном Иркутске, когда на улице трещит тридцатиградусный мороз, белые гвоздики? Это что, сон?

Колчак подошел к ней, поцеловал руку, протянул гвоздики.

– Где ты их взял? – растерянно спросила Софья Федоровна. – Ты что, волшебник?

Василий Иванович не выдержал, захлопал в ладоши:

– Браво, сын!

Колчак вновь поцеловал руку жене, улыбнулся отцу, налил Софье Федоровне в бокал вина, себе – водки. Водку он предпочитал всем другим напиткам, считая – и вполне справедливо, – что чище, лучше, вкусное русской водки нет ничего на свете, поднял стопку:

– За то, чтобы ты почаще вспоминала меня, за то, чтобы я остался живым, за воинскую удачу, за то, чтобы я поскорее вернулся на Север, – сказал он и, помолчав, добавил: – И ты со мной. Там осталось столько несделанных дел...

Это была правда.

Через несколько дней Софья Федоровна Колчак вместе со свекром отправилась в Санкт-Петербург, а стонущий от боли лейтенант – его где-то неожиданно просквозило, и у него разыгрался приступ радикулита – на фронт, а точнее, во фронтовой город Порт-Артур.

Часть вторая
Порт-Артур

Недавно прибывший вице-адмирал Макаров был, конечно, душою Порт-Артура.

В прежние годы Макаров не раз бывал в Японии – особенно в пору, когда он командовал средиземноморской эскадрой и совершал дальние походы, которая одно время вообще базировалась в порту Нагасаки. Он всем, чем мог, поддерживал русскую колонию, посещал рестораны и магазины с русскими названиями.

Там же, в Нагасаки, кстати, находилось и большое кладбище русских моряков, на содержание которого по кораблям пускали кружку; кто сколько мог дать, тот столько и давал, списки «кружечных сборов» потом долго хранились в канцелярии эскадры.

Макаров хорошо видел, что происходит в Японии, видел, как усиливается японский флот, – в составе военно-морских сил этой страны только за последний год появился десяток новейших кораблей, появились толковые адмиралы – такие, как Ито и Того, а недавно прошедшая война между Японией и Китаем [64]стала, если хотите, прелюдией войны России с Японией, этакой пробой сил, после которой обычно принимают решение: воевать дальше или не воевать?

Судя по тому, как тяжелели взгляды японских военных, когда Макаров встречался с ними, хотя на лицах расплывались сладчайшие улыбки, как они прощупывали вопросами офицеров русской средиземноморской эскадры, какие оценивающие взоры бросали на наши корабли, предстоящая война была уже не за горами.

В начале 1900 года Макаров послал в Главный морской штаб донесение: «Заняв Корею, японцы могут двинуться к Квантунскому полуострову и сосредоточить там более сил, чем у нас. Это будет война за обладание Порт– Артуром. Его падение будет страшным ударом для нашего положения на Дальнем Востоке».

Прибыв в Порт-Артур, Макаров понял: операции ему предстоит вести не только на море, но и на суше, хотя сухопутная война – дело совсем не его, но совмещать действия все равно придется, к с суши поддерживать морские действия, а с моря – сухопутные. Макаров принял решение высадить на полуострове Гуаньдун десант. Морские подходы к полуострову закрыть

минными полями, организовать разведку – для этого он постоянно посылал в море миноносцы. Парами, чтобы один корабль страховал другой...

Война завязывалась нешуточная.

В один из розовых теплых дней – весна в Порт-Артуре началась в середине февраля – миноносцы «Стерегущий» [65]и «Решительный» отправились в разведку – надо было осмотреть восточное побережье Гуаньдуна, узнать, где сейчас дрейфует японский флот и минируют ли миноносцы фарватеры.

Вечером, уже в сумерках, русские миноносцы нашли японцев. Можно было бы уйти, но «Стерегущий» и «Решительный» поступили по-иному: хоть силы японцев превосходили русские, необходимо было раз и навсегда отбить у них охоту минировать русские фарватеры, и миноносцы остались. Поскольку драка предстояла серьезная, ночь прошла в приготовлениях.

Рано утром, едва рассвело, начался бой. Силы японцев за ночь удвоились.

Когда стало совеем туго, «Решительный» отправился за подмогой, прорвался через заграждения японцев – скорость у него была выше, чем у кораблей Страны восходящего солнца, – и понесся в Порт– Артур. «Стерегущий» продолжил борьбу.

Силы были неравные. Почти вся команда «Стерегущего» погибла, командир тоже был убит, а помощи все не было. Наконец наступила минута, когда сопротивляться стало некому.

Японцы решили увести затихший корабль к себе, но не тут-то было: в машинном отделении оставались еще два живых матроса. Поняв, что собираются сделать японцы, они открыли кингстоны. [66]Миноносец быстро заполнился водой и, тяжело задрав вверх, к небу, корму, ушел под воду. Японцы лишь облизнулись – близок был локоть...

В это время на помощь к «Стерегущему» шел сам адмирал Макаров, он перенес свой флаг на легкий крейсер «Новик», который, легко перестукивая мощной машиной, двигался на всех парах... Увидев крейсер под Андреевским флагом, [67]японцы поспешили отступить к своей эскадре, под защиту тяжелых линейных броненосцев. С броненосцами «Новик» тягаться, конечно, не мог – слишком крупнокалиберные были у тех орудия. Пришлось, отстреливаясь, оттягиваться к Порт-Артуру, под прикрытие батарей берега.

Вот такая обстановка складывалась в Порт-Артуре к тому дню, когда здесь появился лейтенант Колчак.

В Порт-Артуре цвела мимоза. На улицах плавал тягучий сладкий дух, деревья полыхали ярким желтым огнем от густых

раскидистых метелок, дух мимозы кружил голову... Город совсем не был похож на фронтовой – работали рестораны, играла музыка, нарядные морские офицеры вовсю флиртовали с сестрами милосердия и канцеляристками из штаба флота.

Адмирал Макаров встретил Колчака радушно, они были давно знакомы, более того, Колчак считал Макарова своим учителем, читал все, что было написано адмиралом: начиная с первых, самых ранних публикаций в «Морском сборнике», когда Макаров был еще гардемарином, и кончая его исследованиями о живучести кораблей (эти статьи широко изучали во всех морских ведомствах за рубежом) и фундаментальными трудами об обмене вод между морями, о подводных и «верхних» течениях и – что было особенно близко Колчаку – о ледокольном флоте.

Именно Макаров предложил создавать мощные тяжелые ледоколы для плавания в Арктике, именно он со знаменитым ученым Менделеевым разработал технические основы для постройки первого русского ледокола, предназначенного для плавания по Северу. Такой ледокол вскоре был построен. Назвали его «Ермак». [68]Позже Макаров плавал на «Ермаке» по Баренцеву морю, во льдах, два раза был на Земле Франца-Иосифа и Новой Земле.

Колчак видел в Макарове родственную душу, а Макаров, несмотря на разницу в возрасте и чинах, – в Колчаке.

Адмирал не был кабинетным военным – говорил, что от пыли портьер у него болит голова, – рабочий стол свой разместил на эскадренном броненосце «Петропавловск». [69]Длинный, угрюмый, тяжело попыхивающий серым дымом из трех огромных труб, с орудиями, которые не зачехлялись ни днем, ни ночью, – флагманский броненосец был готов в любую минуту открыть огонь.

Адмиральская каюта была широкая, тихая, в коврах, с дорогой прочной мебелью, – впрочем, к предметам роскоши адмирал относился пренебрежительно, поскольку считал, что в жизни есть немало вещей, гораздо более важных, чем роскошь. Увидев лейтенанта, Макаров встал, махнул рукой:

– Полноте, лейтенант, не докладывайте, и так все знаю.

На мощном черепе адмирала плоско лежала прядка седых волос, глаза были внимательны и усталы, огромная, серая от седины борода, разделенная надвое, прикрывала обе стороны черной адмиральской куртки, украшенной золотыми пуговицами. Из волос, прямо из бороды, высовывался нарядный Георгиевский крест.

Макаров протянул Колчаку руку.

Тот в ответ молодцевато щелкнул каблуками, наклонил

темноволосую, с редкими серебристыми искорками голову и поприветствовал адмирала почти протокольно:

– Здравия желаю, Степан Осипович!

– То, что в трудную для России пору не смогли быть далеко от передовой, похвально, Александр Васильевич, – произнес адмирал дружелюбно и одновременно с легким огорчением, – но ведь и Север, наш любимый с вами Север после вашего отъезда оттуда остается совсем забыт и заброшен... Никто ведь не будет им заниматься.

– Пока идет война – нет.

– Охо-хо, – адмирал неожиданно по-старчески закряхтел, взял Колчака руками за плечи, тряхнул, лицо его сделалось расстроенным, – велика Россия, а людей в ней мало! – Макаров, кряхтя, вернулся на место, сел поглубже в кресло, показал Колчаку на стул: – Прошу, Александр Васильевич... В ногах правды нет. То, что вы приехали, – очень хорошо, а то, что Север остался без людей, – плохо. Вы даже не представляете себе, Александр Васильевич, как это плохо.

– Прекрасно представляю, Степан Осипович. Но... – Колчак, упрямо сжав губы, развел руки в стороны, – у меня другого выхода не было.

Макаров сощурил один глаз, оценивающе глянул на Колчака.

– Александр Васильевич, у меня есть одно место... Специально для вас. Тяжелое, сложное, ответственное. Не могу найти на него человека... Пойдете?

– Наверное, при штабе?

– А что, штаб уже не является боевой единицей флота? – ворчливо спросил Макаров. – Грамотные действия одного штаба гораздо важнее слаженных действий целой флотилии эскадренных миноносцев.

– Очень прошу, Степан Осипович, не назначайте меня в штаб, – тихо и твердо проговорил Колчак и даже хотел добавить, что устал от писанины и, готовя доклад о поисках пропавшего барона, он начал ненавидеть ручку... А всякая работа в штабе обязательно предполагает обильную писанину.

Колчак даже не предполагал, что от работы, не требующей почти никаких физических усилий, так могут болеть руки, плечи, спина, грудь, ключицы – все от работы каменеет, делаясь чужим, даже поясница, вот ведь как Колчак хотел сказать об этом адмиралу, но не сказал – побоялся его обидеть.

– А куда вас назначить, позвольте полюбопытствовать, Александр Васильевич?

– На миноносец.

– Э, нет, батенька, – адмирал отрицательно качнул головой, –

с вашим опытом да с вашими знаниями – самое место в штабе. Не упрямьтесь.

– Прошу вас, Степан Осипович... только не в штаб.

Адмирал ухватил одну часть бороды в одну руку, другую – в другую, широко развел обе половинки на груди.

– Если бы я не знал вас, лейтенант, я бы прочитал вам мораль... По поводу правил хорошего тона. – Адмирал умолк; словно что-то почувствовав, повернул голову к открытому иллюминатору. Вдалеке громыхнули два артиллерийских выстрела, всколыхнули густой медовый воздух, повисший над бухтой – запах мимозы царил и тут, над морской водой – с волны с пронзительными ржавыми криками поднялись несколько чаек, понеслись к берегу. – Батарея на Орлином Гнезде ударила, – определил Макаров, – артиллеристам предписано производить тревожащую стрельбу. – Он с задумчиво-обиженным видом пошевелил пальцами. – Значит, по-прежнему хотите на миноносец? А, Александр Васильевич? – Макаров специально повел затяжную игру с Колчаком, с его назначением, он не хотел отправлять его на миноносец. Ибо опаснее службы на миноносце в воюющей эскадре не было. – А?

Макаров прочитал отчет Колчака, опубликованный Географическим обществом, – отчет пришел с недавней почтой, – понимал, что тот до последней косточки просквожен, пробит ломотой и что у лейтенанта впереди много бессонных ночей, когда от боли и собственного страшного крика у него будет перехватывать дыхание, и чем дальше к старости, тем больше будет таких бессонных ночей. Послать его на миноносец – значит сделать инвалидом. Если, конечно, он не погибнет, подобно командиру «Стерегущего».

– Охо-хо, – вновь по-старчески закряхтел Макаров. – Значит, на миноносец?

– На миноносец, ваше превосходительство, – подтвердил Колчак прежним тихимтвердым голосом.

– Не получится, – покачал головой Макаров, – у меня нет ни одного лишнего миноносца. – Макаров аккуратно разгладил ладонями лист бумаги, лежавший перед ним. – Решим, значит, так, голубчик... Не по-вашему и не по-моему. Я вас назначу на должность вахтенного офицера на крейсер первого ранга «Аскольд». [70] – Предупреждая возражения Колчака, Макаров выставил перед собой руку: – Пока так, голубчик Александр Васильевич, и больше никак. Дальше посмотрим. Договорились?

Колчак вздохнул, темное лицо его дрогнуло, он поднялся со стула и щелкнул каблуками:

– Разрешите идти?

– Подождите, не гоните лошадей. – Макаров поморщился. – Служба на «Аскольде» не менее боевая и опасная, чем на миноносце. Скоро будем проводить операции против японцев. – Адмирал вновь умолк, повернул лицо к раскрытому иллюминатору, и только тут, в мимолетном, очень близком движении Колчак увидел, какие у того усталые глаза, как набрякла и потяжелела кожа на щеках – адмирал чувствовал стрельбу береговых батарей загодя, он словно отсюда, за добрый десяток километров, слышал звяканье отодвигаемых орудийных затворов и тяжелое сопение артиллеристов, подающих снаряды в ствол.

Вновь ударили два залпа, и адмирал, одобрительно наклонив голову, взял в руки перо.

– Роль крейсеров, особенно таких, как «Аскольд», будет повышаться в нынешней войне. Крейсер – это основная сила в морских боях. Так что не расстраивайтесь, Александр Васильевич, и не обижайтесь на меня, старика. – Макаров вновь разгладил бумагу ладонями, движения были осторожными, будто он боялся, что бумага расползется, и поставил на ней свою подпись.

Командир «Петропавловска» предложил Колчаку свой катер, чтобы тот доставил лейтенанта на борт «Аскольда», и Колчак, которому очень хотелось побывать на берегу, побродить по порт-артурским улочкам, подышать духом мимозы, миндаля, ранней вишни, которая также зацвела, отправить письма отцу и Соне, заколебался…

На «Аскольд» являться было еще рано. А с другой стороны, чем раньше – тем лучше. Доложиться, бегло познакомиться с хозяйством, которое у всякого вахтенного начальника бывает очень необременительным, забросить баул в каюту и – на берег.

Сколько времени займет вся эта процедура на «Аскольде»? Ну, час, ну, полтора. Колчак, натягивая на руку белую перчатку, поклонился командиру «Петропавловска»:

– Благодарю вас, господин капитан первого ранга.

На «Аскольде» все затянулось. Это только скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. На берег Колчак выбрался только через сутки.

Первым делом сходил на почту, отправил одно письмо отцу, оно получилось довольно будничным, написал его Колчак на двух страницах, другое, потолще, на пятнадцати страницах, – жене, потом зашел в книжный магазин. Ему интересно было знать, есть ли в продаже книги о Японии.

Существует хорошее правило: если хочешь выиграть войну, постарайся узнать о противнике все, не брезгуя никакими

мелочами, не пропуская мимо себя ничего, даже рецепты приготовления рисовой похлебки, обрядов народа айну, [71]живущего в количестве нескольких сот человек на острове Хоккайдо, жизнеописаний далеких от русского человека императоров Го-Сакурамати, Кокаку, Нинко, Комэй, Мэйдзи, а также других ста семнадцати правителей, властвовавших в Японии две с половиной тысячи лет, – словом, не пропуская ничего...

Продавщица – молоденькая девушка с хмурыми серыми глазами – пренебрежительно приподняла плечо:

– Ничего японского не держим, господин лейтенант.

– Напрасно. Не век же мы будем воевать с японцами, – огорченно проговорил Колчак, пробежавшись взглядом по полкам с книгами. В основном это была пустая литература – о борзовой охоте на «псковских» землях, об архитектуре дворянских усадеб, о новогодних обрядах народов Северной Финляндии, а также несколько заплесневелых, с белесыми корешками томиков о коронации нынешнего российского самодержца...

– И больше ничего? – спросил он у продавщицы.

– Больше ничего.

Колчак покачал головой и покинул магазин.

– Продавать книги о Японии во время войны с ней непатриотично, – прокричала ему вдогонку продавщица.

Лейтенант ничего не ответил ей.

На улице дышалось легко. На углу, неподалеку от почты, безусый китаец, очень похожий на якута Ефима, вкатив тележку на деревянных колесах прямо на тротуар, жарил на большом черном противне рыбу, делал он это изящно, ловко, как фокусник. Снимал противень с длинной чугунной печушки, стоявшей в тележке на железной подстилке, делал легкое, едва приметное движение, и все рыбешки – их было штук пятнадцать – разом подскакивали на противне. В воздухе, блеснув розовыми боками и обдав людей вкусным, рождающим слюну духом, переворачивались и шлепались обратно на противень.

Пройти мимо китайца было нельзя, Колчак, почувствовав голод, остановился, спросил по-русски:

– Скоро будут готовы?

– Через две минуты, – также по-русски, тонким бесполым голоском ответил китаец.

Рыба стоила чепуху, копейки, Колчак даже удивился ее ничтожной цене, но вкусноты была необыкновенной, не во всех ресторанах можно отведать такую – сочная, тающая во рту, жирная, свежая. Подавал рыбу китаец в кульке из вощеной, не пропускающей влагу бумаге, сверху кидал в кулек несколько

колец сладкого мясистого лука и поливал черным соевым соусом, в кулек Колчака он и лука кинул больше, и соусом полил пообильнее. Улыбаясь, он стоял в сторонке и смотрел, как ест русский офицер.

– Приходите ко мне через два часа снова, – предложил он Колчаку, – у меня еще более вкусное блюдо будет.

– Какое?

– Я замочил в соусе полсотни маленьких осьминогов. Таких вот, не больше воробья. – Китаец показал пальцами, какого размера осьминоги пойдут на еду. – Будет блюдо, которое, господин офицер, в России вряд ли можно попробовать.

Бамбуковым веером он, как крылом, обмахнул жареных рыбех, встряхнул противень и закричал громко, с подвизгом, будто у него лопнули голосовые связки:

– Караси, караси! Морские караси печеные! Подходите, ешьте, господа! Цена – совсем бесплатно! – И неожиданно выдал фразу, которая удивила Колчака: – Ешь не то, чего мало, а то, что нравится!

Китаец показался Колчаку забавным – интересно, у кого он подхватил эту фразу? – и лейтенант решил через два часа вернуться на перекресток.

– Оставьте мне две порции осьминогов, пожалуйста! – Он показал китайцу два пальца.

Китаец остро взглянул на Колчака, темные глаза у него были умными, острыми, все замечающими, китаец низко склонился над тележкой, сунувшись носом в сизый пахучий парок, выбивающийся из-под противня.

– Будет сделано, господин офицер! – Китаец вновь глянул на Колчака и опять сунулся лицом в душистый парок.

«Взгляд, будто нож, – неожиданно для себя отметил Колчак, – режет по живому. Нет, не такой простой это китаец, как кажется с первого раза».

Через несколько минут он уже шел по Порт-Артуру и испытывал молодой подъем, все северные ревматические боли, ломота, нытье в мышцах и жилах исчезли совершенно бесследно, тело наполняла птичья легкость, ему было интересно все: и полукитайская-полуяпонская-полурусская архитектура здешних построек, тесно жмущихся друг к другу, и лица людей, попадавшихся навстречу, и резкие крики птиц, сидящих в цветущей мимозе, и романтический голубой дымок, поднимающийся от воды там, где в тяжелом молчании застыли, заняв едва ли не весь внутренний рейд, корабли. «Аскольд» стоял среди них.

Под деревьями – особенно на взгорках, куда доставало

солнце, – уже зеленела нежная тонкая трава, прыгали, громко перекликаясь, воробьи, кое-где желтели ранние крохотные цветочки – некая смесь одуванчиков с подснежниками. Такие цветы в России не водились.

Колчаку захотелось, как мальчишке, развалиться на земле под одним из деревьев, снять с себя ботинки, задрать ногу на ногу, заложить руки за голову и застыть в бездумном созерцании высокого голубого неба.

Как это не раз бывало в детстве.

Колчак едва сдержал себя: мальчишество все это, секундный сопливый порыв. Подумал о том, что раз тянет на такие школярские поступки – значит, чего-то недобрал в детстве, значит, чего-то недодали. А может, во всем виноват Север с его вечными холодами, там ведь лишний раз с себя ботинки не снимешь... Поднялся на мелкий, со сплющенной макушкой пригорок, на котором под деревьями стояло несколько литых чугунных скамеек с дощатыми рейками сидений, а в глубине длинного лога вольно расположился приземистый желтоватый дом с двумя мезонинами, очень похожий на барский, каких немало в провинциальной России.

Сидеть на скамейке было нельзя – их недавно покрасили в антрацитовый цвет, старая краска не хотела высыхать, – и Колчак встал у дерева, прислонился к нему спиной. Глубоко, во всю грудь затянулся густым медовым духом, которым, кажется, пропитался уже не только город с его крепостными стенами, молом и пушками, но и земля, и море, проследил за полетом стаи чаек, подумал о том, что Россия отсюда воспринимается как из далекого далека – как некая земля в тумане, к которой стремятся заблудившиеся корабли, ищут ее, надеются в плавании поймать свет маяка, словно единственный лучик надежды, и, ориентируясь на него, пристать к берегу. К своей земле...

Далеко отсюда Россия.

Но чем дальше она расположена, тем печальнее делаются мысли о ней, тем больше щемит сердце, тем дороже становится Родина.

К Колчаку по земле боком подгреблась, подскочила, неровно держась на кривых ногах, какая-то странная красноглазая птица, каркнула по-вороньи резко и громко, потом просительно распахнула большой желтый клюв.

В облике этой птицы проглянуло что-то древнее, беспощадное, воинственное. Колчак поспешно шагнул в сторону.

Однажды на севере он видел белую ворону. С белыми крыльями, белой грудью, белым хвостом, очень похожую на чайку, но это была не чайка, а ворона. И каркала она по-вороньи.

Впрочем, эта красноглазая кривоногая каракатица тоже каркает по-вороньи. Хитроумна природа, полно у нее загадок, часть из них – меньшая – уже разгадана, но большая часть – увы... Никто не знает, сколько веков понадобится, чтобы все их разгадать, да и возможно ли это. Может быть, даже не века понадобятся, а тысячелетия, вот ведь как.

Через два часа, обойдя половину Порт-Артура и купив себе писчей бумаги, твердую планшетку, выструганную из дуба, на которой удобно писать даже стоя, находясь на вахте, во время шторма, а также два десятка карандашей и хитроумную китайскую вазочку для кистей, Колчак вернулся на перекресток, где хозяйничал китаец со своей вкусно дымящейся тележкой.

Китаец не обманул: на тележке горячего железного противня уже не было, длинная печка-мангальница призывно дышала жаром, над прозрачными гибкими струями, исходящими от углей, жарились маленькие осьминоги, насаженные на шампуры, шкворчали, брызгали пузырями. На каждый шампур было насажено по четыре похожих на небольшие морские звезды осьминожика.

Увидев Колчака, китаец приветливо, как старому знакомому, улыбнулся и поднял руку.

– Господин офицер, ваш заказ выполнен.

Колчак вновь подумал, что в облике китайца действительно что-то настораживает. Глаза у этого человека скользкие, бегают, словно намыленные, туда-сюда, не останавливаясь, в них нельзя даже заглянуть – они тут же убегают в сторону. Колчаку показалось, что в глубине зрачков тускло посвечивает холодный далекий огонь, а сладкая доброжелательная улыбка, хорошо маскирующая внутреннее состояние китайца, как будто приклеена к губам. Тело находится в постоянном движении, словно китаец готов в любую минуту сорваться и куда-нибудь бежать. Он все время кланяется, кланяется, кланяется...

Китаец то ныряет головой в сизый душистый парок, то выныривает из него, бросает цепкий взгляд в пространство, на корабли, плотно впаявшиеся в безмятежную воду бухты, на людей, идущих по улице, разом отстреливая от общей массы офицеров, делает несколько плавных взмахов веером и снова кланяется.

Шашлык из осьминога не уступал печеной рыбе, даже превосходил ее: мясо было нежное, вязкое, оно сочно похрустывало на зубах, от аромата его на глазах даже выступали сладкие слезы. Колчак увидел, как такие слезы неожиданно появились на простеньком пастушечьем лице солдата-артиллериста, остановившегося около китайца перекусить.

Солдат стонал, перекидывал горячих осьминожиков из руки в руку, потом запихивал их в рот, с шумом, с сопением втягивал в себя воздух и так же шумно выдыхал, из белесовато-голубых мальчишеских глаз его текли сладкие слезы. На рязанской мордахе проступило выражение некого редкостного неземного наслаждения. Ведь в деревне Голопуповке либо в селе Новопузово такое блюдо вряд ли можно попробовать, а вот здесь, на краю краев земли, около лукошка, откуда вылезает солнышко и пускается в путь по белому свету, это – вещь обычная.

Артиллерист съел одну порцию осьминогов, потом вторую, за ней – третью, сладко и печально сжал слезящиеся глаза, помотал головой сокрушено:

– Съел бы еще, да деньги кончились.

– Берите, берите, молодой человек, – предложил Колчак, – я угощаю.

В глазах артиллериста заплескался благодарный испуг.

– Как можно, ваше благородие?

– А так и можно, – спокойно ответил Колчак, – взять и съесть еще пару порций. Я плачу. – Он перевел взгляд на китайца: – Нука, отыщите доблестному защитнику Отечества пару шашлычков пожирнее!

Китаец проворно отвесил поклон, пробежался пальцами по шампурам, подхватил с мангальницы одну палочку с насаженными на нее пухлыми звездочками осьминогов, протянул артиллеристу:

– Держи, пока господин офицер добрый.

Артиллерист стер с глаз благодарные слезы и взял шашлык.

Речь у китайца была чистая, без перекосов и сюсюканья, над которыми обычно любят посмеиваться русские солдаты; китайцы, когда говорят, – и картавят, и половину букв съедают, и в речь привносят что-то бабье, вызывающее улыбку, а этот китаец говорил чисто, будто половину жизни провел в Санкт-Петербурге... Артиллерист справился с порцией осьминожков как с тарелкой жареных пельменей – ловко поснимал их губами с металлического стерженька и, продолжая лить обильные сладкие слезы, проглотил. Только кадык звучной гирькой ездил у него по шее вверх-вниз, вверх-вниз...

– Еще одну порцию защитнику Отечества! – приказал Колчак, и китаец вновь проворно сунул голову в душистый дым, заперебирал в нем пальцами:

– Слушаюсь!

– Благодарю покорно, ваше благородие, – артиллерист схлебнул что-то с губ, поклонился Колчаку на манер китайца, попробовал воспротивиться, – право же, это – лишнее... Я и так

скоро на одном жареном осьминоге буду сидеть, на нижнем, а верхний будет торчать у меня из горла.

– Ешь, пока живот свеж, – подогнал его Колчак, – мягче сидеть будешь.

Розовый воздух над городом всколыхнулся – недалеко грохнул залп береговых батарей, снаряды, кажется, прошли почти над головой, на небольшой высоте – Колчак услышал их тяжелое бултыханье.

Китаец выпрямился как от удара, улыбка, прочно приставшая к его рту, неожиданно отклеилась, губы плотно и твердо сжались.

– Еще? – спросил он лейтенанта.

– Нет, благодарю... Сыт, – ответил тот, щедро расплатился за себя и за объевшегося артиллериста и поспешил подхватить кулек с покупками – надо было возвращаться на корабль.

Он видел, что китаец хочет что-то сказать ему, может быть, даже договориться о следующей встрече, предложить печеных трепангов, сырых устриц с луком и уксусом либо похлебку из королевских крабов, сощурил жестко, насмешливо глаза, словно давая понять, что раскусил его, китаец это заметил и немедленно насторожился. Улыбка исчезла сама по себе, помимо воли хозяина, и он не сразу обнаружил это исчезновение, глаза сделались совсем крохотными – две узенькие ниточки-прорези, китаец сломался в поясе, нырнул головой в синий вкусный дым мангальницы, вынырнул, снова нырнул...

Колчак отправился на корабль.

На «Аскольде», же заходя к себе в каюту, заглянул к старшему офицеру корабля – молчаливому, с окладистой цыганской бородой и голым блестящим черепом капитану второго ранга. Старшие офицеры на кораблях были не только дублерами командиров, но и отвечали за разведку и контрразведку. Колчак рассказал ему о китайце и своих подозрениях.

– Китаец из него, как из меня абиссинский негус, [72] – сказал Колчак, – или придворный шут из свиты вождя племени. Взгляд цепкий, точный – сразу отметает все лишнее, лицо хитрое, все слушает, все запоминает... Нет, это никакой не тележечник, – убежденно произнес он.

– Благодарю вас, – сухим, ничего не выражающим голосом проговорил старший офицер, – китайца этого мы обязательно проверим...

Старший офицер встал с кресла, давая понять, что разговор окончен. Колчак про себя чертыхнулся: деревяшка, а не человек. Впрочем, на «Аскольде» старший офицер считался толковым командиром.

День закончился быстро, вскоре на Порт-Артур опустилась

непроглядная, будто в осеннюю пору, тревожная ночь.

События в этой войне развивались непредсказуемо и неприятно для России. Все качалось с того, что десять лет назад Япония победила Китай в короткой беспощадной войне и начала за счет Китая удовлетворять свои аппетиты. Причем кромсать Китай стала не только она. Немедленно возникла Германия, она оказалась тут как тут, словно по мановению волшебной палочки, и захватила стратегически важную бухту Цзяочжоу в провинции Шаньдун – угрюмые силуэты кораблей кайзера [73]приводили местных жителей в священный трепет.

Англия также незамедлительно высадила свой десант в порту Вэйхайвэй, захватила полуостров Коулон, примыкавший к Гонконгу, – кусок жирный, лакомый, Англии позавидовали и Франция, и Германия – очень уж нагло и ловко сработали сыны туманного Альбиона. [74]Не побоялись, что мир начнет осуждать их, и теперь находились на коне. И мир – в основном разные горластые журналюги – проглотил это.

Франция объявила своим порт Гуанчжоу – тоже весьма приличный кусочек земли, базируясь в этой точке, можно завоевать весь Дальний Восток, Россия наложила руку на Порт-Артур. Единственная страна, которая припозднилась к дележу пирога, была Америка. Надо было видеть зависть на лицах американских генералов, когда они увидели, какие жирные и сладкие куски оттяпали их конкуренты в борьбе за вселенское господство.

Впрочем, медлительность Соединенных Штатов была объяснима – янки занимались разборкой с Испанией, [75]им было очень важно вытеснить ее из-под своего бока, из Латинской Америки, а эта задача была не из легких, но тем не менее Америке тоже захотелось отведать китайского пирога, и Штаты начали вмешиваться во все, что происходило на Дальнем Востоке. Будь то лов трепангов или отстрел китов в море, разработки красной глины в долине реки Янцзы или выращивание риса в Южном Китае.

Япония попыталась утвердиться в Китае основательно, но не тут-то было – столкнулась с интересами России. Оба государства были недовольны друг другом, и Япония начала спешно искать себе союзника. Да такого, чтобы можно было без особого риска помахать кулаком перед носом России. Союзники не замедлили обозначиться. Для начала Японию поддержала Англия, которой надо было обязательно ослабить позиции России на Дальнем Востоке и в Центральной Азии, следом Америка вступила в союз.

В воздухе запахло хорошей дракой.

Летом 1903 года японцы потребовали от России, чтобы

Санкт-Петербург признал за ними не только Тайвань и провинцию Фудзян, которые стали практически японскими, но и Корею, и Маньчжурию. В Маньчжурии, как известно, у России были свои интересы – прежде всего, по территории Маньчжурии проходила железная дорога – русская дорога, имелись различные сооружения, ремонтные предприятия и станции, жилые дома и большое количество техники – паровозы, вагоны и прочее.

Драка стала неизбежной.

И она не замедлила начаться – в ночь с 27 на 28 января, официально же война была объявлена лишь через двое суток...

Макаров хотя и был полководцем морским – флотоводцем то есть, – а не мог не видеть слабых мест на суше, в русских позициях, в частности в Порт-Артуре. Порт-Артур был хорошо укреплен с моря – не подступиться: любое судно легко потопят тяжелые береговые батареи со стороны Ляодунского полуострова, а вот со стороны материка, с суши, она не была укреплена даже простыми окопами... Но строить оборонительную линию было уже поздно – надо было воевать.

Колчак думал, что в ближайшее время обязательно повидается с адмиралом Макаровым, покажет ему материалы о поисках пропавшей группы Толля, расскажет о находках, сделанных в том тяжелом августе, и вообще о северных экспедициях прошлого года, но судьба распорядилась так, что больше они не встретились. Никогда.

Порт-Артур начали серьезно осаждать с моря – корабли японской эскадры все чаще подходили к внешнему рейду – серые, источающие ощущение опасной силы, тяжело оседающие в воде. Отогнать их было сложно: после гибели «Варяга» и «Корейца» под Чемульпо, [76]после того, как были выведены из строя два броненосца и один крейсер в самом Порт-Артуре, после гибели «Стерегущего» соотношение сил изменилось в пользу Японии. Японский флот в результате оказался сильнее русского, поэтому Макаров очень тщательно планировал каждый выход в море – терять больше было нельзя ни одной плавучей единицы.

Вокруг японской эскадры все время вертелись какие-то странные суденышки – то ли катера, то ли минные заградители, то ли мелкие десантные транспорты – не понять, суденышки эти, случалось, будто озлобившиеся моськи, стаей направлялись в сторону Порт-Артура, проскакивали даже в гавань, на внутренний рейд – казалось, вот-вот вцепятся зубами в борт флагманского броненосца или «Новика», [77]но в последний момент стая поспешно разворачивалась и уходила в море... Эти странные маневры, конечно же, имели свою цель.

Колчак, глядя на эту блошиную карусель, только головой качал: нужен был хороший капкан, чтобы разом прихлопнуть этих водяных вшей... Но капкана не было, и Колчак стискивал зубы, всасывал горький морской воздух, глотал, словно некую медицинскую микстуру, и думал о том, каково же Макарову, который видит все это?

Безмятежность моря, лунная ласковость здешних гор, кудрявость деревьев и розовый, пропитанный запахом мимозы воздух были обманчивы. Здесь, на востоке, вдали от дома, все было чужим – даже доброжелательные улыбки, приклеенные к лицам китайцев. Здесь все таило опасность, всякую мелочь надо было учитывать, ничего не выпускать из виду, и опасность эту Колчак ощущал кожей, кончиками пальцев, и морщился досадливо, словно прикоснулся к чему-то нехорошему, испачкался...

Дом, Россия, родные люди отсюда, из далекого далека, должны были бы восприниматься отстраненно, как нечто нереальное, хотя и желанное – неужели все это есть на самом деле, неужели существует? Так оно, собственно, и было, только сквозь эту отстраненность иногда прорывалась секущая, лютая тоска, и тогда Колчак запирался у себя в каюте, падал спиной на койку, заправленную клетчатым шерстяным пледом, и некоторое время лежал молча, заложив руки за голову и ловя глазами на потолке каюты водяные блики, проникающие сквозь иллюминатор.

Но потом тоска отпускала. Он вновь выходил из каюты, вглядывался в прозрачную голубизну гор, в сплющенную полоску берега и принимался за работу. Дел у всякого офицера на корабле, даже если ты не находишься на дежурстве, полным-полно – взглядом не окинуть. Когда Колчак дежурил, то никаких слабостей по отношению к себе не допускал, всякий приступ, даже легкий далекий позыв ревматизма безжалостно давил в себе.

Ночью 30 марта 1904 года японские корабли были замечены в непосредственной близости от Порт-Артура; их засекли два легких катера, в темноте возвращавшиеся домой. Японцы катера эти тоже засекли и полоснули по ним прожектором, потом вдогонку послали свой катер, но для того, чтобы спустить его на воду, понадобилось время, и японский катер с вооруженной командой опоздал.

Когда об этом доложили Макарову, он лишь покачал головой: японцы чувствуют свою силу, потому и ведут себя так нагло. Пока же подойдет помощь с Балтийского моря, Макарову остается только лавировать, хитрить и боевые действия вести только под

прикрытием береговых батарей.

– Что ж, на наглость ответим хитростью, – сказал Макаров, – а потом сравняемся в тактике и стратегии и клин вышибем клином.

С другой стороны, иногда надо было показывать зубы, и Макаров приказал эскадре выходить на внешний рейд.

Было раннее утро 31 марта. Солнце еще не поднялось над морем, но уже ощущалось – край неба над выпуклой водной гладью набух сукровичной розовиной, розовина эта просочилась едва ли не до середины небесного свода, дымы, вырывающиеся из труб русских кораблей, были видны далеко. Впрочем, дымы японских кораблей тоже были хорошо видны: алую арбузную мякоть над горизонтом перечеркивали дрожащие вертикальные строчки черного цвета...

– Совсем перестали уважать противника, – сокрушенно покачал головой Макаров, – мда-а... Обнаглели, господа хорошие. И нехорошие – тоже. – Он привычно, по-мужицки разгладил бороду двумя руками, разделил ее надвое. – Отныне будет так; каждую ночь на внешнем рейде стянут дежурить крейсера. Утром же – каждым утром, – специально подчеркнул он, – производить минное траление. Мало ли что японцы могут оставить ночью... Нам их дары не нужны.

Корабли русской эскадры один за другим покидали внутреннюю гавань и через незаминированный проход, обозначенный несколькими железными буями, медленно вытягивались в море.

Со стороны солнца, словно взрезав арбузную красноту несколькими гибкими ударами ножа, с грохотом принеслись, оставляя черный дымный след, четыре или пять японских снарядов, которые, взбив высокие султаны, легли в воду. В небо, пятная воздух мокретью, полетели изуродованные рыбьи тела – снаряды легли в гигантский промысловый косяк. Русским кораблям вреда они не принесли.

За первым залпом японцы сделали второй – также издали, с таким же большим недолетом и попали также в рыбий косяк. Только розовые брызги да оторванные хвосты взметнулись в воздух.

Макаров находился на командном мостике броненосца «Петропавловск», светлое лицо его с набрякшими от бессонницы подглазьями было сосредоточенно и печально – он словно в очередной раз прокручивал свое прошлое, свои визиты в Японию, друзей, оставшихся там, и думал о том, что неужели они способны загнать в ствол орудия снаряд и выстрелить по нему? Почему-то в это не верилось.

И войну развязали, и торпедировали три русских корабля глухой январской ночью, и ведут сейчас далекую трусливую стрельбу совсем другие люди, не его знакомые японцы.

Японцы дали третий залп. Дымные дрожащие строчки вновь перечеркнули арбузный, влажно поблескивающий свод неба на востоке, снаряды е тяжелым усталым гудом принеслись к русским кораблям и вновь с большим недолетом легли в воду, взбив высокие розовые снопы брызг.

Адмирал повернулся к сигнальщику, стоявшему у него за спиной:

– Передай на корабли эскадры, голубчик... «Открыть ответный огонь. Два залпа». Этого будет достаточно.

Макаров рассчитал точно: двух залпов действительно оказалось достаточно, чтобы дымы над японскими кораблями сделались густыми, черными – кочегары начали поспешно подбрасывать уголь в топки, и ожившие корабли поспешили удалиться к своим, к основным силам эскадры Того: оставаться под русскими снарядами им было неуютно. Макаров невольно усмехнулся:

– То-то же!

Он действительно до сих пор не мог поверить, что это – те японцы, которых он знал, к которым относился с дружелюбным почтением, пил саке [78]и ел прозрачные рисовые блинчики на званых обедах. Долго не мог он привыкнуть к сырой рыбе, считавшейся здесь главным своим лакомством, – никак не мог заставить себя взять ломтик сырой, сочащейся сукровицей макрели и, окунув его в чашку с соусом, с блаженным видом проглотить. У японцев это получалось так лихо, что он им завидовал – восхищенно крутил головой, поправлял бороду, широко разложенную на груди, и разводил в стороны крупные, красные от ветра и солнца руки: не получается.

Японцы, радостно щуря вишневые глаза, пытались его учить – и находили в этом удовольствие – есть сырую рыбу, пользоваться палочками вместо ножа и вилки, пить водку подогретой, хотя все русские поступают наоборот – пьют водку холодной, – но Макаров в ответ вновь виновато разводил руки: плохой, дескать, из него ученик.

Японцы возражали:

– Адмирал Макаров – хороший ученик, – и подносили ему чашечку подогретого саке.

Макаров с улыбкой выпивал. Саке ни в какое сравнение не шло с русской водкой – напиток был слабенький, только ноздри им мочить... В глаза еще можно закапывать. После простуды. Чтобы не слезились.

Где же те милые сердцу японцы, которых он знал? Неужели это они стреляли в него?

Наивный вопрос, и Макаров прекрасно знал, что он – наивный, поскольку у всякого японца существует целый реестр различных понятий, среди которых находятся такие, как дружба и долг. И находятся они на разных ступенях: долг всегда стоял и будет стоять выше дружбы.

Уходящие японские корабли прислали еще один снаряд, последний, он лег далеко в стороне, вздыбив воду и родив длинную кудрявую волну. Офицеры, стоявшие рядом с Макаровым, молчали. Сигнальщик, пристроившийся за длиной адмирала, готовый каждую секунду засемафорить флажками, неожиданно обиженно засопел.

Макаров оглянулся на него, улыбнулся – он понимал чувства этого конопатого тамбовского паренька: как это так, мы не можем дать узкоглазым по сопатке?

А вот так. Не можем.

Через несколько минут на мостик поднялся художник Верещагин, [79]вид у него был заспанный, какой-то виноватый, Макаров поднял руку, приветствуя прославленного живописца, про себя подивился, что тот проспал стрельбу: ведь когда на броненосце бьет орудие, каждый сантиметр пространства, каждая железка наполняется звоном, пороховой дым залезает даже под одеяло, от него нечем бывает дышать.

Верещагин замер на секунду, вглядываясь в растекающуюся морскую даль, поймал там едва приметные пятна – силуэты кораблей японской эскадры, сделал вид, будто хотел плюнуть в них, потом по-мальчишески восхищенно крякнул:

– Ну и зрелище! Я успел сделать двенадцать набросков с нижней палубы, Степан Осипович! И то, как корабли снимались с якорей, зарисовал, и как выходили из бухты в море, и как орудия били по японцам, и... в общем, двенадцать набросков. Очень ценный материал для будущей картины. – Он подставил лицо первому лучу солнца, вспыхнувшему над горизонтом, засверкавшему дорого, ярко, довольно зажмурился, и Макаров невольно подумал о том, что человек склонен легко ошибаться: он посчитал, что Верещагин проспал все главные моменты выхода в море и «обмена мнениями» с японскими кораблями, но Верещагин ничего не проспал – просто его вид оказался очень обманчив...

– Ах, какая красота, – не удержавшись, вздохнул Верещагин.

– Здешняя природа не похожа ни на какую другую, – заметил Макаров, – сколько я ни плавал по миру – такой больше не встречал.

– Вы знаете, Степан Осипович, чего мне сейчас больше всего хочется? – Верещагин сладко почмокал губами, и у Макарова возникла неожиданная мысль, что сейчас Верещагин заговорит об охоте.

– Нет.

– Попасть на охоту, – сказал Верещагин. – Скоро начнется великолепная, очень азартная утиная охота. С ушастыми собаками, которые с превеликим удовольствием лазят во всякое болото, с розовыми зорями и подсадными утками. Сердце выпрыгивает из груди, когда я об этом думаю.

Макаров сочувственно качнул головой, вновь повернулся к сигнальщику:

– Просемафорьте на корабли – заканчиваем маневр и отходим к Порт-Артуру, на внешний рейд.

Сигнальщик поспешно замахал флажками, на то, как он работает, было любо-дорого смотреть. Верещагин выдернул из кармана блокнот, зачеркал карандашом по бумаге, не переставая восхищаться:

– Ах, какая красота! М-м-м! А четкость какая! Артистическая пластика движений. Артистизм и арифметика. Все состоит из углов, и ни один из них не колется!

– А я, вы знаете, к охоте как-то равнодушен, – сказал Макаров, – хоть русские зори люблю. Есть в них что-то щемящее, очищающее, что растапливает холод в душе. Я больше по части рыбалки и, ради справедливости хочу заметить, что рыбалка тоже обладает очищающим свойством... Только вот рыбачить совершенно некогда.

Когда до входа в гавань, до горловины, обозначенной двумя белыми, будто вырезанными из сахарной головы, издали видными маяками, оставалось две мили, броненосец «Петропавловск» начал делать широкий круг на воде, разворачиваясь на восток, словно собирался обойти все корабли эскадры. Светлая глубокая вода насытилась странной меловой белизной, совершенно слепой, шипела под острым тяжелым носом «Петропавловска», пенилась, взметывалась глубокими белыми бороздами за кормой, из огромной средней трубы, в которую запросто могли провалиться телега вместе с лошадью, шел сизый горячий дым.

Солнце поднималось все выше и выше, оно начало по-южному припекать. Над «Петропавловском» носились чайки. Город с моря был виден хорошо: белые квадратики домов жались к горам, врезались в зелено-бурые гряды деревьев – картина была нарисована безмятежная, заставляла вспоминать Россию и сравнивать здешние места с российскими. Занятие это

неблагодарное, но тем не менее всякий солдат бывает рад разбередить себе душу, и вообще дом родной вспоминается каждому человеку, находящемуся в отлучке, а в таком далеком далеке, как Порт-Артур, – особенно.

– А солнце-то, солнце-то! – продолжал восхищаться Верещагин. – Чистейший красный цвет, ни одной посторонней примеси... Всякая примесь, Степан Осипович, мутнит цвет, лишает его радости. Чистый цвет – это чистый цвет. – Верещагин, пока говорил, успел сделать несколько карандашных набросков.

Один из них показал Макарову: над ровной кромкой моря поднималось огромное круглое солнце, перечеркнутое длинным орудийным стволом.

Макаров в ответ вежливо наклонил голову, потом достал из кармана серебряную луковицу часов, нажал на кнопку – белая, тускло поблескивающая крышка отскочила от корпуса со звонким щелчком.

– Сколько там показывают ваши сверхточные? – услышав щелканье, спросил Верещагин, не отрываясь от блокнота и продолжая шустро бегать карандашом по бумаге. Сообщил доверительно: – Я еще не завтракал.

– Сейчас половина десятого, – сказал адмирал.

– Ровно?

– Секунда в секунду.

– У меня весной часто прихватывает желудок, Степан Осипович, – признался Верещагин, – обостряется язва... Врач предписал мне два рецепта. Первый – строгая диета, второй – еда вовремя, по часам.

– Сейчас отправимся в кают-компанию, там нас ждет завтрак. – Макаров опустил часы в карман и застегнул куртку, прикрывая серебряную цепочку. Приказал сигнальщику; Два крейсера – на внешнее дежурство, остальным кораблям – на рейд! – Повернув голову к художнику, поспешно заканчивавшему очередной набросок, Макаров проговорил мягко – он умел говорить очень мягко: – Не торопитесь, пожалуйста. Я подожду вас.

Вместо ответа Верещагин вновь восхищенно, давясь словами, забормотал:

– Все, что я сейчас вижу, – надо видеть. Это не передается ни словами, ни музыкой, ни красками, ни карандашом, это выше искусства... Это надо видеть своими глазами. – Карандаш в руках Верещагина заработал еще стремительнее. Кое-где Верещагин соскребал неровный штрих ногтем, раздавливал пятно большим пальцем, растирал его, затем ловким движением выдергивал из кармана блузы резинку, стирал несколько штрихов, вновь

наносил на бумагу короткие стремительные штрихи.

Было девять часов тридцать четыре минуты утра. Странная белесость на воде сгустилась. Словно в глубинное течение кто-то сбросил меловую запруду. Игривые кудряшки ка волнах исчезли, вместе с ними исчезло и ощущение глубины, солнце уже поднялось на приличную высоту, небо поблекло. С юга дул легкий ветер, сорил водяной дробью.

Верещагин работал красиво, вдохновенно, такой работой обычно любуются зеваки, и Макаров невольно ощущал сейчас себя обычным зевакой и был рад этому ощущению, он понимал, что всякая натура для Верещагина является неким волшебством, непознанной тайной, и тот каждый раз торопится эту тайну открыть. Ему все было одинаково интересно: и чайка, шлепнувшаяся в воду, прямо в бурун, чтобы ухватить рыбешку, выброшенную вверх брюхом на поверхность и не успевшую вновь раствориться в глуби, и золотой солнечный блик, пропоровший волну, словно шпага, и хищное длинное тело эскадренного миноносца, приблизившегося к борту «Петропавловска», и тусклый загадочный свет, неожиданно возникший в иллюминаторах броненосца, наполовину прикрытых броневыми «ресницами», и серые лица озабоченной команды... Для Верещагина не существовало второстепенных предметов, все детали были главными и одинаково важными.

– Нет ничего лучше лица русского матроса, – сказал Верещагин, сделав еще один портретный набросок сигнальщика. – А вас когда будем рисовать, Степан Осипович? – спросил он у Макарова.

– Позже, – неопределенно произнес адмирал.

Стрелки показывали девять часов тридцать минут утра. На эсминце, приблизившемся к борту броненосца, тонко и жалостливо запела труба.

– А в России, на дорогах, сейчас догорает последний снег, небо обрело сочные краски – весной небо в России всегда яркое, на деревьях суетятся и галдят грачи, а на поля, на обнажившиеся зеленя выскакивают шальные, лохматые после зимы зайцы, – проговорил Верещагин, что-то в его голосе дрогнуло, он на несколько секунд прекратил рисовать, лицо расслабилось, и Верещагин неожиданно прошептал расстроенно, размягченным тихим голосом: – Ах, Россия, Россия...

Под ногами погромыхивала, дрожала сталь – у броненосца были мощные машины: иногда броненосец шел вдоль берегов – берега тряслись.

На носу, на высоком прочном шпиле трепетал белый флаг, крест-накрест перечеркнутый синими полосами, – Андреевский,

под флагом стоял человек в черной форме и серебряным шнуром на груди, к которому был прикреплен рожок, – боцман палубной команды.

Боцман, задрав голову, критически смотрел на Андреевский флаг – что-то ему не нравилось в боевом стяге; то ли тот начал быстро линять, то ли слишком скоро увял и ободрался, то ли буйные ветры морских пространств пробили в полотнище дырку. Боцман осуждающе покачал головой – флаг надо было менять.

– Вот и все, Степан Осипович, я готов! – бодро воскликнул Верещагин, захлопывая блокнот. – Еще мне надо будет сделать несколько набросков «Петропавловска» со стороны. Запечатлеть вид сбоку, так сказать. Пока не знаю, как к этому подступиться.

– Очень просто. Дадим вам катер, отойдете на нужное расстояние от броненосца и сделаете наброски. Прямо с воды.

Верещагин благодарно улыбнулся.

– Я хотел просить вас об этом, Степан Осипович, только не знал, как это сделать. Язык не поворачивался. – Глаза Верещагина опутались лучиками-морщинками, он приложил руку к груди и неуклюже поклонился.

– Все, пойдемте в кают-компанию, завтрак ждет. – Адмирал взял Верещагина под локоть.

«Петропавовск» продолжал чертить гигантскую дугу, оставляя после себя длинный пенистый след, над которым, будто грачи над свежей пашней, крутились крупные крикливые чайки; сравнение это пришло Верещагину невольно, он взялся было опять за блокнот, словно боясь, что возникший образ уйдет, но в следующий миг опустил блокнот обратно в карман блузы.

Он был хорошо знаком с одним правилом, одинаковым и для писателей, и для музыкантов, и для художников: если не ухватить за хвост птицу-мысль, нужное, внезапно возникшее слово, точный изобразительный образ, ноту или просто ударное цветовое пятно, не зафиксируешь на бумаге – считай, все... И мысли, и образы, и слова исчезают гораздо быстрее, чем появляются, – пропадают совершенно бесследно, оставляя внутри ощущение, схожее с ощущением – вот странное сравнение – карточного проигрыша.

Часы показывали девять тридцать девять утра...

Неожиданно Верещагин увидел, как боцман, стоявший у носового флагштока – с высоты командного мостика он был виден очень хорошо, – взлетел, будто циркач, в воздух, перевернулся вверх ногами, с него содрало серебряную дудку, швырнуло на палубу, под флаг... Впрочем, флага уже не существовало – он в ту же секунду был срублен вместе с металлической стойкой и, смятый, разодранный сразу на несколько жеваных лоскутов, полетел вниз, под нос броненосца.

Верещагин увидел все это будто в неком недобром сне – глядел на происходящее со стороны, словно и не с ним, не с броненосцем «Петропавловск», не с адмиралом Макаровым все происходило – страшная картина эта не была реальной...

Боцмана несколько раз перевернуло в воздухе, с него слетели ботинки, шлепнулись на палубу, в следующий миг туда упал и сам боцман, распластался тяжелой черной тушей, по-птичьи раскинув в обе стороны какие-то бескостные, переломанные руки. Ноги он неудобно, вывернув под углом, подогнул под себя.

Такая поза может быть только у мертвого человека.

Со стороны левого борта, где ощетинились стволами боковые орудийные башни, пронесся сырой, сдавленный ужасом крик; высокая, с несколькими перекладинами мачта взметнулась над командным мостиком, задрожала, с нее посыпались яркие синие звезды, заскакали, будто птицы, по бронированной палубе. В следующий миг макушка мачты отделилась от остова, резво, по-вороньи отпрыгнула в сторону, следом было срублено второе колено мачты – более толстое, под днищем броненосца что-то загудело, словно он напоролся на мель, заскреб по ней тяжелым железным пузом, затрясся.

Гудящий звук усилился.

Тяжелая средняя труба, похожая на городскую водокачку, а размером, может быть, даже больше водокачки, приподнялась над основанием, обнажив черные, в густой сажевой махре колосники, из которых валил горячий, выбивший из Верещагина крик ужаса дым – дым этот опалил ему лицо, труба разломилась в воздухе на несколько частей и рухнула вниз, на боковые орудийные башни, сыпя сажей, комками металла, разорванными решетками колосников и углеуловителей.

Броненосец разваливался на глазах.

Верещагин снова закричал, но крика своего не услышал. Увидел только, что адмирал, стоявший рядом с ним, вдруг схватился рукой за грудь, лицо его побледнело, из глаз, сделавшихся совсем крохотными и светлыми от боли, закапала кровь, она выбрызнула из уголков век, из-под ресниц, потекла по лицу, изо рта тоже выбрызнула кровь, и адмирал стал медленно оседать на пол мостика.

Застонав, Верещагин хотел было кинуться к нему, подхватить под мышки, поддержать, но неожиданно почувствовал, что у него нет ног – он их лишился и сразу сделался вдвое ниже ростом.

Невыплеснувшийся крик взорвался у него в глотке, родил ошпаривающую боль. Верещагин снова закричал, и опять крик застрял в нем.

А броненосец продолжал разрушаться – все происходило на

глазах у десятка других кораблей, у нескольких сотен людей: следом за первой трубой с основания сорвалась вторая, ее смяло, будто она была сделана из картона, вывернуло наизнанку одну из боковых башен, беспощадная сила выдрала из нее орудийный ствол, из пролома в воду полетел человек – наводчик, сидевший у орудия, он упал в волну, сверху его накрыла железная плита, и человека не стало.

Из-под борта вырвался плоский высокий столб пламени, взметнулся вверх, достал до мостика и тут же нырнул вниз, под днище броненосца, командный мостик пополз в сторону; Верещагин попробовал упереться во что-нибудь обрубленными ногами, но мостик накренился еще круче, под «ноги» ничего не попало, держаться было не на чем. Верещагин ухватился рукой за металлическую стойку, но она гнило поехала в сторону; скрежет, раздававшийся под днищем «Петропавловска», нарастал, он превратился в долгий тягучий грохот, в следующий миг нос броненосца погрузился в воду, над ним вспух и гулко лопнул огромный водяной пузырь, за первым пузырем лопнул второй, внутри, в корпусе «Петропавловска», взорвались несколько сдетонировавших снарядов, корпус корабля затрясся, корма с работающими винтами полезла наверх, окуталась паром.

Из-под днища снова выплеснулся столб пламени, плоско пронесся по воде в сторону, уткнулся в гривастую волну, словно в непреодолимое препятствие, и исчез.

Тяжелая корма броненосца задралась еще круче, гулко захлопали гигантские пузыри, выметывающиеся из корпуса, в воду с криком посыпались люди, но Верещагин этих криков не слышал, его отбило в угол командного мостика, сверху надвинуло тяжелый железный шкаф, в котором хранились навигационные карты, рядом с ним оказался вахтенный штурман с перерубленной шеей и мертвыми, потерявшими блеск глазами – шею ему изуродовала острая, выскользнувшая из брони заклепка; Верещагин засипел сдавленно и в следующий миг увидел совсем рядом с собой глубокую, белую, пропитанную меловым взваром воду.

Он понял – это все.

Это действительно было все – через несколько минут броненосца не стало, на его месте взвихрился, поднимая высокую волну, бурун, за ним лопнуло несколько огромных пузырей, и с чертенячьим визгом закрутилась, приподнимая толстые пузырчатые края, воронка, втянула в свое страшное нутро несколько человек, оказавшихся рядом в воде, и исчезла.

Недалеко, совсем недалеко находились русские корабли, но помочь «Петропавловску» они не смогли – просто не успели,

слишком быстро все произошло, быстро и опасно: в гигантскую воронку могло вообще затянуть судно средней величины... Броненосец вместе с командующим флотом погиб у всех на глазах.

Страшно и странно было видеть летнее жаркое солнце, вскарабкавшееся высоко в небо, безмятежный, пропадающий в прозрачной дымке берег, полный светлых квадратиков, врезанных в зелень, – жилых зданий, тихие кудрявые взболтки облаков, появившиеся над землей, – облака кротко плыли куда-то, то ли в Японию, то ли в Австралию, и к грешной земной суете не имели никакого отношения – безмятежность природы лишь подчеркивала трагизм происходящего.

Колчак в это время находился на мостике «Аскольда», в груди у него застрял режущий кашель, а в глазах от боли и неверия в то, что он видел, вспухли слезы.

Слез своих он не стеснялся.

Вцепившись руками в поручень мостика так, что пальцы невозможно было отодрать даже клещами, – с Колчаком происходило то же самое, что и со всеми, – лейтенант проводил броненосец с любимым адмиралом в последний путь... На дно моря.

Авторитет Макарова был таков, что не только Россия горестно встретила его гибель, горестно встретили и сами японцы. Выдающийся поэт Страны восходящего солнца Такубоку Исикава [80]написал поэму, посвященную русскому адмиралу.

Противник доблестный! Ты встретил свой конец.
Бесстрашно на посту командном стоя...
С Макаровым сравнив, почтят героя
Спустя века. Бессмертен твой венец!
И я, поэт, в Японии рожденный,
В стране твоих врагов, на дальнем берегу.
Я, горестною вестью потрясенный,
Сдержать порывы скорби не могу...

Морской генеральный штаб Японии в «Описании военных действий на море» также отметил: «Когда первоначальные неудачи русского Тихоокеанского флота значительно потрясли его силы, командующим этим флотом был назначен пользующийся большим доверием как начальства, так и подчиненных вице-адмирал Степан Осипович Макаров. С самого приезда своего в Порт-Артур в начале марта он деятельно принялся за работу, поднял военный дух, водворил дисциплину и от всего сердца, не жалея сил, старался восстановить честь

флота».

А война продолжалась, набирала обороты: японские войска перешли реку Ялу и стали углубляться в Маньчжурию, две армии огнем пропахали землю на севере и отрезали Порт-Артур от основных сил русских. Очень скоро они заняли город Дальний [81]– совершенно не защищенный, не прикрытый ни с моря, ни с суши, не имевший запасов продовольствия, боеприпасов, медикаментов, воды – совершенно голый...

Фортуна отвернулась от России.

Началась осада Порт-Артура.

Служба на «Аскольде» тяготила Колчака, его стихией были не вахты на блестящем крейсере первого ранга, способном украсить любой военно-морской парад, а тихое минное дело, и он уже несколько раз подавал рапорты в штаб флота с просьбой перевести его на миноносец.

В конце концов рапорт был принят, и лейтенант Колчак получил назначение на минный заградитель «Амур».

Суденышко это – по-военному корабль, поскольку все плавающие единицы на флоте, даже если это обычная скорлупа грецкого ореха, украшенная мачтой и Андреевским флажком, гордо называются кораблями, – было старое, маленькое, слабосильное, с плохоньким вооружением. У офицеров крупных боевых кораблей – у тех же «аскольдовцев» – оно вызывало улыбку. Однако Колчак, поразмышляв немного, пришел к выводу, что нет худа без добра: хоть и маленькое суденышко, да удаленькое, оно к любому огромному крейсеру подойдет незамеченным, прилепится к борту и потопит его.

Конечно, командовать такой чумазой мыльницей, как «Амур», мало чем отличающейся от кастрюли с похлебкой, впору мичману, а не лейтенанту, но Колчак не стал выступать на этот счет: мыльница так мыльница, заградитель так заградитель... И он вышел в море. В одиночку, без всякого сопровождения, прекрасно зная, что, если ему будет туго, если японцы возьмут в клещи и сдавят, прийти на помощь будет некому... как и там, на Севере, в тоскливом сером безлюдье, когда он искал пропавшего Толля.

Глуха и темна апрельская ночь – ни одного огонька в ней, ни одного звука, кроме плеска волн и тихого стука старой, хорошо смазанной машины минного заградителя. Из ломающихся о нос судна волн, будто из развaленного пирога, вылезали длинные светящиеся хвосты: микробы – не микробы, мошки – не мошки, светлячки – не светлячки переливались в воде цветными зловещими огоньками, струясь, уползали вдаль, рождая страх и

смятение: а вдруг это души людей, утонувших в море?

Об этом Колчака спросил молоденький, с едва пробившимися усами боцман, чья фланелевая рубаха была украшена Георгиевским крестом – самым младшим, четвертой степени, – Колчак в ответ лишь печально улыбнулся... Как этот боцман не был похож на опытного ловкого Бегичева! Ни внешне, ни внутренне. Бегичев никогда не задал бы такого вопроса. Хотел было отмахнуться от георгиевского кавалера, но не стал – вбил кто-то дурь парню в голову, а переубеждать надо, действуя осторожно, с умом, и Колчак проговорил мягко, стараясь не зацепить боцмана:

– Если уж и покоятся чьи-то души в море, если уж и пугают плавающий люд, то только не русские души. И вообще все здесь обстоит не так. Потом, когда вернемся в Порт-Артур, я расскажу, почему светятся ночные волны.

Нет огней на заградителе. Ни одного. Лишь в рубке порою вспыхивает что-то смутное, дрожащее – вспыхнув, горит недолго, и дальше вновь воцаряется темнота. Черная, вязкая, густая темнота. Колчак искал японцев.

Он понимал, что жизнь у противника ночью более интенсивная, чем днем: ночью он старается приблизиться к порт-артурской гавани, перекрыть минами водную дорогу, выводящую на внешний рейд, перебросить на берег разведчиков, забрать сведения, добытые лазутчиками, находящимися на берегу, перекинуть с одного места на другое войска, десантные группы либо вообще подогнать к рейду пару баржонок и там затопить, чтобы перекрыть выход крейсерам, – все это делается на малых судах, на скорлупках, которые ходят так же, как и «Амур», тихо, без единого огня, пробираясь по морю на ощупь.

С такими судами Колчак и искал сейчас встречи.

За штурвалом стоял боцман, глаза у него были кошачьи – ночью видят так же, как и днем, руки цепко держат штурвал, перебирают рогульки, вживленные в деревянные колеса, – боцман, щурясь, поглядывал по сторонам, вздыхал, думая о чем-то своем, вполне возможно – все о том же, о душах утонувших людей, о таинственном свете волн, и молчал. Колчак тоже молчал, пристально вглядывался в черное пространство: вдруг где-нибудь мелькнет огонек, обозначит движущуюся цель.

Но нет, тихо, черно в море. Только волны грузно, одышливо ворочаются совсем рядом, беря заградитель в обжим, перебрасывают его с одного гребня на другой, будто из ладони в ладонь, дразнят глаза светящейся моросью, колдовски возникающей из ничего, из морской глуби, шипят по-гусиному и, раздавленные тяжестью судна, исчезают за кормой.

На борту у заградителя пять мин – круглых, рогатых, специально облегченных, чтобы их можно было быстро сбросить в воду перед носом какого-нибудь неповоротливого транспорта.

Тишина стоит вселенская, в ней даже слышно, как стучит сердце у боцмана. Слышен Колчаку и стук собственного сердца. Внутри все напряжено, натянуто.

У пушчонки, установленной на носу, застыли два пушкаря – такие же молодые конопатые крестьянские парни, как и боцман, ухватистые и наивные, преисполненные желания во что бы то ни стало перегрызть горло врагу. На корме, около мин, также находится пушчонка, и около нее также наготове застыл расчет...

– Ваше благородие, японцы! – неожиданно прошептал боцман, задержал в себе дыхание: несмотря на Георгиевский крест, боцман напрямую, накоротке, с японцами еще не сталкивался.

– Где?

– Слева идут. Две шхуны.

Колчак вгляделся в темноту, засек там слабое движение – без подсказки, без наводки никогда не заметить, – ну словно вода двигалась в воде, воздух двигался в воздухе... Эх, была бы какая-нибудь подзорная труба, позволяющая смотреть в темноте... Но нет такой трубы, не изобретена еще. Колчак с досадой засипел, схватился рукой за поясницу – его пробила ревматическая боль, – боцман, поняв Колчака по-своему, потыкал пальцами в левый угол рубки, в край стекла:

– Да вон же, ваше благородие... Слева! Идут так сноровисто, что из-под задниц только черный дым выхлестывает.

– Вижу, боцман, – глухо проговорил Колчак, поблагодарил: – Вот и нащупали мы караванную тропу, где верблюды бегают, спасибо тебе.

Хоть и споро шли японские шхуны – на них были люди, шхуны перебрасывали десант и боеприпасы, – а у минного заградителя с его хорошо отлаженной машиной скорость была выше, поэтому Колчак почувствовал, как его невольно охватывает жгучий, будто в карточной игре, азарт... Он осадил себя, становясь спокойным.

Кочегары подбросили угля в топку, из трубы сыпанул сноп искр, унесся к низким влажным облакам, демаскируя заградитель, но Колчаку была важнее скорость, чем маскировка.

Раскочегаривался заградитель медленно, старая машина стучала поршнями, плевалась дымом и паром, шипела, но зато уж, раскочегаренная, работала так, что любо-дорого было смотреть на нее; заградитель понесся по морю, будто литерный поезд, который не принято останавливать на станциях, –

суденышко забежало на «караванную тропу» перед японскими шхунами и вывалило им в темноте едва ли не под нос две мины, затем, оставляя пенный пузырчатый след, поспешно убежало вперед.

Мин японцы в темноте не разглядели – не оказалось у них на борту такого глазастого рулевого, как колчаковский боцман, одна из шхун неосторожно зацепила деревянным бортом медную рогульку, растущую из шара, и вязкий обвальный грохот вздыбил воду.

Шхуна целиком погрузилась в пламя, она загорелась разом, вся, от носа до кормы, вверх понеслись полыхающие деревянные обломки, искалеченный, изрубленные люди, патронные ящики, тряпье. Птицей вознесся над водой горящий брезент, которым было накрыто тридцать ящиков с патронами для винтовки «арисака», расправил широко крылья, осветил все вокруг. Горестное долгое «А-а-ах!» повисло над морем, заставило приподняться влажную наволось, льнущую к волнам.

Плавучие мины обладают свойством, которое мало кто может объяснить, – они, словно собаки, обязательно устремляются к борту судна – сами, без всякой посторонней помощи, без подталкивания, – их неодолимо тянет прилепиться к чьему-нибудь борту, неважно чьему, своему или чужому, и мина обязательно прилепится, потому что знает: если не прилепится, ей будет уготована страшная участь «летучего голландца»... И будет она скакать с волны на волну по многим морям и океанам, пока ее окончательно не доконает ржань или в ночной мгле случайно не напорется на какой-нибудь чумазый безглазый пароход... Участи «летучего голландца» боятся даже мины.

Вторая шхуна тоже не избежала своей судьбы, сюжет повторился – мина прилепилась к ней, поднырнула под днище, будто живая, когда шхуна резко свернула вправо, обходя «товарку», заполыхавшую в ночи жарким оранжевым пламенем, – стукнулась в киль раз, второй и – третий, последний... В третий раз мина угодила в обитый медью киль рожком. Взрыв был страшным – шхуну подбросило вверх, метра на два из воды, и уже в воздухе переломило пополам.

В носовом отсеке сдетонировали несколько снарядов – на шхуне находились две горные пушчонки, которыми японцы вооружали десант, их можно было переносить на руках, отделив лафет от ствола. Пушчонки взметнулись в глухое ночное небо еще выше шхуны, угасли в черной выси, а потом с грохотом и звоном сверзлись оттуда, ударившись о воду, будто о металл. Носовая половина шхуны также разлетелась на куски.

Боцман, стоявший рядом с Колчаком, не выдержал, оторвался

от штурвала и возбужденно потер руки:

– Хар-рашо!

– Не отвлекайтесь от штурвала, – сухо приказал Колчак.

– Это им за нашего адмирала, ваше благородие, – в голосе паренька послышались обиженные нотки – не ожидал, что командир сделает замечание, – чтоб впредь знали...

Колчак с виноватой улыбкой тронул боцмана за плечо: если бы тот знал, что значит адмирал для самого Колчака, если бы только знал... В горле невольно возник зажатый скрип, будто бы в лейтенанте что-то провернулось всухую, скулы, челюсти потяжелели.

– Россия пока не осознала, что потеряла с гибелью Степана Осиповича... С его смертью флот наш стал мертвым, – произнес Колчак тихо. – Хотя осознает Россия потерю очень скоро... Когда мы потеряем Порт-Артур.

– А Порт-Артур, вы полагаете, ваше благородие, мы потеряем? – неверяще-испуганным голосом спросил боцман.

– Если не появится личность, равная адмиралу Макарову, – потеряем. – Колчаку не хотелось говорить на эту тему, как не хотелось вообще верить в то, что Порт-Артур будет сдан японцам, [82]но одно дело – думы, желания, предположения, планы, мечты, и совсем другое – жизнь, ее жестокие реалии.

Под нос заградителя ударила волна, суденышко легко приподнялось, становясь на попа и устремляясь в небо, – казалось, оно вот-вот перевернется, Колчака притиснуло спиной к переборке, под хребет попало что-то жесткое, острое, все тело резануло болью, и Колчак застонал.

Хорошо, что стон этот не услышал боцман.

Замерев в стоячем положении и пропустив под собою огромную длинную волну, заградитель тяжело опустился в воду. Было слышно, как задохнулась, запричитала машина, зашипел пар; сноп искр, сыпанувший из трубы, осветил пространство на несколько метров, у боцмана само по себе выдавилось изо рта сплющенное мычание, и заградитель полетел вниз, в преисподнюю.

Удар о воду был таким, что от него, как от взрывной волны, могла запросто оторваться труба.

– Никого не смыло? – обеспокоенно спросил Колчак, отталкиваясь локтями от переборки.

– Не должно такого быть, ваше благородие. У нас, на заградителе, народ опытный.

– Проверьте, боцман. Я пока постою на руле.

Через пять минут боцман вернулся, принял из рук Колчака штурвал.

– Все на месте, – доложил он.

– Слава богу! Сколько я ни плавал – в первый раз увидел, как судно, будто ванька-встанька, вставало на попа.

– Скажите, ваше благородие, а судно в таком положении может сыграть в оверкиль? [83]

– Теоретически – да, практически – нет.

– Не то я испугался, душа даже в пятки нырнула, – виновато признался боцман, – вдруг окажемся на лопатках?

Остатки двух шхун, плавающие в воде, догорели очень быстро, вскоре ночь опять царила над морем, – лишь мелкая электрическая морось вспыхивала в волнах, высвечивала пространство перед заградителем, рождала в душе нехорошее изумление, которое тут же угасало, как угасали и водяные светлячки, словно они не могли долго жить.

И вот ведь как – темнота хоть и была привычна, но теперь она рождала еще большее беспокойство, чем таинственные морские светлячки, и тогда умолкала, напрягалась команда, вглядывалась встревоженно в ночь – а вдруг из темноты высунется нос такого же небольшого, начиненного смертью кораблика, вышедшего на промысел с той же целью, что и они?

Но нет, никого не было в море. Тихо. Пустынно. Тоскливо, как в степи в зимнюю пору. Словно и войны не было.

– Разворачиваемся на сто восемьдесят, – приказал Колчак боцману. Он не узнал своего голоса, поморщился от боли, пробившей его тело, замер на мгновение, пережидая эту боль, и она вроде бы покорно затихла, но стоило ему сделать еще одно движение, как она возникла вновь. – Уходим в порт, – поморщившись, добавил он.

От ревматической боли ему теперь не спрятаться до конца дней своих – будет ошпаривать в самые неподходящие моменты. Север поселился в нем навсегда. Боцман, подчиняясь команде, проворно закрутил штурвал – он был превосходным рулевым, проговорил себе в нос:

– Ы-эх, попалась бы нам еще одна японская шхуненка, а еще лучше – две... Тогда – м-м-м! – Он взметнул над штурвалом руки, с глухим стуком опустил их, проворно ухватился пальцами за рогульки.

– Сегодня уже не попадутся, – убежденно произнес Колчак, ощупал пальцами поясницу, помассировал позвоночник – спина была ровно бы чужая, ничего не чувствовала, но внутри, под кожей, под тонким слоем мышц, продолжала жить боль.

Когда заградитель прошел около двух сторожевых крейсеров и через разминированную горловину втянулся в бухту, Колчак неожиданно заметил, что впереди, вытаивая из далекого черного

берега, мигнул огонек, угас, снова мигнул и опять угас – и пошел, и пошел частить световой дробью. Где-то на суше, на высоком месте, сидел вражеский лазутчик и семафорил фонарем, передавая секретные сведения в море.

– Сука! – выругался боцман.

– Поймать бы его. – Колчак сощурил глаза, прикидывая, откуда конкретно идут сигналы? Получалось – едва ли не из самого центра города. С одной из крыш.

Он вспомнил китайца, торгующего печеной рыбой и шашлыками из осьминогов, его цепкий изучающий взгляд, и ему сделалось неприятно: такое ощущение, будто по коже прополз скорпион. Он передернул плечами.

В теле вновь возникла острая ревматическая боль, перекосила его на один бок, лицо Колчака покрылось потом. Мокрыми от боли стали даже губы. Колчак стиснул зубы, боясь, что через них наружу выдавится стон, ночная чернота перед ним покраснела, боцман, стоявший рядом у штурвала, куда-то исчез.

Мигающие огоньки, посылаемые с городской крыши, продолжали тревожно рвать ночь, под изношенным днищем заградителя тяжело плескалась, вспыхивала тусклым искорьем вода, порт-артурская гавань была тиха и черна. Боцман все продолжал крутить головой, стремясь ухватить глазами ответный семафор с моря, но море тоже было черным – ни единого ответного огонька, хотя где-то, возможно, рядом с заградителем, находилось японское судно, ловившее передачу агента с суши, и боцман лопатками ощущал опасность, исходившую из черной глубины пространства, сипел встревоженно и все продолжал крутить головой в поисках вражеской шхуны, так умело спрятавшейся в ночи.

Но ни он, ни Колчак, ни люди, находившиеся на корме заградителя, так эту шхуну и не засекли.

Словно ее и не было.

После гибели адмирала Макарова японцы активизировались, они стремились вытеснить русские корабли с внешнего рейда, загнать их во внутреннюю гавань и запереть там. Случись это, и на море можно будет хозяйничать безраздельно.

Действовали японцы с выдумкой – имелись у них по этой части некоторые хорошо кумекающие головы: вылавливали в проливах русские, китайские, корейские суда, но ни в коем разе не английские, не немецкие, не американские – этих японцы не трогали, – команду выбрасывали за борт, в воду, суда набивали взрывчаткой и выводили на внешний порт-артурский рейд, там взрывали. Японцам необычайно важно было забить фарватер,

замусорить дно, загадить, чтобы ни один русский корабль не смог выйти из Порт-Артура.

Приговоренные суда называли брандерами. Русские корабли старались топить брандеры в море до того, как команды матросов-камикадзе приводили их к рейду. Топили крейсера, топили миноносные лодки, топили заградители, подобные «Амуру».

Минные заградители были похожи друг на друга, как близнецы-братья. Под них приспосабливали обычные гражданские «плавсредства», перевозившие когда-то хлеб и людей, железо и доски, – главное, чтобы была машина, были винт и рулевое колесо, больше ничего не надо было, на нос и на корму команда ставила пушчонку, еще, случалось, добавляли дорогой английский пулемет «гочкис» – и заградитель готов.

Плавая на минном заградителе, Колчак потопил четыре судна: две шхуны и два брандера. В том, что не был перекрыт порт-артурский фарватер, была заслуга и Колчака.

Через два дня Колчак на катере отправился на берег. Боли в спине, в пояснице допекали так, что темнота по ночам делалась густой, кровянистой от боли, невозможно было шевельнуться – огонь пробивал все тело, у эскулапа на «Аскольде», куда Колчак наведался, никаких лекарств, кроме банок, которые лейтенант просто терпеть не мог, не было, и молодой надменный доктор, глядя на Колчака сквозь плоское стеклышко «монокуляра», посоветовал, цедя слова сквозь нижнюю губу:

– Поезжайте на берег, сходите к китаезам, у них полно разных чудодейственных средств, начиная от муравьиной кислоты, крапивной жеванины и кончая калом акулы... Купите, это должно помочь.

И говорил-то этот целитель с «монокуляром» не по-морскому: «Пэ-эйезжайте на бэрег...» Ни один моряк так не скажет.

Колчак совет принял – «поехал» на берег.

Порт-Артур расцвел еще больше, он уже не был весенним безмятежным городом, хотя совсем не походил на фронтовую крепость, затихшую перед боями, а напоминал курортный летний город, на улицах которого из каждого угла пахло вином и хмелем, из каждого огородика или палисадника – совсем как в России – лезло бурное густотье цветов.

Цвело все, даже воздух. Цвели маньчжурский орех и черемуха, лимонник и малина, белая смородина и ирга, все спешило раскрыться, глотнуть солнца, наполниться горячей сухостью, которой так не хватало в измученном ревматизмом организме лейтенанта, – и эта поспешность была верной приметой того, что летом в Порт-Артуре будет много дождей.

Но Колчак первым делом направился не в аптеку, а на почту, выяснить, нет ли для него писем. Письма были. Целых семь штук: шесть – от Сонечки и одно – от отца.

«Семь – счастливое число, – не замедлил отметить Колчак, – это число удачи. Четыре – число неудачи, шесть – дьявольской неудачи, а семь – число удачи». Он взял письма в руку, подержал их, словно пробуя на вес, по лицу его проскользнула легкая довольная тень, губы раздвинулись в улыбке, и Колчак отметил про себя, что «четыре» – для него, может быть, и не самая несчастливая цифра, ведь четвертого числа он родился – четвертого ноября, да и в годе рождения тоже есть четверка – 1874-й...

Он вышел на улицу – неестественно прямой, плоский, как доска, боящийся согнуться, наклониться, присесть на скамейку, хотя присесть очень тянуло, поскольку он быстро устал от ходьбы, так всегда бывает, когда много времени проводишь на воде, в море. Колчак прошел два дома и, прислонившись к углу нарядного магазина, в витрине которого были выставлены золоченые китайские драконы, вскрыл один из конвертов, присланных Соней.

В тот же миг смятенно сморщился: письма-то надо читать в той последовательности, в которой они написаны и посланы, лицо приняло виноватое выражение, и Колчак быстро разобрал конверты по датам на штемпелях. Оказалось, вскрыл он самый последний, самый свежий конверт.

Сонечка писала о петербургской жизни, о домашних заботах, писала довольно скупо, но именно эта строгая скупость рождала в нем некое благодарное тепло, которое часто возникает в человеке, находящемся далеко от дома, но знающем, что дома его ждут, что он, измятый дорогой, побитый бурями, исхлестанный дождями, выжаренный, вымороженный, всегда может вернуться, отдышаться, отогреться у очага – его всегда примут...

А с другой стороны, скупость Сонечкиного письма была продиктована и необходимостью – военные цензоры следили за тем, чтобы в посланиях не было информации, которая могла бы размягчить сердца или опечалить их и тем самым снизить боевой дух.

По лицу Колчака проскользнула заторможенная улыбка, он просунул руку под китель, помассировал грудь – неожиданно показалось, что сердце остановилось. Такое иногда случается от приступов нежности.

Он медленно, тщательно разбирая каждую строчку – почерк у Сонечки не всегда был ясным, – прочитал одно письмо, принялся за второе, прочитал второе – принялся за третье... Солнце,

взлетевшее ввысь, раскаленно зазвенело, тени на земле исчезли, воздух сделался прозрачным и горячим, сладким, словно где-то рядом искусная стряпуха пекла медовые коврижки. Звуки улицы, на которой находился Колчак, стали глухими: и цокот лошадиных копыт, и усталый мерный шаг длинной колонны солдат, возвращавшихся с позиций, и смех нескольких молоденьких китаянок, сидевших на траве в скверике напротив, бросавших на задумчивого русского офицера, читающего письма, любопытные взгляды... – все это тоже исчезло.

Сонечка подробно описывала свою жизнь, но о чем бы она ни рассказывала, все равно всякий раз возвращалась к мужу – чувствовалось, что она скучает по нему.

– Эх, Сонечка, Сонечка, – тихо произнес лейтенант. Ему очень хотелось повидаться с женой, хотя бы на несколько минут оказаться рядом, попросить, чтобы она прочитала ясные звонкие строки, адресованные ему, вслух, уткнуться лицом в пышные чистые волосы, заглянуть в глаза и унестись во времени назад... Хотелось бы, да не дано. – Эх, Сонечка, Сонечка. – Колчак вздохнул.

Отец в своем письме просил, чтобы сын берег себя. Война может оказаться затяжной, предупреждал он. Если бы против России воевала только одна Япония, то с нею Россия справилась бы в два счета, но за ней стоит мощная Англия, которая еще в 1902 году заключила с японцами союзное соглашение. Недавно к этому соглашению примкнула Америка. Сейчас об опасном триумвирате пишут все петербургские газеты.

«Так что держись, сынок, голову под пули понапрасну не подставляй, но и от встречи с противником не увиливай. Помни о России!» – писал патриотически настроенный Василий Иванович.

Мимо проехала пролетка с сидящим в ней незнакомым адмиралом. Колчак поспешно вытянулся, приложил пальцы к козырьку. Адмирал, картинно розовея лицом, погруженный в свои мысли, не заметил лейтенанта. На коленях он держал золотую наградную саблю.

«Кто-то из новых, – отметил Колчак, – незнакомый... Наверное, с юга, из Греции, со Средиземноморской эскадры».

Он медленно двинулся вниз по горячей, словно задымленной – перед глазами все время почему-то плыл дым – улочке вниз, к домику аптеки, где в витринах были выставлены красочные рисунки, на которых были изображены пиявки, присосавшиеся к зеленым стеблям бамбука. Что объединяло бамбук и пиявок, было непонятно, но уж так, видимо, хотелось владельцу аптеки.

Хозяин, одетый в серый, тщательно выстиранный и отутюженный халат, коверкая русские, английские и немецкие

слова, пояснил Колчаку, что ревматические боли лучше всего снимает змеиная мазь, и поставил перед ним баночку с желтым, неприятно пахнущим снадобьем.

– Вот, – произнес он тонким детским голоском, – как только боли начнут допекать, так мажьтесь. Кожа будет неметь, шелушиться, но боли исчезнут.

– Навсегда?

– Нет, – качнул напомаженной головой китаец. Не сдержавшись, улыбнулся, показал длинные желтоватые зубы. Такими зубами можно было грызть что угодно, даже железо. – Только на один приступ болезни.

«Что ж, и на том спасибо, – подумал лейтенант. На лице его ничего не отразилось, только едва приметно дрогнул уголок рта, и все. – И на том спасибо...»

– Покупаете мазь? – спросил китаец.

– Естественно.

– Одну банку? Две?

– Две.

Мазь была дорогая, но Колчак торговаться не стал – не любил и не умел этого делать, заплатил столько, сколько требовал китаец, – звонкой русской монетой, золотыми николаевскими червонцами, [84]которые брали в любом углу земли, во всех странах мира, – и вышел на улицу.

Сухой раскаленный жар ударил ему в лицо, проник под черную ткань кителя, ревматическая боль, еще десять минут назад мешавшая ему дышать, успокоилась. Хотелось верить, что она исчезла, но боль не исчезла, Лишь затаилась, чтобы в самую неподходящую минуту возникнуть снова.

Он вернулся к почте, обошел кругом серое, будто пропитанное пылью здание, потом поднялся вверх по горбатой каменной улочке, по которой китаец, продавец печеной рыбы и осьминожьих шашлыков, скатывал тележку со своим товаром, осмотрел ее, осмотрел также две боковые улочки, выходящие к почте, вновь спустился вниз.

Китайца, в котором он заподозрил японского лазутчика, не было. Надо побывать у старшего офицера крейсера «Аскольд», узнать, был ли проверен этот человек или нет? Может, Колчак напрасно подумал о нем как о вражеском разведчике, может, это действительно скромный китайский работяжка, добывающий себе хлеб ловлей трепангов и продажей печеной рыбы?

Специально искать встречи со старшим офицером «Аскольда» не пришлось. Около Колчака, мягко качнувшись на рессорах, остановилась коляска, и из нее легко выпрыгнул господин в белой летней форме и золотыми погонами на плечах. Капитан

второго ранга.

В руке кавторанг держал тонкую клюшечку с золоченым набалдашником в виде драконьей головы, надетой на рукоятку.

– Александр Васильевич! – окликнул кавторанг Колчака.

Колчак, очнувшись от своих размышлений, поднял голову, поспешно вытянулся.

– Простите, господин капитан второго ранга, задумался. – Он вскинул руку к козырьку.

В ответ кавторанг неспешно козырнул. Это был старший офицер «Аскольда», о котором Колчак только что думал. Легок, что называется, на помине.

– Ваши опасения оправдались, – сказал кавторанг, – в штабе флота того китайца взяли в разработку. Действительно, это оказался не китаец, а японец. Капитан-лейтенант разведотдела японского флота по кличке Фудзо.

– Фудзо, Фудзо, – торопливо повторил Колчак, словно пытался ухватить за хвост ускользающую мысль, – простите, господин капитан второго ранга... Фудзо... Что-то очень знакомое.

– Так назывался первый линейный броненосец японского флота, построенный двадцать семь лет назад в Англии. Кстати, офицером, который наблюдал за постройкой броненосца, был лейтенант Хэйхатиро Того.

– Нынешний командующий японским флотом.

– Он самый. Так что кличку Фудзо мог получить только очень опытный разведчик. Примите благодарность за верную службу. – Кавторанг легко вспрыгнул в коляску, которая, подпрыгивая на горячих дымных камнях улицы, тотчас укатила.

На солнце наползла тень, и неожиданно показалось, что в тени этой замигал керосиновый фонарь лазутчика, то прикрываемый полой одежды, то, наоборот, обнажаемый настолько, что огонь растворялся в пространстве, грозя угаснуть; у Колчака расстроенно дернулись губы: это сколько же лазутчиков развелось в Порт-Артуре?

Одного, по кличке Фудзо, взяли, а сколько их еще осталось здесь?

Кто ответит на этот вопрос? И как долго они еще будут вредить русским войскам?

Колчак был недоволен службой на «Амуре». Ну что такое «Амур»? Обычная старая коробка, совершенно не приспособленная к войне, ей бы заниматься другим делом – перевозить скот, песок, лес, пеньку, сушеную рыбу, но не воевать, а «Амуру» пришлось заняться делом незнакомым и страшным – ставить мины в море, подрывать брандеры и транспорты.

Один из минных заградителей – такая же не приспособленная к войне коробка – погиб: из-под днища старого судна вырвалось пламя, заградитель прямо на воде раскололся на несколько частей и ушел под воду. На какой мине подорвался заградитель – на своей ли, на японской ли, – было непонятно.

Как непонятно было, на какой мине подорвался эскадренный броненосец «Петропавловск» – на чужой или своей собственной, родной, изготовленной в Санкт-Петербурге или на юге Малороссии, – никаких следов, никаких подтверждений, одни только версии... Так эта тайна и осталась нераскрытой и ушла в небытие вместе со многими тайнами Русско-японской войны.

На минном заградителе «Амур» Колчак прослужил всего четыре дня. 21 апреля 1904 года он был назначен командовать эскадренным миноносцем «Сердитый».

Змеиная мазь, которую он купил у напомаженного китайца, действовала неплохо – от нее, правда, немело тело, как и обещал китаец, но вместе с немотой пропадала боль, Одно было плохо: после мази шелушилась и нестерпима зудела кожа. Краснела так, будто ее поджарили на сковородке.

Нужно было приобретать еще одну мазь – смягчающую, от ожогов, купить которую Колчак не успел. В одном из ночных выходов «Сердитого» в море жестоко простудился, стоя на открытом мостике под ветром и дождем, и свалился с воспалением легких.

Он пробовал лечиться, не сходя с корабля, – порошками, микстурами, тем, что парил ноги в тазу с горячей водой, потом мазал их горчицей и засовывал в толстые шерстяные носки, – но это не помогло, Колчаку сделалось хуже, и его, почти беспамятного от жестокого жара, сняли с корабля. На катере отправили на берег в госпиталь.

Болезнь его была признана тяжелой.

Пришел он в себя нескоро, ощутил собственное тело болтающимся где-то между небом и землей. Грудь болела, в легких что-то скрипело, и вообще было такое ощущение, будто туда набросали земли, пораженные ревматизмом мышцы и кости ныли. Около его постели сидела степенная широкоплечая женщина с полным бело-розовым лицом и золотисто-соломенной пышной косой, переброшенной через плечо на грудь.

Сахарно-белую накрахмаленную косынку, сидевшую у нее на голове, наподобие царской короны, украшал маленький красный крестик. [85]

Зашевелившись, Колчак глухо застонал, потом открыл глаза, облизал губы. Обесцвеченное унылое пространство палаты качнулось перед ним, расплылось, как снежная метель, когда

идешь, пробираешься через нее. Он не выдержал, снова застонал, прикусил губы: откуда здесь быть снегу?

Пространство перед ним расплылось еще больше, растеклось, Колчак закрыл глаза, пожевал губами и услышал совсем рядом сочный низкий голос:

– Вам плохо?

Он вновь открыл глаза, шевельнул головой. Во рту все горело, словно там был разлит и подожжен керосин, в груди тоже все горело. А перед глазами продолжал плыть мокрый снег...

– Где я? – спросил он тихо, с трудом разбирая собственные слова, перед ним снова все качнулось, расплылось, и он опять погрузился в горячечную сукровицу, в которой ничего не было видно – лишь красная густая масса и слабые тени в ней...

Когда он очнулся в следующий раз, то увидел склонившееся над собой полное миловидное лицо с розовыми щеками. Сиделка, приподнимая голову Колчака крепкой рукой, пыталась влить ему в рот с ложечки какое-то горькое снадобье. Колчак покорно проглотил жидкость, пожаловался сиделке:

– Во рту у меня... почему-то... вкус керосина.

– Так оно и есть, – спокойно подтвердила сиделка, на пухлых щеках у нее возникли две крохотные милые ямочки, украсили лицо. – У вас было осложнение, в горле образовались ангинные гнойники. Чтобы они лопнули, их пришлось смазать керосином.

Колчак невольно содрогнулся.

– Пока я был без памяти?

– Да. Мазали, когда вы были без памяти. Ждать было нельзя. Иначе бы гнойники перекрыли путь дыханию...

Он выписался из госпиталя лишь в июле, вернулся на «Сердитый» и вскоре вышел в море. Он стосковался без моря, без запаха йода и рыбы, без качающейся твердой палубы под ногами, которая очень легко становится нетвердой, без призывного плеска волн, без угрюмого шипения ночной воды под днищем корабля, рассерженной оттого, что ее столь беззастенчиво потревожили. От радости Колчак готов был даже целовать палубу «Сердитого».

Минирование моря продолжалось: минировали его наши, минировали японцы – все надеялись подловить друг друга. Колчак начал составлять собственную карту минирования, накладывал на нее обозначения глубин, течений, рисовал мели и банки – он проложил корабельные «тропки», ему важно было иметь полную картину минирования, чтобы нащупать несколько мест, где обязательно должны побывать японцы, и начинить их круглыми рогатыми бочками.

Он занимался своим делом – тем, которое любил, к которому тянулся, у него по этой части имелся талант. Для лейтенанта это

дело было таким же желанным, как и исследование Севера, – здесь Колчак находился в своей стихии.

В конце концов он определил места, где обязательно должны побывать японцы, таких мест у него наметилось три: в восемнадцати милях от внешнего рейда на север, в двадцати двух – на северо-восток, и одно очень лакомое место на юге, которое японцы никак не должны были миновать...

Взрыватели на тяжелых морских минах были сахарные – в них под бойки были подсунуты кусочки пиленого сахара, и всякая страшная мина с куском сахара под бойком была не страшнее кучи навоза, в воде сахар растворялся и мина становилась на боевой взвод. Вот тогда-то она действительно делалась страшной.

Имелись, конечно, и обычные мины – легкие, которые свободно поднимали два человека, с помощью которых запросто можно было загудеть в небо всей командой. Этими минами Колчак пользовался, выходя в море на «Амуре», но брать их на «Сердитый» не было никакого резона. Слишком опасно – это раз, и два – такая мина не могла причинить большого вреда тяжелому крейсеру или броненосцу.

Колчак предпочитал пользоваться «сахарными» минами. В одну из темных ночей, когда из дырявых небес крапал горячий дымный дождик – он был действительно горячий, настолько облака перегрелись за день, матросы в таком дожде стирали исподнее, не разогревая воду, – Колчак вышел с запасом мин в море.

Видимость была слабая, все таяло в дожде, в щелкой противной мороси, способной рождать в человеке тоску, схожую с тягучей зубной болью. Нос корабля вламывался в волны, будто в водяные горы, подрагивая, кряхтя от напряжения, – винт миноносца в такие минуты даже визжал от непосильной натуги, рубил воду, медуз, рыб, водоросли в лапшу, наконец одолевал гору, и эсминец медленно съезжал по наклонной пузырчатой поверхности вниз, в водяной лог, оттуда снова начинал карабкаться в гору.

Иного человека от одного только вида такого моря начинает мутить, глаза слезятся, зубы стучат друг о друга, в груди колючим комком сидит тоска, мешая думать и дышать, но такому человеку место на берегу, на твердой земле. Колчак был слеплен из другого теста: чем хуже на море – тем лучше для боевых операций...

Из всех огней на эсминце горели только тоновые – мутно плавились, растекались в горячей мороси. Совсем как в полубеспамятном больничном пространстве, в котором Колчак не мог рассмотреть ни одного предмета – все таяло, превращалось в

осклизлые бесформенные комки, в туман... Но потом все встало на свои места.

Встанет и здесь.

«Сердитый» шел на северо-восток.

В ту ночь он поставил в море двадцать мин – ставил в кромешной темноте, где не было видно ни одного огня, ни одной звезды, только собственные ходовые огни – и вернулся в порт уже утром, когда небо над морем жидко посерело, а в серый морок потихоньку просачивалась здоровая дневная желтизна.

Возвращение эсминца отметили лишь чайки – своими ржавыми криками дружно встретили корабль, выстроились за ним следом, будто за ведущим, проворно ныряли в пену, взбитую винтом, выхватывали из нее рыбешек и снова становились на свое место, держа строй.

В следующую ночь «Сердитый» ушел на север. Погода изменилась, южный ветер отогнал дожди к России, небо очистилось, из черной бархатной жути – так далеко было до них – проглядывали небольшие, тусклые, словно в Арктике, звезды. Шли на ощупь: ради маскировки, боясь, что рядом могут оказаться японцы, выключили даже тоновые огни. [86]

Домой вернулись также утром, уже при свете – над неровно взрыхленным морем поднялось красное сытое солнце...

Следом «Сердитый» совершил минный бросок на юг, там установил рогатые чушки. Таким образом у Колчака образовались три собственные минные банки.

Ночные походы дали результат: на колчаковской мине подорвался и затонул японский крейсер «Такасаго».

К осени войну на море стало вести трудно. Адмирал Того постепенно отжимал русских, загонял их в порт-артурскую гавань. Основная война – открытые боевые действия – также переместилась на сушу. Колчак страдал от унизительного положения, в котором он оказался как русский морской офицер...

15 августа отмечали праздник, который никогда не отмечают в России, отмечают только здесь – цукими: это праздник любования луной, в который можно гадать, как в России гадают в рождественские ночи. Здесь, на востоке, всегда считалось, что луна приносит людям счастье. Солнце приносит хлеб, а луна – счастье.

У Колчака появился новый товарищ – капитан второго ранга Эссен, [87]немногословный, с крепко сжатым твердым ртом и умными спокойными глазами. Эссену было уже за сорок, он много повидал на свете.

Относился к категории людей, которые слова на ветер не бросают, и не было в Порт-Артуре человека, который мог бы

высказаться о нем пренебрежительно.

Эссен не ограничивал свою жизнь только рамками войны. Его интересовало все: разведение морской капусты и лов черного жемчуга, китайские обряды и старинные рецепты закалки металла. Эссен вел дневники и тетради «по интересам», записывая туда все, что видел.

Некоторое время он присматривался к Колчаку, и лейтенант не раз ощущал на себе взгляд спокойных серых глаз. От этого взгляда ему хотелось поежиться, но неприятно не было. Колчак обязательно бросал какую-нибудь приветственную фразу, делал доброжелательный жест – ему было понятно, что одинокий Эссен ищет себе друзей – он в Порт-Артуре оторван от своего круга, страдает от этого, потому и присматривается к людям.

По популярности в Порт-Артуре Эссен, пожалуй, уступал только покойному адмиралу Макарову – хоть и не носил капитан второго ранга адмиральские погоны, а к указаниям его относились внимательнее, чем к указаниям иных адмиралов.

Обитал фон Эссен не только у себя на корабле, в каюте, обшитой деревом, он снимал домик на берегу – небольшую белую фанзу, спрятанную в вишневом саду.

В начале августа Эссен встретил Колчака в штабе флота.

– Александр Васильевич, прошу пятнадцатого числа пожаловать ко мне в гости. Не откажите...

– На корабль или на берег?

– На берег. Будем отмечать старинный праздник луны. По японскому обычаю, – Эссен насмешливо сощурился, – с рисовыми лепешками, каштанами, саке и стихами цукими.

– Прекрасная идея, – одобрил Колчак, – Для того чтобы понять противника, о нем надо знать все – не только количество единиц в эскадре и пушек на берегу, а и то, чем он дышит, что ест, что пьет и какие поет песни. Обязательно буду, Николай Оттович.

Фанза, которую снимал Эссен, была типично китайская и утопала в вишневом саду. Плотная листва служила хорошей ширмой – и от любопытных людских глаз скрывала, и звуки не пропускала – здесь ничего, кроме пения птиц, не было слышно. Эссен встречал гостей одетым в расписной японский халат. Гостей было немного. Кроме Колчака – морской артиллерист капитан второго ранга Хоменко, которого Колчак знал еще до Порт-Артура, двое молоденьких восторженных мичманов, недавно прибывших из Санкт-Петербурга, громоздкий шумный господин с узенькими серебряными погонами на белом кителе – врач из местного госпиталя; каждый что-то принес с собою: Колчак – бутылку шустовского коньяка и большого омара,

купленного за копейки на пирсе у рыбаков-китайцев, омар был еще жив и шевелил усами, Хоменко тоже выступил по части моря, принес целый таз трепангов, юные мичманы – корзинку с «золотым ранетом» – сладкими яблочками, будто бы вылепленными из воска, врач по фамилии Сергеев – бутыль спирта с малиновым сиропом, разведенного до градусов водки. Приподняв бутыль в руке, врач знающе щелкнул себя по кадыку:

– Мой ликерчик ни на грамм не уступит хваленым парижским и берлинским ликерам. Настоятельно рекомендую, – и он снова приподнял бутыль в руке.

– Проходите, господа, на веранду, – пригласил Эссен, – доморощенный ликер – это хорошо, Сергей Сергеевич, но японцы, замечу, даже не знают, что такое ликеры.

– Знаю, они пьют подогретую рисовую воду. Очень противно.

– Ну, саке – совсем не вода...

– Поинтересуйтесь у любого русского, господин капитан второго ранга, иного сравнения, как с водой, не услышите.

– В хорошем саке – двадцать градусов алкоголя.

– Нашему мужику, чтобы захмелеть, нужно принять не менее двух ведер этого пойла.

Врач первым прошел на веранду, бесцеремонно развалился в плетеном бамбуковом кресле, откинулся на спинку, весело глянул в распахнутое суставчатое окно, длинное, как гусеница, в прозрачную темень ночных кустов. Луна еще только начала подниматься.

Была она желтая, с красной опушкой по окоему. Такой луны в России не бывает, в России она совсем другая – без всяких обводов и окоемов, без игры – иногда совсем блеклая, бесцветная, способная рождать только одно ощущение – ощущение одиночества. Здесь луна – совсем другая.

– Дней двадцать назад мы бы так спокойно на этой веранде не сидели, – врач похлопал ладонями по подлокотникам кресла, – нас бы отсюда живо выкурили комары-живоглоты. – Заметив, как округлились глаза у двух мичманов, Сергеев плотоядно облизнулся, ему нравилось пугать людей. – Что, здешней комарятины еще не пробовали?

– Нет.

– Счастливцы! Эту прелесть вам еще предстоит познать. Впечатление незабываемое. Страшные особи. Пьют не только кровь, но и едят мясо.

Юные мичманы были близнецами, сыновьями старого друга Николая Эссена, и не растеряли еще гимназической восторженности, наивности, они смотрели на потертого и помятого врача круглыми крыжовниковыми глазами, очень

похожие друг на друга.

– Они что, тут здоровые, как собаки? – неожиданно спросил один из них, тот, кто был повыше. Мичманы, пожалуй, только небольшой разницей в росте, вершка в полтора, и различались.

Врач довольно хрюкнул в кулак, потянулся к деревянной папиросница, стоявшей на низком лакированном столике.

– Чуть поменьше собак, но пара комаров на лошадь запросто может напасть. А уж на уличного пса – тем более.

В глазах у юных мичманов возник невольный страх, они переглянулись.

– И когда же эти комары начинают злобствовать? В какое время года?

– Ну-у, – врач размял папиросу, дунул в мундштук, не спеша прикурил, – с первых чисел мая до первых чисел августа. Иногда задерживаются до середины либо даже до конца августа. Но вам повезло – где-то в горах уже ударили заморозки, и комары исчезли.

Мичманы снова переглянулись, они не знали, верить врачу или нет.

– Для комаров – это сигнал, – продолжал лекцию врач. – Как только где-то рядом грохнет мороз, комары исчезают.

– И вы видели собак, на которых нападали комары? – спросил Сергеева второй мичман, тот, который был пониже ростом.

– Сколько угодно. В Порт-Артуре почти нет собак, на которых бы они не нападали. Вы обратили внимание, сколько в городе ободранных искусанных кабысдохов? У одного нет глаза, у другого откушена половина уха, у третьего не хватает ноги, у четвертого хвоста. Это все – комары.

Мичманы вновь переглянулись, один из них, тот, который был повыше, передернул плечами:

– Бр-р-р! Не знаю, как вы, господа, а я комаров боюсь оч-чень...

Колчак глядел на это представление с улыбкой. Неужели и он когда-то был таким же? Наивность, конечно, не порок, но... Он не выдержал, вмешался в спектакль:

– Полноте вам, Сергей Сергеевич. Не пугайте молодых людей. Не то может случиться – с фронта запросятся домой.

– А я их и не пугаю, – врач затянулся папиросой, пустил большое облако дыма, разогнал его широким движением руки, – я предупреждаю.

Дыма врач напустил столько, что в нем не стало видно даже луны, ради которой они собрались.

– Сергей Сергеевич, в Японии на праздниках цукими курить строжайше запрещено, – сказал Эссен, убирая коробку с

папиросами, – вместо курения публика сочиняет стихи. Иногда даже коллективные.

– Неправда. Я сам когда-то был в Японии, курил там сигареты и ел рисовые лепешки данго, – врач сделал протестующее движение рукой, – они называются данго, верно?

– Верно, – подтвердил Эссен.

– Видите, какая у меня роскошная память. – Врач весело подмигнул мичманам, смотревшим на него с открытыми ртами. – На подносе лежало пятнадцать данго – по числу ночей месяца, верно?

– Верно.

– Но никаких стихов не было. Зато саке и курева было предостаточно.

Эссен добродушно рассмеялся.

– И все-таки не дымите, Сергей Сергеевич, как миноносец, которому в топку попал плохой мазут.

Обращение Эссена на этот раз дошло до врача.

– Все, все, все, – врач поднял руки, показывая, что он сдается, – прекращаю дымить на рейде. – Он затушил папиросу о борт тяжелой латунной пепельницы, вырезанной из донышка артиллерийской гильзы, отодвинул в сторону.

Луна увеличилась в размерах, приподнялась, красный окоем вокруг испепеляющей жаркой желтизны увеличился, ночные запахи в саду усилились – пахло уже не только сухой травой и вишневыми листьями, пахло туевой смолой, лавровым листом, мятой, еще чем-то острым, вкусным – то ли травой, то ли каким-то снадобьем, делающим дыхание легким и ровным, пахло спелыми яблоками и лимонами. Птицы умолкли, наступила тишина.

Прозрачную лунную мглу пробил яркий синий сноп прожектора, плоско прорезал пространство, родив в людях ощущение тревоги. Лица собравшихся сделались озабоченными.

– Судя по всему, нас ждут плохие времена. В Маньчжурии предстоят тяжелые бои. – Врач, не стесняясь собравшихся, сладко потянулся. Он, большой, сильный, вообще никого не стеснялся – мог ругаться, потягиваться, сморкаться, делать то, что за столом не принято делать, его профессия позволяла ему пренебрегать обычными условностями жизни.

– Ждут. – Эссен печально усмехнулся, губы у него сжались, сделались твердыми, на носу проступили, словно вытаяв из ничего, крупные мальчишеские конопушки. – Ждут, – повторил он после паузы, – они идут, эти времена. Тяжелые, изнурительные. Это в морском госпитале нет работы, а полевые госпитали переполнены ранеными. Как проиграли мы бои на реке Яле, [88]так проиграем и все остальные. Несчастья наши начались. А если мы проиграем схватки при Ляояне, то тогда все – России не поможет даже боевой энтузиазм наших юных мичманов. – Он без тени улыбки посмотрел на молодых людей, мрачно поджал губы. – Мы проиграем войну.

– А на море, – робко подал голос один из мичманов, тот, который был пониже ростом, – разве мы на море не можем победить?

– Не имеем ни одного шанса, – резко и жестко проговорил Эссен, – на море мы сейчас слабы, как никогда. У нас нет «Петропавловска» – лучшего линейного броненосца флота, нет броненосцев «Ретвизан» и «Цесаревич», нет крейсеров «Паллада» и «Варяг», нет нескольких миноносцев и канонерских лодок. Как воевать, на чем? Какими силами? Дай бог удержать внешний рейд, не дать его захлопнуть. Японцы обнаглели, скоро будут топить наши корабли прямо у причальных стенок.

В вишневые кусты, совсем рядом с верандой, тяжело прошелестев крыльями, плюхнулась крупная ночная птица и, высунув голову из листьев, прокричала что-то недовольно. От резкого недоброго крика ее по коже побежали мурашки.

– Одна надежда на Куропаткина, [89] – Эссен сел в кресло, поставил по краям стола, слева и справа, свечи, – он – толковый генерал. В отличие от нашего коменданта Стесселя. – Словно бы вспомнив о чем-то неприятном, Эссен поморщился. – Надутый, тупой Стессель. К солдату относится как к скотине. Когда такой генерал ведет дивизию в атаку, в спину ему обязательно стреляют свои.

Ночная птица, вновь высунув голову из листвы, словно стремясь разглядеть людей, опять что-то громко и тревожно прокричала. Совсем недалеко, кварталах в двух, раздалось несколько револьверных выстрелов. Мичманы вопросительно переглянулись. Эссен успокоил их коротким движением руки:

– Ничего страшного, молодые люди. Ловят японских шпионов. Развелось этих паразитов, как блох в старом матросском матрасе. Куда ни плюнь – обязательно попадешь в японского лазутчика.

По горячему диску луны пробежала прозрачная тень, вызеленила жар, на первую тень наложилась вторая, и диск

поголубел. Изменение цвета произошло стремительно, в несколько коротких мгновений, затем на луну наползла еще одна тень, от которой диск по всем законам физики должен был потемнеть, а произошло обратное: всем законам вопреки диск посветлел, словно с него мокрой тряпкой стерли пыль. Наверное, так оно и было: в эту ночь неведомый небесный служитель стирал с луны грязь. И вообще в природе произошло преображение – как будто очищающий ветер пронесся по земле, навел порядок, а за ветром ударил очищающий дождь.

– Луна начала играть, – предупредил Эссен.

Свет луны переместился в сторону и падал теперь точно на стол, за которым сидели люди, смотрели на стол завороженно, как на некое колдовское поле. В поле этом возникали цветные пятна, перемещались, шевелились, как живые, играли друг с дружкой в догонялки, разбегались в разные стороны, снова сбегались, вызывая восторг, какое-то странное остолбенение. Колчак поймал себя на том, что он невольно превращается в полоротого [90]мальчишку – так и тянуло от восхищения распахнуть рот. Сердце у него при виде такой красоты начинает биться по-мальчишески гулко, восторженно, и перед глазами, по-над столом уже посверкивает яркое шаманье сеево – мелкое, густое, сеево это искрится дорого, смещается в сторону, забористо поплевывает блестящим пшеном, снова смещается в сторону...

Эссен тем временем поставил в центр лунного поля поднос с рисовыми лепешками данго, рядом поставил две тарелки. В одной золотистой горкой высились яблоки, принесенные юными мичманами, украшенные каплями воды – их только что вымыли, в другой – мелкие маньчжурские груши. Такие груши в России не растут – продолговатые, размером чуть больше ранета, кисловатые, с крупным зерном – зернышки эти даже хрустели на зубах, – пахнущие терпко, будто побывали в муравейнике.

Было тихо и тревожно. Лунные тени ползли по столу, искрились, словно грани дорогих каменьев.

– Да, вы правы, Александр Васильевич, через такие вещи, как цукими, душа врага познается гораздо точнее и лучше, чем через разведданные, – прервал тревожную тишину Эссен. – Японцы, собираясь на цукими, не только едят данго, но и сочиняют стихи: кто напишет лучше, печальнее, изящнее. Японцы по этой части – большие мастера. А на отдельный столик в тарелках ставят каштаны. Каштаны в Японии – символ долголетия.

Эссен замолчал, и опять над землей повисла тревожная тишина. Цвет луны вновь изменился, стал красным, неприятным, по столу поползли кровянистые тени. «Кровянистые тени и стихи

должны рождать кровянистые». – Колчак потянулся за рисовой лепешкой, разломил ее. Она была крупитчатая, сильно отличалась от российских лепешек, особенно от пышных душистых поддымников, которые в крестьянских домах пекутся на горячем дыму, вкуснее которых нет ничего на свете.

– Стихи, которые японцы сочиняют при свете луны, – в основном сентиментальные, – Эссен проводил глазами очередную блескучую тень, проползшую по столу, – признак хорошего тона – пустить при чтении их слезу. Стихи дарят друг другу на листках бумаги, тщательно выписывают иероглифы и вообще ведут себя как влюбленные люди. Еще они гадают...

– Русские гадают в хмельную пору колядок, [91] – задумчиво проговорил врач, – при зеркалах и свечах. Не погадать ли нам, а, господа?

– На картах?

– А еще лучше – на фарфоре. Может, поговорим с великими людьми, находящимися на том свете, а? Что нам скажут наши предки?

– Что для этого нужно? – деловито спросил Эссен.

– Фарфоровая тарелка, лист бумаги и карандаш, чтобы начертить алфавит.

– Все это у меня есть.

– Вот и чудненько. – Врач громко хлопнул ладонью о ладонь, он снова стал самим собою. – Вызовем дух адмирала Нахимова, [92]узнаем, что нас ожидает в этой войне... А? Старый мореман ведь не обманет... не должен обмануть. Сам воевал. А, Николай Оттович? Добудем разведывательные данные с того света!

Доктор вновь стал шумным, в нем будто появилось второе дыхание, он даже откуда-то достал толстый свинцовый грифель, оставляющий на бумаге жирный след, – хорошая замена карандаша, засуетился, заулыбался обрадованно, когда Эссен принес ему лист бумаги, а сам ушел искать фарфоровую тарелку – как назло, на кухне у него были в основном фаянсовые, теперь из глубины нехитрого жилья, арендуемого капитаном второго ранга, доносился грохот, этакий посудный стук-бряк – Эссен искал фарфоровую тарелку и не мог ее найти.

А доктор, весело кропоча, чертыхаясь, хлопал себя локтями по бокам, увлекся делом: нарисовал большой, во весь лист бумаги, круг, в нем – другой круг, поменьше размером – в результате образовался некий рисованный плоский обод, удобный для размещения в нем букв и значков... Врач поделил обод на клетки, клетки заполнил буквами, бумагу разложил на столе, любовно разгладил ее руками: хорошее получилось произведение! То самое, что нужно для общения с иным миром.

По бумаге проползла малиновая тень, за ней, плотно, вдвинувшись краем в край, – голубая. Колчак подумал, что многого мы еще не знаем, природу предстоит изучать да изучать, и все равно она каждый раз будет преподносить новые загадки. Но чем больше знает человек – тем больше у него сомнений в душе. И чем меньше знает человек – тем меньше маеты, тем он счастливее. Так ли это? Впрочем, наверняка есть люди, которые действительно живут по принципу: чем меньше знаешь, тем лучше спишь. Он вздохнул зажато, тихо: компания, собравшаяся у Эссена, была ему неинтересна – ни врач, ни розовощекие юнцы-мичманы (впрочем, может, он не прав) – интересен был сам Эссен. Так часто бывает – интересного человека окружают серые неинтересные типы. По открытому пространству сада стремительно пронесся черный, мелкий зверек, вбежав в прозрачную фиолетовую тень куста, он сделал стойку, разом становясь похожим на обычного русского суслика. Только ночного.

– У нас в имении на Орловщине мы сусликов специально вылавливаем. Чтобы не ели хлеб! Слишком много хлеба они уничтожают, – произнес один из мичманов.

Врач, вывернув голову, вгляделся в затихшее светлое пространство ночи, не сразу нащупал взглядом зверька, когда же нашел, то проговорил знающе:

– Это муравьед. Мелкий местный муравьед. Маньчжурский.

Тем временем Эссен принес изящную, с кружевными золочеными краями тарелку, врач ловко перехватил ее прямо из руки, грубые, неказистые на вид лапы его преобразились – они вообще преображались у него, когда он брался за что-то, – движения обрели легкость, он протер пальцами тарелку, потом несколько минут подержал ее на ладони, стараясь, чтобы тепло руки передалось фарфору, и лишь потом поставил тарелку в центр нарисованного круга.

Сверху накрыл тарелку ладонью, в самом «горячем», самом нагревшемся месте нарисовал стрелку.

– Ну, кого, господа, будем вызывать на душевный разговор? – бодрым голосом спросил он. – Нахимова? Корнилова? [93]Беллинсгаузена? [94]Петра Первого? Ушакова? [95]

– Для начала, конечно, кого-нибудь из наших, из моряков. – Эссен улыбнулся, в следующий миг почувствовал, каким неприкрытым амикошонством пахнуло от доверительного «из наших», еще раз добавил: – Из моряков.

– Кого именно вызовем?

– Давайте Нахимова.

– Давайте Нахимова, – согласно повторил врач, легко

закружил тарелку по бумажному кругу, вызывая дух Нахимова. – Если у меня не хватит тепла, энергии, то тогда кому-нибудь придется мне помочь, – сказал он, глянул на Колчака, потом на мичманов, сидевших тесно, рядышком, просчитывая про себя, каким же биологическим, электрическим (или каким там еще) полем они обладают, сильным или так себе, подмигнул им: – Вы, наверное, мне и поможете.

В следующий миг он, как всякий хамоватый человек, который привык вилять хвостом и подчищать за собою дорожку, подмигнул Колчаку:

– У вас поле тоже ничего, – перевел плутоватый взгляд красных, в склеротических прожилках глаз на Эссена, – и у вас ничего, Николай Оттович!

Умолкнув, врач начал смотреть на кружевное поле тарелки, на стрелку, едва видимую в лунном свете, – тусклый свинцовый прочерк, растворяющийся на фарфоре, качнул досадливо головой:

– Не хочет что-то прославленный адмирал общаться с нами. Он против того, чтобы тревожили его дух.

Завращал тарелку быстрее, напрягся лицом, желваки двумя железными буграми проступили у него на щеках, на лбу появился пот… Наконец он обрадованно воскликнул:

– О! Кажется, зацепилось!

Тарелка словно споткнулась обо что-то, заскользила по лунному полю медленнее, пот полил с врача еще обильнее, и он беззастенчиво подогнал дух адмирала:

– Ну, ну, ну!

Наконец дух заговорил. Тарелка останавливалась, целя стрелкой в одну из букв, и врач медленно считывал текст:

– Ч-то вы от ме-ня хо-ти-те?

Врач засмеялся:

– Вот так! Дух на проводе. – Он снова засмеялся, спросил у Эссена: – Что мы хотим от духа адмирала Нахимова?

– Вопрос следующий: что нас ждет в этой войне?

Врач покорно забубнил, передавая текст на тот свет:

– Ваше превосходительство, скажите, что ожидает Россию в войне с Японией?

Ответ последовал незамедлительно:

– Поражение.

Врач пошмыгал озадаченно носом, помрачнел, щеки у него обвисли брыльями.

– Мда, – крякнул он.

– Спросите у него, что… у России что, нет ни одного шанса на выигрыш?

Ответ – короткий, жесткий – также пришел незамедлительно:

– Ни одного.

Врач крякнул снова, неверяще покрутил годовой:

– Во дает! Неужели таракан может проглотить верблюда?

– Задайте адмиралу следующий вопрос: «Ваше превосходительство, как это произойдет? Может, есть возможность, отработать машину истории назад?»

– Назад отработать ничего нельзя, – ответил Нахимов. – Поздно. Больше обсуждать этот вопрос я не намерен. – Тарелка под горячей ладонью врача остановилась, потом через несколько мгновений вновь двинулась по бумажному полю. – Мне горько, – добавил Нахимов. Постояв немного, тарелка двинулась по полю опять. – До свидания. Больше меня не тревожьте.

Тарелка остановилась, врач отнял от нее ладонь, потряс рукой с таким видом, словно с ладони у него слезла кожа.

– Так можно и на мат напороться, – сказал он. – Кого вызываем следующим?

Было тихо, на луну наползали яркие тени, меняли ее цвет, уносились в пространство; ощущение тревоги, поселившееся в людях, не исчезало.

– Может, Кутузова? – робко предложил один из мичманов.

– Или Суворова, – добавил другой.

– Давайте попробуем вызвать дух государя Петра Алексеевича, – сказал Эссен.

Тарелка вновь заскользила по бумажному кругу.

Государь Петр Алексеевич, так же как и популярный в народе флотоводец, гостей не ждал, на отчаянные призывы врача отозваться долго не отзывался, – нагретый фарфоровый диск скользил по полю бумаги, не задерживаясь ни на секунду, но врач был настойчив. Наконец он объявил:

– Чувствую какое-то торможение. Сейчас, похоже, государь отзовется. Думаю, для начала он выматерит нас.

Он как в воду глядел – Петр Алексеевич не выдержал, отозвался с привычным для себя матерком:

– Какого х... вам от меня надо? Чего спать мешаете?

– Государь наш, батюшка Петр Алексеевич, которого народ русский прозвал Великим, – льстиво начал врач, но Петр Первый оборвал его:

– Хватит лизать мне задницу! Я ни влажных языков, ни пахучей жопной бумаги не признаю. Говори, чего надо?

Врач, вывернув голову, окровяненным натуженным глазом глянул на Эссена.

– Вопрос прежний, – сказал тот, – что ждет Россию в войне с Японией?

Тарелка проворно заскользила под рукой врача. Государь

Петр Алексевич в выражениях не стеснялся.

– Мать вашу, – забормотал врач, переводя загробный текст, – вляпались вы в говно с этими косорылыми! Кто просил, кто велел? Надо было обойтись дипломатией, а не гробить русские корабли на рейде. Что теперь дальше будете делать, жопошники?

– Во дает государь-император! – невольно восхитился врач и невольно втянул голову в плечи: на мгновение представил себе, во что превратил бы его Петр Алексеевич, случись этот разговор лет двести назад.

В лучшем случае вытянул бы из кармана клещи и выдрал бы у него изо рта все зубы до единого, в худшем – оторвал бы голову целиком. Вместе с зубами. По части зубов он, говорят, был большим мастаком, специально искал, кому бы челюсть повышелушивать, и если находил, то немедленно расплывался в довольной улыбке и в хорошем настроении пребывал уже до самого вечера.

Рука Сергеева, поскольку не было ответа грозному духу покойного государя, дрогнула и сама по себе побежала дальше по расчерченному кругу.

– А, жопошники? – вторично спросил государь, надеясь получить ответ на этот скорбный вопрос.

– Передайте государю, что первыми напали японцы на Россию, а не Россия на Японию.

– Фи! – пришло в ответ презрительное, и вспотевшему, со вздыбленными от напряжения остатками волос врачу показалось, что сейчас Петр Алексеевич собственной персоной заявится на эту тихую веранду, склонит над собравшимися свое взбешенное усатое лицо. – Как может маленькая козявка нападать на большую лошадь? И вообще кто позволил? А если позволил, то значит, государством Российским управляет дурак. Или дураки. Много дураков.

– Истинная правда, – согласился с Петром Алексеевичем Эссен, – что есть, то есть. Спросите у государя, какой конец ждет нас в этой войне?

Врач снова стер пот со лба, передал вопрос. Ответ пришел без задержки:

– Плохой!

– Мы проиграем войну?

– Да!

В сентябре 1904 года лейтенант Колчак, измотанный приступами ревматизма, был списан на берег. Его поздравили с потопленным крейсером «Такасаго» – это была одна из немногих побед русского флота в той войне, все другое, на чем ни

останавливает свой взгляд нынешний историк, проходит по разряду поражений, – сообщили также, что за этот крейсер он представлен к ордену, документы уже отправили к государю-императору, и перевели служить на сушу.

К сожалению, у Колчака иного пути не было. Как, впрочем, не было и у других боевых офицеров, славно воевавших на море. Военные действия на море практически закончились – все, финита! – японский флот беспрепятственно бороздил водные просторы во всех направлениях и ожидал прихода эскадры адмирала Рожественского, о которой было уже объявлено, но которая до сих пор не покинула воды Балтики. Эскадра собиралась выручать Порт-Артур, хотя выручать, похоже, было уже нечего. Адмирал Того, ощущая свое превосходство, только руки потирал да гладил маленькую породистую собачонку с кудельками волос, дыбом встающих на крохотной жирной головке – он знал, как можно будет справиться с эскадрой Рожественского, которая обязательно ослабнет в долгом плавании...

А пока боевые порт-артурские офицеры списывались с кораблей на берег. Вместе с пушками.

Так очутился на берегу и Колчак. Назначен он был на сдвоенную батарею, главная ударная сила которой состояла в нескольких тяжелых 120-миллиметровых орудиях. Из ствола этой длиннющей морской пушки были видны днем звезды и луна, небо можно было рассматривать, как в телескоп. Кроме 120-миллиметровок, на батарее были еще 47-миллиметровые орудия. Занимала батарея позиции на Скалистой Горе.

Осень на Скалистой Горе резала глаза своими светящимися красками – желтые, оранжевые, красные всполохи были похожи на вспышки орудий, поспели разные ягоды, вплоть до винограда – мелкого, сизого, будто обернутого в седую паутину, сладкого, с железными, о которые можно было сломать зубы, косточками, с крымским ядреным виноградом ни в какое сравнение не идущего; а уж такие ягоды, как ирга, кислица, лимонник, которые в России просто были неведомы или вообще за ягоды не считались, их на подступах к батарее было как грязи.

Среди батарейцев наиболее приметным был маленький, колченогий, ухватистый солдат с рысьими глазами по фамилии Сыроедов. Был Сыроедов человеком, который не пропадет нигде – в жару, в раскаленной пустыне обязательно найдет тенистый уголок и холодную воду, в лютую стужу – теплое место, где можно обогреться и посушить одежду, в любую голодуху у него была еда, и не просто еда, какое-нибудь одеревеневшее вяленое мясо с твердыми, как проволока, жилами, а нежная свежанина:

зайчатина, косульятушка, козье седло, рябчики, вскормленные сладкой рябиновой ягодой, и так далее.

Колчаку посоветовали взять Сыроедова себе в денщики, но Колчак отказался – не любил, чтобы ему вообще прислуживали, поставил Сыроедова в боевой расчет.

Сыроедов этому обстоятельству не огорчился, хотя Колчаку при встрече сказал:

– Жаль, ваше благородие!

Колчак промолчал.

– Я вам тут банку лимонника собрал – очень пользительная штука. От всех болезней лекарство. Укрепляет все, от зрения и слуха до вот этого самого, ваше благородие. – Сыроедов хлопнул ладонью по руке, по сгибу локтя. – Шишка после лимонника стоит как костяная. Аж в ушах звенит. И зубы укрепляет здорово. Эту банку надо будет сахарком засыпать, потому как сама лимонная ягода очень кислая, скулы сводит, туда обязательно надо добавить сахару.

Вечером Сыроедов действительно принес банку с лимонником – желтой мятой ягодой, начиненной крохотными хрустящими косточками.

– Если сахар у вас есть, ваше благородие, дайте мне пару-тройку глуток, я их растолку молотком и насыплю в банку, – сказал Сыроедов.

– Есть сахар.

– Иначе лимонник может скиснуть. Он вообще может погибнуть от собственной кислотости. А с сахаром он еще и сок даст.

Разговор происходил в палатке. Батарея пока не обосновалась, для офицеров из досок строили помещение, схожее с железнодорожным бараком, только меньшего размера, все имущество лейтенанта вместилось в баул да в фанерный чемодан, сколоченный умельцами на «Сердитом», – в чемодане он держал книги, дневники, приборы, хозяйственную мелочь, в том числе и два матерчатых мешочка с сахаром.

Он достал из чемодана один из мешочков, протянул Сыроедову:

– Сколько надо, столько и возьмите.

О колдовских свойствах лимонника Колчак слышал не раз, говорят, ягода эта – не хуже женьшеня. Зубы, конечно, надо подлечить – опять начали вываливаться. Сыроедов подхватил мешочек с сахаром и через несколько минут уже колотил молотком по пню, превращая сахар в мелкую крошку. Через четверть часа он принес банку Колчаку.

– Вот, ваше благородие! Все сделано на «ять», как в аптеке.

Пра-шу!

В желтовато-оранжевой массе лимонника посверкивали искристые кристаллики сахара. В Колчаке что-то дрогнуло – всякая забота размягчала, трогала его, он благодарно прислонился рукой к плечу артиллериста:

– Мешочек с сахаром оставьте себе, я добуду еще.

– Что вы, что вы, ваше благородие! – засмущался Сыроедов, но подарок принял. – Я вам еще ягод насобираю, – пообещал он и неожиданно округлил глаза: – Тут прошлой ночью тигра на батарею забегала, у-у-у! – Сыроедов загудел, как паровоз с Николаевской железной дороги. – Здоровая, гада! Глаза горят, как два фонаря. В холке – метра полтора высотой... Такая тигра совершенно спокойно перемахнет через любой забор, а лапой перебивает хребет корове. Батарейцы еле-еле отогнали зверюгу.

Колчак с сомнением покачал головой:

– Тигр ли это?

– Тигра, точно тигра! Мужики врать не будут. Сурьезные ведь люди.

– Может, с лошадью перепутали?

– Не-а, ваше благородие! Я к чему это говорю... Может, тигру ту завалить? А?

– Зачем?

– И съесть.

– Не надо. Хотя я очень сомневаюсь в том, что это был тигр. Тигры обитают на севере, в уссурийской да в амурской тайге. Здесь для них нет условий.

– Тигра это, тигра, – убежденно произнес Сыроедов. – А насчет завалить – подумайте, ваше благородие! Мясо тигры, говорят, самое полезное среди прочего... среди всякого другого мяса, вот. От всех хворей лекарство, словом.

В этом Сыроедов был прав – и китайцы, и корейцы широко использовали тигровое мясо в своей медицине – съедали они все: и кости, и хвост, и даже усы. Выколупывают глаза, измельчают в пыль череп, перетирают ребра, вываривают кишки и жир, делают вытяжки, а выдубленную шкуру пускают на продажу. Всякий попавший в капкан тигр – это сырье для безотходного производства. Все идет в дело.

– Все равно не трогайте... – Колчак улыбнулся, – эту вашу тигру.

– В распадке стоит полевая батарея, – сказал Сыроедов, затягивая на кульке с сахаром веревку, будто на кисете, – так там тигра собаку съела. Для тигры собачатина все равно что для деревенской бабы это вот самое дело к чаю, – он поднял кулек за завязку, – даже слаще. Страсть как тигра любит собак.

– А вы, Сыроедов, откуда это знаете?

– Дак я по Амуру плоты гонял, многое видел… Знаю! И вареную тигрятину ел. Вкусная!

– Не трогайте тигра! – предупредил Колчак.

– Не буду. Я же обещал ваше благородие! А мясо тигры очень далее пользительное. Я после того, как поел, два года ничем не болел.

Утром, когда Колчак пил чай, сидя в палатке на снарядном ящике, на зуб ему попало что-то твердое, будто в кусок мягкого пышного хлеба, который помощник батарейного кашевара привез из города, из флотской пекарни – хлеб был только что испечен, еще сохранял тепло, – запекся камешек; Колчак нечаянно надавил, поморщился от тихого хруста, почувствовал, как по ключицам у него побежали холодные блохи, выплюнул жеванину на руку.

Сверху лежал зуб. Зуб выпал без боли, без крови. Оторвался тихо и незаметно, словно тень от плоти. Мурашики побежали по ключицам вновь. Еще один… Очередной. Колчак вздохнул. За палаткой, под брезентовым пологом, шумели батарейцы – завтракали.

Еще с ночи зарядил мелкий обкладной дождь, посбивал с веток ослабшую листву, загнал людей под покров – пусть над головой хоть пихтовая лапа будет качаться или клок материи, натянутый на две ветки, а все от мороси малость прикроет, все не за шиворот вода полезет.

Когда же на далеком перевале глазастый мичман Приходько – один из круглоглазых восторженных братьев, пришедших к Эссену любоваться лунной игрой, тот, который был повыше ростом, – заметил далекие движущиеся факелы, со стволов пушек были немедленно сдернуты брезентовые чехлы. 120-миллиметровые орудия были хорошо пристреляны по этому перевалу.

С той стороны ожидали прихода японцев, об этом предупредила разведка, – и Колчак дал команду сделать по перевалу десять выстрелов.

Били вслепую, ориентируясь только на далекие вспышки взрывов – в темноте вспухали хлопки пламени и тут же опадали, увидеть что-либо еще было нельзя. Не занятые стрельбой батарейцы оживленно бегали по позициям – всем хотелось пощекотать япошек, да и устали люди от тревожных ожиданий, от отступлений, от того, что все время приходится отодвигаться «на край скамейки», оставляя площадь противнику, а тут сам Господь подкинул возможность поквитаться за кое-какие обиды.

Несмотря на слепую стрельбу, снаряды легли кучно,

батарейные наводчики – народ приметливый, перевал они могли накрыть и вслепую. Утром, на рассвете, к перевалу ушла разведка – посмотреть на результаты ночной пальбы. А вдруг вообще били по заблудившимся своим? Колчак задумчиво помял рукой одну щеку, машинально, на ощупь проверяя, чисто ли выбрита, потом помял другую, поднес к глазам тяжелый морской бинокль.

Все огрузло, скрылось в сером клубящемся мареве пространства: туман смешался с дождевой моросью, с тяжелыми рваными облаками, по-пластунски ползущими по самой земле, – на ветках деревьев они оставляли целые охапки неряшливой, тяжелой, как мокрая вата, плоти, в распадках что-то горело, вонючий дым смешивался с моросью – перевал был закрыт плотно, ничего не видно, о том, кто был накрыт ночными снарядами, сможет рассказать только разведка.

Разведка вернулась через два часа. Руководил ею старый, с седыми висками и лицом, изрезанным морщинами, прапорщик – бывший хабаровский лесозаготовитель. Он сунул голову в палатку лейтенанта, стер рукою морось со щек, стряхнул ее на землю.

– Поздравляю с удачной стрельбой!

– Ну что там?

– Японский обоз заблудился, вылез на перевал не в том месте, батарея его накрыла. Любо-дорого посмотреть, как накрыла. Пара снарядов точно легла в цель – прямое попадание. Одну лошадь, разорванную пополам, даже забросило на десятиметровый камень. Вот силища!

Колчак приподнял клапан над вшитым в ткань палатки жестким квадратом окна – погода не улучшалась, с неба все так же падала густая морось, облака продолжали жаться к земле. Пахло горелым.

– А горит что?

– В распадке сибирский стрелковый полк остановился на привал, кашу мужики варят. – Прапорщик снова стер со щек противную влажную налипь. – Пока сходили к привалу – вымокли до нитки.

– Ведите разведчиков к повару, там вас и обсушат, и накормят, и обогреют. – Поймав вопросительный взгляд прапорщика, Колчак добавил: – И по чарке водки выдадут. Идите, я уже дал распоряжение.

Сильная боль пробила его тело насквозь, у Колчака перехватило дыхание, он мазнул рукой по воздуху, словно собирался за что-то ухватиться, чуть не застонал... Но не застонал, одолел боль. На лице его ничего не отразилось. Это ему удалось, прапорщик-разведчик кинул к козырьку мокрой фуражки

ладонь и задом выбрался из палатки. Колчак застонал, ухватился рукою за поясницу, сжав зубы, качнулся всем корпусом, помассировал пальцами задубевшую, ничего не чувствующую кожу, потом качнулся в обратную сторону, назад, затем снова вперед, заваливаясь на колени и приникая к ним лицом.

Конечно же, Колчак знал, что приступы ревматизма бывают оглушающими, но чтобы боль так резко, так люто, так безжалостно выдирала из тела жилы, жгуты нервов, кости, рвала мышцы – нет; такое даже описать нельзя.

Снадобье, которое он купил у китайца-знахаря, помогало лишь первое время – две, две с половиной недели, а потом целебная сила вонючей мази угасла. Колчак оставался со своей болью один на один.

Он застонал.

Начался очередной приступ.

Боль пережала горло, перед глазами заскакали яркие электрические блохи. Он напрягся, стараясь выбраться из тесного обжима боли, прислушался к самому себе – дыхание со свистом вырывалось у него изо рта, из ноздрей, из горла, стона же не было, стон оставался в нем самом, возникал и гаснул внутри.

Колчак, судорожно вытянувшись, словно кто-то старался выдернуть из его спинного хребта нитку мозга, ломал позвонки, ребра, хватая влажным ртом воздух, повалился на пол, на мгновение потерял сознание, но очень быстро пришел в себя. Попробовал подползти к баулу – попытка ему не удалась, боль вновь электрическим разрядом пробила его тело, оглушила, и перед Колчаком опять угас свет.

В бауле оставалось полбанки пахучего змеиного снадобья. Хоть и перестало оно помогать, не снимало боли, но малое внутреннее облегчение все-таки приносило, рождало мысль о том, что становится легче, и Колчак, обманываясь, заставлял самого себя верить этому. И если обман удавался, ему действительно делалось легче.

Очнувшись, он закусил зубами губы, сделал легкое, очень осторожное движение рукой, будто веслом загреб воду, боль не замедлила возникнуть вновь, покатилась на него стремительным испепеляющим валом, и Колчак, поджидая ее, замер, зажал в себе дыхание. Боль, подкатившись к нему, затихла – не хватило силы. Колчак выждал несколько минут и предпринял новую попытку добраться до баула, и эта попытка ему удалась: Колчак подскребся по полу к баулу.

Некоторое время он лежал неподвижно, прислушиваясь к самому себе, к свистящему своему дыханию – надорванные взвизги, слава Господи, пропали, – к биению сердца, к громким

толчкам, разламывающим виски, потом потянулся к баулу и вслепую зашарил в распахнутом нутре.

Банку он нашел скоро – помня о прошлых приступах, не прятал ее далеко, сдернул пергаментную нахлобучку, перехваченную резинкой, подцепил пальцами немного мази и, задрав на спине форменную черную куртку, пришлепнул к коже вязкий комочек, разровнял его, за первым комочком раздавил второй...

Непонятно, что произошло, кто помог – мазь начала действовать, – видимо, сработало самовнушение, приступ скоро прошел.

Некоторое время Колчак неподвижно лежал на полу, прислушиваясь к боли, так внезапно родившейся в нем и так же внезапно угасшей, словно не веря в то, что все кончилось. Боль не возникла, и он, кряхтя, как старик, поднялся с пола. Оглушенно помотал головой, облизал мокрые губы.

Распах палатки дернулся, внутрь, возбужденно блестя глазами, всунулся мичман Приходько.

– Александр Васильевич, вы уже знаете, что японцев на перевале накрошили, как капусты...

– Велика заслуга, – глухо и недовольно проговорил Колчак, – слепая стрельба, случайные попадания...

– Но за такую стрельбу награждают орденами.

– Я бы не стал делать таких глупостей.

Приходько звонко рассмеялся:

– Критикуете государя, Александр Васильевич? Это попахивает революцией!

Колчак позавидовал беспечному смеху, молодости мичмана, наивному блеску глаз, тому, что все у Приходько впереди. Если, конечно, его не покалечит война. Война и смерть непредсказуемы.

– И не думаю критиковать, – сказал Колчак, – не мое это дело. Не имею права.

Мичман, вглядевшись в его лицо, встревожился, едва приметные светлые брови высоко взлетели:

– С вами ничего не случилось, Александр Васильевич?

– А что со мною должно случиться? – осторожно поинтересовался Колчак.

– Собственно, ничего... Лицо вот только...

– Ну и что?

– И ваше лицо это, и не ваше в ту же пору.

– Случилось, – немного поколебавшись, признался Колчак – сделал он это совершенно нежданно для себя, бесшумно втянул сквозь зубы воздух, проверяя, проснется ли в нем боль, боль не

проснулась, и он сделал решительный выдох. Потом – вдох.

Отпустила боль. Но эта уступка может быть обманной, ревматизм тем и плох, что его никогда не поймаешь за «руку», он может спрятаться, залечь там, где его никогда не обнаружишь, – в костях, либо забраться в самую душу, а потом внезапно выпрыгнуть из засады, оглушить, смять, заставить человека завыть от боли, – такое, собственно, с Колчаком уже бывало не раз.

– Что случилось? – еще больше встревожился мичман.

Колчак поморщился.

– Ревматизм прихватил. Очередной приступ, – сунулся в карман куртки, достал оттуда платок, вытер им лоб и влажные губы. – Дай бог, чтобы вас миновала эта участь, мичман.

– Больно? – В голосе Приходько послышались сострадающие нотки.

– Очень.

– Может, врача?

– Врача на батарее нет. Надо ехать в город. А ехать я не могу, батарею нельзя покидать даже на несколько минут. Японцы уже подступили к Порт-Артуру. Сегодняшняя ночь – лишнее тому подтверждение. Хотя все это – пока цветочки. Ягодки будут впереди.

– А если я... если я, Александр Васильевич, сам съезжу в город?

– Зачем?

– Привезу оттуда Сергея Сергеевича, врача... Помните говорливого человека, который был вместе с нами на празднике цукими? У Эссена.

Колчак говорливого врача почти не помнил – так, осталось перед взором что-то смазанное, почти безликое, обсыпанное крошками пепла, прокуренное, пропахшее спиртом... Впрочем, этого было достаточно, чтобы врач окончательно не вывалился из памяти.

– Помню, – сказал Колчак. – Но для того, чтобы съездить за врачом, надо иметь бричку, а на батарее бричек нет. Только две фуры для подвозки снарядов да разбитая телега.

– Не страшно. Я съезжу на телеге. Там надо немного передок подколотить да оглоблю лыком обвязать. Сыроедова попрошу, он мужик рукастый – мигом сделает. И – за врачом. Сергей Сергеевич – человек простой, он даже не заметит, что за ним приехали не на бричке.

Через полтора часа Приходько привез на батарею доктора – шумного, слегка подшофе, с моноклем, крепко зажатым в одном глазу – доктор как зажал, так и не выпускал, раньше монокля у

него не было, видно, недавно обзавелся, – с потрепанным, истончившимся до бумажной тонины портфелем.

– Ну-с, батенька, докладывайте, что с вами происходит, – трубно пророкотал доктор, с сопеньем влезая в палатку Колчака. Тут ему было тесно. Он с опаской глянул в одну сторону, потом в другую, перевел взгляд на лейтенанта. – Рассказывайте! Как на духу!

А Колчак прикидывал про себя – доложит ли врач Сергеев по инстанции, что он сейчас узнает и увидит? Если доложит, то Колчака могут с очередным транспортом раненых отправить домой. Колчаку уезжать не хотелось – он должен быть здесь, здесь! В Порт-Артуре его место, а не на КМВ – Кавказских Минеральных Водах, известных своими горячими источниками, растворяющими ревматическую боль, чайными розами, женщинами легкого поведения и красным шампанским. Не для этого он притворялся, зажимая стоны зубами, глотая их вместе с порошками, когда валялся с воспалением легких в госпитале, не для этого он терпел боль, качаясь в волнах вместе со старым дырявым минным заградителем, носившим гордое имя «Амур», не для этого мазался вонючим змеиным зельем и голой спиной прикладывался к раскаленной на солнце стальной палубе эсминца.

– Ну-с! – вновь нетерпеливо потребовал Сергеев.

Вздохнув, Колчак рассказал врачу, какое наследство он получил от Севера во время экспедиций.

Врач, слушая вполуха, пробежался взглядом по скудному убранству палатки. В углу стояла железная, с ободьями, украшенными проступающей сквозь краску ржавью, койка, застеленная нарядным шотландским пледом – Колчак любил клетчатую шотландскую шерсть, – врач сделал рукой резкое движение:

– Ну-ка, переместитесь на койку, батенька!

Колчак послушно перебрался на койку, нагнулся, задрал на спине куртку.

– Вы ложитесь, ложитесь! – приказал ему Сергеев.

Своими толстыми, грубыми, будто вырубленными из дерева, а на деле – очень мягкими аккуратными пальцами он помял мышцы на спине Колчака, обследовал поясницу, прошелся по хребту снизу вверх и обратно и недовольно засопел.

– Мда, батенька!

– Что, Сергей Сергеевич?

– Что, что, – по-дедовски ворчливо пробурчал тот; не спрашивая разрешения закурить, извлек из саквояжа деревянную коробку с дорогими кубинскими сигарами, достал одну, похожую

на небольшое, аккуратно оструганное бревнышко, сунул себе рот. – На воды вам, батенька, надо ехать, пока ревматизм не доконал.

– Какие сейчас воды, доктор… Война!

– Я понимаю. Но не век же война будет длиться.

– Кончится война, вот тогда и поеду на воды. А сейчас… Что сейчас говорить об этом. – Колчак поднялся, одернул на себе куртку. – Сейчас возможно только одно – терапия в походных условиях.

– Терапия следующая. – Врач неторопливо раскурил сигару, потом запоздало сунул ящичек лейтенанту – Курите?

– Не балуюсь.

– И правильно делаете. Две капли никотина опрокидывают вверх лытками [96]медведя.

– Я слышал – лошадь.

Сергеев добродушно рассмеялся, помотал перед собой громадной ладонью – Колчак только сейчас увидел, что она у врача огромна, как совковая лопата, просто врач не часто расправляет свои ладони, потому и не видно, какие мужицкие у него руки, – окутался дымом так густо, что не стало видно его лица.

– Терапия одна, – продолжил он, – в здешних условиях другой быть не может – банька с раскаленными камнями. Не бойтесь, если со спины слезет кожа, это не самое страшное. Наваливайте на спину камни, наваливайте побольше и – терпите! Замечу особо, – врач потыкал сигарой в верх палатки, – в России от ревматизма еще никто не умер.

– На батарее бани нет.

– Надо построить. – Сергеев подергал головой, как некий паровой механизм выпустил из себя дым, сдул его в сторону. – Каждый раз, за каждым мытьем в Порт-Артур не наездишься, надо делать свою баню. – Тут Сергеев был прав. – Да и нехитрое это дело – сколотить баньку… Тяп-ляп – и готово!

Насчет «тяп-ляп» Колчак не был согласен.

– Местными змеиными мазями тоже можно пользоваться, – сказал Сергеев. – Помочь особо не помогут, но вреда точно не принесут.

– Пользовался. Поначалу вроде бы помогало, а потом – извините!

– Вот и я об этом же самом говорю. И – банька, банька, банька! С горячими каменьями.

Не выпуская изо рта сигары, доктор запрыгнул в телегу, положил на колени саквояж, мичман огрел лошадь кнутом, и расхлябанная телега, которой ремонт на пользу не пошел,

оставляя после себя вкусный сигарный дым, покатила по каменистой дороге вниз.

Вообще-то банька на батарее имелась, только мало чем она отличалась от обычного хлева – в щелях, с неровным земляным полом, на который грешно и боязно было ступать босой вымытой ногой, эту некультяпистую баньку надо было доводить до ума.

Для солдатских нужд старый командир батареи привез десять дубовых бочек, обитых обручами, в этих бочках батарейцы и мылись. Как японцы. Те тоже мылись в бочках.

– Я из этой баньки сказку сделаю, – пообещал Сыроедов, – дайте мне только двух человек в помощь. Через десять дней батарея будет париться в собственной бане.

Погода стояла тихая, мокреть кончилась, японцы больше не появлялись, стрельбы были только беспокоящие – как когда-то постановил покойный адмирал Макаров, и этот приказ соблюдался до сих пор, – и Колчак выделил несколько человек Сыроедову в помощь.

В распадке за батареей запела двуручная пила, застучали топоры. Сыроедов работал легко, красиво, залюбоваться можно, он сменил подгнившие брусья, положенные в основание бани, – климат-то здешний таков, что в нем гниет все, кажется, даже благородное золото, а старые брусья были вытесаны из сорного, легко поддающегося прели дерева. Взамен их Сыроедов поставил лиственные, поправил крышу, убрал ломины, заровнял вдавлины дранкой, переложил две стены, выбрав из них гниль, потом взял телегу с понурым серым мерином, которому батарейцы насадили на голову японскую фуражку с потускневшей кокардой, и поехал в город.

Где был Сыроедов, с кем общался, никто не знает, только привез он на батарею полтора десятка старых матросских ватников.

Офицеры и матросы, часто ходившие на Север, во льды, получали утепленное обмундирование: офицеры – меховое, матросы – ватное. Меховое обмундирование Сыроедову не подходило, а ватное было в самый раз. То, что надо. Он раскромсал бушлаты ножом, повыдергивал из швов вату и законопатил ею щели между бревнами. На пол постелил коротенькие – других двуручной пилой без специальных инструментов, не выпилить, только короткие – доски, тщательно оструган их, сколотил несколько прочных лавок.

Через десять дней Сыроедов, как и обещал, пришел к Колчаку:

– Прошу принять работу, ваше благородие!

Колчак спустился в распадок. В бане пахло сосновой смолой, лиственницей, сушеной травой, мятой, еще чем-то, остро щекочущим ноздри, запах был сложным, приятным, словно домом родным запахло. На гладко оструганные лавки любо-дорого было посмотреть, в железной бочке, врезанной в бок печи, крутой грудой высились крупные, хорошо оглаженные водой морские камни.

– Камешки мы из бухты привезли, из самого дальнего угла, где ловят рыбу и вода чистая, как слеза, – Сыроедов, лучась взором, словно ему поднесли шкалик, любовно огладил пальцами один из камней, – специально, чтобы на камнях никаких грязных наростов не было. А те камни, что имелись здесь, пришлось выкинуть, ваше благородие. Очень опасно было их в баньке оставлять.

– Что, трещинами пошли?

– Сплошь да рядом. Стоит только такой камень раскалить посильнее да плеснуть на него квасом, он как от прямого попадания взорвется. И осколками народ покалечит. Оч-чень опасные камешки тут гнездились. Вечерком милости прошу в баньку, ваше благородие, – пригласил Сыроедов, – с можжевеловым веничком. Свежим. Я сам за банщика буду. – Сыроедов сбил набок фуражку и сделал рукой жест расшаркивающегося французского шевалье. [97]Где он только подхватил его... Колчак невольно улыбнулся. – Не пожалеете, – добавил Сыроедов.

От Сонечки пришло несколько писем – Колчаку выдали их стопкой, письма прямо на почте были сложены по мере поступления; по лицу лейтенанта, когда он взял письма в руки, проползла светлая тень. Понюхал конверты: чем они пахнут?

Хоть и побывали конверты во многих руках, хоть и пересекли половину земного шара, прежде чем очутиться здесь, на краю земли – на таком расстоянии запросто можно растерять все запахи, – а Колчак, как ему показалось, уловил едва приметный далекий аромат. Это был Сонечкин запах. Что-то мягкое, безжалостное взяло его за горло, сдавило, он гулко сглотнул сбившуюся во рту в комок слюну, шевельнул едва приметно губами.

Он снова втянул едва приметный запах духов, дома, чистой женской кожи, исходящий от конвертов, у него расстроенно задергалась левая щека. Такое дерганье, как говорили, означает, что с сердцем не все в порядке. У Колчака снова дернулась левая щека. А ведь действительно, у него с сердцем не все ладно, иначе откуда бы родиться такой лютой тоске, способной скрутить жилы и мышцы в тугой жгут; вот уже все тело, стиснутое ею, начало

болеть и сочиться грубой, схожей с открытой пулевой раной, тоской.

В городе письма он не стал открывать, привез их на батарею, там спустился в распадок, сел на пень, оставшийся от срезанной лиственницы, и невольно вспомнил речи Сыроедова насчет полезности лиственницы, которую тот считал первым деревом среди деревьев – она не гниет, легко поддается топору, послушна в обработке, дух от нее исходит целебный и имеет еще много других достоинств, – Колчак раздвинул губы в улыбке, почувствовал сухую корку, стянувшую губы, прижал пальцы ко рту. Показалось, что губы могут треснуть. Распечатал первый конверт.

Сонечка писала о беспечном сверкающем Петербурге, которому совершенно никакого дела не было до театра военных действий, находившегося в далеком далеке, об украшениях знатных модниц, появляющихся на балу у государя, о том, как Василий Иванович Колчак относится к генералу Стесселю, назначенному комендантом Порт-Артура, – Василий Иванович называл его «дамским угодником, дураком и трусом», – о необычайно теплой затяжной осени, что по питерским приметам является знаком недобрым...

Совсем рядом, почти под ногами Колчака, из-под корней срубленной лиственницы с тихим звоном ползла прозрачная холодная струйка – ключик, выбравшийся наружу из обжима каменных теснин, – сбивала в сторону сор, подхватывала зазевавшихся жучков, веселясь, тащила их куда-то, сбрасывала с себя, снова что-нибудь подхватывала, рождая в человеке ощущение безмятежности и покоя.

Все Сонечкины письма были похожи одно на другое – полны милых хлопот, озабоченности... Большую часть своего жалованья Колчак выправил ей, здесь ему нужен был лишь самый малый минимум денег – на сапожную ваксу, толченый мел для пуговиц, да на кофе «мокко».

Неподалеку раздался тихий хруст – под чью-то неосторожную ногу попал сухой сучок. Колчак насторожился, потом поспешно поднялся с пня и передвинулся к серому, заросшему кудрявым лимонником камню, присел на корточки: ветка хрустнула не под ногою зверя – ее раздавил человек. Даже толстобокий хрипучий изюбр и тот не ведет себя так неосторожно, не говоря уже о косулях, волках, козах, рысях и тиграх, – это сплоховал человек.

Потянувшись рукою к поясу, Колчак ощупал кобуру, сшитую из грубой сыромятной кожи, расстегнул ремешок.

Револьверы артиллерийским офицерам были положены громоздкие, тяжелые, как мортиры, грохот от их стрельбы не

меньший, чем от 120-миллиметровых орудий. Колчак ухватился пальцами за рукоять «мортиры», вытянул ее из кобуры.

Хруст повторился – кто-то подбирался к батарее, крался, прячась за стволы деревьев, замирал, выжидая: а вдруг где-нибудь рядом окажутся люди? – снова перемещался на несколько метров и опять застывал.

Интересно, кто это? Кто же пробирается на батарею? Колчак прокрутил пальцами барабан револьвера, проверяя задники патронов: все ли на месте, у всех ли целые капсюли?

Между двумя толстыми, обросшими темным мхом деревьями мелькнул человек в синей китайской куртке, сшитой из местной ткани в рубчик, в таких же штанах, украшенных на коленях белесыми пузырями, прижался к позеленевшему от волосца камню, огляделся, снова совершил короткую перебежку, присел за кустом, затих. Колчак спокойно наблюдал за ним: теперь понятно стало, что за гость подбирался к батарее.

После незваных визитов таких гостей жди отряд самураев-диверсантов. Колчак продолжал наблюдать.

Человек, легко поднявшись за кустом, перемахнул в несколько прыжков поляну, заваленную рыжими влажными листьями, замер, вглядываясь в пятнистую баньку, – новые брусья, вырубленные из стволов-целкачей, поблескивали сливочно, выделяясь на фоне старых, потемневших от дождей и ветров бревен, из пазов кое-где вылезала вата – ее пробовали выклевать птицы, посчитав съедобной. Банька, хоть и хранила в себе остатки недавней «помывки» и тепла, была пуста, гость успокоенно перемахнул еще через несколько кустов, птицей взлетел на каменный взгорбок и затих там.

Колчак почувствовал, что во рту у него появилась противная горечь, она всегда появляется в минуты опасности – это он заметил раньше.

Человек остановился в нескольких метрах от Колчака и вновь замер, ноздри на обвядшем, много повидавшем лице его затрепетали – расширились, сжались, снова расширились, глаза беспокойно заскользили по распадку – человек ощутил опасность, но не понимал, не видел, откуда она исходит, ему очень важно было увидеть источник опасности, но Колчак был скрыт от лазутчика косым каменным выступом и густыми зарослями лимонника, и еще – пышным, сочащимся красным цветом кустом. Человек в синей рубчиковой куртке не мог понять, что его беспокоит, по-птичьи вертел головой в разные стороны и хищно, по-звериному скалился.

Лейтенант с прежним холодным спокойствием наблюдал за ним. Незваный гость присел, стараясь с другой точки

рассмотреть, что ему угрожает, но ничего не увидел, лицо его досадливо дернулось – не может быть, чтобы ощущение опасности рождалось на ровном месте, оно обязательно должно от чего-то или от кого-то исходить. Скользящим шагом он двинулся дальше, миновал Колчака, и в ту минуту, когда «китаец» пересекал невидимую линию, начерченную лейтенантом для себя, лейтенант с резким клацаньем взвел курок револьвера.

Громче, наверное, мог быть только звук выстрелившей пушки. Человек дернулся, скакнул в сторону, но Колчак спокойно, ровным голосом предупредил его:

– Тихо! Не двигаться! Руки вверх!

Вместо того чтобы выполнить приказ, противник сделал еще один скачок в сторону, и тогда Колчак, не целясь, вскинул револьвер и выстрелил.

Бил он не в незваного гостя, а мимо него – ему еще никогда не приходилось стрелять в человека, в конкретного человека, это было совсем не то, что стрельба картечью из орудий по толпе безликих людей, по серой колышущейся массе, здесь совсем другое: у конкретной цели есть лицо – глаза, рот, – есть то, что потом будет сниться и вызывать ужас. Пуля прошла около головы человека в синей куртке и всадилась в камень, выбив целый сноп искр.

– Руки! – вновь потребовал Колчак.

На выстрел сейчас обязательно примчится кто-нибудь из батарейцев. Человек в синей куртке, будто не слыша Колчака, совершил еще один скачок, предпочитая двигаться зигзагами, пытался спастись от пули. Ему важно было приблизиться к русскому, уложить его ударом ноги или ножа – Колчак вновь выстрелил.

Пуля вживкнула, вонзаясь в воздух рядом с лицом пришельца, обожгла ему кожу на щеке и всадилась в ствол огромного старого дерева. От удара с его макушки густо посыпался красный мелкий дождь, листва на дереве была старая, усыхающая. Человек в синей куртке поморщился: опаленная щека задергалась от боли.

Он остановился, осознав, что против свинца он слаб.

– Руки! – прежним спокойным, совершенно бесцветным голосом потребовал Колчак.

На макушке взгорбка послышались крики, топот ног – это на звук выстрелов спешили батарейцы. Человек в синей куртке обеспокоенно оглянулся, сделал резкий прыжок в сторону Колчака, тот стремительно ушел вбок, пригнулся, а когда незваный пришелец поравнялся с ним, выпрямился, как пружина, ударил его рукоятью револьвера в шею.

Пришелец ахнул, упал грудью на камень и, развернувшись к Колчаку лицом, поднял руки.

Лейтенант узнал его. Это был продавец печеной рыбы, у которого он кормился весной, в цветущем мимозном марте.

– Я ничего плохого не сделал, господин лейтенант, – морщась от боли, проговорил пришелец. Колчака он не узнал – таких людей, как Колчак, перед его глазами прошло несколько тысяч, тем более форма обладает одним качеством: она обезличивает людей. А с другой стороны, он, может, и узнал Колчака, только виду не подал: у лазутчиков очень приметливые глаза.

– Ведь вас же арестовали, – недоуменно пробормотал Колчак.

– Было дело, – простецки, совершенно по-российски проговорил бывший продавец рыбы, – но генерал Стессель отпустил меня. – Он хотел было сунуть руку в карман куртки, но Колчак холодно и громко предупредил его:

– Р-руки!

С камня, тяжело дыша, свалился мичман Приходько, следом за ним – двое бородатых батарейцев с винтовками наперевес.

– Что случилось, Александр Васильевич? – Запыхавшийся мичман не мог справиться с дыханием, глотал слова.

– Да вот, гость к нам пожаловал. Не звали его, не ждали, а он взял да заявился. – Колчак ткнул стволом револьвера в сторону гостя. – По данным старшего офицера крейсера «Аскольд», это – японский лазутчик.

– Не делайте поспешных заявлений, Александр Васильевич, – неожиданно произнес незваный гость. Судя по всему, он не только узнал Колчака, он знал и имя с отчеством командира батареи, а может быть, и всю его подноготную, имена с отчествами родителей, семейное положение и сколько денег по аттестату лейтенант переправляет домой.

Мичман невольно присвистнул.

– Иначе говоря – шпион, которого по законам военного времени положено ставить к стенке, – добавил Колчак.

Лицо пришельца скривилось, глаза сжались в узкие прорези-скобочки. Мичман сделал к нему стремительный шаг, похлопал руками по карманам куртки, потом провел ладонями по бокам и через несколько секунд достал из внутреннего, специально пришитого к поле куртки кармана небольшой блестящий браунинг, отскочил от японца в сторону.

– А ну-ка, ребята, возьмите-ка этого гостя под белы руки, – скомандовал он батарейцам.

Через час лазутчика отправили в Порт-Артур. Он сидел на телеге, будто поверженный божок, и понуро держал перед собой связанные веревкой руки. Сопровождали пленника прапорщик-

разведчик и Сыроедов, ввиду исключительности ситуации вооружившийся винтовкой.

А Колчак вернулся в распадок дочитывать Сонечкины письма.

Зимой 1904 года, в начале декабря, Колчак начал вести дневник.

«Днем японцы время от времени пускали шрапнель на батарею № 4 и Скалистую Гору. Сегодня 6 орудий с отрога Большой горы обстреляли окопы на гласисе [98]и ров у укрепления № 3 – очень неудачно, разрушили японские окопы около правого угла рва этого укрепления. Вечером, когда стемнело, я приступил к углублению хода сообщения к батарее № 4. Грунт скалистый, и необходимы подрывные работы. Днем я сделал несколько выстрелов по перевалу из 120-мм орудия по идущему обозу».

Эта запись была сделана 3 декабря. А вот что он написал 5 декабря:

«Утро ясное, довольно тихо и тепло. Снег понемногу тает, особенно на южных склонах. С утра редкий огонь на правом фланге сосредотачивается по форту № 2 и Малому Орлиному Гнезду. Время от времени японцы посылают шрапнель и на ниши батареи. Около двух пополудни на форте № 2 в бруствере был произведен взрыв, и около роты японцев попробовали штурмовать форт, но не прошли даже 1/2 бруствера и залегли».

Солдаты из японцев были неплохие, но русским они уступали – не было у воинов микадо [99]той силы, ярости, желания зубами держаться за землю, но не уступать, что имелись у русских, и все-таки русским не везло – словно Бог отвернулся от них. Видимо, нагрешили много.

Кто-то очень упорно распространял слухи – и слухи эти шквалом проносились над русскими окопами, – что японцам по их бусурманской вере все равно, быть мертвым или быть живым, и если перед ним находится русский, которого японец не в состоянии одолеть, он взорвет его вместе с собою и уйдет к верхним людям. Уйдет, не задумываясь, потому что это почетно – уйти в небо вместе с врагом. Слухи о мистическом неистовстве японцев парализовали. Говорили также о кошачьей выносливости японцев, об особой островной борьбе, напичканной страшными приемами, когда самурай [100]одним уколом пальца либо кончиком ногтя способен убить человека. Батарейцы приходили к Колчаку:

– Ваше благородие, так ли это?

– Не верьте никому, – устало отвечал тот. От бессонных ночей, от неурочных стрельб, от того, что веки, ноздри, глотку

постоянно разъедал жгучий пороховой дым, глаза у него были красными. – Никому, ничему, никаким слухам... И вообще ни во что не верьте. Кроме русского штыка. И еще – кроме русского человека. У страха глаза велики. Японец – такой же уязвимый, мясной и костяной, как и все остальные. И кровь у него такая же, и боль он ощущает точно так же: ревет, как корова, когда у него отнимают ногу. Но вот слухи, слухи... Слухи о неуязвимости японского солдата очень кому-то нужны. Кто-то распространяет их специально, чтобы посеять в нас страх. Не верьте этим слухам...

Ночью внизу, под камнями редутов, где стояли артиллерийские орудия, часто раздавалось странное шевеление, шла возня, слышалось сопение, мелькали какие-то тени. Колчак вглядывался в тревожную темень, в снег, перемешанный с грязью, с рублеными ветками деревьев, жалел, что нет на вооружении такой подзорной трубы, которая позволяла бы рассматривать противника в темноте, тревога наползала ему в душу, растекалась там, как яд.

От Сонечки и от отца давно не было писем. Почтовое сообщение с Россией было неровным – то прерывалось, то возобновлялось вновь. В голову приходили мысли о близком конце. Навязчивые это были мысли.

А японцы постоянно увеличивали свою активность.

– Александр Васильевич, неплохо бы нам ночью прочесать склоны под батареей, – предложил Колчаку Приходько, – а то нам заложат как-нибудь под орудия большую бочку с кислой капустой – все в дерьме вымажемся.

– Неплохо бы, – согласился Колчак. – Возьмите, Миша (старшего Приходько, того, который был чуть выше ростом, звали Михаилом, того, кто пониже, – Алексеем), человек десять-двенадцать добровольцев и совершите маленький рейд.

Приходько расплылся в веселой улыбке.

– Благодарю, Александр Васильевич, за доверие. Такой прочесон устрою – узкоглазые только удивятся. Зады мы им побреем обязательно.

Колчак лишь усмехнулся, услышав модное солдатское словечко «прочесон», и ничего не сказал мичману. Он очень изменился, этот наивный восторженный мальчик с блестящими глазами и ровным, отбитым как по линейке пробором, он стал совершенно иным человеком – война преобразила его неузнаваемо.

В сумерках Приходько выстроил группу добровольцев на площадке около офицерской палатки, проверил каждого, заставил всех попрыгать – у двух батарейцев в карманах бушлатов

что-то зазвякало. Мичман коротко и властно приказал:

– Опустошить карманы!

Потом снова заставил охотников прыгать. На этот раз нечего не звякало.

В группе Колчак заметил Сыроедова, устало подивился:

– И вы здесь?

– А как же! – Голос у Сыроедова обиженно дрогнул: где же еще может быть его место?

Колчак одобрительно кивнул.

– Со стволов снимите штыки, – приказал мичман, – можем друг друга поцарапать.

– Жалко, ваше благородие, – сказал Сыроедов, – штык – первое оружие у русского солдата.

– На пояс его, за голенище, либо на ствол острием вниз – куда угодно, в общем, лишь бы штыки не превратились в шампуры. Понятно?

Сам мичман вооружился револьвером, прокрутил барабан, проверяя патроны, и заткнул его за пояс, в руке подкинул небольшую, окрашенную в защитный цвет саперную лопатку. Целый ящик таких лопаток принесли разведчики – взяли у японцев, думали, что консервы, а оказалось – детские лопатки. Артиллеристы недоумевали:

– Куда япошкам-то детские лопатки? В ноздрях ковыряться?

Но на лопатках стояло «взрослое» американское клеймо. Колчак порылся в военном справочнике, пояснил:

– Такие лопатки выдают американским пехотинцам для рытья окопов.

– Много ими не нароешь, – Приходько вновь подкинул лопатку в руке, – а вот в бою можно действовать, как мексиканским мачете. – Добавил удовлетворенно: – Лучше ножа, лучше штыка...

Охотники смотрели на мичмана, как на несмышленого гимназиста – да этими маленькими лопатками с аккуратными, тщательно выточенными на машине черенками хрен что сделаешь. А уж говорить о том, чтобы их использовать вместо туземного топора либо обычной штыковой лопаты – ну, не-ет... Ими даже червей в огороде не нароешь. А мичман радовался: лопатка ему нравилась.

– Когда столкнетесь с японцами – шума лучше не поднимайте, – напутствовал охотников лейтенант, – постарайтесь обойтись без стрельбы.

– Потому и беру с собою этот шанцевый инструмент. – Приходько вновь приподнял лопатку. – Она мне нравится больше, чем любимая столовая ложка.

– А по нам, ваше благородие, лучше штык, – встрял в разговор Сыроедов. – Лучше штыка ничего нет и быть не может.

В темноте одиннадцать охотников беззвучно миновали посты, перевалили через каменную закраину бруствера и скрылись в ночи. Последним через бруствер перепрыгнул мичман.

– С Богом! – Колчак перекрестил охотников вслед.

Было тихо. Сквозь жидкую папиросную наволочь тускло просвечивали звезды, рождали в душе смятение, мысли о том, что все в этом мире непрочно, военные победы и поражения – и те непрочны...

Непрочна даже смерть. Через сорок минут Колчак обошел орудия, переговорил с постовыми.

– Тихо?

– Тихо, ваше благородие. Ушли мужики и будто в чернилах растворились. Не видно их, не слышно. Вы ложитесь спать, ваше благородие. Когда охотники вернутся, мы разбудим вас.

– Нет, я должен дождаться их.

– На душе, что ли, беспокойно?

– Беспокойно.

...Он сидел на бруствере рядом с огромным морским орудием и думал о доме, о Сонечке, об отце, о том, что судьба несправедлива к России – Россия должна была выиграть войну в несколько дней, а вместо этого проигрывает затяжную кампанию.

Железная дорога, по которой ходят поезда, представьте, из самого Парижа, в день может пропустить только три состава – три состава сюда с живой силой и боеприпасами, и три состава туда с изломанными, истерзанными людьми, пахнущих гнилью, кровью, наполненных стонами и рваными криками, рожденными болью, – и все... Ну что можно доставить сюда, на оторванные от России земли, тремя эшелонами?

В войне – к той поре, когда тлевший порох взорвался, – участвовало всего девяносто тысяч русских солдат – плохо обмундированных, плохо обученных, на прославленных наследников Суворова похожих лишь тем, что они носили русские фамилии. У них на вооружении было сто сорок восемь пушек – это ничто, а пулеметов – только восемь, эта цифра вообще не подлежит обсуждению. Пулеметы по той поре – оружие новое, дорогое, в основном английское. Россия тратиться на пулеметы не стала – наши солдатики в крайнем случае противника шапками закидают. Либо на вилы насадят... Англия же для своей союзницы Японии пулеметов не пожалела, сколько потребовал божественный микадо, столько и дала. Японцы смогли довольно быстро поставить под ружье миллион двести тысяч человек и бросить их в Маньчжурию.

Ситуация на море известна. До прихода кораблей с Балтики и думать не моги, чтобы взять верх над стальными утюгами адмирала Того. Тоскливо было Колчаку, он понимал, что происходит, но сделать ничего не мог.

В воздухе давно пахло поражением. Да разве не поражение то, что он, морской офицер, каких остро не хватает на плавающих посудинах, вынужден сидеть на берегу и заниматься не своим делом? Колчак достал из кармана сырой платок, вытер им лицо, прислушался.

Тихо было в ночи. И не видно ничего – ни теней, ни огоньков. Даже тусклые звезды и те исчезли. Одиннадцать охотников действительно нырнули в ночь, как в чернила. Ни звука. Даже мелкие перестрелки, которые в темноте случаются, и те исчезли. Впрочем, тишина – это хорошо. Пока тихо – он спокоен за охотников. А вот если начнется шум, тогда плохо будет. Придется посылать мичману помощь. Помощь – десять амурских казаков, недавно прибывших на батарею для охраны, – уже была организована Колчаком.

Шум поднялся под утро – в распадке, примерно в двух километрах от батареи. Вначале грохнул выстрел – винтовочный, раскатистый, за ним – второй. Колчак встревоженно приподнялся над бруствером. Били из японской винтовки, из «арисаки», которую отличал громкий звук, с ползущим эхом, будто свинцовую дробь швырнули на раскаленную сковородку, и она заскакала по гладкой чугунной поверхности, рождая своими скачками удвоенное, утроенное эхо.

Следом ударили из мосинской [101]винтовки, и у Колчака невольно дрогнуло сердце. Мосинская трехлинейка бьет коротко, хлестко, сильно. Переделана она была из надежной, тысячу раз проверенной в стрельбе берданки, собственно, это та же берданка и есть, только к ней для удобства добавлен пятизарядный магазин. Один хлопок мосинской винтовки съел целый залп «арисак».

«Кажется, мужики попали в переплет». – Колчак расстегнул воротник форменной куртки – сделалось трудно дышать, бросил не оборачиваясь, через плечо:

– Ладейкин!

Через полминуты перед ним возник широкогрудый бородатый унтер в укороченной, делающей его похожим на битюга шинели, старательно стукнул каблуками яловых сапог:

– Ну что, наш черед наступил, ваше благородие?

– Похоже, так. Давай, брат, отправляйся на выручку.

Унтер старательно козырнул, оглянулся в темноту, в которой никого не было видно, махнул призывно рукой и неспешно

перелез через бруствер. Спрыгнул вниз.

Он знал, кому махать рукой – из темноты беззвучно вытаяли шестеро широкогрудых, очень похожих на унтера стрелков, еще несколько секунд назад бывших совершенно невидимыми, так же неторопливо, без всякой суеты и страха, перемахнули через бруствер и скрылись в ночи.

Перестрелка в распадке тем временем разгорелась – неожиданно подал свой лающий голос пулемет. Пулеметов хоть и было у японцев вдосталь, а все равно это оружие встречалось нечасто, вызывало удивление и некий суеверный страх у солдат, будто они имели дело со сверхъестественной силой: надо же, что придумал человек для того, чтобы уничтожить человека! Колчак поморщился: если мичман со своими людьми попадет под очереди «гочкиса» [102]– будет худо. Очень худо.

За перевалом неожиданно хлопнула пушка, родив огнем выстрела далекий розовый отсвет, отпечатавшийся в небе слабым водянистым пятном; блистающая точка, словно сорвавшаяся с верхотуры звезда, разрезала пространство и взорвалась в скалах в километре от колчаковской батареи. Земля дрогнула, шатнулась под ногами, уползая в сторону, как непрочная палуба; пламя разрыва было резким, оно ослепило Колчака, и лейтенант невольно присел на корточки около бруствера.

По батарее забегали люди.

– Орудия три и четыре – заряжай! – скомандовал Колчак расчетам двух стодвадцатимиллиметровок. Прикинул на глазок прицел – в ночи не очень-то определишься, из какой конкретно точки пришел снаряд, продиктовал его чеканно и холодно и резко рубанул рукой по воздуху, будто в кавалерийской атаке: – Пли!

Орудия ударили гулко, оглушая, вышибая из головы мозги, длинные стальные стволы окрасились оранжевыми бутонами, и два тяжелых, набитых взрывчаткой чугунных чемодана отправились в далекое путешествие.

– Заряжай! – снова скомандовал Колчак, вглядываясь в небо: где, в каком конкретно месте вспыхнет слабое розовое пятно – отблеск выстрела, через несколько секунд засек и скорректировал прицел...

Раньше в том месте у японцев ничего не было, туда и разведчики ходили, ничего не обнаружили, а сейчас самураи, видимо, подтянули свои силы, соорудили новые артиллерийские позиции на погибель нашим солдатикам – Колчак почувствовал в горле холод, будто хватил студеного обжигающего воздуха, вздохнул, закашлялся хрипло. В легких с каждым кашлем что-то противно скрипело.

– Пли! – скомандовал он, и вновь два чемодана с тяжелым

паровозным гудом ушли к японцам.

Японцы начали палить по батарее беспрерывно, снарядов у них было много, эти грузные чушки либо проезжали над головой, уходя в лес, либо не долетали, тяжело плюхались в скалы, круша вековую твердь, соря огнем, осколками и камнями: попасть в колчаковскую батарею – все равно что с завязанными глазами угодить пальцем в поставленный на землю наперсток либо просто попасть в конкретную точку, намеченную в пространстве, – ни за что ведь не попадешь. Но страху нагнать можно много.

Хотя Колчак преследовал совсем другую цель – отвлечь стрельбой внимание самураев от схватки в распадке.

Японский «гочкис» тем временем умолк – видимо, Ладейкин добрался со своими сибиряками-крепышами и до него, – винтовочная же пальба усилилась. Раздалось несколько гранатных взрывов.

– Третье и четвертое орудие – заряжай! – вновь скомандовал Колчак.

Как ни привыкаешь к орудийным выстрелам, а все равно они каждый раз рождают в ушах звон, из глаз вышибают цветные искры – у неопытного человека вообще могут порваться барабанные перепонки, – нет, к громовой пальбе привыкнуть невозможно. Недаром все старые пушкари ходят глухие и в разговоре подставляют к уху руку. Орудия грохнули спаренным залпом так, что у Колчака во рту стало сухо...

Минут через сорок внизу, под самым бруствером, показались люди, затем возник ловкий маленький Сыроедов, подпрыгнул, ухватился руками за камни и, подтянувшись, просипел:

– Братцы, помогите!

К нему метнулись двое батарейцев, ухватили под мышки, вздернули на бруствер. Лицо у Сыроедова было в крови.

– Сыроед, ты что, ранен?

– Нет. Мичмана убило. Мы его сюда притащили.

Группа охотников, которой командовал мичман Приходько, нашла-таки японцев, что вгрызались в землю, продалбливая штольню под батарею, – это они по ночам погромыхивали кайлами и ломами, выковыривая из породы целые валуны, в подкоп тот они намеревались заложить взрывчатку – слишком им мешала колчаковская батарея.

На бруствер подняли тело мичмана, положили около орудия. Из палатки, прикрывая плащом, принесли керосиновый фонарь.

Лицо мичмана было бледным, спокойным, к губам мертво припечаталась победная улыбка – он словно и не понял, что с ним произошло, еще находился в схватке, так, в схватке, разгоряченный, мичман и ушел на тот свет.

– Слишком уж он отчаянным оказался, – произнес Сыроедов виновато, – не уберегли мы его. И детская лопатка эта, которую он посчитал счастливой, такой удобной... в общем, она оказалась совсем наоборот, несчастливой. Против лома, ваше благородие, как известно, нет приема. Окромя, конечно, лома. Не уберегли мы его, – он косо глянул на мертвого Приходько, сморщился, – прости нас, мичман... не уберегли.

Сыроедов неожиданно по-ребячьи шмыгнул носом, смахнул с глаз по маленькой слезинке и опять, будто обиженный мальчишка, шмыгнул носом. Русский человек – не японец, которого к смерти готовят с пеленок, русский к смерти, сколько он ни живет на свете, никак не может привыкнуть: смерть – отдельно, жизнь – отдельно, как мухи и котлеты, потому русский так и горюет, когда у него убивают товарища.

Японские солдаты, наверное, умирают легко, хваля микадо за то, что предоставил возможность досрочно умереть и увидеть мир розового света и вечного блаженства. Хотя, кто знает, о чем думает японский солдат в последнюю минуту. Может быть, вспоминает о том, как родители, провожая сыновей на войну, устраивают юным солдатам их собственные похороны и поминки, как прощаются с ними, еще живыми, воют надсаженно за столом, захлебываются слезами, произносят прощальные речи и пьют горячее саке. И плачут не понарошку, плачут по-настоящему.

А русские никогда заживо не хоронят человека, пока он жив, по нему не плачут – плачут только тогда, когда он мертв.

– Как это случилось? – спросил Колчак. – А, Сыроедов?

– По-глупому, как всегда. Умной смерти не бывает, ваше благородие... Если только в красивых романах, в которых французских либо английских слов больше, чем русских. Он, – Сыроедов вновь шмыгнул носом и покосился на мертвого мичмана, – он пополз со своей детской лопаткой на самурая, а тот пульнул ему из ружья в грудь. Попал прямо в сердце. Вот и все.

Колчак вздохнул, глянул в темноту, за бруствер, где вольно разлеглась чудная ночь, вновь затихшая, спокойная – ни одного звука в ней, ни одного огонька, все будто утратило дыхание, умерло. Лейтенант чувствовал себя виноватым перед этим мальчишкой, виноватым за то, что он жив, а мичман мертв. Рядом с ним стоял Сыроедов, не шевелился – тоже смотрел в ночь, вздыхал и думал о чем-то своем.

– Надо бы тело мичмана переправить в Санкт-Петербург либо на Орловщину, в его имение, – сказал Колчак, поймал себя на том, что дыхание у него сделалось хриплым, просквоженным, словно он опять очутился в ледовой промоине на Земле Беннета –

сейчас дыхание обязательно перехватит, сердце остановится, – помял пальцами шею, стараясь выровнять дыхание, сделать его беззвучным, но это ему не удалось. – Только как это сделать – не знаю, – сказал он.

– И я не знаю, – удрученно пробормотал Сыроедов. – Останется он лежать тут, как наши ребята, в земле Маньчжурии, маманька с папанькой будут вспоминать его только в мыслях да петь печальные песни...

– М-да, не самая лучшая доля для солдата.

– Говорят, в Петербурге, ваше благородие, появился модный вальс. «На сопках Маньчжурии» [103]называется. Дамочки очень любят его танцевать.

– Чего не знаю, Сыроедов, того не знаю. Не слышал.

Плыла над землей тихая черная ночь. Не было в ней ни одного светлого пятнеца – все черным-черно, все угрюмо, пустынно, враждебно.

19 декабря 1904 года артиллеристы Колчака были потеснены. Англичане подкинули солдатам микадо горные пушки, которые можно легко перебрасывать с места на место, и пулеметы последней, усовершенствованной модели. Японцы начали поливать свинцом батарею едва ли не в упор.

Затем самураи предприняли несколько попыток выбить русских из Орлиного Гнезда и со Скалистых Гор. Колчаку пришлось развернуть два небольших орудия и бить картечью едва ли не по самурайским головам.

Огонь возымел действие: японцы, грохоча ботинками и прикладами «арисак», проворно покатились вниз, смяли двух офицеров, бесполезно размахивающих саблями, – солдаты их не боялись, и остановили свой бег лишь в истоптанном заснеженном логу.

Колчак почти не спал все эти дни, глаза у него воспалились, из уголков сочился гной, легкие хрипели, но он на свои болячки уже не обращал внимания, ему было наплевать на них. Было горько от того, что он видел.

Вокруг погибали люди, много людей. Японцы лезли на Скалистые Горы как ошалелые, скалили крупные желтые зубы, сипели, задыхаясь от усталости, палили из «арисак» во все подозрительное, чаще всего – в тени, прячущиеся за кустами и камнями, патронов у них было много, военная промышленность Японии работала на полную катушку. Русские пядь за пядью сдавали свои позиции, уступали землю, которую уже стали считать своей.

Была сдана Заредутная батарея, следом – Куропаткинский люнет, [104]Китайская стенка, Малое Орлиное Гнездо. На рейде

сгорели боевые корабли «Баян», «Победа», «Пересвет». Батарея Колчака не сдавалась, японцы никак не могли к ней подступиться – слишком выгодные позиции она занимала и защищена была превосходно, с умом, сколько ни пытались орущие солдаты микадо вскарабкаться на нее и опрокинуть артиллеристов – ничего у них не получалось, японцы сами всякий раз оказывались опрокинутыми.

А потом лейтенант получил приказ не стрелять во врага. Предательский приказ. Он готов был плакать от унижения: его помимо собственной воли заставляли опустить руки – точнее, поднять их. Это было равносильно сдаче в плен. Лейтенант закусывал губы до крови, от боли немного приходил в себя, дергал нервно головой, темное худое лицо его темнело еще больше.

Упорно поговаривали о капитуляции Порт-Артура: генерал Стессель, [105]дескать, ведет успешные переговоры с японцами. Колчак, слыша эти разговоры, лишь морщился, будто от зубной боли, он понимал: японские штыки, освободившиеся здесь, в порт-артурских скалах, немедленно будут переброшены в Маньчжурию, где нет ни толковых укреплений, ни тяжелой артиллерии – японцы сделают все, чтобы раздавить окопавшуюся там русскую армию.

К Колчаку подошел небритый, с погасшими глазами Сыроедов; он начал отпускать бороду – раньше брился, а сейчас перестал, изо рта у него несло чесноком: Сыроедов от всех болезней, простуд и отрав лечился одним лекарством – чесноком, ничего другого не признавал.

– Ваше благородие, неужели Порт-Артур будет сдан?

– Не верьте, Сыроедов. Это обычные пораженческие слухи.

– Слишком они упорные, ваше благородие, и... Тому, кто это говорит, охота набить морду.

– И набейте. Вас никто за это не осудит. Вы будете правы.

На артиллерийских позициях стояла мертвая тишина. Только в порту, в гавани, раздавались взрывы и полыхало пламя. Русские, не желая сдавать свои корабли, жгли все, что можно было сжечь, а то, что сжечь было нельзя, подрывали: они хотели сдать японцам лишь голые коробки.

Комендант Порт-Артура генерал Стессель, которому оказалось подчиненным все – и порт, и гарнизон, и артиллеристы с дальнобойными орудиями, – издал вторично строгий приказ: «По японцам – не стрелять!»

Среди измученных, обозленных от неудач, голодных и холодных солдат и матросов пополз нехороший шепоток:

– Предатель? Добраться бы до его глотки!

Но добраться до глотки Стесселя было невозможно: генерала хорошо охраняли.

Колчак был согласен с солдатской точкой зрения, солдаты вообще впустую не вешали ярлыков: Стессель – предатель.

21 декабря 1904 года в одиннадцать часов дня Колчак получил письменное распоряжение: все винтовки, патроны, гранаты, имевшиеся на вооружении у личного состава, сдать на склад флотского экипажа, к которому была приписана батарея.

Это все, это конец. Конец позорный, неожиданный. Приступ ревматизма вновь сбил Колчака с ног. Плюс ко всему он был ранен. Рана оказалась неопасной – скользящий след от пули причинял боль, неудобства, и не больше, но в таком положении, как нынешнее – удрученном, согбенном, – даже малая царапина могла быть смертельной.

После обеда Колчак получил новое распоряжение – покинуть батарею, бросить все так, как есть, для блезиру выставить посты и увести команду в город. Оружия у артиллеристов уже не было, поэтому на батарее остались лишь дневальные. В город уходили молча, в гнетущей скорбной тишине были слышны лишь тяжелые шаги, кашель, хрипы, запаренное дыхание, и все. Шли, не произнося ни слова.

Перед уходом на батарее появился капитан второго ранга Хоменко – молчаливый, с серым лицом и расстроенно подрагивающим ртом, пожаловался Колчаку:

– У меня поганое настроение... Я готов пустить себе пулю в лоб.

– Я тоже, – сказал Колчак.

А вот у генерала Стесселя настроение было отличным: японцы окружили его подобострастием и почетом, словно он представлял не проигравшую сторону, а был победителем. За обедом генерала уже обслуживали не денщик с поварихой, а двое наряженных в накрахмаленную белую форму японцев.

Утром и вечером подавали холодное шампанское. Французское. Безумно дорогое. Днем преподносили водку с плавающим в стопке крохотным кусочком льда. Японцы слышали, что русские очень любят холодную водку, они вообще предпочитают пить ее со льдом, поэтому старались, как могли. Но Стессель не был русским, он брезгливо выковыривал ледышку из стопки вилкой либо концом ножа и грозил официантам пальцем:

– У-у, япона мать!

Официанты делали вид, что ничего не понимают, хотя ко всем разговорам прислушивались очень внимательно и очередную стопку водки также подавали со льдом. Стессель раздувал усы, будто объевшийся кот, и чесал пальцами шею:

– У-у, япона мать!

Он был доволен своей жизнью и считал: если он не попадет в русскую историю, то в историю японскую попадет обязательно.

Солдаты ругались:

– Подвернулся бы нам этот Штепсель! Живо бы вывернули все гайки и посадили на мягкую турецкую мебель.

«Мягкой турецкой мебелью» они называли затесанные дубовые колья, на которые недавние противники России турки сажали пленных солдат. О настроениях «серой массы» Стесселю докладывала разведка, и он этой рваной, грязной, голодной толпы в шинелях боялся. Раздраженно подергивая губами, выковыривал из водки очередной хрусталик льда и опрокидывал стопку в себя.

Только кадык на морщинистой белой шее гулко дергался, будто гирька от часов-ходиков, – подпрыгивал, уносясь едва ли не под язык, и также гулко шлепался обратно. Стессель умел вкусно пить. Это, пожалуй, было единственное, что он умел хорошо делать.

Колчак привел батарейцев в холодную, с щелями в окнах казарму флотского экипажа, занял офицерскую комнату, кинул в угол баул, который привезли на телеге следом за артиллеристами, и подошел окну.

На улице лил дождь. Затяжной, мелкий, похожий на слезы. Камни, земля, бурая трава, неряшливо вылезающая из-под серых снеговых пластов, скопившихся в ложках и низинах, кусты и деревья сделались мокрыми, унылыми. Было тихо – слышался звук дождя, и больше ничего, и звук этот рождал в душе щемящую боль, тоску, способную взять за горло даже очень крепкого человека, вывернуть его наизнанку, – ну хотя бы где-нибудь неподалеку раздался выстрел. Хотя бы один, напоминающий, что они находятся на войне.

Но нет, выстрелов не было, только лил дождь, усиливал своим затяжным сонным шорохом душевную боль. Даже шагов часовых, призванных денно и нощно охранять важные военные объекты, к которым причислялись и казармы флотских экипажей, и тех не было слышно. Часовые были сняты с постов.

У Колчака возникло желание, которое не возникало, пожалуй, с далекого детства, – заползти в какой-нибудь глухой угол, спрятаться там, затихнуть, забыться, чтобы ничего не видеть. Он, чтобы отвлечься, пытался вспомнить счастливые дни своей жизни, но так ничего и не вспомнил – даже лучшие минуты общения с Сонечкой и те не казались ему счастливыми. Моросил, насыщая серый вечерний снег влагой, дождь, дымили догорающие в бухте корабли, черные шлейфы копоти достигали

города и ложились неряшливыми пятнами на белые стены домов. Колчак лег спать, но так и не уснул до самого утра – не мог уснуть: едва он закрывал глаза, как внутри раздавался сильный удар, словно кто-то бил молотком о лемех, подвешенный над самой головой, в ушах, в висках возникал громкий назойливый звон, и Колчак вновь открывал глаза.

На улице по-прежнему шел дождь, в бухте горели боевые корабли. Сердце так оглашенно колотилось в груди, что боль от него возникала даже в глотке, что-то стискивало ее; в висках, отзываясь на боль, надувались, вспухали жилы, на затылок ложилась чья-то властная холодная рука, сдавливала длинными жесткими пальцами череп.

Утром он вышел в город.

По Порт-Артуру уже бродили отдельными кучками, с любопытством озираясь, японские солдаты. Все они были вооружены. Хмурые русские – матросы в обтрепанных клешах, списанные с кораблей, небритые артиллеристы, казаки и пехотинцы – были без оружия, японцев они старались не замечать, засовывали чешущиеся кулаки в карманы. «Так недолго и до греха, – невольно отметил Колчак, – сегодня японское командование двух десятков солдат явно не досчитается».

Так оно и получилось.

Но итоги эти были подведены вечером. А пока Колчак в сырой, узкой в проймах – ткань оказалась некачественной, села от влаги – шинели шел по замусоренным, заваленным бумагой, битой мебелью, пустыми коробками и патронными ящиками улицам города и с печалью, с некой иссасывающей внутренней оторопью смотрел на Порт-Артур и не узнавал его.

Словно он никогда в этом городе и не был.

Неожиданно кто-то окликнул Колчака:

– Господин лейтенант!

Колчак остановился, повернулся всем корпусом на оклик – к нему снова подступила «волчья болезнь», ревматизм брал свое. К Колчаку неспешно подходил блестящий японский офицер с красным штабным аксельбантом, перекинутым через плечо. Взгляд Колчака потемнел – в глазах невозможно было различить даже зрачки, – стиснул зубы и поиграл желваками:

– Вы?

– Так точно! – Японец, щелкнув каблуками, наклонил голову в новенькой, с высоким жестким околышем и плоской тульей фуражке: – Капитан-лейтенант Роан Такэсида.

– Вас разве не расстреляли? – грубо, стараясь не замечать лоска и щелканья каблуков бравого капитан-лейтенанта, чувствуя, как кашель начинает рассаживать ему грудь, спросил

Колчак. – Как лазутчика вражеской армии...

В ответ капитан-лейтенант рассмеялся.

– Генерал Стессель – мой личный друг. Естественно, он отпустил меня. А его величество микадо наградил орденом. – Он приоткрыл борт незастегнутой шинели, тронул пальцами ткань кителя.

На кителе, под клапаном кармана, поблескивал свеженькой эмалью крупный золотистый орден.

– Жалко, я не пристрелил вас, когда изловил в расположении батареи, – зло произнес Колчак, в следующий миг пожалел о своих словах – надо было сказать что-то другое, не это, но было поздно – слова уже сорвались с языка, не вернуть.

Настроение капитан-лейтенанта от этой резкой фразы нисколько не изменилось – как было легким, беспечно-веселым, так беспечным и осталось.

– Я хорошо понимаю вас, господин лейтенант Колчак.

– Вы даже знаете мою фамилию? – произнес Колчак устало: он совсем не удивился обстоятельству, что Такэсида знает его фамилию, как, наверное, и фамилии других русских офицеров: раз уж Стессель ходит у него в приятелях, раз он дважды отпустил этого каторжника на волю, то, значит, и молоком снабдил его в дорогу, не только списками порт-артурских командиров.

Такэсида похвастался:

– Я знаю и помню наизусть фамилии, имена и отчества офицеров всех артиллерийских батарей, фамилии, имена и отчества командиров всех русских кораблей, даже тех, которые раньше возили навоз, а сейчас стали называться минными тральщиками. Это моя работа, Александр Васильевич.

– Да-а, напрасно все-таки я вас не прихлопнул, господин Такэсида. – Колчака унижало положение, в котором он сейчас находился, зависимость от этого нарядного самодовольного человека, само осознание того, что судьба всякого русского теперь будет в руках людей, одетых в японскую форму.

– Вы – достойный противник, господин лейтенант, – сказал Такэсида, – я читал ваши труды по исследованию Севера.

– Разве? – с иронией воскликнул Колчак.

– И ваши труды по исследованию температуры воды и течений около берегов Кореи, – добавил капитан-лейтенант. – Вы очень умный и... и обязательный противник. – Такэсида так и произнес «обязательный противник», словно одно слово в этом определении сочеталось с другим. Видимо, в японском языке, в японской жизни эти слова, эти понятия действительно могут сочетаться, но в русском же быту – никогда. Колчак не выдержал,

усмехнулся. – Да, да, да! – подтвердил Такэсида. – Вы даже не представляете, что значат для мира ваши исследования по Северу...

– Хорошо представляю, – вновь усмехнулся Колчак. Иронии его как не бывало. Остались только усталость да пасмурность. И недобрая маета в душе, против которой нет никаких лекарств. – Очень даже хорошо представляю.

– Нет и еще раз нет. Ваши труды будут изучать и завтра, и послезавтра, и через пятьдесят лет, и через сто пятьдесят.

– Скажите на милость, какая долгая жизнь. – Колчак вновь обрел иронию.

– Что же касается Японии, то мореплаватели нашего славного императора, когда пойдут на Север, обязательно воспользуются вашими картами.

Тут Колчаку стало совсем худо, он хотел плюнуть под ноги капитан-лейтенанту и уйти, но его остановил взгляд Такэсиды. Во взгляде капитан-лейтенанта не было ничего насмешливого, издевающегося, подначивающего, была лишь сокрыта далекая печаль, смешанная с сочувствием и еще с чем-то живым, теплым. Такэсида хорошо понимал, что происходит в душе Колчака, сделал успокаивающий жест.

– Поверьте мне, Александр Васильевич, поражение не стоит того, чтобы из-за него стреляться. В Японии вас примут как героя.

– Вы считаете, что я уже нахожусь в плену? – На губах Колчака появилась привычная усмешка.

– Пока еще не в плену, но через два дня будете там. – Такэсида говорил таким тоном, что у Колчака не оставалось сомнений – так оно и будет. Он кивнул капитан-лейтенанту на прощание и повернул назад, в казармы.

В промозглом сером воздухе летала сажа, хрустела на зубах, во рту в комок сбилась горечь, начала вновь ныть где-то в далекой дали, у самого горизонта. Понимал: если продерется – то выживет. Если не продерется... Об этом думать не хотелось. Ни в яви, ни в бреду.

Через несколько дней Колчак очнулся – у его изголовья сидел врач-японец в круглых очках, делающих его похожим на собаку, а рядом стоял Сыроедов и жестами, мычаньем пытался что-то объяснить. Японец внимательно смотрел на него, скалил зубы и, кивая утвердительно головой, произносил совершенно по-русски, как какой-нибудь мужичок с огородной грядки:

– Ага! Ага!

А Сыроедов все объяснял и объяснял. Колчак не выдержал, раздвинул горячие, плохо слушающиеся губы в улыбке: ай да Сыроедов! Японский врач оживился, спросил, разговаривает ли

господин лейтенант на английском.

Колчак ответил утвердительно.

Начал поправляться он не скоро, это произошло уже весной, в апреле 1905 года, город, как и год назад, плыл в медовом духе цветущих садов, и запах этот вызывал в душе невольное щемленье: а ведь на улице все та же весна... Неужели уже нет в живых адмирала Макарова, мичмана Миши Приходько, многих других, кто долгое время находился рядом – прежде всего артиллеристов его батареи, погибших в Скалистых Горах? Вскоре Колчака как военнопленного вывезли в Японию, в город Нагасаки.

Война еще не была закончена, хотя русские войска месяц назад были разбиты под Мукденом [106]... Но на подходе находилась мощная балтийская эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского, [107]и русские рассчитывали на нее – вот она-то уж задаст трепку хвастливому и бойкому японскому адмиралишке, Тоге этому...

К пленным офицерам в Японии отнеслись с уважением. Такэсида не врал, не преувеличивал, говоря, что их встретят как героев. Русских офицеров действительно встретили как героев. В частности, больному, измученному частыми приступами ревматизма Колчаку предложили полечиться на своих минеральных водах.

Колчак отказался, он был военнопленным и желал разделить судьбу свою с другими пленными солдатами и офицерами.

После Цусимы, после «странных» переговоров о мире, когда всем стало ясно, что Россия бездарно проиграла войну (хотя японцев, как многие думали, надо было только дожать чуть-чуть, Япония здорово обнищала в этой войне, в казне микадо совершенно не было денег, а в стране – людей, способных держать винтовку, каждый пятый человек был убит, Япония по уши сидела в долгах, она просто не могла продолжать боевые действия, в это время наша бесконечно родная, наша глиняная Россия решила позорно капитулировать), всем русским офицерам предложили отдохнуть в курортных местах Японии – если у кого-то было такое желание – либо вернуться на Родину.

Все предпочли возвратиться в родные края.

Дорога домой была долгой – через половину всех существующих на земле морей и океанов, через Америку. В Санкт-Петербург Колчак вернулся инвалидом – он почти не мог двигаться.

Комиссия из полутора десятков врачей долго обследовала лейтенанта и выдала ему бумагу об инвалидности, а также наказ – срочно лечиться. Если Колчак не будет лечиться, то его, во-

первых, спишут с флота, а во-вторых, до конца дней своих он будет прикован к постели – так в постели и пройдут лучшие его годы – остаток молодости, зрелая пора, а затем и старость, которую к лучшим годам отнести, увы, никак нельзя.

Морское ведомство приказом от 24 июня 1905 года отправило Колчака в длительный, как принято сейчас говорить, отпуск – на полгода, и лейтенант поехал на воды – надо было изгонять из себя холод Севера, мозготу, боли, надо было прогревать, массировать, разрабатывать окаменевшие, наполненные отчаянной ломотой кости, и делать это нужно было незамедлительно.

Если честно, Колчак подумывал о том, что ему придется снять военную форму и по другой причине: Морское ведомство дышало на ладан, оно почти перестало существовать – Россия лишилась большей части своих кораблей... А что такое чиновничья надстройка без кораблей, без базиса? Тьфу! Андреевский флажок на деревянной палке. Флаг должен быть прикреплен к флагштоку, флагшток же – часть эсминца или броненосца.

А броненосцев-то у России как раз и не было.

Воды поставили Колчака на ноги. Когда он вернулся в Петербург, его ожидали награды за Порт-Артур: георгиевское оружие – золотая сабля с надписью «За храбрость», орден Святой Анны [108]четвертой степени – также с надписью «За храбрость» – этот орден ему вручили за службу на эсминце, точнее – за потопленный японский крейсер, орден Святого Станислава [109]второй степени с мечами. Мечи, как известно, давались только воинам, тем, кто отличился в боях с противником – это была очень почетная деталь в ордене (в отличие от орденов без мечей, которые носили обычные «штатские шпаки», получавшие награды за то, что они протирали штаны в государевых конторах), это была даже не деталь, а некое очень желанное дополнение к ордену.

К ордену Святого Владимира [110]четвертой степени, полученному еще за первую полярную экспедицию вместе с Толлем, лейтенанту Колчаку также были пожалованы мечи. (Впрочем, произошло это чуть позже, уже в 1906 году.)

Часть третья
Минная война

Многие в России похоронили мысль о том, что «глиняное государство» после поражения в войне с японцами сможет вновь обзавестись флотом и стать крупной морской державой. Колчак не относился к числу этих людей. Более того, он считал: флот русскому мужику нужен так же, как хлеб, воздух и вода, как «окно», прорубленное в Европу, и серп для уборки хлеба, без мощного флота Россия всегда будет считаться державой, стоящей на коленях.

Едва Колчак появился в Санкт-Петербурге, едва успел обнять жену и отца, вдохнуть немного воздуха Невского проспекта, снившегося ему в горячем Порт-Артуре сплошь в синих хвостатых метелях, как президент Академии наук великий князь Константин Константинович написал письмо морскому министру с просьбой откомандировать лейтенанта Колчака в распоряжение Академии до первого мая 1906 года – надо было до конца обработать результаты Русской полярной экспедиции.

Просьба была незамедлительно удовлетворена, – и не только потому, что это была просьба великого князя; в Морском ведомстве царило полное уныние – в подчинении у бравых офицеров остались лишь деревянные барки времен севастопольской обороны, [111]из которых при скорости более двух узлов – это, переведя на сухопутный язык, примерно три с половиной километра в час – вылетали крепежные гвозди, да в воду шлепались заклепки, да еще остались музейные ботики, на которых царь-батюшка Петр Алексеевич учинял потешные морские баталии. Многие блестящие офицеры, удостоенные боевых наград, посчитали это настоящим позором и покинули Морское ведомство.

У лейтенанта Колчака имелось хорошее правило – всякое дело доводить до конца; он ощущал некую вину перед великим князем Константином Константиновичем за то, что не только общий отчет не успел написать – но даже не все бумаги, связанные с последней экспедицией на Север, сумел оформить должным образом – помешала война, сейчас надо было спешно залатывать дыры. И Колчак безропотно впрягся в работу.

Однако после того, что он видел в Порт-Артуре, после того, как у него на глазах погиб любимый адмирал, а от флота российского остались одни щепки, наука для Колчака отступила на второй план: вскоре он откровенно стал тяготиться писаниной.

Не это было ныне главное.

В Санкт-Петербурге по его инициативе был создан военно-морской кружок – основа будущего Морского генштаба. Кружок получил помещение в Николаевской морской академии, получил также небольшие деньги – на чай, бумагу и проезд на конном травмае. Вскоре Колчак выступил на кружке с докладом «Какой нужен Русский флот», где высказал суждение, что флот надо выстраивать, из большого количества разномастных единиц отбирать все необходимое и «выстраивать линию», – тогда каждый корабль будет знать свое место в этой линии и свою боевую задачу – даже объяснять никому ничего не придется. Вскоре вышла статья, написанная Колчаком, – «Современные линейные корабли».

В 1906 году, закончив обработку материалов Русской полярной экспедиции, он вернулся на военную службу – в недавно созданный Морской генштаб, где стал вначале начальником статистического отдела, позже, уже в звании капитана второго ранга, – начальником отдела по разработке стратегических идей защиты Балтики.

Еще в 1906 году, в самом конце его, на стыке с 1907 годом, Морской генеральный штаб, в который вошли двенадцать блестящих молодых офицеров, не опустивших руки, не давших себя сожрать коррозии уныния, сделал сногсшибательный вывод, что следующая война у России будет с Германией и к ней надо основательно готовиться.

Причем вывод этот был сделан в пору, когда Николай Второй был в очень хороших отношениях со своим близким родственником Вилли – германским кайзером, [112]а российская знать в угоду императрице-немке восторженно ахала при виде всего немецкого.

Вот что написал по поводу будущей войны Колчак: «Мы пришли к совершенно определенному выводу о неизбежности большой европейской войны. Изучение всей обстановки военно-политической, главным образом германской, изучение ее подготовки, ее программы военной и морской и т. д. – совершенно определенно и неизбежно указывало нам на эту войну, начало которой определяли в 1915 году, указывало на то, что эта война должна быть. В связи с этим надо было решить следующий вопрос. Мы знали, что инициатива в этой войне, начало ее, будет исходить от Германии, знали, что в 1915 году она начнет войну. Надо было решить вопрос, как мы должны на это реагировать».

Капитан второго ранга Римский-Корсаков, родственник знаменитого композитора, спросил у Колчака:

– А как вы относитесь к предстоящей войне с Германией?

Ответ был быстрый, как молния:

– Положительно.

– Но вы посмотрите, как наш Николай милуется с кайзером. Они же могут мазурку танцевать вдвоем обнявшись… Без дам-с.

– Это их личное дело, – сказал Колчак. – Государь в хмельной мазурке протанцевал Русско-японскую войну. Для него одной войной больше, одной меньше – один хрен. Он войн не считает. Отдуваться приходится простому русскому мужику, это у него кости трещат, это его кровь льется. Война неизбежна. Обстановка в Европе скоро накалится так, что о воздух можно будет зажигать спички.

Колчак не любил Германию, более того – Колчак ненавидел ее. Корни этой нелюбви были мало кому известны: об этом нужно спрашивать только у самого Колчака, но Колчак, увы, давным-давно мертв.

Обновленный Морской генеральный штаб возглавил молодой капитан первого ранга Л. А. Брусилов, [113]незамедлительно произведенный в контр-адмиралы… С Брусиловым было интересно работать. Когда он пришел в штаб, его встретили настороженно, но по тому, как он начал закручивать гайки, как взялся за дела, стало понятно: надежда на то, что российский флот будет восстановлен, есть. Вскоре казна отпустила деньги на постройку новых кораблей. Работа закипела.

Но раскрученное с таким трудом колесо неожиданно заскрипело – Брусилов внезапно умер, а новый морской министр, которому мог противостоять только он, Воеводский, [114]оказался человеком желчным, страдающим желудочными болями, несварением и поносом, он ни во что не верил и считал, что лучшего специалиста во флотских делах, чем он сам, нет, хотя с трудом отличал линейный корабль от извозчичьей пролетки, а ялик от дебаркадера.

Воеводский начал незамедлительно яростно кромсать программу строительства новых кораблей.

– Это нам не надо, – «чик» – и семь современных быстроходных крейсеров типа «Новик», которых не было ни у Германии, ни у Англии, валяются на полу. – Это нам тоже не надо, – «чик» – и несколько линкоров опрокидываются вверх килями, падают прямо под ноги льстиво улыбающимся чиновникам в ярко начищенных туфлях.

Чик, чик, чик… Воеводский умел разрушать, но совершенно не умел возводить – качество, как показала история, которое живет в крови у многих наших высокопоставленных особ. По Воеводскому, Россия для защиты своих интересов на море вполне

могла бы обойтись несколькими рыбацкими байдами.

Колчак, разозлившись и одновременно опечалившись – это надо же было посадить на Морское министерство такого дурака! – решил, что не будет принимать участия в этом театрализованном представлении. Он ушел читать лекции в Морскую академию, но это пресное дело ему очень скоро опротивело, и он решил сделать следующий шаг – возвратиться к научной деятельности. В частности, к разработке и к прокладке Северного морского пути, который был нужен России, как кружка пива перепившему накануне работяге с Обуховского сталелитейного завода. Россия задыхалась, перегоняя грузы из центра на восток по железной дороге либо доставляя их по морю долгим кружным путем.

Была создана специальная комиссия, в которую вошел и Колчак. Работами «северян» заинтересовался Совет министров, который на заседании 7 апреля 1908 года принял специальное постановление, где особо подчеркнул необходимость «в возможно скором времени связать устья Лены и Колымы с остальными частями нашего Отечества как для оживления этого обширного района Северной Сибири, отрезанного ныне от центра, так и для противодействия экономическому захвату этого края американцами, ежегодно посылающими туда свои шхуны для меновой торговли с прибрежным населением».

У Колчака появился сильный единомышленник – генерал-майор Вилькицкий, [115]начальник Главного гидрографического управления. По поручению правительства Вилькицкий занялся организацией новой северной экспедиции. Колчак, не оставляя службы в Морском генеральном штабе (его оттуда все-таки не отпустили) – которая была пресна и неинтересна, – включился в эту работу: он верил Вилькицкому.

Был разработан план экспедиции. Таких экспедиций в России еще не было. По Северу решено было пройти на двух ледоколах.

У России имелись такие ледоколы, как, например, «Ермак», который был хорош на Балтике, на Неве, на Ладоге, где он исправно колол лед, но для Севера он был слабоват – мощные паковые льды Севера, эти смерзшиеся стальные горы, от которых артиллерийский снаряд отскакивал, как детский мячик, «Ермаку» были не по зубам.

Паковые льды нужно было брать другой техникой, и вообще их надо было не колоть, а давить, ломать. Ломать тяжелым весом ледокола. Колчак и занялся этой новой техникой: вместе с Федором Матисеном, [116]принимавшим участие в нескольких экспедициях Толля, разработал тип судна, ни на что не похожего, и назвал его ледодавом. Поначалу будущие суда так и величали – ледодавы, – но название не прижилось.

Ледодавы – сразу два, «Таймыр» и «Хатанга», – были заложены на Невском судостроительном заводе. Впрочем, «Хатанга», еще не успев оформиться в металл, была переименована в «Вайгач».

Летом 1909 года ледодавы были спущены на воду. Колчак попросил, чтобы его все-таки перевели из Морского штаба под начало Вилькицкого, в Гидрографическое управление. На этот раз перевод с трудом, но все-таки удалось получить. Колчак был очень нужен в Морском генштабе, это понимали даже те, кто слышать не хотел его фамилию, – для того, чтобы добиться перевода, пришлось нажать на кое-какие «потайные пружины». Это было противно Колчаку, но иного выхода он не видел.

В результате Колчак получил под свое начало один из новых ледоколов – «Вайгач». Водоизмещение «Вайгача» было 1200 тонн, как, собственно, и «Таймыра»; ледодавы были одинаковы, как близнецы-братья, длина – 54 метра, ширина – 11 метров, скорость – 11,5 узла, то есть около 20 километров в час.

Ледодавы имели на борту даже вооружение – пушки и пулеметы, – мало ли что могло случиться с ними на море! Да и проходили они все-таки по Военному ведомству.

Для той поры это были лучшие северные суда, с высокой живучестью, практически непотопляемые. Колчак, поднявшись на командный мостик «Вайгача», почувствовал, как у него увлажняются, делаются туманными глаза. Он перекрестился, поднялся на второй командный мостик, верхний, открытый. Когда «Вайгач» станет одолевать стальные ледовые поля Арктики, командиру надлежит перенести с нижнего мостика управление, он должен находиться здесь и только здесь, сверху ведь видно на многие километры, сверху сподручнее наблюдать за ледовыми полями, за горизонтом, даже за айсбергами, которые иногда мало чем отличаются от обычных льдин, так же плоско лежат на поверхности океана, но если «Вайгач» нечаянно вскарабкается на такую гору, то вряд ли что сделает с ней – гора не расколется, и ледодав навсегда останется в Арктике.

Люди, которым надлежало работать вместе с командиром на верхнем мостике, должны были одеваться, как Деды Морозы на рождественских картинках: в очень теплые шубы и специальные катанки – толстые, твердые, будто вырубленные из дерева, очень теплые валенки. Полярникам к одежде своей надлежало относиться очень серьезно, все заранее продумать. Эту одежду надо было так же, как и ледодавы, специально разрабатывать, не оставляя решение этих задач на потом.

Обычно сдержанный, с каменным лицом и плотно сжатыми губами, Колчак, на сей раз расчувствовался, вытащил из кармана

белый, тщательно отутюженный платок, протер им глаза, потом скомкал в комок и сунул в ткань свой нос:

– Наконец-то! – проговорил он смято. – Так с Божьей помощью мы, глядишь, и покорим Север. – Ощутил внутри далекую, загнанную куда-то за сердце, в закоулки души, боль, высморкался. Он старался эту боль не замечать и произнес вновь, со значением: – Наконец-то!

Хорошо, что он подлечил свой ревматизм – полгода, проведенные на целебных водах, позволяли ему дышать без особой натуги и не бояться, что тело в любую минуту может скрутить отчаянная ломящая боль, и со страхом ждать ее, – этой боли Колчак больше не боялся. Наверное, в будущем боли появятся вновь, но сейчас он их уже не опасался – знал, как избавляться от этой напасти.

27 октября 1909 года ледоколы отправились из Петербурга в далекое плавание – им надлежало обойти половину земного шара и пришвартоваться к причалу во Владивостоке: портом приписки новеньких ледодавов был обозначен именно этот далекий город. Колчак Владивосток не любил – не ощущал он в душе того благоговейного трепета, какой возникал, когда назывались имена Москвы, Санкт-Петербурга или Кронштадта.

Софья Федоровна провожала Колчака, Поцеловала его в одну щеку, потом в другую, затем в губы, прижалась на мгновение, втянула ноздрями дух, исходивший от стоявшего неподалеку диковинного корабля с высокими трубами и двумя зачехленными пушками на корме, украшенного густыми рядами заклепок, будто генеральский мундир пуговицами:

– Саша, береги себя!

Колчак ответно поцеловал жену в прохладный лоб:

– Не тревожься, Сонечка!

– Саша, – произнесла она тихо, едва слышно – это был шепот и в ту же пору не шепот, некий слабый шелест ветра в пространстве, – у нас будет ребенок.

Колчак неверяще вытянул голову, делаясь не похожим на себя.

– Ну?!

– Да, Саша.

Он благодарно прижал ее к себе, огладил рукой волосы, вгляделся в туманную морось, накрывшую море. Погода была собачья, даже чайки, и те попрятались невесть куда, скорее всего, забрались в щели между камнями, в старые прелые ящики, выброшенные на берег водой, в пустые угольные бункеры – флот переходил на мазут, угольная эпоха, тысячу раз проклятая кочегарами, завершалась, «черного золота» завозили на флот все

меньше и меньше. Колчак прошептал, едва приметно шевельнув губами:

– Хорошая ты моя!

– Саша...

– Что же ты молчала об этом раньше?

– Проверяла себя.

– Сонечка, – прошептал он с удвоенной нежностью, – хорошая моя... Жди меня. При первой же возможности, как только... как только меня отпустит Север, я вернусь.

Но Север отпустил Колчака не скоро.

Ледоколы прибыли во Владивосток лишь летом следующего года, в жару, необычную даже для теплолюбивого Владивостока – воздух был схож с кипятком, слитым из перегретого парового котла, на улицах нечем было дышать, он ошпаривал легкие, за десять минут пребывания на открытом месте, на солнце, кожа человека облезала, как шкурка с банана. Даже грузчики в порту – огромные, знающие приемы китайской борьбы, способные ухватить жеребца за задние ноги и опрокинуть его на землю, – и те задирали лытки, хлопаясь в обморок.

В пути случилась задержка – пришлось чиниться в Гавре: подкачал «Таймыр», настолько подкачал, что старого товарища Колчака, Федора Матисена, командовавшего ледоколом, завернули назад, в Петербург, на его место был прислан А. А. Макалинский. Обстоятельство это огорчило Колчака, но помочь Матисену он был не в силах.

Едва с ледоколов на владивостокский пирс шлепнулись причальные канаты, как на набережную бухты Золотой Рог стали стекаться зеваки – таких кораблей, как эти два ледокола, здесь еще не видели.

– Скажи, парень а эта штука плавать умеет? – спрашивали они у вахтенного матроса, охранявшего трап. – Или ею, как толкушкой, можно только орехи дробить?

– И плавать умеет, господа, и орехи ею дробить сподручно, и кое-что еще делать можно, – вежливо отвечал матрос. – Это ледокол-вездеход. Посуху может забраться вон на ту гору, – он кивал на кудрявую зеленую макушку недалекого мыса, украшенного белым каменным зданием – то ли маяком, то ли таможенной конторой.

– Ну-у! – ахали зеваки на берегу.

– Да, – отвечал матрос.

– Ну так заберись!

– Приказа нету.

Колчаку было понятно, что лето пропало, до Арктики в нынешнем сезоне им не добраться. В лучшем случае ледоколы

дойдут до Берингова пролива, попробуют себя в деле, помнут малость лед, а потом скатятся назад, в веселый город Владивосток, при вечернем освещении похожий на бесшабашную Одессу. Да и руководитель экспедиции пока еще не прибыл – говорят, это никому не ведомый полковник – родственник какого-то человека с мохнатой лапой, готового всегда порадеть в ущерб государственным интересам. Во всяком случае, молва прошла такая. А потом стала известна и фамилия руководителя – Сергеев.

Колчаку вспомнился другой Сергеев, который обсыпал всех пеплом на веранде у Эссена и ладонью гонял фарфоровую тарелку по бумажному кругу, вызывая духи великих людей. Каким же будет этот Сергеев?

Ледоколы продолжали стоять у причальной стенки бухты Золотой Рог, зевак заметно поубавилось, а Сергеева все не было и не было.

Полковник И. С. Сергеев появился во Владивостоке, когда уже прошли все сроки – в августе, девятого числа, – прибыл на роскошном трансконтинентальном экспрессе с яркой красной надписью на тендере паровоза «Из Парижа через половину планеты – на берег Тихого океана», локомотив привела черноликая усталая команда, ни слова не понимавшая по-русски, – это была французская бригада. И паровоз был французский.

– Незабываемое путешествие, – объявил Сергеев встречавшим его офицерам, шаркнул по перрону лакированным сапогом. – Каждому человеку надо хотя бы один раз совершить такое путешествие через всю Россию. Это было незабываемо, – вновь объявил он и сладко почмокал губами. – А в скором времени можно будет ехать не через КАВЕЖЕДЕ, не через Китай, а исключительно по российской территории, через Благовещенск и Хабаровск. «Колесуха» скоро будет сдана в эксплуатацию.

Колчак знал, что спешно достраивается участок дороги от Благовещенска до Хабаровска – самая трудная часть «Колесухи», делают это каторжники, – говорят, голов и костей своих они оставили там немерено.

Прибывший полковник как две капли воды был похож на порт-артурского эскулапа – такой же шумный, пропахший табаком, обильно обрызганный «о'де колоном», с перхотью на плечах – полковник Сергеев разительно отличался от прежнего руководителя северной экспедиции покойного Эдуарда Толля, это был человек совсем иного внутреннего склада.

У Макалинского, заменившего Матисена на «Таймыре», Сергеев спросил:

– А шампанское здесь в ресторациях подают?

– Не только шампанское, но и изящные женские туфельки, из которых его можно пить, господин полковник, – ответил Макалинский.

– Какая прелесть, – рассеянно восхитился Сергеев.

Колчаку сделалось тоскливо. Он почувствовал себя в этой компании чужим.

Через несколько дней экспедиция покинула гостеприимную голубую бухту, пахнущую розами и подсолнечным маслом – из Одессы пришел транспорт со жмыхом – и отправилась на Север, в Берингов пролив, как и предполагал Колчак; дальше же ледоколы просто не смогут пройти. Поздно уже, очень поздно...

Ледоколы дошли до мыса Дежнева, обследовали Берингов пролив, провели гидрографические съемки и астрономические наблюдения и, выдавливаемые с Севера зимой, уползли вниз, в теплый Владивосток, где холода наступали лишь в декабре.

Первым делом Колчак поспешил на почту за письмами и свежими телеграфными сообщениями. Среди сообщений одно было приятное: морской министр Воеводский, считавший, что Россия обойдется тем флотом, что у нее есть, – двух старых дырявых галош и одной деревянной рыбацкой байды вполне достаточно, чтобы защитить ее интересы в мире, – пошатнулся в своем кресле. В Морской генеральный штаб пришел новый начальник – князь А. А. Ливен, разделяющий взгляды покойного Брусилова. Известие было приятным. Колчак почувствовал, что в судьбе его вновь может наметиться очередной поворот.

Зимой 1911 года Воеводский загремел со своего кресла. Как, собственно, и ожидалось. Только ноги в роскошных французских штиблетах на спиртовой подошве взвились к потолку, да из сюртука полетела нафталиновая пыль. Колчак, узнав об этом, не сдержался, захлопал в ладони.

Новым морским министром был назначен капитан первого ранга И. К. Григорович [117]– впервые в российской жизни на этот высокий стул сел капитан первого ранга, раньше его занимали только адмиралы с несколькими черными орлами на погонах. Впрочем, капитаном первого ранга новый министр оставался недолго – ему, как и Брусилову когда-то, чуть ли не на второй день присвоили звание адмирала.

Первое, что сделал Григорович, – постарался заполучить под свое крыло лучшие офицерские кадры, в том числе и Колчака. Тот был нужен ему в Петербурге, в его собственном ведомстве, а не среди льдов, на Севере, в полярной экспедиции, хотя интересы министерства простирались и туда. Колчак заколебался – понимал, что если уйдет из экспедиции, то на полярных исследованиях можно будет поставить жирный крест – он вряд ли

когда уже вернется на Север.

А с другой стороны, очень хотелось повидать сына – только что родившегося маленького человечка, которого Колчак еще никогда не видел, но уже заранее, заочно, горячо любил.

Колчак решился на очередной служебный зигзаг – его вновь перевели в Морской генеральный штаб, на прежнее, хорошо знакомое место – в Балтийский отдел, заведующим.

Экспедиция 1911 года ушла на Север без него, хотя все разработки, маршруты, режимы стоянок и плавания были подготовлены Колчаком – частично во Владивостоке, частично в Санкт-Петербурге, но в большей степени – всей его предыдущей жизнью, тяжелыми скитаниями по льдам.

За пять последующих лет полярная экспедиция – увы, без Колчака – обследовала наиболее трудные места будущего Северного морского пути, имеющего большое промышленное значение, подчеркиваю – промышленное: открыла землю Императора Николая Второго, [118]которая после революции была переименована в Северную землю, пролив Б. Вилькицкого, [119]остров Цесаревича Алексея, остров А. Вилькицкого и практически открыла – возвращаясь к сказанному ранее – Северный морской путь [120]... Было сделано большое государственное дело.

Но вернемся в 1911 год.

Кроме балтийских проблем Колчак решал также судостроительную программу: важно было, чтобы кроме старых рваных галош, так любимых прежним морским министром, в России появились новые мощные корабли – быстроходные, маневренные, с артиллерией, способной разламывать корпуса неприятельских кораблей и ставить на колени города.

Новым словом в бывшем «галошном» флоте стали подводные лодки.

Одним из самых сильных и авторитетных людей в морском министерстве считался вице-адмирал Николай Оттович фон Эссен – тот самый романтичный прагматик Эссен, немец, тяготеющий своими фамильными корнями к Швеции и безмерно влюбленный в Россию, который в затихшем перед лютой грозой Порт-Артуре отмечал праздники цукими. В 1911 году Эссен был назначен командующим Балтийским флотом.

Эссен так же, как и Колчак, считал – война не за горами. И будет она много тяжелее, чем война с Японией. Германия – противник посерьезней Японии. Придя на Балтику, Эссен прежде всего занялся укреплением береговых крепостей: Кронштадта, Любавы, Ревеля, фортов...

Через год он предложил Колчаку бросить штабную работу – «Бегите от нее, батенька, как заяц от охотника!» – и перейти к нему на Балтийский флот.

– Есть интересное дело, – сказал он Колчаку.

– Какое?

– Даю вам любой эсминец – командуйте! А дальше – посмотрим.

Колчак согласился не раздумывая. Через несколько дней он вступил на палубу эскадренного миноносца «Уссуриец».

Шел тысяча девятьсот двенадцатый год.

И хотя до новой войны было еще далеко, она действительно здорово чувствовалась. На западе заметно сгущались пороховые тучи. Государь Николай Александрович относился к этим тучам равнодушно: чему бывать, того не миновать, – с упоением колол дрова для кухни, каждое утро делал гимнастику, с Гришкой Распутиным хлестал «мадерцу» – причем царь быстро соловел, молол языком всякую чепуху, а Гришка, наоборот, становился все трезвее и трезвее, нахальнее, прилипчивее, старался подсунуть раскисшему царю какую-нибудь идейку, с которой он бы имел выгоду, либо посадить на хлебное место верного человечка... Проку государству от этого человечка, естественно, никакого, убытка гораздо больше, чем прибыли, но зато человечек тот – верный, он никогда не будет вставлять палки в Гришкины колеса.

– Ты мне, отец Григорий, по поводу своего протеже... это самое, оставь, – царь вяло щелкал пальцами, – ну, это самое...

Что такое «протеже», Распутин не знал, поэтому втыкал в царя грозный стеклянный взгляд, словно осколок с острым концом, схожим с кинжалом, и настороженно спрашивал:

– Чего?

– Ну это самое... цидулю, которую ты обычно сочиняешь, записочку... – Царь вновь вяло шевелил пальцами.

– А, пратецу, – облегченно вздыхал Распутин, – за этим дело не замерзнет. Сооружу.

Буквально на следующий день среди высшего российского чиновничества появлялся «мадерцевый» деятель с пришпиленной к спине «пратецой», и все этого чиновника боялись – знали, что добра никакого не сделает и пользы от него никакой, но зато зла, дерьма может вывалить целый воз и прицепную тележку и накрыть любого, кто посмотрит на него косо, этим дерьмом с головой.

Распутин высказывался против осложнений отношений с Германией, считал, что «папа», как он величал самодержца, со своим родственничком-кайзером обязательно договорится, а раз договорится, то тогда никто и дубиной не станет размахивать, да

и он сам, «святой старец», не даст «папе» оскользнуться и плюхнуться в лужу – обязательно поддержит его под локоток.

Возможно, так оно и произошло бы, но в самый ответственный момент Распутин сам оскользнулся – ему всадила в брюхо ржавый австрийский штык царицынская мещанка Феония Гусева, и Григорий Ефимович загремел на больничную койку, долго провалялся там в беспамятстве, с угасающим горяченные дыханием, а когда очнулся, война уже находилась в самом разгаре. Более того, царь объявил в России всеобщую мобилизацию. А всеобщая мобилизация в такой стране, как Россия, – это мировая война.

Но это произошло позже, до этого момента еще надо было прожить целых два года. За два года многое могло бы измениться. Но не изменилось. Мир упрямо катился к войне.

В 1913 году Эссен предложил Колчаку занять должность флаг-капитана. Должность эта предполагала адмиральского орла на погоны, но Колчак пока еще был капитаном второго ранга. Предложение Эссена он принял, хотя эсминец не оставил – перешел на корабль покрупнее, побыстроходнее, повиднее, поновее – эскадренный миноносец «Пограничник».

Флаг командующего Балтийским флотом находился на броненосном крейсере «Рюрик» – также новом, с хорошим ходом красавце, но Эссен, чтобы решать оперативные вопросы, часто перебирался на «Пограничник», и вместе с ним туда перебирался и штандарт командующего флотом.

Войной пахло все сильнее и сильнее, дух горелого пороха, дым, а иногда и огонь тянулись с запада часто, густо, запах приближающегося пожара улавливал даже ребенок, никогда не слышавший о войне и не знающий, что это такое. Эссен и Колчак больше, чем кто бы то ни было, занимались главным своим вопросом: искали пути, как защититься от врага, который завтра навалится на их землю.

Колчак придумывал особые хитроумные способы минирования – море надо было заминировать так, чтобы германцы вообще не смогли подойти к нашему берегу.

Картами минирования Колчака, его схемами наши специалисты пользовались еще долго-долго. Достаточно сказать, что в 1941 году Балтика была заминирована также по картам Колчака – лучше его схем не смог придумать никто. Колчак оказался самым сильным минером в мире. Что признали и немцы, и англичане, признали и враги, и друзья.

Поскольку германский флот был многочисленнее, сильнее российского – Россия просто не успела до конца оправиться, более того, не смогла физически подготовиться к войне, – Эссен и

Колчак, не имея на то никакого приказа свыше, действовали на свой страх и риск. Они решили поставить вдоль всей береговой линии мощные минные поля, оставив лишь проходы, которые можно оборонять малыми силами – такое в условиях Балтики было возможно. Уж очень силен был раздувшийся, разжиревший германский флот... А в самой узкой судоходной части Финского залива, между Паркалаудом и Наргеном – это место немцы никак не могли обойти – Эссен и Колчак решили поставить усиленное минное поле: двойные, тройные, четверные банки...

И – спрятать за минные поля, как за надежный забор, свои корабли, из-за забора выводить их на простор, наносить внезапные удары по германскому флоту и снова прятаться. Идея была проста и остроумна.

Собственно, у Эссена с Колчаком другого выхода просто не было.

Эссен к старости сделался рыжим, как гимназист в солнечную весеннюю пору, в его бороде светились волосы яркого красного цвета, усталость не брала его, он мотался по кораблям и базам, по экипажам и городкам. Колчак, который все же был вынужден оставить полюбившийся ему эсминец «Пограничник», теперь мотался вместе с ним.

И Эссен, и Колчак продолжали активно готовиться к войне, решив взять в ней не числом, а умением.

В декабре 1913 года Колчак получил звание капитана первого ранга – вдосталь насидевшись в лейтенантах, он сейчас, похоже, пошел в рост.

Семья Колчака жила в неспешной, пропахшей огородной мятой Любаве – городке, в одинаковой мере привыкшем и к меди флотских оркестров – по вечерам здесь часто устраивали танцы, на широких танцевальных верандах играли бравые морячки, – и к грустной патефонной музыке.

Сын Колчака Славик часто болел, и Софья Федоровна была занята им. Кроме Славы у Колчаков родились две дочки; [121]одна, слабенькая, совсем дышащая на ладан, вскоре умерла. Колчак, и без того темноликий, ходил в те дни черный от горя, крупный нос его заострился (один из писателей сравнил нос Колчака с лезвием топора – такой же здоровый, острый и страшный), как скулы и подбородок, он стал похож на мертвеца, Софья Федоровна больше месяца не могла выйти на улицу, вторая дочка росла здоровой, подвижной и очень веселой. Это была жизнерадостная оторва, а не благовоспитанная девочка.

Появляясь дома, Колчак прижимал к себе жену, ласковыми, почти невесомыми движениями гладил ее по голове, потом

целовал в волосы.

– Я хочу, чтобы у нас было много детей, Саша, – сказала однажды она и вздрогнула от странного внутреннего смущения.

У Колчака на этот счет были свои соображения. Он знал, как трудно приходится офицерам, имеющим большие семьи, – они скованы ими по рукам и ногам, словно армия, обремененная непомерным обозом, – это первое. Второе – такой офицер боится за свою жизнь, у него в подсознании все время нестерпимым горячим пламенем полыхает один вопрос: а что будет с семьей, если его – единственного кормильца – убьют? Как они будут жить без него? На какие средства?

Но защитник Родины, который боится умереть, – уже не защитник, а некое недоразумение. Колчак очень боялся стать таким.

И третье – самое главное: надвигалась война. Большая всепожирающая война, в которой, как в раскаленной паровозной топке, будут превращены в пепел миллионы людей. А что, если среди этих миллионов окажутся его дети? Не-ет, Колчаку от одной этой мысли делалось страшно.

– Зачем? – тихо спросил он.

Софья Федоровна не ответила на этот вопрос – он показался ей обидным, – лишь зажато вздохнула.

– Сонечка, милая... – прежним тихим голосом проговорил он, – ты же у меня умница, ты все прекрасно понимаешь... Мы сейчас стоим на краю пропасти и заглядываем в нее. – В голосе Колчака появились скрипучие нотки. – Скоро прольется много крови.

Больше к этому вопросу они не возвращались.

– У нас продавленная мебель, – сказала Сонечка Колчаку, – софа совсем просела. На стульях прохудилась обивка. Нужно купить новую софу и стулья.

– Делай, что хочешь, вот тебе деньги. Распоряжайся ими по своему усмотрению. Я же в домашнем хозяйстве смыслю не больше, чем в переселении тараканов в летнюю пору из одного поместья в другое. Извини, Сонечка. Если нужны будут матросы, чтобы привезти мебель, я их дам.

– Обеденный стол надо отдавать на реставрацию.

– Сонечка, мы же договорились...

Когда у Колчака возникали такие разговоры с женой, ему немедленно хотелось развернуться и уехать назад, к себе на службу – в штаб либо на корабль.

Война приближалась, порох уже хрустел на зубах.

– Саша, что... все-таки война? – иногда спрашивала мужа Сонечка, лицо ее замирало, делалось неподвижным, как маска,

обеими руками она обхватывала шею – этот трогательный жест был совсем девчоночьим, рождал желание защитить эту женщину и одновременно – щемящую нежность.

Вся злость из-за хозяйственной настырности жены незамедлительно проходила, Колчаку хотелось броситься перед Софьей Федоровной на колени, прижаться к ее ногам. Он не мог ответить на Сонечкин вопрос утвердительно, в лоб: «Да, война», но и скрывать от нее тревожных вестей тоже не мог.

Отвернувшись в сторону, чтобы жена не видела его глаз, Колчак обычно молчал.

– Саша, ты чего не отвечаешь?

– Надо быть готовыми ко всему, – уклончиво произносил он и снова умолкал.

Софья Федоровна была женщиной умной, она понимала все.

Вот что о ней написала Анна Тимирева, [122]ставшая впоследствии ее яростной соперницей и в конце концов разрушившая семью Колчаков и уведшая Александра Васильевича из дома. «Это была высокая и стройная женщина, лет 38, наверное. Она очень отличалась от других жен морских офицеров, была более интеллигентна, что ли. Мне она сразу понравилась, может быть, потому, что и сама я выросла в другой среде: мой отец был музыкантом, дирижером и пианистом, семья была большая, другие интересы, другая атмосфера. Вдруг отворилась дверь и вошел Колчак – только маленький, но до чего похож, что я прямо удивилась, когда раздался тоненький голосок: „Мама!“ Чудесный был мальчик».

Впрочем, воспоминания эти принадлежат к более позднему периоду, Колчак с Тимиревой пока еще не встретились. До их роковой встречи осталось немного – примерно полгода.

– Ты будешь обедать или скоро вновь уедешь на службу? – спросила Сонечка.

На улице стоял апрель, вечера и ночи сделались светлыми, щемяще прозрачными, длинными – сказывалась близость Севера.

– Сегодня я останусь дома. – Колчак подошел к секретеру, на котором в резной рамочке, под стеклом, находился портрет его отца, взял портрет в руки, прижался губами к стеклу.

– Сегодня четвертое апреля... Прошел год, как не стало Василия Ивановича, – он снова прижался губами к стеклу, затем поставил портрет на стол. – Целый год... – Дыхание у Колчака сбилось, он закашлялся. – Что осталось позади – понятно, а вот что ждет нас впереди – никто не знает. Сплошная темнота. Ничего не видно.

– Не узнаю тебя, Саша.

– Я сам себя не узнаю. Такое впечатление, будто я однажды в детстве заплутал между тремя соснами... Детство давно прошло, сосны сгнили, а страх остался.

– Ну, наверное, это другой страх...

– У страха одна материя, Сонечка, общая. Боязнь замкнутого пространства, опасения потерять ребенка в военной давке, боязнь боли или крови – все это имеет общую материю – страх вырабатывают одни и те же железы.

Всего Эссен и Колчак решили поставить восемь линий минных заграждений – для этого требовалось едва ли не полтора десятка тысяч тяжелых рогатых бочек, способных одним общим всплеском выдавить Балтийское море из его раковины. Днища чужих кораблей русские мины ломали, как непрочную ореховую скорлупу, заклепки из бортов вылетали, будто семечки, – ни одной не оставалось, стальная обшивка слетала с иного линкора, как гнилая кожура. На море более страшного оружия, чем мины, пожалуй, в ту пору не было. А когда к страшному оружию добавлена еще и мозговитая голова, тогда... тогда понятно, что получается.

– Наступят времена, Александр Васильевич, когда минная война на море будет главной, – сказал Колчаку Эссен. – Минами запросто можно сделать неподвижным любой сверхмощный сверхсовременный корабль – он и шагу не сделает. А если сделает, то... тогда тю-тю. – Эссен выразительно размял что-то пальцами, а потом сдул с ладони остатки. С насмешливым видом развел руки в стороны: – До свидания, как говорится.

В июне минирование было приостановлено – показалось, что у Николая Второго со своим родственничком налаживаются не то чтобы прежние школьные отношения, а вообще вот-вот будет подписан пакт о вечном мире и крепкой дружбе, и усталый, чертыхающийся Колчак примчался к Эссену:

– Что случилось, Николай Оттович?

Тот колюче глянул на Колчака, расчесал небольшим зубастым гребешком рыжую, как огонь, бороду.

– Продолжайте минирование, Александр Васильевич, – вздохнув, произнес он. – Вы правы: слюна от жарких царских лобызаний может оказаться ядовитой.

Колчак облегченно вздохнул и вновь со своими минзагами скрылся в море.

В результате германские корабли оказались запертыми в своих водах. Любое непродуманное движение генералов и адмиралов кайзера, любая попытка ударить кулаком по восточному берегу, по песчаной кромке Финского или Рижского заливов оказывалась тщетной... Но это было потом, чуть позже.

Наконец Колчак явился в штаб к Эссену и, вскинув пальцы к козырьку фуражки, доложил:

– Минирование закончено, Николай Оттович!

Тот оживленно потер руки:

– Вот и прекрасненько. Вот и чудненько. За это мы сейчас с вами дернем по рюмке хорошего коньяку. Мне привезли две бутылки старого французского, еще наполеоновской поры. Мины поставлены на всех восьми линиях?

– Естественно, на всех восьми.

Эссен вновь довольно потер руки:

– Чудненько! Теперь будем ждать из штаба высочайшую телеграмму с двумя грифами – «Молния» и «Совершенно секретно». Готов биться об заклад – телеграмма обязательно будет.

Она действительно не заставила себя ждать, эта высочайшая телеграмма, вскоре пришла с грифом «Молния». Из Морского генерального штаба. Была она короткой и громкой, как выстрел из носового орудия корабля, безнадежно преследующего удирающего противника. «Срочно ставьте минные заграждения».

Эссен, прочитав телеграмму, не сумел сдержать улыбки:

– Спохватились!

Впрочем, улыбка на его лице была недолгой, рыжая борода адмирала потускнела буквально на глазах, стала пегой, клочковатой, будто у больного, взгляд сделался тревожным.

– Эта телеграмма означает не только то, что мы правы, она означает, что через день-два начнется война.

– Война начнется через несколько часов, Николай Оттович. Наши стратеги никогда не умели просчитывать свои ходы более двух клеток вперед. Хорошо, что мы не ждали указаний, поставили минные банки, Николай Оттович. Иначе бы ходить нам с укушенными задницами.

Колчак был прав – война началась через несколько часов.

Штабисты из адмиралтейства войну практически проспали. И если бы Колчак не поставил минные поля, неведомо вообще, как могла сложиться Первая мировая война. А так первые месяцы, а точнее, первые полтора года для России были успешными. И это несмотря на то, что немецкий флот на Балтике был в три, в четыре раза сильнее русского.

Первый раз Анна Тимирева увидела озабоченного, по-воробьиному взъерошенного Колчака на вокзале в Петрограде – они с мужем ожидали, когда к перрону подгонят чистенький, очень ухоженный финский состав – поезд должен был отправиться в Гельсингфорс...

Колчак прошел мимо Тимиревых стремительно, не поднимая

сосредоточенного мрачного лица. От его фигуры веяло чем-то недобрым, даже зловещим, он невольно привлекал к себе внимание.

– Кто это? – шепотом поинтересовалась Тимирева у мужа.

Сергей Николаевич кашлянул в кулак – он, как всякий физиономист, человек с аналитическим складом ума, привыкший наблюдать за чужими лицами, по лицу Колчака понял: на фронте что-то произошло. Но что? Прорвались немцы?

– Это мой старый товарищ, – ответил он и озабоченно потер пальцами подбородок. – Еще по Морскому кадетскому корпусу.

– Кто именно, Сережа?

– Колчак – Полярный.

В русской армии той поры служило несколько Колчаков и все они были на виду, – в том числе был и один адмирал, – поэтому многие к фамилии Александра Васильевича добавляли приставку «Полярный». Своими северными экспедициями он снискал себе немалую славу не только в научной и морской среде, но и во всей России.

Не думали, не гадали тогда Тимиревы, что Колчак вихрем ворвется в их личную жизнь и отшвырнет супругов друг от друга. А ведь Сергей Николаевич любил Анну Васильевну, а Анна Васильевна любила Сергея Николаевича, у них рос ребенок, сын – подвижный, говорливый, умеющий хорошо рисовать и сочинять сказки Володя, [123]он же – Одя.

Свои таланты Владимир, наверное, получил от матери. Он любил старательно, очень скрупулезно срисовывать картины Шишкина, медведей делал, как живыми, «живее», чем на оригинале, чем несказанно восхищал своего добродушного отца, капитана первого ранга.

Анна Васильевна по профессии была художницей – это, кстати, в будущем, на старости лет, позволило ей зарабатывать деньги на хлеб с водочкой. Но это было потом, в красной России, а пока революция еще не разделила страну на два враждебных берега, пока все еще были братьями. И был еще Петербург – впрочем, только что переименованный в Петроград, [124]и была тихая Любава со стоянками для крейсеров и подводных лодок, и был Гельсингфорс – главная линейная база Балтийского флота – с блестящими офицерами, несколькими флотскими оркестрами и танцами в ресторанах. Колчак не заметил Анну Тимиреву, но Тимирева заметила его.

Она проводила мужа, помахала ему с перрона рукой в окошко и на пролетке вернулась домой.

По дороге несколько раз вспомнила Колчака-Полярного, отметила про себя, что такого с ней не бывало никогда – она не

позволяла себе думать о других мужчинах, а тут – на тебе... Впрочем, в памяти не удержались ни озабоченная угрюмость этого человека, ни настороженно-широкие шаги его, осталось совсем другое – ощущение света, тепла и еще, как она сама потом призналась, ощущение стремительной энергии.

Через две недели Тимирева поехала к мужу в Гельсингфорс – там надо было подбирать квартиру, оглядеться поосновательнее и вообще подготовить переезд вместе с Одей. Одя, несмотря на то что подавал задатки художника, в ту пору был еще мал, по ночам любил покричать, часто пруденил под себя, а очутившись в луже, орал. Сергей Николаевич улыбался:

– Моряк будет!

Сергей Николаевич приходился Анне Васильевне, в девичестве Сафоновой, троюродным братом. Он, как и Колчак, воевал с японцами, плавал на броненосцах «Пересвет» и «Победа», перенес все тяготы береговой войны, но виделись они с Колчаком редко.

Тяжело раненный, уже на берегу, на горе Высокой, Тимирев попал к японцам, те положили его в госпиталь и, когда вылечили, решили отпустить домой, в Россию. Для этого надо было выполнить один пустяк, сущий пустяк, считали они, – подписать бумагу о дальнейшем неучастии в войне. Сделать это Тимирев отказался наотрез и очутился в плену.

Вернулся он с войны героем. Ну как было не влюбиться в такого человека? Неважно, что он был много старше Анечки Сафоновой, зато он был красив, моложав, награжден несколькими боевыми орденами и золотой саблей с надписью «За храбрость». Гимназистки млели, когда видели его, на надушенных листочках присылали Тимиреву любовные стихи. Но из всех гимназисток Сергей Тимирев выбрал только одну – Анечку Сафонову – и связал с нею свою жизнь.

– Тебя не смущает, что я старше тебя на целых восемнадцать лет? – поинтересовался он у Анечки.

– Нет. Как там написано у Пушкина? «Любви все возрасты покорны»? Еще: «И тебе я отдана и буду век тебе верна»?

Анечка плохо знала Пушкина и, когда его цитировала, часто ошибалась.

– Пушкин написал иначе. «Но я другому отдана и буду век ему верна».

Поняв, что пушкинская фраза в подлинном своем построении неожиданно приобрела двойной смысл, будущая жена Сергея Тимирева покраснела.

– Хватит Пушкина! Я имела в виду, что буду верна тебе. Тебе. И больше никому.

Но как все-таки была точна пушкинская фраза «другому отдана»... Тимирев впоследствии вспомнил ее не раз.

В Гельсингфорсе, в штабе Балтийского флота, капитан первого ранга Тимирев занимал, как и Колчак, должность флаг-капитана – что-то вроде заместителя и помощника командующего по распорядительной части. Колчак же был флаг-капитаном по оперативной части.

В тот день, когда Тимирев прибыл в Гельсингфорс, на свою традиционную пирушку решили собраться бывшие порт-артуровцы. Местом сбора назначили квартиру Николая Подгурского – командира броненосного крейсера «Россия». Подгурский в Русско-японской войне отличился больше других – он удостоен пяти боевых орденов и личного золотого оружия. Естественно, на эту шумную и беззаботную, как в прежние времена, пирушку были приглашены оба флаг-капитана, Колчак и Тимирев.

Анечке Тимиревой очень понравилась обстановка той пирушки – какая-то очищающая, светлая, понравилась элегантностью, с которой офицеры ухаживали за дамами: морской офицер – это ведь не профессия, а призвание, моряк даже платок с пола поднимает не так, как другие офицеры, – делает это очень артистично, аристократически.

В Петрограде такое бесшабашное веселье уже не позволялось – в городе почти не было домов, где бы не погибли мальчишки, ушедшие на войну добровольцами-вольноопределяющимися, [125]куда ни глянь – траур, всюду траур, пустота и горькие слезы родителей, оплакивающих своих погибших детей. И все это произошло за какие-то несколько коротких месяцев.

На пирушке той к Анечке Тимиревой Колчак подошел сам, тихо щелкнул каблуками ярко начищенных опойковых ботинок [126]и наклонил голову:

– С вашим мужем мы знакомы еще с Морского кадетского корпуса – с гимназической поры.

– Я знаю. Мне муж много рассказывал о вас.

– Надеюсь, не плохое?

– Что вы, что вы. – В глазах у Ани Тимиревой появились испуганное выражение, Колчак заметил это, губы его тронула улыбка.

– Вас, Анна Васильевна, явно удивляет наше веселье. У него, если хотите, свои исторические корни. Люди, живущие на берегу, часто удивляются: ну какого, спрашивается, черта, веселятся моряки? Причина этому есть: иногда моряки по полгода болтаются в океанах, по земле, случается, так начинают тосковать, что хоть криком кричи, и когда приходят в родной

порт, домой, то веселятся от всей души. Это для них праздник. Несмотря на потери, несмотря на гибель людей и кораблей.

Колчак умел очень зажигательно говорить; все, что он рассказывал, было очень интересно – даже рассуждения о расположении спасательных шлюпок на крейсере и креплении коек в матросских кубриках и те были интересны.

– Я уже привыкла к такому бесшабашному веселью, – сказала Тимирева. – Мне ведь не раз и не два приходилось провожать и встречать мужа...

Колчак внимательно, излишне внимательно посмотрел на нее, в кофейно-черных глазах его ничто не отразилось, лишь возникли два тусклых далеких костерка – отсвет от электрических ламп; впрочем, он скоро исчез, скользнув по золотым погонам широкой полосой, как маревом, и пропал где-то под потолком.

– Такова доля жен морских офицеров: встречать и провожать, провожать и встречать.

Потом Колчак сел за рояль. Анна Васильевна оказалась рядом.

Колчак пел романс «Гори, моя звезда» – свой вариант, никому не ведомый; присутствующие изумленно переглядывались и одобрительно склоняли головы:

– Хорошо-то как!

А Колчак играл и искоса посматривал на Анечку Тимиреву: ему казалось, что кроме нее, здесь уже больше никого нет, нет вообще никого на свете, просто не осталось... Только он и она.

У Анны Тимиревой возникло то же самое чувство.

– Александр Васильевич, чья это музыка? – спросил Тимирев, едва угас хрипловатый, будто потравленный балтийской ржавью и лютыми северными ветрами голос Колчака.

Ловко пробежавшись пальцами по рядам клавиш, Колчак неопределенно приподнял одно плечо и на вопрос не ответил. А деликатный Тимирев не стал настаивать на том, чтобы Колчак ответил, он все понял, понял смущение Колчака и похвалил его совершенно искренне:

– Прекрасно перекроен романс. Звучит совсем по-другому. А старый романс... Я его помню хорошо. От него уже пылью начало попахивать.

– А где ваша семья, Александр Васильевич? – спросила Тимирева, и у Колчака, словно подрубленные, обвисли руки, он перестал играть и тяжело вздохнул.

– Аня, – укоризненно проговорил Тимирев, – любопытство – порок...

По лбу Колчака проскользнула легкая судорога, щеки

обвисли, лицо постарело, расстроенно задергались губы.

– Аня, – вновь укоризненно проговорил Тимирев.

Потом, когда они вдвоем шли по затихшему, с синими холодными лампочками, вкрученными в уличные фонари, Гельсингфорсу, Тимирев выговаривал жене:

– Ты с ума сошла – задавать такие вопросы Колчаку, Аня... Где твой такт? Где твоя интеллигентность? – Тимирев произносил очень безжалостные жесткие слова, но они не обижали, так как их смягчал сочувственный тон. – Софья Федоровна Колчак попала в Любаве под обстрел – немцы еще в начале августа пытались превратить Любаву в кучу головешек... Софья Федоровна бежала оттуда с детьми, бросила все, что было нажито. Увезла с собою только два чемодана. Все остальное погибло. Младшая дочка Колчаков Рита сейчас умирает. Вряд ли ее удастся спасти...

– Я этого не знала, – потрясенно прошептала Анна Васильевна.

– Тут и знать ничего не надо, у Колчака же все написано на лице, – продолжал выговаривать Тимирев. – Без всяких слов все понятно. Не знала... – передразнил он жену.

Аня Тимирева молчала. Гневные слова мужа куда-то исчезли – словно испарились, она перестала слышать Сергея Николаевича – думала о Колчаке. И виноватой себя перед мужем не чувствовала.

Через три дня, отправляясь назад, в Петроград, Тимирева сказала Сергею Николаевичу:

– Я готова переехать в Гельсингфорс.

– Обязательно переедешь. Но не раньше весны. Сейчас тебе здесь нечего делать. Квартира Подгурского тебе понравилась?

– Да.

– К весне она освободится. Вот тогда мы в нее и переедем. Лучше квартиры в Гельсингфорсе нам не найти.

Аня Тимирева почувствовала, что ее уже сейчас тянет к Колчаку, заранее предугадывала, что наступит момент, когда она не сможет с собою бороться и жить без этого низкорослого широкоплечего каперанга, [127]и страшилась этого момента. Ей хотелось все вернуть назад, на круги своя, но она понимала, что никогда уже не сможет повернуть время вспять, и вообще на свете нет силы, способной заставить сделать это.

– Понятно? – вновь спросил муж.

Вопрос до нее не донесся, угас в пространстве, но тем не менее Аня Тимирева послушно кивнула.

Война набирала обороты. В Гельсингфорсе поговаривали, что Колчак скоро получит черного орла на плечи, [128]станет адмиралом, но все это были лишь разговоры – он пока продолжал

носить погоны капитана первого ранга.

Февраль 1915 года был вьюжным, снег валил на землю из всех щелей, морозы, случалось; загоняли все живое в укрытие, но силы особой они не имели – быстро выдыхались. Тогда наступала оттепель.

Обычно замерзающая на зиму Балтика то покрывалась тонким серым льдом и дышала на людей холодом, то, напротив, во все проломы сочилась паром, наморочной мокретью, заставляла моряков чистить носы прямо за борт и ругать германцев:

– Вот медноголовые! Фрицы они и есть фрицы! Не было их в наших краях – и климат здоровее был. Пришли в своих коровьих касках – и климат испортили.

Германский флот, надо заметить, вел себя сдержанно – сидел в основном берегов Швеции, спеленутый русскими минами. Из многих попыток немецкого флота прорваться к русским берегам удалась, если честно, только одна, да и та закончилась для капитана-цур-зее Виттинга, командовавшего вылазкой, плачевно: оглушенный, вымокший до нитки, сплющенный страхом и совершенно невероятным числом потерь, он едва остался цел.

Капитан-цур-зее несколько раз едва не отправился на дно Балтики, но ему повезло – он остался жив. Хотя многим, кто ходил вместе с ним в прорыв к русским берегам, повезло меньше – всех успокоили колчаковские мины. Мины эти, искусно поставленные, возникали там, где их еще десять минут назад не было – из глубины всплывали страшные рогатые бочки и старались немедленно подсунуться под форштевень, [129]будто были снабжены специальными присосками.

Добычей же мощной германской флотилии стали всего несколько дачных домиков, в пыль разнесенных крупнокалиберными снарядами, отлитыми из первоклассной крупповской стали, [130]и все. Было отчего печалиться и плакать капитану-цур-зее.

Десятая флотилия – лучшее соединение в военно-морских силах Германии – перестала существовать.

Командующий германским флотом гросс-адмирал принц Генрих Прусский был вынужден приказать своим подопечным не высовывать носа в море и тем более – не подходить к русским берегам, пока не отыщется рецепт, как бороться с проклятыми минами.

А вот русские свои набеги на германскую территорию устраивали регулярно. Собственный берег был прикрыт надежно, кроме мин имелось кое-что еще – в частности, за минными ограждениями постоянно курсировал линкор «Слава», орудия

которого были способны прошибать насквозь любую броню – в бортах миноносцев, например, оставлял такую дырку, что в нее запросто можно было просунуть голову, полюбопытствовать, чем начинена эта плавающая штуковина, а затем сквозь пробоину в другом борту детально рассмотреть морской горизонт. Для дальних походов линкор не годился, но плавучая батарея из него получилась превосходная. В том насморочном, промозглом, странном – в смысле погоды, оттепелей и морозов – феврале флаг-капитан Колчак отобрал четыре миноносца для похода в Данцигскую бухту – вон куда решил сходить, в святая святых германского флота, чьи адмиралы были твердо уверены, что русские здесь никогда не поставят свои отвратительные мины… Просто не осмелятся.

Наивное заблуждение. Колчак ходил буквально везде – в любом углу Балтики он чувствовал себя как дома. Под новый, 1915 год он, например, благополучно миновав остров Борнхольм, очутился аж под Карколи, преспокойно оставил в тамошних водах свой рогатый груз и благополучно вернулся домой. Потерь у Колчака – ноль. А у немцев один за другим начали подрываться боевые корабли.

Минирование чужих вод было опасно не только потому, что можно нарваться на вражеские суда – ведь русские миноносцы, особенно устаревшие, с их слабенькой артиллерией, не могли выдержать стычки, – а и потому, что слишком безжалостен был балтийский лед. Стоит ему только зажать где-нибудь корабли, как хлипкая броня миноносцев незамедлительно расползется, и суда пойдут на дно.

Идти во льдах надо умеючи, и из всех балтийских флотоводцев той поры – пусть и в скромном звании, но все же это был флотоводец – только Колчак умел водить корабли во льдах.

Он уже изучил балтийский лед, как свою кожу – знал каждый прыщик, каждую родинку, каждый шрам, оставшийся после пореза. Колчак знал, когда можно идти на лед, производящий впечатление гибельного, способного раздавить, – и приказывал идти, и все заканчивалось благополучно, он знал, когда нельзя даже приближаться, хотя лед производит впечатление хилого, жидкого… Лед обманчив. Обмануть, перехитрить человека для него – плевое дело.

Колчак собрал у себя командиров четырех миноносцев, поинтересовался, как настроение на судах, объяснил задачу и, взмахом руки погасив восторженные улыбки командиров, приказал:

– Завтра в восемь ноль-ноль выходим. Синоптики флота предсказывают снег, он нас хорошо прикроет.

Синоптики прогноз дали точный – в пять утра повалил плотный, угрюмый, совсем не февральский снег, был он картинный, словно на Рождество, и, несмотря на угрюмость, рождал в душе ощущение некоего торжества, того, что человек хоть и является частью природы, но может приподняться над нею, рассчитать выгодную точку, взглянуть на окружающий мир с высоты. Миноносцы в этом снегу бесшумно отклеились от причалов и растворились в белой движущейся пелене, как привидения.

Колчак шел на головном миноносце, стоял в рубке рядом с командиром, растирал кулаком красные, слезящиеся от бессонницы глаза. Это было единственное беспокойное движение, выдававшее его состояние, других движений не было. В Колчаке вообще всегда мало что выдавало беспокойство, он всегда был внешне спокоен. А бессонница – штука понятная: к таким походам, как нынешний, всегда надо готовиться очень тщательно. И Колчак готовился... Отсюда – красные глаза, жжение в висках. Всему этому одно есть название – усталость. И усталость эта не пройдет до тех пор, пока не кончится война.

За штурвалом стоял низкорослый седоватый матрос. Сквозь волосы, будто из глубины, кое-где проступала соль, и седая соль эта была заработана на море – лицо матроса показалось Колчаку знакомым.

К шерстяной блузе рулевого были прицеплены три колодки от Георгиевских крестов и одна колодка от медали участника Русско-японской войны. У Колчака тоже была такая медаль.

– А кресты где же, любезнейший? – с любопытством спросил Колчак у рулевого, поморщился, пытаясь вспомнить: где же он видел это лицо?

– Оставил на берегу, на сохранение. У крестов, ваше благородие, слабые уши, их легко потерять. У медали уши нормальные, но я ее тоже снял. За компанию.

– Для полного георгиевского набора не хватает, значит, одного креста?

– Так точно. Надо заработать.

– Предоставим такую возможность. Чуть правее, – скомандовал Колчак, и рулевой послушно закрутил штурвал, – на полградуса... Стоп крутить!

– Есть стоп крутить! – Штурвал послушно замер в руках рулевого.

– Держать прямо!

– Есть держать прямо! – Рулевой сдвинул любопытный взгляд в сторону, глаза у него были острые, кошачьи. – Вы меня, ваше высокоблагородие, не помните?

– Да вот, пытаюсь вспомнить, да что-то не получается. Голова дырявая стала, – признался Колчак, приподнялся, глядя, как под носом корабля опасно вздыбилась пористая, словно изъеденная, вся в норах, льдина, с железным скрежетом разломилась пополам и исчезла в бутылочной глуби моря.

– Порт-Артур, ваше высокоблагородие. Мы с вами вместе на минзаге японцам мины прямо под нос подкладывали. Помните две взорванные шхуны с десантом?

Все встало на свои места. Колчак вспомнил боцмана с простодырным рязанским – отнюдь не глупым – лицом и редкой способностью видеть ночью. С каким восторгом тот смотрел тогда на подорвавшиеся японские шхуны – на глазах у него даже слезы появились.

– Вы? – изумленно проговорил Колчак, продолжая вглядываться в лицо рулевого.

– Так точно! Унтер-офицер первой статьи Ковалев! – четко, будто на плацу перед выстроившимся флотским экипажем, представился рулевой.

– Боцман с минного заградителя «Амур»?

– Так точно! – подтвердил рулевой. Внес поправочку: – Бывший боцман.

– Боже мой, сколько лет, сколько зим! – растроганно пробормотал Колчак, шагнул к Ковалеву, обхватил его за плечи, прижал к себе. – И сколько воды утекло.

– Так точно, ваше высокоблагородие. Океан и маленькая речка.

– Да, океан и маленькая речка. – Колчака почему-то восхитили эти простые, совершенно бесхитростные слова.

Рулевой тем временем пощелкал ногтем по одной из колодок, обтянутой оранжево-черной, залоснившейся от времени лентой.

– Вы меня к Георгию третьей степени представляли, помните?

Этого Колчак не помнил, но на всякий случай подтвердил:

– Помню.

– Благодарствую за орден. Мне его вручили, когда вы ушли командовать эсминцем.

Было и такое.

– Теперь на полградуса влево, – скомандовал Колчак. Перед миноносцем показалось широкое ледяное поле с замерзшими домиками торосов.

Штурвал в руках Ковалева послушно заскользил влево.

– Так держать!

– Есть так держать! – послушно откликнулся рулевой.

Снег продолжал падать, с шипеньем шлепался в море, таял. Видимость иногда терялась совсем – «видимость – ноль», как

говорят на флоте, – и тогда миноносцы плелись еле-еле; когда «видимость – ноль», запросто можно было влететь в непроходимые льды и пропороть днище.

Так шли до вечера. Снег разредился, в косых шепелявых струях его неожиданно промелькнул серый, хищно придавленный к воде силуэт.

– Стоп-машина! – скомандовал Колчак.

Команду по телеграфу незамедлительно передали на другие миноносцы.

За первым силуэтом снеговую прореху бесшумно прорезал второй. В рубке сделалось холодно.

– Немцы, – неверяще, словно дело имел с привидениями, прошептал рулевой.

– Ну и что из того? – спокойно и нарочито громко проговорил Колчак. – Мы что, немцев не видели, что ли?

– Чуть им свой борт не подставили.

– Неведомо, кому было бы хуже. – Колчак, сощурившись, продолжал следить за пространством. Три тени проскользнули и исчезли. Больше теней не было. Надо запомнить, где у германцев проложена водяная тропка. Пригодится на будущее.

– Да-а, – протянул командир миноносца, стоявший рядом.

– Малый вперед! – скомандовал Колчак.

Командир миноносца, не покидавший рубку – он так же, как и рулевой, все время находился рядом с Колчаком, – передвинул рукоять телеграфа со «стопа» на «малый».

Было слышно, как в стальном гулком корпусе заработала машина, с бурчаньем провернулись винты, и миноносец тихо пополз вперед.

Германские корабли прошли по самой кромке ледового поля, их впередсмотрящие, уверенные в том, что со стороны гибельного крошева вряд ли кто появится, на это ледяное месиво даже не глядели, словно им лень было повернуть голову.

Дальше начиналась чистая вода. Колчак посмотрел на часы: до Данцигской бухты таким ходом, каким они шли, скрестись еще не менее суток. Но спешить нельзя.

– Прибавить ходу! – скомандовал Колчак; командир миноносца послушно продублировал команду телеграфным звяканьем, снизу, из машинного отделения, пришло ответное звяканье – поняли, мол...

Через несколько минут вновь повалил густой рождественский снег, и миноносцы скрылись в нем.

Первые мины они поставили на следующую ночь – бросали в воду огромные круглые бочки, угрожающе выставившие во все стороны свои страшные, позеленевшие от окиси медные рога.

Потом высыпали в воду еще одну партию мин – подгоняли их на бесшумных, хорошо смазанных вагонетках к борту, освобождали длинные, сплетенные в кольца минрепы и, сверившись по карте с глубиной, отправляли в Балтику. Хорошо, Балтийское море – мелкое, тут нет таких глубин, как у берегов Китая и Японии, минировать легко. И ставить мин можно много больше, чем там.

Колчак по-прежнему не покидал командного мостика, не уходил даже на обед, кофе с бутербродами ему приносили прямо сюда – каперанг требовал заваривать кофе как можно крепче, но старший офицер пожаловался ему: «У нас, Александр Васильевич, не кофе, а пшено, им только голубей кормить. Сколько ни заваривай – все на суп походить будет», и тогда Колчак сходил к себе в каюту, достал из баула маленький мешочек настоящего «мокко» – последнее, что у него сохранилось, – из-за войны кофейные поставки в Россию сократились донельзя, – отдал старшему офицеру: «Распорядитесь, голубчик!»

Старший офицер незамедлительно передал коку приказ «самого Колчака»:

– Заваривайте так, чтобы у капитана первого ранга на глаза слезы наворачивались! Чтобы крепче черного перца было!

На кофе, только на нем Колчак и держался. Лишь щеки ввалились от усталости и бессонницы, да жгуче краснели глаза. А в остальном Колчак был неутомим.

В очередную свою вахту у штурвала Ковалев глянул цепко, оценивающе на Колчака, покачал головой укоризненно, словно поймал его на чем-то худом, и произнес:

– Вы бы отдохнули, ваше высокоблагородие! На вас лица нет!

– На том свете отдохнем, Ковалев! А пока, увы!

– Вы так загоните себя, ваше высокоблагородие! Никому от этого пользы не будет – ни нашим, ни вашим!

Покинул командный мостик Колчак, лишь когда были поставлены все мины и корабли, выстроившись гуськом, в одну линию, направились домой.

Когда подходили к Гельсингфорсу, Колчак вновь поднялся на командный мостик. Вгляделся в снежную мгу и поймал себя на том, что он думает о Тимиревой. Многие считали ее красивой, очень красивой, Колчак тоже считал так, но красота для него не была главной – всякая женщина, кроме красоты, должна иметь еще и тайну. А тайна есть, к сожалению, не у всякой женщины.

У Анны Васильевны Тимиревой эта тайна была. На губах Колчака возникла далекая улыбка и в следующий миг исчезла. Лицо помрачнело. Ни Анны Тимиревой, ни жены его, Софьи Федоровны Колчак, в Гельсингфорсе не было.

В штабе флота Колчака ожидала новость – плохо почувствовал себя командир Минной дивизии адмирал Трухачев, как бы он совсем не свалился с ног. Если свалится – Минную дивизию придется принимать Колчаку.

Штабной автомобиль привез Колчака домой, в угол, который он снимал, и там капитан первого ранга впервые за последнюю неделю выспался.

Проснулся утром, выпил чашку кофе – малые запасы «мокко», оставшиеся у него, он теперь растягивал, как мог, – съел пару бутербродов с твердым сыром, затем, неожиданно по-мальчишески засуетившись, подскочил к зеркалу – посмотреть на себя... Внешностью своей Колчак был доволен: выспавшись, он посвежел, кожа на гладко выбритых щеках порозовела.

Раньше флотские офицеры обязаны были носить усы и бороду – таково было высочайшее повеление, исходившее едва ли не от Петра Первого и ревниво оберегаемое его потомками, сейчас – только усы, но, если честно, Колчак с удовольствием сбрил бы и их.

Усы у него были аккуратные, без излишеств – ни легкомысленных завитушечек-колец, ни длинных, прямых, будто скрученных из проволоки концов, – ни того, ни другого, ни третьего, не усы, а обычная уставная принадлежность.

Колчак усмехнулся и подмигнул себе в зеркало.

Всего отрядом Колчака в том походе было поставлено двести мин – и для Балтики, и для Данцингской бухты это в общем-то немного. Но Колчак знал, где ставить мины: на его рогатых сюрпризах подорвались четыре германских крейсера, восемь миноносцев и одиннадцать транспортов. Такого высокого счета на две сотни мин не было ни у кого, ни у одного минера в мире.

Командующий германским флотом на Балтике принц Генрих Прусский был взбешен.

В апреле из Питера в Гельсингфорс вместе с сыном Одей приехала Анна Васильевна Тимирева. Сергей Николаевич уже переселился в уютную обжитую квартиру Подгурского, Аня как и квартирой, так и обстоятельством этим чрезвычайно была довольна: не надо ничего подправлять, ремонтировать – это в военную пору очень накладно, да и не найти толковых мастеровитых рук – это практически невозможно. От обстановки Подгурского осталась часть мебели – значит, и этим не надо было заниматься, и сама квартира находилась в удобном месте – на бульваре, недалеко от моря; во время шторма ветер доносил до окон соленые брызги. Ночи в апреле были бледными, без звезд, пронизанные запахом цветущей сирени – почему-то они источали

именно этот кружащий голову запах.

На бульваре росли высокие каштаны, в апреле на ветках набухли крупные смуглые почки, и у Тимиревой при виде их возникало щемящее радостное чувство, она не понимала, в чем дело – может, от сознания того, что почки символизировали рождение новой жизни? Тимирева, не сдерживая улыбки, оглядывалась по сторонам – не видит ли кто, и забиралась на какую-нибудь скамейку, чтобы можно было дотянуться до ветки и сорвать тугую твердую почку.

Она растирала почку пальцами, принюхивалась к ней – та пахла сиренью, и Тимирева радостно улыбалась. Несмотря на войну, на потери, на то, что Сергей Николаевич мотался по кораблям, попадал в разные передряги и в любую минуту мог быть убит, ей было радостно. Почему это было так, Тимирева не понимала.

Одя тоже радовал ее – научился четко, будто взрослый человек, выговаривать два слова «мама» и «папа». Следом – слово «хахар». И – рисовал. Рисование стало неотъемлемой частью его бытия.

Анна Васильевна была молода, не позволяла, чтобы душа ее сохла, словно осенний лист, без мужского внимания, иногда она признавалась Сергею Николаевичу, что в ней сидит что-то бесовское. Тот, принимая слова жены за обычный молодой бред, который должен будет скоро пройти – это Тимирев знал по себе, все-таки он был старше жены, – лишь усмехался беспечно и с высоты своего возраста успокаивающе махал рукой.

– Все проходит… Абсолютно все. Пройдет и это.

Тогда же, весной, в Гельсингфорс переехала и семья Колчака. Подходящей квартиры для Софьи Федоровны не нашлось, селиться в том убогом углу, который снимал Колчак, семье было неприлично, и капитан первого ранга, человек небогатый, решил пойти на траты и снять номер в гостинице.

Гостиница была тихая, деревянная, уютная, со скрипучими полами и уютным таинственным треском, раздающимся в простенках – там жили домовые.

Номер Софье Федоровне понравился.

А летом они сняли дачу на живописном острове Бренде. Соседями их оказались Тимиревы. Тимиревы и Колчаки часто общались.

Анна Васильевна впоследствии написала так: «Я была молодая и веселая тогда, знакомых было много, были люди, которые за мной ухаживали, и поведение Александра Васильевича не давало мне повода думать, что отношение его ко мне более глубокое, чем у других».

Ничто не предвещало того, что эти люди, эти двое – Колчак и Тимирева – пойдут на все, чтобы разрушить свои семьи и соединиться. Причем соединиться не в церкви, под благословение батюшки, а в постели, едва ли не по-походному. Походная жизнь эта продолжалась без малого пять лет.

Видимо, бывают моменты, когда чувства подминают разум, делают людей безвольными – причем происходит это и с характерами очень сильными, в том числе и такими, как у Колчака.

Он пробовал бороться со своим увлечением, с тягой, лишившей его сна, но все было бесполезно: чувства оказались сильнее его.

Адмирал Трухачев все-таки слег – здоровье у него оказалось изношенным за годы скитаний по морям, и Колчак принял на себя командование Минной дивизией. Вначале на время – вдруг Трухачев поднимется, но Трухачеву становилось все хуже и хуже, и вскоре стало ясно, что контр-адмирал в строй уже не вернется, Колчаку придется «сесть на дивизию» постоянно.

Утверждение его в этой должности произошло стремительно – в два коротких дня: Колчака слишком хорошо знали в штабе морского ведомства.

Осень под Питером, на Белом море, в Финляндии всегда бывает пронзительно резкой, со свистящими ветрами и долгими изматывающими дождями, в которых стынет не только тело, но и душа. Гельсингфорс быстро потерял свою прелесть, стал неуютным, чужим. На столбах горели мертвенно тусклые, синие лампы. Они не были видны не только сверху, с бесшумно пролетающих над городом «цеппелинов», [131]но и снизу.

Подняв воротник шинели и промокнув едва ли не насквозь, Колчак шел в гостиницу – он теперь больше времени проводил в Ревеле, где находился штаб Минной дивизии, а не в Гельсингфорсе; в Гельсингфорсе он бывал только наездами и подумывал о том, что Софью Федоровну со Славиком надо будет тоже перевезти в Ревель. [132]

Недавно не стало Риты, Колчак, когда думал о ней, слышал сухие внутренние взрыды – в груди что-то хрипело, глаза жгло; спасти девочку не удалось – морские медики, лечившие ее, оказались бессильны. Рита умерла. А еще раньше не стало Кати – другой дочки Колчака.

Под ботинками хлюпала холодная осенняя мокреть, трижды встретились патрули, один раз начальник патруля, пожилой мичман, похожий на учителя гимназии, готовящегося уйти на пенсию, повернул было к Колчаку, но, увидев погоны капитана первого ранга, молча козырнул и зашлепал по лужам прочь, разбрызгивая во все стороны воду. Матросы с винтовками шли с ним рядом, плотно сжав мичмана с боков и грозно выставив перед собой штыки винтовок. Через несколько секунд они исчезли в темноте.

Промокшие ботинки неприятно хлюпали, ногам было холодно, Колчак подумал о том, что вот-вот заболеет. Единственное спасение – чашка крепкого кофе, а следом за кофе – стакан чаю с молоком и медом. Хотя вряд ли молоко и мед есть у Сони. Значит, тяжелый затяжной насморк с головной болью обеспечен. Придется молоко и мед заменить коньяком – насморк будет, но не такой тяжелый.

Шмыг-шмыг, шмыг-шмыг, – рождая тяжелые воспоминания, шлепали ботинки, разгребающие лужи, Колчак шел, не разбирая дороги, – по лужам, так по лужам, при этом могильном свете все равно ничего нельзя было разобрать. Человек в такой вязкой удушливой мгле делается слепым.

Неожиданно впереди возникла женская фигурка. Колчак не выдержал, громко хмыкнул: слепота хоть и имеет место быть, но она половинчатая, куриная. Ведь разглядел же мичман, начальник патруля, его погоны...

Он подумал, что фигурка сейчас метнется в сторону и исчезнет, как видение, но она не исчезла – какая-то запоздалая незнакомка продолжала двигаться по тротуару навстречу Колчаку. «Боже, а ведь я совсем отвык от женщин, – подумал он устало, – с матросней все, да с матросней. Надо же – идет женщина и не боится. В военном городе, в военную пору, среди военных людей. Здесь ведь все может случиться...»

Колчак приблизился к женщине и удивленно воскликнул:

– Вы?

Женщина с улыбкой остановилась перед ним и, будто горничная перед барином, сделала книксен.

– Я.

– Господи, Анна Васильевна, это так опасно – одна в ночном городе. А где ваш муж?

– Сергей Николаевич заседает в штабе, возможно, там останется и ночевать. Я ему носила горячую еду.

– В судках, конечно. Как солдату, сидящему в окопах? – Колчак не сдержал улыбки. Но в улыбке этой не было ничего насмешливого, скорее наоборот – сочувственное, располагающее к откровению.

Колчак умел улыбаться – улыбка преображала его лицо, даже кожа светлела на щеках. Он неожиданно виновато посмотрел себе под ноги.

– Мужчины воюют, а женщины переживают за них. Вы промокли? – В голосе Тимиревой появились сочувственные нотки.

Вместо ответа Колчак приподнял и опустил плечо, недовольно отметил: привязался откуда-то этот жест – приподнимать и опускать одно плечо, – надо обязательно освободиться от него. Хотя говорят, что жесты – вторая натура и освобождаться от них чрезвычайно трудно.

– Пустяки. – Он снова приподнял плечо и потерся о него щекой. – Каждый раз, когда я подхожу к Гельсингфорсу и вижу с командного мостика дома из красного кирпича, я думаю о вас – увижу или нет? Сегодня мне повезло.

– Александр Васильевич, Александр Васильевич... – Тимирева

подняла указательный палец и погрозила им Колчаку, будто нашкодившему мальчишке. – Не лукавьте.

– Совершенно не думаю лукавить. Ни на грош. Я говорю правду.

– Александр Васильевич! – Голос Тимиревой дрогнул, в нем возникло нечто незащищенное, беспомощное, она хотела сказать что-то еще, но не смогла, смутилась, закашлялась, голос у нее пропал.

– Я не знаю, что со мной происходит, – признался Колчак, – я пытаюсь запретить себе думать о вас, нещадно ругаю себя, если вы вдруг появляетесь в мыслях, и вместе с тем ничего не могу с собою поделать. Это сильнее меня. Иногда я даже о жене перестаю думать – думаю только о вас. Что это, Анна Васильевна? Болезнь? Наваждение? Как мне быть? – Колчак говорил горячо, путаясь в словах, – и это было неожиданно для него, как был неожиданностью и для нее весь этот разговор.

В мужской среде – а в кругу морских офицеров особенно – существует моральный запрет, который неукоснительно соблюдается, – не прикасаться к женам своих товарищей. Даже не глядеть в их сторону. Колчак этот запрет нарушил – он открылся, он практически признался в любви жене своего товарища – своего старого друга, которого очень хорошо знал. Знал едва ли не с юношеской поры, с Морского кадетского корпуса... Колчак поморщился про себя: «Ах, Сережа, Сережа», но на лице его ничего не отразилось.

Лицо было мокрым, словно Колчак плакал, стыдился проступка, который он совершил.

Тимирева молчала – она, похоже, тоже была ошеломлена признанием.

– Как мне быть? – переспросил Колчак. – Отказаться от вас?

Тимирева продолжала молчать. Опустила голову, копнула носком ботинка какой-то камушек на мостовой, вздохнула. Молчание оказалось затяжным. Колчак почувствовал в груди тихую боль, еще что-то щемящее, задержал в себе дыхание. Было слышно, как шипит в пузырящихся лужах мелкий дождик.

Когда Тимирева подняла голову, ее лицо тоже было мокрым.

– Не отказывайтесь, – наконец проговорила она. Проговорила совершенно беззвучно, ее голос слился с голосом дождя. – Пожалуйста, Александр Васильевич.

Колчак подумал о том, что в эту минуту он находится на распутье, у некоего верстового столба, от которого дорога может повести в одну сторону, и тогда его жизнь будет иметь один «сюжет», может повернуть в другую сторону, и тогда сюжет будет совсем иной, может быть и другой вариант...

Через две минуты они расстались.

Вечером они встретились вновь. У капитана первого ранга Штуббе, отмечавшего свой день рождения. Сергей Сергеевич Штуббе устроил этот праздник на широкую ногу, с довоенным размахом – из рефрижераторной установки своего крейсера достал ящик шампанского и двенадцать банок консервированных ананасов. На день рождения к нему приехал даже Эссен, с веселым видом расчесал пальцами рыжую бороду, из ящика выдернул бутылку с шампанским и щелкнул пальцем по холодному темному боку:

– Однако шикуете, батенька!

Штуббе промолчал.

Пробыл Эссен недолго. Когда он, уезжая, натягивал в прихожей на ботинки старомодные галоши, хозяин пожаловался ему:

– Я опасаюсь за свою жизнь, Николай Оттович! И за жизнь своего старшего офицера фон Бека тоже. На корабле среди матросов очень сильны антинемецкие настроения. Еще немного – и матросы будут расправляться с нами. – Добавил: – Не только с нами – со всеми офицерами, которые носят немецкие фамилии.

– А что я могу сделать? – Эссен потрепал пальцами свою рыжую бороду. – Я сам имею приставку к фамилии, противную приставку «фон» и нахожусь в таком же положении, как и вы. Я – немец. Выход вижу только в одном – в безупречном служении России. Когда матросы увидят это – отстанут.

Эссен знал, что говорил. Фамилия Колчака тоже была далека от русских корней, но тем не менее авторитет его на флоте был необычайно высок.

Тимирева была рассеянна, задумчива, вяло ковырялась вилкой в дольках ананаса и иногда через стол улыбалась Колчаку. Тот молчал. Произнес только короткий тост в честь именинника и снова замолчал. Он думал о Тимиревой, о том, что он сам себе устроил непростую жизнь. За столом находилась и Софья Федоровна – молчаливая, с осунувшимся лицом, еще не пришедшая в себя после смерти дочери, и Сергей Тимирев – как всегда, беспечный, ничего не подозревающий, он веселил публику, рассказывал анекдоты про кайзера. Это было очень модно – рассказывать анекдоты про кайзера.

Про жену свою Тимирев, похоже, забыл – ни разу не повернулся к ней, будто он существовал сам по себе, а она – сама по себе. Потом, поднявшись, наконец-то наклонился к Анне Васильевне:

– Извини, мне надо в штаб. Ты доберешься домой без меня?

Та словно очнулась, вздрогнула, потом взяла себя в руки,

улыбнулась мужу:

– Конечно, доберусь. Не тревожься!

Тимирев отбыл. Колчак сразу почувствовал, что ему стало легче дышать. Но, с другой стороны, ему сделалось хуже, он понял, что сейчас любой его жест, любое проявление внимания к Ане Тимиревой сильно ударит по чести Сергея Николаевича. И по его собственной чести тоже.

Но изменить что-либо Колчак уже не мог. И хотя они жили каждый в своей семье – Анна Васильевна в своей, а Колчак в своей, – но в действительности этих семей уже не было.

Война шла. Колчак воевал лихо, с выдумкой. Минная дивизия при нем расцвела. За всю войну у Колчака была только одна неудача – зимой 1915 года он попытался поставить минные заграждения у Любавы и Мемеля, но не смог этого сделать – подорвался один из миноносцев.

Корабль набрал много воды, но не затонул. Его удалось на буксире притащить домой, в Ревель.

Ночью, совершенно невидимый в вязкой черной мгле, за несколько часов Колчак поставил мины у Виндавы, [133]которую немцы превратили в стоянку для своих кораблей. Набивалось их в тамошней бухте, как селедок в бочке, особенно в ночное время – ночью немцы по Балтике ходить боялись.

Утром в Виндавской бухте начали греметь взрывы – вначале подорвался миноносец, за ним задрал вверх нос второй – только железные детали в небо полетели, отдельные части достали даже до облаков и проткнули их, как пули, потом в воздухе оказался новенький крейсер последней модели. Немцы испуганно притихли: неужели русские сумели залезть к ним и сюда, так сказать, за пазуху? Выходило, что так.

Следом подорвался еще один миноносец. Немцы приуныли совсем.

Если на суше война переломилась в их пользу – «немаки» теснили русские полки на всех фронтах, заваливали их снарядами, рты заливали свинцом, чтобы солдаты в серых шинелях не кричали протяжное, ненавистное для немецкого уха «ура», душили газами, то на море они проигрывали.

Особенно успешно они начали действовать после того, как царь Николай Александрович Романов под давлением Гришки Распутина изгнал из главного армейского кресла великого князя Николая Николаевича и сам принялся руководить военными действиями. Великий князь был профессиональным военным, генералом – подчеркиваю – генералом, а царь – полковником. Звание, которое предполагает командование полком, не больше. Но Николай Александрович стал Верховным

главнокомандующим. [134]

И начал проигрывать драку за дракой. На фронтах из-за ошибок, допущенных Ставкой, легли тысячи людей.

Хорошо, что у царя хватило ума не лезть в дела флота – тут, в «морской епархии», он совсем ничего не смыслил. Иначе и на море русский флот ждали бы одни неудачи. А пока все здесь шло ни шатко, ни валко. Там, где операции откровенно продували стратеги, вроде царя и главного российского штабиста генерала Алексеева, положение порою выравнивали солдатские штыки: все-таки штык русский всегда был крепче штыка прусского.

А вот на море немцы никак не могли переломить ситуацию – их все время поджидали неприятности. И они призывали небесные силы себе в помощь, требовали, чтобы те примерно наказали русских адмиралов Эссена и Колчака, Бахирева и Максимова. [135]

И хотя Колчак еще не был адмиралом, немцы ему досрочно прилепили на погоны черного орла – слишком уж допекали их колчаковские мины, слишком уж с великим уважением и великой ненавистью относилось к нему германское командование.

Контр-адмиралы носили в ту пору по одному орлу на эполетах, вице-адмиралы – по два, адмиралы полные – по три. Хотя в табели о рангах у моряков званий было едва ли не в половину меньше, чем у сухопутных. А это значило, что и давали их гораздо реже, тому пример и Колчак, который сколько времени проходил в лейтенантах, – но и волокиты было больше.

Впрочем, Колчак еще некоторое время походил и в капитан-лейтенантах – это звание на короткий срок было введено в России, но потом его упразднили, и Колчак снова оказался в лейтенантах.

Финский залив – маленький, «управлять» им легко, а вот Рижский залив – совсем иное дело, он – огромный, спрятаться там проще пареной репы, но Колчак и тут стал своим человеком и отсюда вытеснил «немаков» – кайзеровские корабли в конце концов перестали появляться и в Рижском заливе.

На суше дело становилось все хуже: немцы предприняли ряд толковых маневров и начали теснить правый фланг двенадцатой армии, загибая его в свиное ухо и открывая путь на Ригу, взобрались на несколько важных высот, оседлали их, поспешно укрепили, чтобы упрямцы-русские не вышибли своими контратаками, и оттуда принялись без всяких биноклей разглядывать Ригу.

Германские генералы не просто разглядывали тающие в сером тумане островерхие макушки тамошних колоколен, они уже облизывались, глядя на них, – Рига попала к ним в рот,

осталось только надавить на нее зубами... Хорош был кусочек! До взятия Риги оставалось совсем немного, один небольшой натиск, пара часов драки – и все, Рига съедена.

Но одно дело – разглядывать город и облизываться, и совсем другое – съесть ослабшую. Хотя Кеммерн немцы, например, стрескали в один присест, с ходу, без всяких хлопот. А Кеммерн – это ключ от Риги, подступ к ней.

Колчаку в этой ситуации было понятно одно: Ригу отдавать нельзя. Какие планы на этот счет были у командующего двенадцатой армией и его штаба, Колчак не знал, но одно понимал, что потеря Риги могла изменить весь ход войны. Отдавать город нельзя. А Кеммерн нужно было брать обратно. Вот такая простая арифметика, с которой столкнулся Колчак. Помощи ждать было неоткуда, и Колчак решил действовать самостоятельно, маневрируя только теми силами, что у него имелись под рукой – старым линкором «Слава» и несколькими эсминцами, – взаимодействуя, естественно, с армией.

От воды поднимался туман, стелился, будто дым, над поверхностью моря, уползал понизу в сторону, растворялся в серой, схожей со студнем, пелене. Пепельно-желтый берег то возникал из клочьев тумана, словно прорывая его насквозь, то пропадал. Колчак перебрался в боевую рубку «Славы», прошелся биноклем по берегу, нащупал среди песчаных дюн несколько немецких орудий с хищно вытянутыми стволами – крупповские пушки были готовы плеваться снарядами и картечью в наступающих русских солдат.

Но солдаты пока не наступали, и немецкие пушки молчали. Колчак опустил бинокль, повернулся к старшему штурману линкора и показал глазами на берег.

Тот все понял без всяких слов – пушки хоть и растворялись в песчаной мути, но штурман хорошо видел их невооруженными глазами.

– Их надо превратить в песок, – сказал Колчак, протер глаза, будто туда попала пыль, и заскользил биноклем по берегу дальше, задерживая взгляд на зеленых куртинах деревьев, похожих на кучи тряпья, брошенного на горбушки гигантских дюн, и плоские серые проплешины, в которых, говорят, человек мог скрыться с головой и никогда оттуда не выбраться. Это были гибельные зыби.

Он нашел еще две батареи, попросил штурмана нанести координаты на карту.

Со стороны моря, беззвучно вытаяв из слоистого пространства, приплыл огромный серый дирижабль, увидел линкор с Андреевским флагом на корме и будто споткнулся о

что-то, завыл моторами, пробуя отвернуть в сторону, но не тут-то было – управление заело, и «цеппелин» продолжал двигаться на линкор.

– Пощекочите-ка его из «эрликонов», – предложил Колчак артиллеристам.

На линкоре звонко затявкали две скорострельные пушчонки, стеклянный многослойный звук их сверлом ввинтился в уши. Колчак поморщился, но глаз от бинокля не оторвал.

В боку дирижабля образовалось несколько рваных дыр, из них выхлестнул черный масляный дым, будто форсунки дирижабля залило сырой нефтью, следом за дымом показались острые, как ножи, хвосты пламени, и через несколько секунд полыхал уже весь «цеппелин» – по небу плыл огромный, страшный, с широким черным шлейфом костер, плюющийся горящими клейкими ошмотьями.

На носовой палубе линкора вверх полетели матросские бескозырки.

– Смерть германским обезьянам! – дружно проорало сразу несколько глоток.

Колчак поморщился – не любил анархии и самодеятельности: глотками германца не одолеть.

Из кабины дирижабля с сорочьим, хватающим за душу криком вывалился человек и, ярко полыхающий, раскинув руки в обе стороны крестом, понесся вниз, камнем врезался в воду метрах в пятидесяти от линкора.

– Человек за бортом! – послышался заполошный крик какого-то сердобольного матросика.

– Отставить! – На лице Колчака, утяжеляя его, делая резким, возникли две крупные складки, пролегли от носа к подбородку. – Нет никакого человека за бортом!

Выпавший из кабины «цеппелина» пилот на поверхности моря не показался.

Дирижабль с воем проплыл над берегом, над немецкими батареями, разбрызгивая вокруг себя пламя, вонючую резину, которая, если шлепнется жидким расплавленным куском на живого человека, то навсегда обратит в резину его самого, раскаленные железяки от разваливающегося мотора, и ухнул в серый зыбучий песок.

Над дюнами вспыхнул оранжевый костер, до линкора донесся звук взрыва, и все смолкло.

Эсминцы обогнули линкор с обеих сторон и выстроились вдоль берега в одну линию. Колчак приказал передать на эсминцы координаты германских батарей.

– Как только пехота пойдет в атаку – батареи должны быть

подняты в воздух. – Он еще раз прошелся биноклем по артиллерийским точкам немцев и добавил: – Чтобы ни колес не осталось, ни стволов, ни касок на дурьих головах у этих задастых битюгов.

Через час над серым рижским небом распустились несколько красных шрапнельных зонтиков, и русские, словно уходя из-под горячего свинцового дождя, широкой лавиной, как муравьи, покатились по песку, полезли на сыпучие макушки дюн.

До линкора донесся частый стук пулеметов – будто десятка три человек дружно застучали от холода зубами.

Над немецкими батареями вспухли темные облака – от выстрелов в воздух поднялась песчаная пыль, перемешалась с пороховым дымом, накрыла батареи.

Снаряды посшибали с дюн макушки. Они зарывались в песок, опрокидывали навзничь вековые сосны, калечили людей, накрывали их, душили в своей жаркой вони. Несколько чугунных чушек ушли в сторону Риги, но до города не дотянули, спеклись в пути, пошлепались на землю. За первым залпом батареи дали второй, темная пыль поднялась еще выше.

– Пора! – скомандовал артиллеристам Колчак.

Такого здешние берега, наверное, еще не видели, от залпа кораблей море, кажется, поменялось с ними местами, а кое-где вообще опрокинулось навзничь, вода потекла к облакам, небо сделалось мокрым. Крутая волна навалилась на песок, слизывая с него мусор, тряпки, брошенные каски и пустые снарядные ящики, смахнула несколько человек, накрыла их маслянистой грязью; за первой волной пришла вторая, более высокая и гибельная, она умудрилась смыть в залив даже лошадь, увязшую в песке под крутой горбатой дюной.

Корабельные орудия били точно. Одна из батарей окуталась дымом. Когда дым рассеялся, батареи уже не было, от нее просто ничего не осталось, лишь огромная, вытянутая, как окоп, глубокая воронка, вырытая двумя снарядами, легшими рядом, да окровавленное тряпье, разбросанное по сторонам. За первой батареей погибла вторая. Потом – третья.

Немцы остались без артиллерийской поддержки, дрогнули и побежали. Сзади, удаляясь от Риги широкой цепью, обгоняемые уланами, гусарами, казацкими сотнями, их подпирали пехотные роты.

Конники, взмахивая саблями, врубались в ряды бегущих, кромсали «немаков», будто лапшу, потом отворачивали в сторону, чтобы собраться с духом, взять германцев в кольцо и вновь рубить как капусту, приготовленную для засолки.

К вечеру был освобожден Кеммерн. Всюду, куда ни глянь,

лежали немцы с раскинутыми руками, с бескостно подвернутыми ногами – трупов было много: сотни, тысячи, несметное число тел, начавших стремительно разлагаться. Валялись ранцы и винтовки, убитые лошади и превращенные в щепки повозки, пулеметы, сковырнутые с длинных треног, и опрокинутые пушки с собачьими мордами, нарисованными на щитах, и тупыми, ровно бревна, отпиленными короткими стволами. Особенно много валялось везде касок, обтянутых телячьей кожей, которыми так гордились пруссаки – слишком уж нарядны были у них каски: с блестящими, как у пожарников, налобниками и острыми шишкарями на макушках.

Каски «украсили» песок кеммернских предместий. Не будь их, пейзаж битвы был бы совсем ужасным.

Потери, понесенные немцами, еще предстояло подсчитать. Хотя и без подсчетов уже было понятно, что так здорово по носу немцы в последнее время еще не получали.

И благодарить за этот воинский успех надо было не пехоту, не лихих всадников – мастеров разваливать бегущего фрица от шишака до копчика, а Балтийский флот, бригаду кораблей, которой командовал капитан первого ранга Колчак.

Через несколько дней, поздним вечером, когда горнисты на кораблях протрубили отбой, дежурный офицер Фомин принял телефонограмму из Ставки Верховного главнокомандования.

«Передается по повелению Государя императора капитану 1 ранга Колчаку. Мне приятно было узнать из донесений командарма-12 о блестящей поддержке, оказанной армии кораблями под вашим командованием, приведшим к победе наших войск и захвату важных позиций неприятеля. Я давно был осведомлен о доблестной вашей службе и многих подвигах. Награждаю вас Святым Георгием четвертой степени. Николай».

Орден Святого Георгия был высшим воинским орденом в России той поры.

Ночью, когда Колчак уснул, Фомин, давно уже восхищавшийся капитаном первого ранга, взял его тужурку, которую стали называть по-чиновничьи тускло «пальто», и нашил на нее георгиевские ленточки.

Работу свою Фомин оценил на пять, повесил куртку на деревянные плечики, отошел на несколько шагов и произнес довольно: «Теперь Александру Васильевичу надо готовить новые погоны. Адмиральские».

Он как в воду глядел.

Анна Васильевна Тимирева оказалась женщиной ревнивой. О ее романе с Колчаком знали уже многие – да, собственно, едва ли

не вся Балтика. И если Колчак умел скрывать свои чувства – никому не было видно, что рождалось в его душе, то Анна Васильевна не скрывала ничего, словно полагала, что ей нечего терять.

А ей, в отличие от Колчака, как раз было что терять.

Сергей Николаевич Тимирев, как всегда оказывается в таких случаях, продолжал пребывать в счастливом неведении: муж об измене жены всегда ведь узнает последним. Увы, так было раньше, так есть и сейчас, так будет впредь. Да и не мог допустить Сергей Николаевич, что давний его товарищ, с которым они немало съели каши и соли, сначала в Морском кадетском корпусе, потом в различных морях-океанах, вместе пережили Порт-Артур (неважно, что там не встречались), может позволить такое по отношению к нему. Но Колчак был бессилен бороться с собою.

В Анне Васильевне, как во всякой красивой женщине, сидела кокетка; она хотела нравиться не только мужу, не только Колчаку, она хотела нравиться всем. Это сильно задевало Колчака, он ощущал, что в нем рождается некое щемящее чувство обиды, которое могло довести человека до слез, такого с Колчаком не случалось никогда. Временами ему казалось, что он вообще не умеет плакать, но это было не так – плакать он, как и все нормальные люди, умел. Только для того, чтобы на его глазах появились слезы, была нужна очень веская причина. Что касается службы, здесь никто бы не смог вывести его из себя или обидеть, он мог дать в своем деле фору кому угодно, как профессионал стоял на голову выше любого адмирала. В быту его тоже было обидеть невозможно – Колчак был неприхотлив, умел обходиться матросской едой, мог есть даже мясо, из которого вытряхнули червей, и чистить зубы пальцем, подцепив им горку противного вазелинового мыла, от которого во рту остается вкус навоза, смешанного с женской пудрой. Он делил с подчиненными последний сухарь, его нельзя было поддеть даже по части ругательств, поскольку он умел ругаться не хуже «кулака» – старого палубного боцмана, – обидеть его можно было, только наплевав, нагадив в душу. Наверное, только здесь Колчак был уязвим, и только это действительно могло выдавить из его глаз слезы.

Командир крейсера Штуббе любил собирать у себя гостей. Кроме дней рождения, именин и державных праздников, которые отмечала империя, он обязательно отмечал праздники германские – до последнего времени пил шампанское даже в дни именин кайзера Вилли, отмечал годовщину смерти первопечатника Ивана Федорова и государя Всея Руси Алексея

Михайлович, победы хана Батыя и Наполеона, восхождение на московский престол Лжедмитрия и прочие сомнительные праздники, причем что конкретно он отмечает, Сергей Сергеевич Штуббе не сообщал, лишь улыбался, показывая молодые крепкие зубы, да ссылался на разные личные даты – именины многочисленных тетушек, кузин и троюродных «брудеров».

Колчак тоже иногда появлялся у Штуббе: квартира того давно уже превратилась в некий офицерский клуб и привлекала тем, что тут можно было пообщаться в непринужденной обстановке, выпить вина, услышать любимый романс, исполненный красивой женщиной, просто отдохнуть от корабельной тягомотины, от запахов угля, машинного масла, горячего металла и взрывчатки, которыми прочно пропитались все воюющие корабли, глотнуть пьянящего светского духа, захмелеть и вновь нырнуть – с освеженной душой – под полосканье Андреевского флага. Колчак не был исключением из правил, тем более что на таких вечеринках он встречался с Анной Васильевной.

Милой кокетке Анне Васильевне очень нравились ухаживания мрачного немногословного каперанга, нравилась его внутренняя сила – в сухом жилистом теле Колчака жила душа богатыря, нравился его авторитет, она ощущала, что уважение, испытываемое людьми по отношению к Колчаку, распространяется и на нее – но все равно этого было ей мало.

На последних «посиделках» у Штуббе Анна Васильевна стала кокетничать с щеголеватым, хорошо играющим на гитаре Фоминым.

И Колчак, который ничего не имел против Фомина, обиделся на Анну Васильевну, отвернулся от нее, начал демонстративно оказывать знаки внимания двоюродной сестре Штуббе – старой деве с широким мужицким лицом и черными усиками, делавшими старую деву похожей на дворника-татарина с Лиговского проспекта.

Колчак рассказывал ей веселые истории из флотской жизни, показывал в лицах, как молодые матросы обманывают боцмана, а мичманы, впервые в жизни вышедшие в море в офицерском качестве, – старого зануду-капитана, вспоминал плавания по теплым морям-океанам, встречи с акулами и кроткими животными лемурами, способными в течение десяти секунд обобрать человека, даже полушки не оставят в кармане. Дама восхищенно взвизгивала, усы у нее вслушивались по-кошачьи, грудь бурно вздымалась, и Анна Васильевна ревновала.

Она ожидала, когда же к ней подойдет Колчак, но тот не подходил к Анне Васильевне, и она поняла, что очутилась в том же положении, в котором двадцать минут назад находился

Колчак. Щеки ее зарделись, взгляд посветлел, сделался гневным, губы поджались, но Колчак словно не замечал туч, сгустившихся над ним, продолжал беспечно, как юный гардемарин, болтать с усатой Штуббе.

Анна Васильевна, не выдержав, стала передвигаться к нему: пересела на один стул, затем на другой, потом очутилась около рояля, задержалась там на несколько мгновений, снова двинулась дальше. Наконец она оказалась около Колчака. Он, смеясь, излагал очередную морскую байку своей усатой собеседнице, та гулко хохотала, в хохоте ее уже слышались нервные визгливые нотки. Анна Васильевна тронула Колчака пальцами за плечо.

Колчак умолк, неожиданно сжался и втянул голову в плечи. В эту минуту он был похож на побитого ребенка.

– Васильевич, я хочу рассказать вам одну историю, – тихим невнятным голосом начала Тимирева, с откровенной ненавистью косясь на хохочущую усатую бандершу, – есть ли у вас одна минута, чтобы выслушать ее?

– Конечно, – поспешно проговорил Колчак, которому сестра Штуббе враз стала неинтересна.

– Один человек – обычный простой человек, крестьянин, который пас коней, доил коров и готовил чесночную колбасу на продажу, поссорился со своей невестой. Дело, конечно, житейское, с кем, как говорится, не бывает, но наш герой воспринял эту ссору очень остро, покинул родное село и ушел неведомо куда. По дороге сделал остановку и, усталый, черный от обиды и забот, уснул на холме. И так было ему плохо, так гулко, с перебоями, колотилось его сердце, что нескладешному человеку этому вздумала посочувствовать фея, жившая в этом холме. Проснулся он в царстве красивых воздушных фей, перед каждой из которых его драгоценная невеста была обычной грудой навоза... – Услышав про навоз, усатая бандерша трубно захохотала. Колчак с неожиданной неприязнью глянул на нее, поджал губы и отвернулся в сторону. Тимирева продолжала бесцветным, чужим голосом:

– Фея полюбила этого человека, ввела в свой круг, который был ему непривычен: его удивлял серебряный смех фей, разговоры про первые лучи солнца, способные пробудить всякую птаху и всякого зверька, как бы крепко те ни спали, – это ему казалось таким незначительным, мелким, что он даже затосковал и стал рассказывать влюбленной фее, тоненькой, стройной, гибкой, как лоза, какая у него великолепная невеста – рыхлая баба с волосами неземного цвета и расхлябанным, широким, как у пароконки, задом, как дивно он обжимался с нею под ивовыми кустами на берегу реки, с каким наслаждением вдыхал запах

пота, распространяемый ее подмышками, и строил планы на будущее. Планы эти были грандиозны: парень собирался купить зеленую тележку на колесах с дутыми шинами и развозить на ней всякую мелочь – наперстки, нитки, бисер, мишуру, пуговицы, – и он обязательно это сделает, как только вернется домой.

Фея, слушая его рассказы, все скучнела и скучнела. Вскоре глаза у нее начали поблескивать от слез. А потом она и вовсе попрощалась со своим пленником и отпустила его восвояси, наверх, на волю, к своей Дуньке с поросятами и тележкой, выкрашенной зеленой краской. Проснулся наш герой на старом месте, где уснул, на холме, среди родных навозных запахов. И такой топорной, такой страшной ему показалась широкозадая его невеста, что он завыл, как собака. Но вой – не вой, а вернуть назад уже ничего было нельзя.

Хоть и начала Анна Васильевна свой рассказ тоном тихим, невнятным, доверительным, а закончила голосом злым, свистящим, слова ее больно, металлом ввинчивались в уши Колчака.

Он приподнялся на стуле, потянулся к руке Анны Васильевне:

– Простите меня, дурака, – сказал он и поцеловал руку, пахнущую нежным цветочным «о’де колоном». Повторил: – Простите меня, Анна Васильевна!

Тимирева была довольна: она поставила Колчака на свое место, он словно прозрел, а неприятно хохочущая дама исчезла – он перестал замечать ее.

Отдалять Колчака от себя и вообще держать его на расстоянии никак не входило в планы Анны Васильевны.

Вице-адмирал Эссен умирал. Умирал сильным, молодым – ему стукнуло всего пятьдесят пять лет – полным надежд... и вдруг все оборвалось: простудился во время морского перехода, больше положенного провел на ветру да в сырости, когда в шторм шли из Ревеля в Гельсингфорс – волны поднимались такие, что огромный флагманский крейсер «Рюрик» проваливался в водяную преисподнюю, как крохотный бумажный кораблик, вода выбила даже стекла из трубок дальномеров. Внутри крейсера все громыхало, гудело, каждая железка натянуто тряслась, трепетала, будто в тяжелой падучей болезни – на «Рюрике» думали, что уже не дотянут до берега... Но до берега дотянули, а вот командующий схватил жесточайшее воспаление легких.

Умирал Эссен трудно, люди в таком возрасте всегда умирают трудно. Жизнь цеплялась за его тело до последнего, хваталась за каждую мышцу, за каждую жилку, за каждую клеточку, не хотела уходить. Было бы Эссену девяносто лет, наверное, смерть его

была бы более легкой. Он хрипел, закусывал крепкими молодыми зубами губы, из прокусов обильно текла кровь, рыжая борода от крови делалась красной, как брусничный куст по осени.

Перед смертью он пришел в себя, чистыми осмысленными глазами осмотрел всех, кто собрался у него в каюте. Вздохнул:

– Эх, жаль Колчака нет... Видимо, не сумел покинуть Минную дивизию. – Эссен с досадою застонал. – Очень хотелось перед смертью повидаться с Колчаком. Лучшего командующего Балтийским флотом не найти. Передайте это в Ставку.

К нему приблизился опечаленный, с неряшливо расчесанной клочкастой бородой Тимирев.

– Ваше высокопревосходительство, может, вас все-таки надо доставить на берег, в госпиталь?

Адмирал неприятно пошевелил нижней челюстью, будто матрос, получивший удар по зубам от старшего офицера.

– Пустое, – сказал он, – не забивайте свою голову чепухой. Мне уже никто не поможет, ни один госпиталь, ни один врач. – Адмирал вновь пожевал губами и неожиданно увидел себя, молодого, гибкого, одетого в японское кимоно, на ярко освещенной играющим лунным светом веранде легкого летнего домика, и он подумал, что из тех, кто пришел к нему тогда на праздник цукими, в живых уже, кроме него да Колчака, никого не осталось. Эссен застонал – умирать ему не хотелось, очень не хотелось.

Один из мичманов-братьев погиб там же, в Порт-Артуре, мастер вызывать с того свете духов врач Сергей Сергеевич сгорел в огне тифозного костра – не стало его в два дня, второго мичмана Приходько Эссен, честно говоря, потерял из виду, хотя если бы второй Приходько был жив, он обязательно появился бы на Балтике. Эссен всегда старался пригреть порт-артуровцев, но Приходько не появился, и адмирал понял, что он тоже погиб, остались они из той романтической компании только двое – Эссен да Колчак... А теперь число романтиков рубится ровно пополам: остается только Колчак.

– Лучшего командующего флотом, чем Колчак, не придумать, – повторил Эссен. – И пусть государя не пугает, что ему всего сорок лет... Молодость отличается одним качеством – она быстро проходит. И плевать, что Колчак всего-навсего кап-один, ему надо немедленно давать адмиральского орла. Колчак уже давно пересидел капитана первого ранга... Передайте это в Ставку.

Эссен трудно, с хрипами задышал, из прокусов на губах вновь выступила кровь, прошло несколько минут, прежде чем он сумел справиться с собою, по заострившемуся лицу – признак близкой

смерти – проползла тень, и Эссен повторил:

– Передайте это в Ставку.

Через несколько минут он скончался.

При Эссене Балтийский флот стал лучшим из всех российских флотов и флотилий – недаром его, как и Колчака, любил покойный адмирал Макаров. Эссен, как когда-то и было разработано, сумел перевести эти планы в плоскость практики, выстроить из разрозненных кораблей строгую фигуру, единое целое, некую боевую машину, в которой все очень точно расписано – все знали свое место и свою задачу. При Эссене артиллеристы крейсеров и дредноутов [136]научились стрелять так, что им завидовали даже «боги войны» – меткие пушкари суши, у которых под ногами всегда находилась твердая почва, ничто не качалось, не ревело, не норовило сбросить человека вместе с орудием в набегающую волну.

В конце концов именно Эссен помог Колчаку стать тем, кем он стал – лучшим морским минером в России. Это Эссен взял на себя всю ответственность за минирование Балтики без всякой команды свыше, это с него в случае, если бы Николай помирился с кузеном Вилли, спустили бы семь шкур и сделали бы это очень охотно: слишком много было у вице-адмирала врагов – и только потом поставили бы рядом Колчака и также содрали бы с него семь шкур...

Николай Второй, вопреки предсмертному суждению Эссена, посчитал, что Колчак слишком молод для командующего флотом, он лишь протестующе поводил головой из стороны в сторону, будто ему натирал шею слишком тесный воротник суконной гимнастерки, и проговорил, обращаясь к самому себе:

– Командующим Балтийским флотом назначим вице-адмирала Канина.

Напрасно он это сделал, ей-богу. Но никто из штабистов Николаю не возразил.

В дворянском собрании, несмотря на войну, состоялся костюмированный бал. Дамы – жены адмиралов и старших морских офицеров, прибывшие на бал, – были наряжены в русские национальные костюмы: в поневы и сарафаны, с яркими шуйскими и павлопосадскими полушалками и платками, наброшенными на плечи; их усталые, измотанные войной мужья были одеты кто во что. Колчак даже переодеваться не стал – явился в мокрых сапогах и мокрой шапке, просоленный, с красными от недосыпа и напряжения глазами, нервный, стремительный, злой, с хищно обузившимся лицом и темным простудным румянцем, растекшимся у него по скулам, – верный

признак того, что Колчак вот-вот свалится с ног.

На его плечах – новенькие погоны с черными орлами – заветная мечта каждого моряка, стремящегося сделать карьеру и стать флотоводцем: 10 апреля 1916 года Колчак получил первый адмиральский чин.

Он мог бы и не появляться на этом «расписном» балу, отсидеться у себя, на флагманском корабле дивизии, тем более что заняться ему было чем, дел набралось столько, что он чувствовал себя едва ли не заваленным ими по самую макушку, ни рукой, ни ногой не шевельнуть под этой пирамидой. Но он не стал отсиживаться на «Сибирском стрелке», своем флагмане, приехал в дворянское собрание. Ему очень хотелось увидеть Анну Васильевну. Но первым, кого он увидел, был ее муж, флаг-капитан Тимирев – улыбающийся, с бородкой, разросшейся в настоящую бороду, ничего не ведающий. Никто не решался разорвать кольцо молчания, образовавшееся вокруг каперанга, открыть ему глаза, рассказать, что происходит на самом деле, какие узы связывают новоиспеченного адмирала и жену его...

Одно хорошо было – никто не усмехался гаденько в спину каперангу, не шушукался, сально облизывая губы и нагоняя на взор томный туманец. Того, кто не мог справиться с многозначительным выражением, невольно возникающим на глазах, учили, как себя вести. Тимирева на флоте уважали. Любили. Как и Колчака. Их ставили рядом, вровень, на одну доску. Они стоили друг друга.

У Колчака ничто не дрогнуло на лице, он протянул Тимиреву руку:

– Здравствуй, Сережа!

Тот сердечно стиснул протянутые пальцы:

– Здравствуй, Саня! Давненько не виделись.

– Давненько, – согласился контр-адмирал и прошел в зал.

В дверях увидел Анну Васильевну – она специально ждала его, находилась у всех на виду. Улыбка Анны Васильевны была таинственна и многозначительна, такие улыбки обычно сводят мужчин с ума.

Каждый раз Колчак, видя Анну Васильевну, видя эту греховную улыбку, переставал быть самим собою. Он подошел к Тимиревой, наклонился к ее руке и, ощущая, как в висках у него гулко колотится сердце, втянул ноздрями запах, исходящий от ее пальцев. Произнес проникновенно:

– Анна Васильевна! – И умолк.

Щемящая тоска сдавила ему грудь, петлей перетянула горло, Колчаку показалось, что он не может говорить. Он втянул воздух сквозь зубы. Речь, потерянная столь внезапно, возвратилась к

нему через несколько секунд.

Была Анна Васильевна наряжена в красный крестьянский сарафан, искусно расписанный крупными желтыми подсолнухами, этот сарафан она, художница, смастерила сама. Под сарафан была надета кофта с широкими, внапуск, рукавами и густым рядком пуговиц на длинном обшлаге, плотно обтягивающем изящную руку.

Грешная, разящей пулей пробившая сердце Колчака улыбка не сходила с ее губ. Колчаку очень захотелось иметь у себя фотокарточку Тимиревой. Чтобы она была снята в этом удивительном костюме и чтобы с уст ее не сходила эта удивительная улыбка.

Он просяще склонил голову на плечо:

– Анна Васильевна, там внизу... под лестницей работает фотограф – приехал с треногой и первоклассной «лейкой», похожей на сундук. Я очень хочу, чтоб вы... чтобы вы сфотографировались. – Он едва не обратился к ней на «ты», но вовремя спохватился. – Пожалуйста! Мне нужно для ваших фото.

Она спросила кокетливо:

– Зачем?

– Одно ваше фото я пришпилю к стенке моей каюты на корабле, несущем штандарт комдива, второе фото врежу в золоченую рамку и поставлю на стол...

– А фото на стене, оно что... оно без рамки будет?

– Ну почему же? Я это фото тоже врежу в рамку. В серебряную.

– Не слишком ли большие расходы, Александр Васильевич? – Улыбка на губах Тимиревой стала еще более греховной.

Колчак этой улыбки не понял. И напрасно. «Портрет вышел хороший, и я ему его подарила, – написала впоследствии Анна Васильевна. – Правда, не только ему, а еще нескольким близким друзьям. Потом один знаковый сказал мне: „А я видел ваш потрет у Колчака в каюте“. – „Ну и что же такого, – ответила я, – этот портрет не только у него“. – „Да, но в каюте Колчака был только ваш портрет, и больше ничего“.

Анна Васильевна была слишком ветрена – возможно, сказывался юный возраст и ее обаяние, – она знала, что чертовски хороша, и пользовалась этим, – а Колчак был слишком серьезен.

К мужу после того, как Колчак получил адмиральские погоны, Анна Васильевна стала относиться как к пустому месту: что есть он, что нет его – все едино, в постель к себе перестала пускать и вообще изменилась неузнаваемо. Но главное было в том, что она сделалась очень независимой.

Похоже, дело шло к развязке, она готова была расстаться с

Тимиревым, но Колчак расстаться с Софьей Федоровной не был готов. Напористый, жесткий, принимающий точные мгновенные решения в бою, в быту, в личных делах он оказался вялым, неспособным сделать резкий шаг, вел себя будто мякина, а не героический адмирал.

В тот вечер Колчак приехал из дворянского собрания к себе домой, заперся в комнате. Минут тридцать сидел молча, прислушиваясь к звукам, раздающимся в доме, к потрескиванию полов, разъедаемых теплом; на душе у него было одиноко, пусто, он не знал, что ему делать: было жалко Сонечку, Славика, но он никак не мог перебороть себя – точно так же ему было жалко Анну Васильевну, готовую пойти на позор и унижения, – а люди умеют безжалостно растаптывать себе подобных, легко и охотно смешивают их с грязью, не оставляя от человека ничего, кроме грязи, – лишь бы быть с ним. За это он был благодарен Анне Васильевне. Колчак взял лист бумаги, придвинул его к себе.

Медленно, аккуратно написал: «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна!» Вновь задумался. Над головой раздался шорох, будто летучая мышь вцепилась когтистыми лапками в старую деревянную матицу, косила оттуда недобрыми глазами на человека. Он поднял взгляд – никаких зверей на щелястой растрескавшейся балке, перекинутой по потолку через всю комнату, не было. Хотя ощущение, что на него кто-то внимательно, изучающе цепко смотрит, не проходило.

В ту ночь он написал Тимиревой первое письмо, измарал его поправками, по нескольку раз зачеркивая строчки, затем зачеркивая то, что написал поверх строчек, – грязь получилась ужасная, но Колчак это послание не выкинул, положил в папку, сшитую из толстой коричневой кожи, и запер в ящике стола на ключ.

Он решил это письмо продолжить через несколько дней, может быть, даже переписать его. В общем, как получится. Понял также, что писать он теперь будет Тимиревой всю оставшуюся жизнь, каждый день, каждый вечер, используя для этого всякую свободную минуту. И письма эти заменят ему, судя по всему, дневники. Так оно и получилось.

Свой походный штаб начдив Колчак разместил на эскадренном миноносце «Сибирский стрелок», обложился картами глубин и течений, на стенку повесил портрет Анны Васильевны в крестьянско-барском сарафане, расписанном сочными подсолнухами, которые даже на черно-белом снимке не потеряли своей яркости, были слепяще-желтыми, как и в натуре, вокруг стола поставил несколько тяжелых, весом не менее пуда, с

литыми чугунными ножками стульев – важно было, чтобы во время шторма, когда корабль ложится круто на ок и через трубу можно увидеть море, стулья не летали по каюте, как бабочки, мертво привинченные к стенке полки набил справочниками и таблицами минных стрельб – вот штаб и готов.

Чего еще надобно человеку, который привык действовать, а не равнодушно взирать на окружающий мир, тупо подписывая бумаги, приказывающие кому-то действовать...

Вся Балтика была завалена страшными минами Колчака, чугунные бочки стояли на разных глубинах, способны были проломить днище любому кораблю, – и тяжелому, схожему с крепостью дредноуту, на добрую половину корпуса сидящему в воде, и стремительному, как голодная щука, миноносцу с осадкой очень невеликой.

Мины стояли везде, стояли опасно, Колчак мог тысячу раз подорваться на них сам, но он не боялся этого, а коли не боялся, то ни разу и не подорвался.

Спал Колчак мало: прикорнет на час-другой у себя в каюте, забудется под шум волн, влетающий в открытый иллюминатор вместе с мелкой моросью, – и снова на ногах. Короткого сна ему было достаточно, чтобы прийти в себя, восстановиться. Затем – снова на мостик.

А чтобы в уши не лез назойливый звон и перед глазами не рябило, он продолжал пить крепкий, как деготь, кофе, который ему специально искали среди трофеев на берегу, вздыхал шумно, ощущая, как встревоженное сердце колоколом громкого боя молотит в виски, и снова тянулся к биноклю, чтобы оглядеть морской горизонт: не появится ли где дым неприятельского крейсера?

Колчак умел выжидать, он вел себя как волк в засаде и если замечал добычу, то добыча эта редко уходила от него.

В течение недели Балтика была какой-то сонной – так можно было охарактеризовать здешнюю обстановку: передвижений никаких, так, вялое шевеление, и все; с неба сыпалась то ли снежная крупка, то ли отвердевший дым, смешанный с угольными частицами, выброшенными из дырявого, плохо работающего котла. Служба связи, в задачу которой входила разведка, не мычала, не телилась – не было у нее никаких данных о перемещениях противника, «воздух» – служба аэропланов – тоже ничего не давал.

Тихо, сонно было на Балтике, будто и нет никакой войны.

Отстояв свое на мостике и оглядев горизонт не только в бинокль, но и в окуляры артиллерийских дальномеров, Колчак

спускался в каюту и вновь садился за карты. Отработав свое с картами – Колчак научился все схватывать с полувзгляда, он вообще превратился в дьявола с безошибочным чутьем, – придвигал к себе лист бумаги и старательно, как школьник, ощущающий волнение перед встречей с учительницей, выводил: «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...»

Когда Колчак писал, то шевелил, двигал из стороны в сторону, губами, на лбу у него собиралась лесенка морщин, лицо светлело. Писать ему было трудно. Все время казалось, что он не может найти нужных слов, те слова, что перо оставляет на бумаге – казенные, смятые, неискренние, нужны какие-то другие слова, и Колчак невольно жевал губами, морщился, промокал лоб платком, потом откидывался назад, на спинку кресла, привинченного к полу, вытягивал перед собой руку с бумагой, дважды, а то и трижды перечитывал написанное и, чувствуя, как едкий пот жжет ему лицо, вновь морщился.

Мучительная эта работа – выводить буковки на бумаге, гораздо легче – вращать вручную гигантский орудийный ствол, опускать или поднимать его.

...Неожиданно он откинул в сторону лист бумаги, придавил его книгой по навигации, чтобы не улетал в сторону и, резко встав, метнулся к вешалке, где на бронзовом крючке болталась его фуражка. Что почуял в эту минуту Колчак, не было ведомо никому, даже ему самому. Колчак не мог выразить это словами, все происходило на каком-то подсознательном уровне, вне зоны видимого, как, впрочем, и невидимого тоже. Важно было одно: он нюхом, как собака, почуял дичь. Невидимую дичь. И незамедлительно решил устремиться к ней.

Ничто сейчас не могло остановить Колчака.

Тут же по телеграфным антеннам побежали искры, яркие, как молнии, – команда передавалась с корабля на корабль, – и миноносцы начинали поспешно выбирать из грунта якоря, некоторые так, с неподнятыми якорями, взбивающими на воде мутные буруны, устремлялись за флагманом в море.

У каждого из кораблей – свое место в строю, каждый знает, что делать. Бывает, что под днищем всего в нескольких футах проплывает покачивающаяся на стальных прочных тросах круглая чугунная бочка. Вот тут-то никак нельзя ошибиться, особенно если якорь еще не поднят до конца, – никак нельзя зацепить кривой лапой за минреп – длинный минный трос. Если зацепишь – тогда все.

Какие мысли приходили в голову Колчаку, когда он с плотно сжатыми губами стоял на командном мостике «Сибирского стрелка» и крутил по сторонам головой в глубоко нахлобученной,

закрывающей, кажется, не только глаза, но и хищный нос-рубильник фуражке?

Никто, ни один человек на свете не мог похвастаться, что Колчак поделился с ним мыслями – лицо контр-адмирала было неприступным, жестким, многие даже боялись задать ему в эту минуту вопрос, чтобы не сбить с... с чего, собственно, сбить? С толку? Но кто знает, о чем думал адмирал, на погонах которого еще не успели выцвести черные орлы?

Командный мостик был погружен в тревожную тишину.

Все глядели на Колчака – что скажет он? А он молчал, думал о чем-то своем. Вполне возможно, спрашивал у Бога: не промахнется ли он? Пока Колчак не промахивался... Ни одного раза не промахнулся, каждая его вольная охота заканчивалась удачей. Подчиненные верили в то, что их начдив обладает даром предвидения.

Вот Колчак рывком сдернул фуражку с головы, пальцами пригладил плоскую грядку волос и сел на обтянутое кожей винтовое кресло. Пожевал губами.

– От аэропланщиков никаких сведений не поступало?

– Ни одной сводки, ни одного словечка.

– Служба связи по-прежнему молчит?

– Так точно, молчит.

– Наверное, перебрали свекольного самогона и потеряли дар речи, Запросите-ка их шифром: нет ли чего новенького?

На командном мостике вновь повисла какая-то гибельно-полая, очень опасная тишина, в которой иной слабонервный мичман, случайно оказавшийся на мостике, мог запросто шлепнуться в обморок. Впрочем, насчет обморока – это только теоретически, на практике же такого не бывало.

– Ну, что там служба связи? Пока ноль без палочки?

– Пока ноль без палочки.

Наконец в дверь, виновато пошмыгав простуженным носом, всунулся шифровальщик:

– У службы связи ничего нового, ваше превосходительство!

Похмыкав что-то в кулак, Колчак вновь натянул фуражку на голову и произнес бесцветным голосом:

– И не надо!

Именно по этому голосу, по его бесцветности, по некой сухой древесной скрипучести – будто мертвую сосну начало раскачивать на ветру – делалось понятно, что цель свою они найдут уже без подсказки – адмирал точно выведет на нее.

Темнота в море, как в горах, наступает быстро – только что серенькая мгла слоилась над водой, растекалась сопливо, противно, но в этой сопливости все было хорошо видно – от волн,

от моря исходил свет, и вдруг все исчезло, скрылось в стремительно темнеющей мути пространства, и вскоре ничего нельзя было уже рассмотреть – ни носа «Сибирского стрелка», ни кормы, не говоря уже о других судах. Но эсминцы, не сбавляя скорости, упрямо шли вперед.

Вольная охота есть вольная охота.

Это любимое занятие Колчака на войне – вольная охота. Слепая охота, когда дичи не слышно и не видно, но она есть, она прячется, и только безукоризненное чутье охотника может вывести на нее. Для подобной охоты Колчак создал особый полудивизион миноносцев, он так и назывался – особый (имел даже собственный бланк и печать, и официально писался с большой буквы: «Особый полудивизион»). Это была команда охотников за немецкими крейсерами. Впрочем, эсминцами, транспортами и подводными лодками полудивизион тоже не брезговал – все, что ни попадалось, превращал в закуску для рыб...

Уже к ночи Колчак, которому то ли надоела скульптурная неподвижность, то ли допек звон в ушах, то ли произошло что-то еще, вновь стал метаться по мостику, делая нервные движения, вскидывая руки, как это иногда бывает с нетерпеливым стрелком, вышедшим на охоту. На лице его хищно раздувался нос, уголки рта дергались, заострившийся подбородок делался каменным – хоть куриные яйца колоти. Это означало, что теперь Колчак точно, совершенно точно знает, где находится дичь.

Идущим в цепи миноносцам оставалось только следить за узким розовым лучом сигнального прожектора – именно он передаст кораблям, как нужно перестроиться в следующую минуту и вообще куда идти дальше...

Обычно Колчак редко когда заставлял себя ждать – сверкающее розовое лезвие незамедлительно отпечатывало на черном полотне ночи шифрованный приказ: «Курс 135». По короткому, как выстрел, этому приказу штурманы поспешно кидались к картам, прикладывали к ним транспортиры; через несколько минут корабли, нарисовав на воде широкие пенистые дуги, растворялись в ночи.

Азарт невольно передавался всем, кто находился в эту минуту на миноносцах, даже усталой вахте из машинной преисподней, сдавшей смену отдохнувшим «свежачкам» и дрыхнувшей теперь на подвесных койках. Черномазые кочегары, будто циркачи, вылетали из кроватей-«авосек» и натягивали на себя свежие форменки: предстоящий бой встречать во сне было грешно. Вдруг он окажется «последним и решительным»? Уже тогда флотские хорошо знали партийный гимн большевиков-

ленинцев. Нервы, мышцы, жилы – все в людях обращалось в некую звенящую плоть, в одно целое – в любую минуту розовое лезвие могло вспороть черную ночную ткань: «К бою – товсь!»

Но сигнальный прожектор будто умер, под днищами кораблей громко хлюпала вода, трещал лед да гудели далекие, надежно спрятанные в стальном нутре машины. Матросы встревоженно переглядывались друг с другом:

– Ну, чего там?

– Ничего. Темно, как в заднице у негра.

– А ты живого негра видел когда-нибудь?

– Не-а. Но слышать – слышал.

Тревога передавалась друг другу, катилась по палубам, по трапам вверх и в конце концов достигала командных мостиков, в том числе и самого главного – колчаковского. Колчак, спиною ощущая нетерпение людей, раздраженно дергал шеей, сдирал с головы фуражку-большемерку и вытирал платком влажные, прилипшие к черепу волосы.

Через некоторое время острый розовый луч прожектора вновь рубил темноту ножом, будто маринованную селедку – кромсал неаккуратно на разнокалиберные дольки: «Курс 150», потом: «Курс 170» и тут же через несколько секунд возникал условный сигнал-обозначение, состоящий всего из одной буквы: «Меньше ход»... Все, похоже, Колчак кого-то нащупал, люди на миноносцах замерли, заинтересованно и тревожно глядя в ночь: кого же контр-адмирал все-таки нащупал?

Минуты тянулись медленно, выворачивали приготовившихся к бою матросов наизнанку – того гляди, на железную палубу закапает сукровица из порванных «жданками» потрохов («жданки» – штука мучительная, хуже раны): ну где же «немаки», где? Угрюмо, пусто было в черной ночи: нет «немаков». Но где-то же они все-таки есть – и коли не здесь, то где?

Адмирал, который на этот раз даже на пять минут не прилег в каюте, чтобы перевести дыхание, вновь пристально вгляделся в ночь, затем, как простой матрос, протер кулаками глаза и приказал: «Довернуть еще на пять градусов!»

Едва эта команда прошла на корабли полудивизиона, как за ней в ночь врубилось сообщение – то самое, которое так напряженно ждали, способное вышибать слезы радости у стосковавшихся по бою матросов: «Неприятель на румбе 180!»

Все, адмирал-охотник вывел стрелков на дичь, осталось полоротую ворону только подшибить, а по этой части в минном полудивизионе специалистов было более чем достаточно, и главный среди них – сам Колчак.

Задавленно урча главной машиной, «Сибирский стрелок»

разворачивался для удобной стрельбы, бурлил винтами, торомозя ход, и в ту же секунду залп из носовых орудий освещал черное небо пламенем, облака стремительно подпрыгивали, уносясь в небесную пустоту, вода под днищами миноносцев шипела; в резко раздвинувшемся пространстве, как на сцене, когда распахивается занавес, была видна дичь – сонный немецкий крейсер, вышедший в море на сторожевую вахту. Вышел в море грозный корабль, понадеялся на дурную погоду, в которую не то что чумные русские, а даже сам Нептун не пустится в плавание, если, конечно, не хочет потерять трезубец вместе с галошами; немецкий крейсер не ждал в гости никого – ни своих, ни чужих.

Чтобы корабль не болтало, не относило в сторону, командир крейсера приказал бросить якорь.

Балтийское море – мелкое, в эту пору – особенно мелкое, иногда кажется, что корабль вот-вот прорубит килем в дне морском борозду – якорь можно бросать едва ли не в любом месте. Крейсер стоял на якоре, вахта не заметила приближения русских.

Залп носовых пушек взбил на крейсере сноп искр, над передней палубой поднялось синеватое блесткое облако, медленно поползло в сторону, послышался заполошный взвизг боцманской дудки, затем чьи-то крики, и с крейсера, бескостно взмахивая перебитыми руками, в воду полетел убитый матрос.

– Передайте всем кораблям полудивизиона команду «Огонь!», – бросил Колчак через плечо. Розовый луч сигнального прожектора разрезал небо на неровные куски.

На немецком корабле трубно завыл ревун. Сигнал тревоги был дан с большим опозданием, Колчак презрительно дернул ртом. В следующую секунду стало трудно дышать от пороховой вони, повисшей над морем, – орудия миноносца ударили разом, кучно, – над германским крейсером вновь взметнулось синее облако; с бортов, скручиваясь в рогульки, полезла краска; несколько матросов, ползавших по палубе, были снесены в море, один остался валяться на железе около аэропланной пушки. Следующий залп снес в море и этого несчастного.

Для того чтобы отбиваться, крейсеру надо было немедленно разворачиваться, но якорь держал его. Наконец орудия крейсера – запоздало, очень запоздало – украсились дымными султанами, стволы выплюнули тяжелые чугунные чушки, но ни один из немецких снарядов не долетел до цели – все плюхнулись в воду между эсминцами полудивизиона. Лишь вверх взметнулись снопы воды, брызг, и все.

Матросы с «Сибирского стрелка» презрительно плевались – плевались метко, лихо, через плечо, стараясь, чтобы слюна не

попала на палубу, а обязательно улетела за борт:

– Во стрельнул крейсер! Как в лужу пернул!

Как-то минная дивизия устроила состязание по редкому виду спорта – кто дальше плюнет. Победила команда «Сибирского стрелка»: ее представитель умудрился послать плевок на отметку двадцать два метра. Во! Некоторые даже из ружья не умеют бить так далеко.

Крейсер вновь окутался пороховым дымом, отплюнулся огнем, но снаряды опять не причинили вреда колчаковскому полудивизиону: плюхались в воду вразброс, как мусор, выброшенный за борт.

– Еще раз в лужу пернул, – довольно констатировала команда «Сибирского стрелка». – Дуйте, братья-немаки, и далее по этой кривой дорожке.

А миноносцы продолжали вести прицельную стрельбу, они, не в пример «немакам», попадали куда надо – вдребезги разнесли поворотный механизм у одной из башен, и та заскрежетала железно, ржаво, дернулась пару раз и застыла с неподвижно задранными вверх стволами, смели с палубы пушку для стрельбы по аэропланам, один из снарядов угодил в боевую рубку, хотя вреда особого ей не причинил – просто прошил насквозь из одного конца в другой, как пустую картонную коробку из-под шляпы, и взорвался в воде.

На командный мостик «Сибирского стрелка» бесстрашно сунулся старший шифровальщик с телеграфного поста – он не боялся ни адмиралов, ни генералов, поскольку имел отношение к святая святых корабля, поэтому и вел себя так храбро:

– Ваше превосходительство! – гаркнул он с порога. – Перехват радиосвязи с корабля противника!

Колчак, не глядя, протянул руку к двери:

– Давайте!

Некоторое время он недоуменно морщил рот, двигал из стороны в сторону губами, стараясь вникнуть в текст, поспешно нанесенный химическим карандашом на бумагу, но то ли неприятельское сообщение было зашифровано слишком мудрено, то ли текст был излишне усложненный – понять Колчак ничего не смог и раздраженно вздернул голову:

– Что это?

– Радиограмма с неприятельского крейсера, ваше превосходительство!

– Почему не расшифрована?

– Это расшифровать нельзя.

– Как так?

– Неприятель в панике, радист у них обкакался. Вы

чувствуете, каким духом тянет от этого листка бумаги, ваше превосходительство? – За такие бы слова, за амикошонство другому бы отвернули голову, а шифровальщику ничего, он этого не боится. – Плюс мы ему еще помехи устроили, немак и растерялся совсем. Так что вид у него бледный и коки потные.

Колчак усмехнулся.

– Ну что, пора кончать с бледным видом и-и… этими… – он помял пальцами воздух, – как вы сказали?

– Коки, ваше высокопревосходительство. – Шифровальщик повысил ранг Колчака на одну ступень, сделал «высокопревосходительством». А «высокопревосходительством» на флоте величали только вице-адмиралов и полных адмиралов, контр-адмиралов же, как и генерал-майоров, – лишь «превосходительствами».

– Ваше превосходительство, – не приняв лести, поправил шифровальщика Колчак.

– Многократно извиняюсь!

– Вот-вот, с потными коками тоже надо кончать. – Колчак снова усмехнулся, скомандовал: – Торпедные аппараты – «товсь!».

Огонь уже поедал неприятельский крейсер не только с носа, но и с кормы, был огонь пока мелкий, но очень цепкий – людям, боровшимся с ним, не удалось сбить пламя, оно старалось забраться внутрь, в чрево крейсера, вылетало оттуда, ошпаренное водой из брандспойта, и снова начинало искать щель, чтобы нырнуть внутрь.

– А еще пачкают эфир своими телеграммами, – недовольно проговорил Колчак, подвигал губами привычно, словно разжевав что-то твердое, лицо его от этого движения сделалось брезгливым, под глазами возникли темные глубокие круги, в следующий миг он решительно рубанул рукой воздух: – Пли!

Торпедный аппарат эсминца выплюнул длинную, окрашенную в цвет стали сигару, та недовольно шлепнулась в воду и, шипя, как живая, взбивая за собой пенную болтушку, двинулась к крейсеру.

На крейсере ее тотчас заметили матросы, закричали испуганно, гортанно, замахали руками, кто-то начал поспешно стрелять в нее из винтовки – бил метко, всаживал одну пулю за другой в корпус торпеды, рассчитывая ее остановить, но пули отскакивали от чугунной тверди как горох, ни одна из них не смогла помешать ходу страшной смертоносной чушки.

– А-а-а! – закричал несчастный стрелок и, отшвырнув винтовку в сторону, прыгнул в воду.

Шансов спастись у него не было: вода в эту пору в Балтике – каленая, человек может в ней продержаться максимум минуты

три, дальше наступает паралич. В такой воде люди замерзают, обращаясь в лед, хрустят сахарно, как сосульки, человек пробует кричать, какие-то мгновения сопротивляться и камнем идет на дно.

– Напрасно он это сделал, – проследив за полетом немца в воду, пробормотал Колчак, – имел возможность вцепиться в какую-нибудь деревяшку, выплыть, а так уже не выплывает.

Торпеда со скрежетом вломилась в борт крейсера, разворотила несколько переборок, из стального нутра вымахнул огромный пузырь воздуха, на мгновение задержал бурчливую дымящуюся воду, проворно хлынувшую в темное теплое чрево, взорвался со снарядным грохотом. Крейсер дрогнул, просел в воде, заваливаясь на один бок, потом запоздало выпрямился, но набрал он ледяного балтийского дерьма столько, что удерживать равновесие смог очень недолго, завалился на другой бок, задрожал обреченно, предсмертно – корабли перед кончиной ведут себя как люди – и погрузился носом в воду по самые леера.

В следующий миг корма с работающим винтом круто поползла вверх, превращая крейсер в обломок скалы, вставший торчком из моря, в пролом снова выпростался воздушный пузырь, лопнул с пушечным грохотом, и обреченный корабль медленно поехал на морское дно.

Несколько матросов, подбежав к борту «Сибирского стрелка», помахали гибнущему крейсеру бескозырками:

– Скатертью дорога!

Через минуту уже ничто не напоминало о том, что здесь только что находился могучий боевой корабль, даже людей и тех не было – ушли вместе с крейсером, лишь десятка полтора мертвецов, раскинув руки, болтались в воде вниз лицами, словно пытались вглядеться в морскую пучину, в бездонь, понять, что спрятано там, в таинственной морской глуби, да плавало несколько обломков от вдребезги разбитой шлюпки.

– Поворачиваем назад! – скомандовал Колчак полудивизиону, и миноносцы, заложив крутые виражи, через несколько минут растворились в серой утренней мгле.

Охота закончилась.

Уже дома, на базе, адмирал, приняв от командиров миноносцев подробные донесения – ему важно было знать, как кто действовал, допускал ошибки или нет – и разобрав охоту поминутно, подводил результаты, затем вывивал напоследок стакан крепкого черного кофе и уходил спать.

Кофе на Колчака оказывал двоякое действие – и бодрил, и усыплял – в зависимости от того, что требовалось: когда надо

было усыпить – усыплял, когда требовалось взбодрить – бодрил, в общем, оказывал то действие, которое нужно было этому загадочному человеку в тот или иной момент.

Уходя, Колчак непременно наказывал вахтенному офицеру «Сибирского стрелка»:

– Если у кого-то из командиров полудивизиона возникнет необходимость пообщаться со мною – немедленно разбудите!

Но командиры знали, что начдив спит, и старались его не тревожить пустыми докладами: надо же в конце концов человеку отдохнуть. «Сибирский стрелок» посылал подопечным кораблям последний сигнал – на этот раз флажковый: «Кораблям, вернувшимся с моря. Адмирал изъявляет свое удовольствие. Команда имеет время обедать».

У матросов эта флажковая телеграмма вызывала бурю восторга: раз есть недвусмысленный намек на обед, значит, будет преподнесена заслуженная чарка холодного столового вина № 21, более известного как водка. А какой русский человек способен отказаться от честно заработанного угощения? Да тем более такого, как «вино № 21»?

Таких на кораблях Колчака не было.

Он думал, что грешное увлечение его, приносящее столько внутренней маеты и неудобств, пройдет и все встанет на свои места, успокоится, но Тимирева не выходила у него из головы ни на час, ни на минуту; наверное, потому не выходила, что он этого не хотел.

Гельсингфорс, если в нем не оказывалось Анны Васильевны – неожиданно увозил куда-то муж или с ребенком надо было отправиться на дачу, – делался для Колчака пустым, он терял интерес и к городу, и к берегу, и к жизни вообще. Муж Тимиревой после смерти Эссена ушел из флаг-капитанов и теперь ждал, когда ему дадут корабль – ни с Каниным, нерешительным, как провинциальный цирюльник, ни с Адрианом Ивановичем Непениным, [137]начальником связи флота, которого готовили на смену вареному Канину, ему работать было неинтересно. Работа стала пресной, однообразной, и он ушел из штаба.

«Быть может, Сережа получит под начало крейсер, базирующийся в Ревеле, и мы тогда с Анной Васильевной будем видеться чаще?» – мечтал Колчак, и мечты его сбывались – видимо, обладал он очень сильным биологическим полем, раз мог влиять на приказы начальства, на думы подчиненных, на небесные явления: все, к чему он прикладывал руку, что задумывал – изменялось, делалось таким, как хотел он.

Сергей Николаевич Тимирев получил под свое начало

крейсер «Баян», входивший в состав 1-й бригады крейсеров, и семья его – Анна Васильевна и сын Одя – окончательно перебрались в Ревель. Колчак этому обстоятельству радовался, как ребенок: он теперь будет видеть Анну Васильевну много чаще.

Он, кажется, даже в море стал выходить урывками и, совершив стремительный налет, старался как можно быстрее вернуться в Ревель. В волосах у него засеребрилась седина, а седина появляется, как известно, не от хорошей жизни. Впрочем, седины этой было мало, и Колчак не обращал на нее внимания. Он был счастлив.

Через полтора месяца стало известно, что на погонах начдива Колчака должен широко раскинуть свои крылья второй черный орел – Александру Васильевичу решили присвоить звание вице-адмирала. Колчак имел все шансы сделаться самым молодым вице-адмиралом в России. Так оно и получилось.

Ему надо было бы насторожиться: за вторым орлом обязательно последует новое назначение, ибо потолок для начальника Минной дивизии – контр-адмирал, а Колчак не насторожился, он с азартом гонялся за немецкими крейсерами, грустил об Анне Васильевне и пребывал в состоянии хмельной эйфории.

Минуло всего ничего – несколько дней, – и Колчак высочайшим указом был назначен командующим Черноморским флотом с окладом в 22 тысячи рублей в год – это был высокий оклад, – а также с дополнительным морским довольствием. На переезд ему было отпущено две тысячи рублей.

Следом произошли изменения и среди командования Балтийским флотом.

«В высшем командовании Балтийского флота не все обстоит благополучно, – написал Николай Второй из Ставки своей жене в Царское Село, – Канин ослаб вследствие недомогания и всех распустил. Поэтому необходимо заменить его. Наиболее подходящим человеком на эту должность был бы молодой адмирал Непенин, начальник службы связи Балтийского флота: я согласился и подписал назначение. Новый адмирал уже сегодня отправился в море. Он друг черноморского Колчака, на два года старше его и обладает такой же сильной волей и способностями. Дай Бог, чтобы он оказался достойным своего высокого назначения».

Софья Федоровна обрадовалась новой должности мужа: наконец-то Александр Васильевич окажется в отдалении от этого ужасного Ревеля, от семьи Тимиревых, от коварной гризетки Анны Васильевны, потерявшей всякий стыд и совесть: умная

Софья Федоровна все понимала и обо всем догадывалась. Чутье она имела не хуже Колчака – она ощупала все происходящее, обследовала все до последнего бугорка, до последнего заструга и царапины в любовном треугольнике – муж, она и Анна Васильевна, просчитывала все своей душой и удивлялась, как же мало крови выливается наружу из этой израненной души.

Она терпела. Иногда терпение кончалось, и на глазах у нее появлялись слезы. Потом глаза вновь делались сухими, и она ругала себя за собственную слабость. Однажды Софья Федоровна, не выдержав, призналась в письме, которое отправила к своей гимназической подруге в Санкт-Петербург: «Мне кажется, очень скоро Анна Васильевна Тимирева станет законной женой Александра Васильевича. Что делать, как быть – не знаю».

Чуть позже она сказала другой своей закадычной подруге, жене контр-адмирала Развозова: «Вот увидите, что Александр Васильевич разойдется со мной и женится на Анне Васильевне».

Она чувствовала, она кожей своей ощущала: это должно обязательно произойти... Но вот новый поворот в карьере, и Софья Федоровна подняла голову: может, расстояние охладит пыл Александра Васильевича, который ведет себя, как потерявший голову мальчишка, и все вернется на «круги своя»? Она поспешно стала готовиться к отъезду.

Ревель – город неторопливый, степенный, в острых башенках католических церквей, с круто обрывающимися вниз крышами домов, с которых дожди хлещут веселым водопадом со звоном и грохотом, со старыми скверами, в которых полно дуплистых деревьев, измазанных зеленкой: это делают специальные служки из конторы градоначальника, стараются замазать целебной зеленой пастой всякую дырку, чтобы деревья не болели, не то ведь одно маленькое дупло способно сгноить гигантский ствол, под деревьями стояли чугунные скамейки, отлитые на заводе в Санкт-Петербурге. Скамейки служки тоже обихаживали: красили черным блескучим кузбасс-лаком, пахнувшим сгоревшим в топке углем – говорят, его действительно делают из первосортного антрацита, растворяют в керосине, в результате чего получается прекрасный лак, который не в состоянии одолеть ржавчина.

Колчак обрадовался встрече с Тимиревой, усадил ее на чугунную скамейку, обеспокоенно оглянулся: Ревель – город хоть и немалый, но все может быть – в любую минуту на дорожке появится кто-нибудь из знакомых. Колчак посмотрел на свою обувь, на которой седой хрусткой испариной проступила соль, сказал Анне Васильевне:

– Я уезжаю в Севастополь. – Голос у него был тусклый – то ли расстроенный, то ли простуженный – не понять. Над головой у

них зашумел старый, дуплистый, давно переставший плодоносить каштан.

– Я знаю, – Анна Васильевна печально улыбнулась, – об этом знает вся Балтика.

Подняв глаза, Колчак пробежался взглядом по веткам, потянулся к одной, низко повисшей, сорвал крупный, лаково хрустнувший под пальцами лист, помял его. Произнес первое, что пришло в голову:

– Этот каштан должен был умереть еще лет двадцать назад.

– Да, – односложно отозвалась Анна Васильевна.

– Я хочу сказать вам, Анна Васильевна, то, чего еще никогда не говорил. – Колчак нерешительно помял пальцами каштановый лист: – Я люблю вас, Анна Васильевна.

Анна Васильевна неожиданно прижала к лицу обе руки и заплакала – в такт сухим далеким взрыдам у нее задергались плечи. У Колчака потемнело лицо: когда он слышал женский плач, то душу его начинала разрывать жалость, смешанная с острой глубокой тоской, – он не знал, как с этой жалостью справляться, не знал, как одолеть тоску и чем можно высушить мокрые женские глаза, и очень страдал от этого.

Он аккуратно, почти невесомо притронулся пальцами к ее плечу и пробормотал подавленным сырым шопотом:

– Ну, полноте, Анна Васильевна... Полноте!

Тимирева отняла руки от лица, вытерла кончиками пальцев глаза, вновь печально улыбнулась.

– Это я вас люблю, – произнесла она. – Я все время о вас думаю. Я все время хочу видеть вас. Для меня вы – большая радость. Вот и выходит, что я вас тоже люблю. Очень, очень, очень... – Губы у нее дрогнули, Колчаку показалось, что она снова заплачет, но печаль стекла с ее лица, на губах появилась новая улыбка – радостная, светлая, и Колчак облегченно вздохнул.

– А я вас больше чем люблю, – сказал он, поднимаясь со скамейки.

Дела на Черном море обстояли хуже, чем на Балтийском. Здесь не было своего Колчака, способного загнать немецкий флот в какое-нибудь узкое пространство и заткнуть его там пробкой, как в бутылке, да и командовал там германской морской армадой адмирал более толковый, более решительный, чем Генрих Прусский, – немец французского происхождения Вилли Сушон. [138]

Перед тем как приехать в Севастополь, Колчак вынужден был завернуть в Могилев, в Ставку Верховного. Верховным главнокомандующим был Николай Второй, начавший успешно

продувать войну своему таракано-усатому родственнику Вилли. Кайзера Вилли это обстоятельство чрезвычайно радовало, он прикладывал правую руку к левой, сухой, не способной держать даже спичку, оживленно потирал ее, будто собирался основательно напиться, потом отправлялся в вагон-ванную – имелся в его поезде такой, – где кайзер очень любил плавать и размышлять о судьбах мировой цивилизации, о своем месте в истории и критиковать родичей, менее удачливых, чем он.

Первым Колчака принял старый генерал Алексеев, [139]одетый в неряшливый мундир с потертостями на локтях и перхотью, густо обсыпавшей погоны. Но за внешней неряшливостью, неказистостью скрывался очень цепкий ум и толковая, жесткая внутренняя организация: недаром все-таки крестьянский сын Мишка Алексеев выбился в полные генералы.

Алексеев не стал скрывать от нового командующего трудности, возникшие в последнее время на фронте, – в войну на стороне России недавно выступила Румыния, а это лишние хлопоты: румынов надо защищать, и поставил: перед Колчаком задачу: к весне 1917 года захватить Босфор и лишить немецкие корабли возможности вообще заходить в Черное море.

– Нечего им там делать, – сказал Алексеев. Добавил: – Особо оберегайте Новороссийск – это главная база снабжения Кавказской армии. Случаи, когда туда прорывались германские крейсеры под турецкими флагами, уже были. И не один.

– Больше не будет, – пообещал Колчак.

– Я на это очень надеюсь. – Алексеев выдержал паузу, будто в театре, и добавил: – Это не моряки, а форменные разбойники.

Встреча с Николаем на Колчака впечатления не произвела. Осталось лишь досадное ощущение, что он повидался с человеком, занятым не своим делом. Николай говорил невнятно, путался, делал слишком много вялых движений и жадно пил из графина воду.

Во время разговора Колчак все время отворачивал голову в сторону: ему тоже хотелось выпить воды из графина.

Сухорукий Вилли выгодно отличался от него: кайзер все схватывал на лету, памятью обладал феноменальной – один раз взглянув на карту Балтийского моря, он запоминал не только названия проливов, островов и банок, но даже глубины и скорость течений, не говоря уже о названиях кораблей и деталях операций.

Колчак уже знал, что наиболее наглыми разбойниками, лютующими в Черном море, а в случае опасности способными спрятаться под чужим флагом, были два немецких крейсера «Гебен» и «Бреслау» – оба новейшие, из тех, что работали не на

угле, а на сырой нефти и мазуте, были способны развить скорость курьерского поезда, болванками своих снарядов запросто проламывали насквозь чужие корабли, в какую бы броню те ни были одеты.

Адмирал Эбергард, [140]который сдавал Колчаку черноморское хозяйство, прислал в Могилев оперативные донесения, рассказывающие о подвигах этих двух пиратов – «Гебена» и «Бреслау».

В поезде, направляясь в Севастополь, Колчак подробно ознакомился с секретным пакетом и, вспомнив слова генерала Алексеева, хмыкнул:

– Действительно, не моряки, а форменные разбойники!

Едва Колчак прибыл в Севастополь, как было принято радиосообщение о том, что «Бреслау» вышел из Босфора – Вилли Сушон решил попробовать нового командующего на прочность: а вдруг расколется орешек? Вдруг скорлупа у него в трещинах? Колчак все понял и усмехнулся:

– Ну-ну! Эта парочка, «Бреслау» с «Гебеном», думает, что ей все дозволено? – Он вновь усмехнулся и повторил: – Ну-ну! – Потянулся к настенному календарю, оторвал листок, швырнул его в мусорную корзину. – День прошел – и с глаз вон!

За иллюминаторами адмиральской каюты тихо покачивалось Черное море.

Рассвет седьмого июля 1916 года был розовым. Около Графской пристани пронзительно кричали чайки, дрались отчаянно, будто собаки: что-то они не могли поделить...

Новый командующий вывел в море линейный корабль «Императрица Мария» – это был самый сильный корабль Черноморского флота, командовал им князь Трубецкой [141]– человек горластый и ничего не боящийся, год назад он малыми силами решился напасть на хорошо охраняемый немецкий караван и отбить его. Караван состоял из судов-угольщиков. Затея удалась, и в результате германский флот остался без топлива. Колчак относился к Трубецкому с симпатией и подумывал о том, чтобы поставить князя начальником минной бригады.

– Владимир Владимирович, – спросил у Трубецкого Колчак, – как вы думаете, куда направляется «Бреслау»?

– В Новороссийск, – не задумываясь, ответил князь. Колчак, немного поразмышляв, согласно наклонил голову.

– Ну что ж... Устроим кораблю достойную встречу. С угощением, как и положено по русскому обычаю. – Приложил к карте линейку, определяя, каким путем пойдет к Новороссийску «Бреслау» и где лучше его встретить. – Скомандуйте «Полный вперед!», – приказал он князю.

Машины на «Императрице Марии» загудели едва слышно – двигатели на линкоре стояли новые, их работа почти не чувствовалась, в буфете кают-компании не звякала ни одна стекляшка, и вскоре гигантский корабль понесся по волнам, будто птица. Чайки, пытавшиеся догнать его, быстро выдыхались и, обессиленные, шлепались на воду. Командир «Бреслау», кончено же, слышал об «Императрице», но не ставил ее ни в грош: к хорошему кораблю нужна была еще и хорошая голова... Командир на линкоре, говорят, неплохой, но что он может сделать, если у него связаны руки, если над ним полным-полно начальников, которые просто не хотят воевать. И первый из них – вице-адмирал Эбергард.

Во-первых, Эбергард рисковать не любит, во-вторых, он очень скоро должен отбыть из Севастополя, новый же командующий обязательно должен осмотреться, прежде чем принять какое-нибудь самое элементарное решение. Значит, сейчас безвременье, самая милая пора для разбойных утех. В-третьих, вряд ли новый командующий сможет помешать быстроходному крейсеру «Бреслау». В-четвертых, с первых минут Колчаку надо показать, кто в Черном море хозяин...

«Бреслау» действительно шел в Новороссийск. Новороссийск – лакомый кусочек для набегов, тут всегда есть чем поживиться, ни разу походы «Бреслау» не оказывались пустыми: немецкий крейсер топил русские корабли, огненным смерчем сносил с набережных людей, грузы, торговые ларьки, постройки и битые фронтовые автомобили, окрашенные в защитный цвет, на которых в зону военных действий доставляли оружие, боеприпасы, еду...

Командир «Бреслау» торопился, он дрожал от нетерпения... Когда же он увидел на горизонте громадину «Императрицы», возникшую будто из ничего – страшную, поднимающую своим ходом двухметровые волны, – линкор словно выдавливал своим туловищем воду из чаши моря, – то не поверил глазам своим, протер их – русский линкор не исчез, он, даже наоборот, увеличился в размерах – значит, шел ходко... Командир «Бреслау» приложил к глазам бинокль и тут же одернул: в линзы попали черные жерла орудийных стволов, неестественно огромные...

– Разворот на сто восемьдесят градусов, – запоздало скомандовал он. – Ход не сбрасывать! Возвращаемся назад!

Слева был берег, если взять влево, то на повороте на полном ходу «Бреслау» запросто мог вылететь на камни – вираж «рисовали» в сторону моря.

– И откуда тут взялась эта каракатица? – Командир «Бреслау» не выдержал, выругался. – Какой черт ее принес?

Носовые орудия линкора вспыхнули красными бутонами, и,

прежде чем до «Бреслау» донесся грохот выстрелов, крейсер подняло на воде, унося куда-то к облакам, слева и справа от него вспухли высокие белые столбы разрывов, в офицерских каютах по левому борту выдавило иллюминаторы.

«Попадание! Прямое попадание!» – мелькнуло в голове командира «Бреслау» заполошная мысль, он метнулся в одну сторону рубки, потом в другую, ожидая увидеть огонь, дым, убитых людей, валяющихся вдоль бортов, но ничего этого не было, и командир «Бреслау» облегченно вздохнул: прямое попадание снаряда, пущенного с русского линкора, переломило бы «Бреелау» пополам – вон как лихо вознесло крейсер к облакам!

– Дымовые шашки за корму! – закричал командир «Бреелау». – Полная маскировка! А ну, канальи, быстрее! Быстрее, быстрее! – Он высунул голову в разбитое окно рубки, подергал усами «а-ля кайзер», прорычал что-то невнятное и убрался обратно. – Быстрее! Иначе нам ноги не унести.

Носовые орудия «Императрицы» вновь расцвели жирными красными бутонами. Один снаряд перелетел через «Бреслау», вонзился в воду прямо перед ровно обрезанным носом крейсера, корабль испуганно дернулся, метнулся в сторону, прочертив в воде короткий, набухший пузырящейся пеной зигзаг, и это спасло его – следующий снаряд с «Императрицы» лег как раз в то место, где только что находился немецкий крейсер, вздыбил гигантский фонтан, крейсер – уже вдогонку – накрыло валом воды. Воды было так много, что «Бреслау», подобно перегруженному коню, присел на корму, будто на задние ноги хлопнулся.

Двух матросов, поспешно раскладывающих на корме шашки с «дымом», слизнуло как коровьим языком: только что были они, копошились, с опаской поглядывая на серый страшный силуэт преследующего их корабля, ругались тонкими, издали слышными голосами, подобно острым ножевым лезвиям ввинчивающимся в грохот стрельбы, в лай и мат офицеров и боцманата, в охлесты грома, вместе со свинцовыми брызгами поднимающегося из воды, и не стало их. Просто удивительно было, до чего же крикливы оказываются люди в минуты опасности, до чего же противны их голоса... Командиру «Бреслау» оставалось только морщиться – не заткнешь же им глотку!

Пусть, в конце концов, визжат, будто плохо отлаженные станки на лесопилке, разделывающие бревна на доски, только работают быстрее! Не то копаются, копаются, никак не могут справиться с простым делом... Криворукие раззявы! И вот не стало их!

Командиру «Бреслау» сделалось жаль матросов – все-таки они его соотечественники.

– А ну, быстрее, чего телитесь, канальи, с дымовой завесой! – гаркнул он на опустевшую корму, высунувшись в разбитый боковой иллюминатор мостика, увидел, как по палубе поспешно забегали матросы в белых робах, поморщился – слишком уж приметны они в своем «святом» одеянии на серой броне, по одному можно перещелкать, – опустил на разбитый иллюминатор стальную ресницу.

Вторая попытка пустить «дым» была успешнее первой – на корме заискрились, заполыхали, плюясь черным жирным чадом, три шашки; одну из них, незакрепленную, сдвинуло к борту, и она поспешно нырнула вниз, изгадила широкий пенный след черной маслянистой пакостью, плюнула напоследок дымом и скрылась в глуби. Но и двух «дымов» хватило на то, чтобы «Бреслау» скрылся в черном шлейфе.

Даже пенный след, выползающий из шлейфа, не мог точно указать, каким курсом идет удирающий крейсер. А курс у крейсера был простой – «зигзугистый», как определили матросы с «Императрицы». «Бреслау» шел зигзагом.

«Императрица» сделала вдогонку еще два залпа – артиллеристы били вслепую, в центр широкой черной пелены, не надеясь попасть в сам корабль. Попаданий в крейсер действительно не было, снаряды ложились рядом с ним, и, всякий раз косясь на чудовищные всплески воды, поднимавшиеся рядом с бортами «Бреслау», командир крейсера втягивал голову в плечи – он хорошо понимал, что было бы, если бы одна из этих чушек попала в его корабль – остался бы тогда от крейсера один только иззубренный, сплошь в рванине дыр винт да окровавленное шмотье – одежда матросов.

«Бреслау» удирал от «Императрицы», как заяц от охотника. Хотя, честно говоря, крейсер сам рассчитывал быть охотником и показать этим меднолобым русским «кузькин гросс-муттер». А оказалось, что «кузькин гросс-муттер», или «кузькина мать» на немецкий лад, – выражение это очень нравилось командиру «Бреслау» – произнося его, он наглядно демонстрировал своим подчиненным, что знает язык противника, – была показана ему, командиру новейшего немецкого крейсера…

Нет, этого командир прославленного немецкого крейсера, столь любимого Вилли Сушоном, никак не мог ожидать, как и не мог смириться с собственным позорным бегством. Надо было звать на помощь старшего брата – тяжелый крейсер «Гебен».

Война вице-адмирала Колчака с немецким флотом в Черном море началась.

А пока крейсер «Бреслау» еле-еле унес ноги от «Императрицы Марии».

Вернувшись в Севастополь, Колчак – усталый, но довольный – отдал первое распоряжение по флоту: «Минзагам срочно готовиться к постановке минных банок!»

Через несколько дней горловина Босфорского пролива, через которую суда выходили в Черное море, была заминирована. Причем минирование Колчак произвел хитрое, многоступенчатое. Теперь в Черное море из Средиземного не могли проникать не только надводные корабли, но и подводные.

Больше «Бреслау» в Черном море не появлялся. Оставалось разделаться со вторым разбойником, с «Гебеном». По одним данным, он находился по ту сторону Босфора, по другим – здесь, в Черном море, прячась в хорошо прикрытых глубоководных бухтах Турции. Сведения разведки на этот счет были разноречивы.

«Гебен» был зверем покрупнее «Бреслау», много крупнее. Он в одиночку запросто мог одолеть три линкора типа «Императрицы Марии», вместе взятых, превосходил все русские линейные корабли в скорости, ходил быстрее курьерского поезда и в артиллерийском оснащении был много сильнее «Императрицы», на его счету числилось немало черных дел. Совладать с ним не было никакой возможности. Но однажды – это было пятого ноября 1914 года – его все-таки проучили: «Гебен» попал в капкан. Произошло это недалеко от берегов Крыма, у мыса Сарыч.

«Гебен», как обычно, вознамерился поразбойничать на нашей территории, пройтись огненным смерчем по уютным крымским городкам и казачьим поселениям, выстроившимся в защитную линию, но не тут-то было: нарвался на русских.

Бой длился четырнадцать минут». За это время «Гебен» получил четырнадцать дырок – по одной на каждую минуту, и если бы дырявили не «Гебен», а какой-то другой корабль, он давно бы сделал оверкиль и так, трубами вниз, пошел бы ко дну, но слишком высока была живучесть «Гебена» – лучшего корабля германского флота: он не потонул, а отчаянно работая машинами, потеряв в схватке сто пять человек убитыми и пятьдесят девять ранеными, оторвался от русских кораблей и умчался в сторону Босфора.

Догонять его было бесполезно: ни один из наших кораблей не мог сравниться с ним в скорости.

– И как только этих двух беспардонных жуков, «Бреслау» и «Гебен», пропустили сюда из Дарданелл? – недоумевал Колчак. – Ведь там же стоит целых два флота, французский и английский. Муха пролететь не может, ей оторвут задницу, а тут два таких здоровых жука прорвались.

– Вполне возможно, это было сделано специально, Александр Васильевич, – после некоторых раздумий заявил адмиралу Николай Георгиевич Фомин, флаг-капитан флота по оперативной части, которого Колчак перевел в Севастополь с Балтики. Это был тот самый Фомин, который нашил спящему Колчаку на тужурку георгиевскую ленту, тихий и спокойный человек (хотя и ходок по своей натуре, способный стремительно зажигаться и так же стремительно угасать – ходок, естественно, по женской части)...

На Балтике было много ходоков, у которых были разные «увлечения»: одни – коллеги Фомина по отношению к прекрасной половине мира сего, другие – спецы по ловле камбалы с ревельских причалов (это тоже ходоки), третьи – ходоки с капитанского мостика в кают-компанию, чтобы лишний раз опрокинуть в рот рюмку казенной мадеры и сделать вид, что только мадера и может спасти от гибели в холодную погоду, в снег и мокреть, четвертых, увлеченных своим делом людей, хлебом не корми, дай только врезать по зубам матросу, и так далее.

– Возможно или точно? – сухо – перемена голоса была внезапной, и Фомин, не поняв, в чем дело, обиженно поджал губы – поинтересовался Колчак.

– Вполне возможно, – выждав паузу, стараясь понять, чего же хочет от него Колчак, повторил Фомин. – Ведь пропустить такие две здоровые дуры, как «Гебен» и «Бреслау», могли только слепые.

– Ладно, будем надеяться, что «Гебен» нам еще попадется. – Колчак придвинул к себе карту, испещренную цифирью глубин: Черное море – капризное, неровное, глубины тут скачут, словно блохи на матрасе, то вверх, то вниз...

Когда минные банки были поставлены и Босфор сделался тихим, как здание гимназии в пору летних каникул, Колчаку стало спокойнее жить. Тем более что забот у него было по горло – предстояло разработать два варианта взятия Босфорского пролива: один – морской, второй – сухопутный, с выбросом десанта. Кроме того, Ставка решила подчинить Колчаку Дунайскую флотилию. [142]Колчак, взвесив все «за» и «против», согласился. Хотя и направил в Ставку контрпредложение – кроме флотилии сформировать на Дунае матросский полк, который можно было бы перебрасывать с места на место как десантный и затыкать им дыры, если где-то сделалось горячо и на заднице прогорела материя. В полк должны были войти три полновесных гвардейских батальона.

Ставка это предложение приняла, но потом неожиданно отработала «задний ход» – Колчаку было сообщено, что сделали это по высочайшему распоряжению самого государя.

Загубленной идеи было жаль.

Но, поразмыслив немного, Колчак пришел к выводу, что Николай Второй поступил правильно: Питер стал совсем гнилым городом, зашатался под напором рабочих стачек, изо всех щелей наружу полезло разное дерьмо. Императорская семья в отсутствие хозяина чувствовала себя неуверенно, за пределы дворцовой ограды в Царском Селе не выходила, но ограда с тяжелыми замками также была ненадежной защитой. Бунтующие работяги могли свернуть ее ломами в полторы минуты, поэтому царь решил подстраховаться преданными матросскими штыками: а вдруг работяги действительно полезут? У них дури хватит, чтобы поднять руку на Помазанника Божьего, сделать черное дело, а там хоть трава не расти.

С другой стороны, трусит чего-то царь-батюшка. Не мужская это черта характера и тем более не царская – трусость.

Свой штандарт командующего Колчак поднял на броненосце «Георгий Победоносец», здесь же разместились и его флаг-офицеры – помощники по разным службам.

Несколько раз Колчак спрашивал у Фомина:

– Ну, что слышно о «Гебене»? В бой не рвется?

– Судя по всему, нет. Затих, пригрелся, как навозный жук, которого накрыло кучей теплого дерьма.

– Жалко. «Гебен» неплохо было бы накрыть не только теплым дерьмом.

Крейсер исчез, как будто сквозь землю (или сквозь воду) провалился, проклятый. Не видно и не слышно его. Колчак, в котором неожиданно появилась самоуверенность хорошо отдохнувшего курортника, с победной улыбкой тер пальцами подбородок: а ведь «Гебен» может больше вообще не появиться в их водах – он остался запечатанным в Средиземном море, по ту сторону Босфора.

– Мое сердце чует – здесь он, – сказал Колчаку Фомин.

– А мое – нет! – отрезал Колчак.

– Он находится в Черном море, у турецких берегов, Александр Васильевич.

– Поживем – увидим.

Колчак ждал писем от Анны Васильевны – почтовая связь, даже военная, фельдъегерская, сделалась такой же ненадежной, как и обычная, гражданская. Лучше всего – посылать письма с оказией, со знакомыми офицерами. Либо с обычными матросами: эти доставляют письма даже лучше офицеров. И никогда не интересуются, почему вице-адмирал Колчак посылает письма чужой жене? Рядовому матросу до этого просто дела нет.

Тимирев, получив новое назначение – крейсер «Баян» был одним из наиболее боевых на Балтике (как и Первая бригада, в которую он входил), из серии «Новиков», командовать им одно удовольствие, – теперь почти не бывал дома.

Анна Васильевна вместе с Одей жила на даче под Гельсингфорсом». Было скучно, развлечений никаких. Если только часами разглядывать море, с холодным шипением накатывающееся на песок, да слушать, как в сосновых лапах скулит ветер?

Из соседей Анна Васильевна выделяла только семью Крашенинниковых: он – капитан второго ранга, служил вместе с Тимиревым и иногда, если случалась оказия, выезжал на дачный остров Бренде, где находилась его семья. Тимирев наезжал еще реже: война совершенно исключала отдых на даче. Но тем не менее иногда появлялся. Анна Васильевна разом скучнела – она думала о Колчаке.

Когда они прощались, Колчак попросил разрешения писать ей письма. Анна Васильевна с милой улыбкой разрешила.

...В ту неделю на Бренде выдалось несколько тихих золотисто-розовых вечеров, в которые, кажется, рождаются ангелы: в такие вечера обычно все успокаивается, вода делается ласковой и хрустально чистой, зеркально светится и манит к себе, по воздуху летает невесомая жемчужная паутина.

В среду вечером, когда белесый прозрачный сумрак немного загустел, но в нем все равно можно было разобрать каждый предмет, видна была даже линия горизонта, на короткой улочке, сбегающей между песчаными горбушками к морю, послышались голоса. Анна Васильевна выглянула в окно: к дому шел Тимирев, за ним – матрос, согнувшийся под тяжестью фанерного ящика. «С флотским провиантом, – определила Тимирева. – Сергей Николаевич часть своего командирского пайка привез нам с Одей». – Внутри у нее шевельнулось что-то теплое, благодарное, губы раздвинулись в виноватой улыбке – она себя чувствовала в этот момент виноватой, но длилось это недолго, и Анна Васильевна вздохнула с невольным восклицанием:

– Ах!

Заметила, что к соседней даче направляется кавторанг Крашенинников, за ним также стрижет ногами землю матрос, сгорбившийся под тяжестью плотно набитого фанерного ящика. С продуктами на острове было плохо, в Гельсингфорсе – еще хуже, полки в тамошних магазинах были пусты, продуктами можно было запастись только в Ревеле, и если у знакомых морских офицеров выпадала оказия в Ревель, им обязательно делали заказы на продукты. В Эстонии водилось все: и копченые окорока,

и чесночные домашние колбасы, и нежные сыры популярных сортов, – маленькая земля умудрялась производить много продуктов.

«Может быть, крейсера Первой бригады ходили в Ревель?» – мелькнула у Анны Васильевны мысль, мелькнув, тут же и исчезла. Анна Васильевна подавила в себе очередной сладкий вздох «Ах!» и поспешила навстречу мужу.

Тот, пахнущий морем, солью, порохом и цветами, наклонился к жене, поцеловал ее в щеку. Потом вытащил из-за спины букет георгин:

– Это тебе, – улыбнулся безмятежно, будто мальчишка, верящий в сказки, и добавил: – От дедушки Мороза из города Ревеля. Он там в командировке находится.

«Значит, это не командирский паек, а крейсера заходили в Ревель». – Анна Васильевна сделала рукой многозначительный жест и подставила мужу вторую щеку для поцелуя.

Георгины имели редкостный черный цвет – такие ей в ту пору нравились. Черный цвет – это цвет войны.

– Ты надолго? – спросила Анна Васильевна.

– На сутки. Завтра вечером снова на корабль.

На следующий день около дачи Тимиревых остановился огромный, не менее двух метров ростом матрос. Откуда-то из-под локтя у него высовывалась маленькая, очень похожая на китаянку горничная семейства Колчаков – только у них была такая крохотная горничная, у всех остальных служили нормальные, рослые и сообразительные бабы – эстонки, финки, латышки, русские.

– Мне нужна Анна Васильевна Тимирева, – грубым голосом прорявкал матрос.

– Это я, – сказала Анна Васильевна, выходя на крыльцо. В ней неожиданно возникло что-то робкое, цыплячье, она невольно подумала: что-то случилось с Александром Васильевичем.

Следом за Анной Васильевной на крыльцо вышел и муж. Заинтересованно глянул на матроса. Поскольку он был без мундира, матрос не обратил на него внимания.

– Вам пакет, – сказал матрос Анне Васильевне и вручил ей пухлый конверт, – из штаба Черноморского флота, от их высокопревосходительства господина Колчака.

– Благодарю вас, – манерно ответила Анна Васильевна, невольно зарделась и, еще больше оробев – слишком уж громаден и громкоголос был матрос, слегка поклонилась.

Взгляд мужа жег ей затылок. Пока Сергей Николаевич не сказал ей ни слова про «шуры-муры» с популярным адмиралом – ни слова, ни полслова. Но что будет теперь? Анна Васильевна

зарделась еще больше, красными у нее сделались даже мочки ушей и шея.

Матрос, отдав ей толстый тяжелый конверт, круто развернулся на каблуках и двинулся вдоль дачной улочки, с интересом поглядывая на кусты сирени, густо разросшиеся в палисадниках. Маленькая колчаковская горничная крохотными шажками семенила следом.

Раз матроса сопровождала горничная Колчаков, значит, он прежде побывал у Софьи Федоровны, и та дала ему горничную, чтобы крохотная куколка эта проводила здоровяка в бескозырке к даче Тимиревых... Значит, и Софье Федоровне все было известно. Анна Васильевна едва не застонала. Беспомощно повертела конверт в руках.

– Что там? – спросил муж. – В конверте что?

– Не знаю.

– Почему тебе, а не мне?

– Не знаю, – заведенно повторила Анна Васильевна.

Матрос неожиданно остановился у одного из палисадников, сорвал с куста листок сирени и издали выкрикнул Тимиревой:

– Барыня, я через пятнадцать минут зайду за ответом. Мне велено ответ привезти в Севастополь.

Час от часу не легче. У Анны Васильевны было такое чувство, будто она попала в капкан и ей, как лисице, зажало лапу.

Она метнулась с колчаковским письмом в комнату, со страхом ожидая, что муж придет следом, но Сергей Николаевич был тактичным человеком – он не появился в комнате жены. Анна Васильевна переведя дыхание, дрожащими пальцами надорвала край конверта, вытащила оттуда целую пачку бумаги. Все страницы были исписаны неторопливым колчаковским почерком. Почерк адмирала Анна Васильевна знала уже хорошо.

Чтобы прочитать эту кипу бумаги, понадобится не менее двух часов. Она пробежала глазами начало – первые полторы страницы, поняла, что Колчак писал это послание (иначе не назовешь) в несколько приемов, начав его еще в Могилеве, когда ездил представляться государю, завершил в море, на корабле, после погони за крейсером «Бреслау». Она посмотрела на последнюю страницу. Заканчивалось письмо традиционно: «Да хранит Вас Бог. Ваш А. Колчак».

Чувствуя, что задыхается, Анна Васильевна прижала письмо к себе. Наверное, так матери прижимают к груди своих детей. Дыхание у нее рвалось, сердце стучало где-то в горле. Она поспешно схватила лист бумаги, дрожащей рукой начертала на нем несколько слов. Посмотрела на часы: пятнадцать минут уже на исходе. Приподнялась, глянула за занавеску. Громадный

матрос уже стоял у калитки – пришел раньше обещанного времени. Анна Васильевна приподнялась еще выше, на цыпочки: стоит ли рядом с ним маленькая колчаковская горничная?

Горничной не было. Анна Васильевна почувствовала, что ей сделалось легче: может быть, Софья Федоровна ничего не заметила? И вообще ничего не знает, ни о чем не догадывается? Поправив на себе кофту, будто побывала в чьих-то объятиях, Анна Васильевна мазнула пуховкой по одной стороне лица, потом по другой, глянула на себя в зеркало и запечатала конверт.

Вышла на крыльцо уже спокойная, ни о чем не думающая.

– Эй, любезнейший!

Матрос-гигант вскинулся, приложил руку к бескозырке. Анна Васильевна протянула ему через калитку конверт, увидела конверт словно со стороны – конверт был тощий, выглядел жалко, и Анна Васильевна невольно поперхнулась. Матрос вновь поднес к бескозырке руку:

– Мадам!

Анна Васильевна выпрямилась с надменным видом – это у нее было защитное, – произнесла высокомерно:

– Передашь их высокопревосходительству в собственные руки. Лично!

– Не извольте сомневаться, мадам!

Спиной, лопатками, плечами Анна Васильевна почувствовала, что на крыльцо снова вышел муж, развернулась к нему лицом и спросила невинным голосом:

– Тебе уже скоро на корабль, милый?

– Сегодня вечером, в двадцать один ноль-ноль. Едем вместе с Петром Ильичем.

– Я скоро начну собирать тебя, – сказала Анна Васильевна, хотя знала, что ничего собирать ей не придется: все сделает горничная.

В тихом стоячем воздухе послышалось далекое пение жаворонка. Анна Васильевна изумленно вскинула голову, пошарила глазами по небу: запоздал что-то жаворонок, он никак не должен был петь летом, что-то, видимо, в природе сместилось, песня жаворонка родила в ней ликующее чувство, все заботы отошли на задний план.

– Странно, откуда в эту пору здесь может быть жаворонок? – проговорил Тимирев. – Жаворонок – птица весенняя.

Эта фраза неожиданно родила в Анне Васильевне злость, она рубанула сплеча:

– У тебя жаворонок не спросил, когда ему появляться: весной или осенью!

Сергей Николаевич промолчал: ему не хотелось заводиться.

Похоже, в семье назревает раскол. Он подумал о том, что в России так принято: многие несчастливые мужья живут со своими женами – сущими ведьмами – ради детей. Так ради Оди живет и он. И будет тянуть свою лямку до последнего дня.

На другой день Тимирева встретилась на песчаной узкой дорожке с Софьей Федоровной, первое желание ее было отпрянуть куда-нибудь за сосну либо нырнуть в кусты, но прятаться было поздно – это с одной стороны, а с другой – она увидела, что глаза Софьи Федоровны очень доброжелательны, ясны, нет в них никакой грозы.

Они расцеловались. Увидев, что Софья Федоровна бросила на нее выжидательный взгляд, Тимирева поспешно отвела глаза в сторону и призналась:

– Вчера я получила письмо от Александра Васильевича.

– Я знаю, – спокойно и доброжелательно отозвалась жена Колчака.

Ей хотелось спросить у этой вертлявой женщины, почему письма Александр Васильевич присылает ей толстые, любовно запечатанные, а родной жене – тощие, наспех написанные и наспех заклеенные, все это невольно бросается в глаза, – но Софья Федоровна ни о чем не спросила.

Война на Черном море была совсем иной, чем на Балтике, – менее опасной, что ли: Балтика была забита германскими крейсерами и эсминцами, как печка у иной хозяйки кастрюльками. Да и махин-дредноутов в мелком Балтийском море было полным-полно – куда ни плюнь – обязательно попадешь в дредноут. На Черном море все было совершенно иным. Здесь было больше турецких кораблей, чем немецких, но турецкие в счет не шли: эти орешки Колчак щелкал играючи. Забавлялся, а не воевал.

Водилась и другая, застрявшая по эту сторону Босфорской горловины немецкая мелочь – миноносцы, подводные лодки, канонерки, но их Колчак также не брал в счет: мелочь, она и есть мелочь.

Жарким распаренным вечером Колчак поехал на вокзал встречать Софью Федоровну. Жена прибыла налегке – с двумя потертыми кожаными баулами, ридикюлем и шестилетним Славиком, который также тащил в руках какую-то цветастую, сшитую из плотной материи сумку. Колчак, увидев сына, невольно остановился – что-то больно ударило его в поддых, в затылке сделалось тепло. Он присел, вытянул перед собой руки.

Славик, обрадованно топая башмачками, понесся к отцу. Колчак подхватил его на лету, прижал к себе, ткнулся лицом в двухмакушечную детскую головенку:

– Славка! – Замер на несколько мгновений, одолевая подступившую слабость, что-то щемящее, соленое, возникшее в глотке, вздохнул громко: – Ты будешь очень счастливым человеком, Славка!

– Почему, папа?

– Ты – двухмакушечный. А люди с двумя макушками – счастливые. Особенно мальчишки. – Он вновь прижался носом к голове мальчишки, втянул в себя запах, исходящий от его волос. – Ты очень вкусно пахнешь.

– Чем, папа?

– Если бы я знал... Ну-у, наверное, дымом дороги, солнцем, пространством, пирожками, которые мама покупала тебе на станциях.

Славик неожиданно насупился.

– Ничего мне мама не покупала. У нее все было с собою. Свое. И пирожки свои были.

Колчака умилило, что шестилетний Славик говорил как взрослый. И слова произносил взрослые. Он поставил Славика на землю, потянулся к Сонечке:

– Здравствуй!

Внешне они производили впечатление самой счастливой семьи в Севастополе.

Обратным поездом, в том же вагоне, в котором приехала Софья Федоровна, в Питер отбыл сотрудник Главного морского штаба старший лейтенант Романов; Колчак отправил с ним цветистое письмо Тимиревой. Начал он его словами: «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...»

На Черном море по-прежнему было тихо. «Гебен» так и не появился.

– Ну что, сведений об утюге никаких? – вспоминал в очередной раз о морском монстре адмирал.

– Никаких, – ответил ему обескураженный Фомин.

На минных банках, охраняющих горловину Босфора, время от времени подрывались немецкие корабли. Но все это была мелочь, как выразился Колчак. «Огурцы, тараканы, пыль». Он готовился к Босфорской операции.

Матросы на кораблях слушали пение граммофонов: патефон, украшенный большой горластой трубой, сделался непременным атрибутом всякой плавающей посудины наряду с торпедными аппаратами, орудиями и воздушными лифтами для подачи снарядов.

– Ваша взяла, Александр Васильевич, – наконец признал свое поражение флаг-капитан Фомин.

– Я знаю.

– «Гебен» подорвался на русских минах в Босфоре.

– Я знаю.

Колчаку уже доложили, что аккуратный «Гебен» умудрился воткнуться носом в одну из мин и, оглохший, ослепший, с выбитыми линзами дальномеров и трещинами в корпусе, сейчас с трудом перебирался на базу под прикрытием турецкого берега. Доразбойничался, родимец! Чтобы «Гебен» не затонул, с двух боков его поддерживали суда-спасатели.

Об этом утром Колчаку сообщил начсвязи флота. Данные точные – проверять их не надо было: утром на свободный поиск летали два самолета-разведчика и муки покореженного «Гебена» сняли на фотопулемет. [143]

Софья Федоровна быстро нашла себе дело – возглавила Севастопольский имени цесаревича Алексея дамский кружок помощи больным и раненным воинам и решила открыть специальную «санаторию для нижних чинов».

Начинание было благое, и Колчак его одобрил. Письма от Анны Васильевны приходили регулярно, адмирал свой послания отсылал также регулярно – то с нарочным, то с оказией. Чаще всего этой оказией бывал Романов, недавно получивший повышение в чине – он стал капитаном второго ранга.

Как-то Романов, передав Анне Васильевне очередной колчаковский пакет, не выдержал и спросил, что называется, в лоб:

– И что же из всего этого в конце концов получится? А, Анна Васильевна?

Он имел право задавать такие вопросы, поскольку одинаково хорошо знал и Тимирева, и Колчака – еще по Морскому кадетскому корпусу, знал и Анну Васильевну – в ту пору, когда та была манерной девчонкой с двумя косичками, и Романов, который был тогда еще Володькой, не раз встречался с многочисленным семейством Сафоновых...

– Но письма приходят не только ко мне – приходят и к жене Александра Васильевича, – спокойно проговорила Анна Васильевна, в следующий миг лицо ее напряглось, губы нервно дрогнули, она сделала рукой резкий раздраженный жест.

– Да, приходят, – Романов усмехнулся, – только письма те вот такие, – он свел вместе два пальца, оставив между ними тонюсенький волосяной зазор, впрочем, туда даже волос не мог втиснуться, – тоненькие донельзя, а ваши письма... – Он широко развел пальцы, теперь в них могла вместиться толстая книга.

Он обратил внимание на то, что давно уже заметила и Софья Федоровна. Не заметить разницу между письмами, приходящими

по двум адресам, действительно было нельзя.

Всякий раз, бывая на линкоре «Императрица Мария», Колчак вспоминал лихую погоню за крейсером «Бреслау». Крейсер «Бреслау» считался легким и, как всякий легкий «карат», летал по волнам как пушинка – не догнать. Не было, кажется, во всех флотах мира таких судов, которые могли бы догнать «Бреслау», когда тот шел на полных парах, а тяжелая грузная «Императрица Мария» без особой натуги сделала это, она вообще едва не подмяла крейсер своей тяжестью, будто обыкновенную дворняжку. «Бреслау» едва удалось улизнуть, с ходу всадившись в узкий Гибралтарский пролив.

Колчак линкором был доволен и, всякий раз поднимаясь по трапу на борт «Императрицы Марии», нежно хлопал ладонью по теплой тяжелой броне:

– Здравствуй, старушка!

Никакой старушкой «Императрица», конечно же, не была, была, скорее, молодушкой – линкор спустили на воду, когда вовсю уже шла война, – летом пятнадцатого года.

Годовщина рождения корабля была отмечена хорошим столом в кают-компании «Императрицы»; подавали изысканное царское вино из подвалов князя Голицына «Слезы Христа». Это вино больше всего на свете любил Николай Второй; когда разговор шел об этом вине, Николай возбуждался необыкновенно, у него даже начинали дрожать влажные губы, а взгляд делался мечтательно-сладким.

Одно было плохо – вино не терпело перевозки, сбивалось и мигом делалось кислым, негодным, поэтому государь мог лакомиться им только в Крыму.

Матросы с «Императрицы» были самыми ловкими рубаками на Черноморском флоте, «обловить» их было невозможно, они, наверное, умели тягать рыбу даже из танков с мазутом, не говоря уже о воде. Из барабульки на огромных противнях готовили такую шкару, что она украсила бы не только адмиральский стол, но и царский. Колчак однажды отведал шкары на «Императрице». Остался очень доволен.

На дно противня матросы укладывали рядками розовую рыбку, сверху бросали лук, лавровый лист, пол-ладони немолотого, похожего на свинцовую дробь, перца, который мигом расползался по противню среди рыбешек, заливали водой и на полчаса ставили в печь. Потом вынимали и прямо с противня ели.

«Императрица» обычно стояла на северном рейде.

Утром седьмого октября 1916 года из носовой башни линкора неожиданно повалил дым – желтый, химический, вонючий, какой

может оставлять после себя только плохой, схожий с хозяйственным мылом тол, вахтенные на соседних кораблях так и решили: какой-то дурак на брикете плохого тола вздумал вскипятить чайник, но потом дым загустел, полез наружу даже из стволов орудий – тяжелый, удушливый. Дым грузно припадал к воде, сыпал мокретью и песком, вызывал ощущение тревоги, раздражения, еще чего-то, способного перевернуть человека с ног на голову. Низко пластаясь над волнами, дым пополз к маяку.

Затем на корабле рвануло, грохот взрыва вздыбил на берегу несколько столбов пыли, стремительно понесшейся на дома, над «Императрицей» взметнулся трехсотметровый хвост пламени, корабль обреченно дрогнул, носом ткнулся в воду, словно кто-то с силой потянул его за якорную цепь, на соседних кораблях раздались крики – со стороны показалось, что «Императрица» неожиданно задрала свою корму, еще немного, еще чуть-чуть, и она тихо поползет вниз, в глубину, но «Императрица» в следующую минуту выпрямилась, перевалилась с борта на борт, будто верблюдица.

В носовой башне снова раздался взрыв, за ним другой, потом третий – взрывы раздавались методично, со скоростью работающей аэропушки: та, когда начинает стрелять, рявкает злобно – рявканье это раздается с одинаковыми интервалами, – выстрелив, выжидает несколько секунд, словно наполняясь злобой, затем в ней щелкает автомат, и пушка рявкает вновь. Так и взрывы раздавались в строго отмеренной последовательности;

Колчак, резко отстранив услужливую руку матроса, с берега прыгнул в катер:

– Гони на «Императрицу»!

А «Императрица Мария» уже горела. В погребах у нее продолжали рваться снаряды. Всего очевидцы насчитали двадцать пять взрывов. Колчак, пока шел на катере к линкору, тоже считал взрывы: один, второй, третий, четвертый... Ни один корабль не смог бы вынести столько ударов, сколько вынесла «Императрица» – давно был бы уже на дне, а «Императрица» держалась – только вздрагивала мелко, противно после каждого взрыва и глубже оседала в воду.

Колчак неверяще отер рукою лицо. Рука оказалась мокрой. Он что, плачет?

Дым уже целиком окутал корпус несчастной «Императрицы», а взрывы все продолжали раздаваться.

«Что случилось? Что произошло в погребе носовой башни? Что это – ротозейство, диверсия, роковая случайность? – задавал себе вопросы Колчак и не находил на них ответа. – Надо срочно затопить погреба трех оставшихся башен. Сейчас корабль еще

можно спасти, но если огонь переберется и туда или в погребах сдетонирует хотя бы один снаряд – не спасет уже ничто».

Он вновь провел рукою по лицу. Рука и на этот раз оказалась мокрой.

Когда катер приткнулся своим выпуклым, окрашенным в белый цвет боком к «Императрице», то Колчаку показалось – борт у линкора от взрывов перегрелся. В воде плавали черные тряпки, обгорелые книги – имущество какого-то лейтенанта, выброшенное взрывом из башни, перемолотые в лохмотья доски снарядных ящиков и дохлые чайки.

По косому, прилипшему к борту линкора трапу Колчак поспешно взбежал наверх и, не слушая доклада вахтенного начальника – просто отодвинул его в сторону, – стремительно, почти бегом, понесся к носовой башне.

Башня вздулась, поползла в сторону, словно ее перекалили на огне, в нескольких местах треснула. Из проломов валил дым. Команда матросов, на которую покрикивал черный, как негр, капитан второго ранга с обожженными руками, волокла к башне длинный пожарный шланг. Взрывов больше не было. Хоть и оглушен был капитан второго ранга, хоть и похож был более на черта, чем на человека и еще меньше – на самого себя, а командовал он своими подопечными спокойно, умело, и Колчак, развернувшись, понесся на корму. По дороге ему попался лежащий на броне мертвый матрос с раскроенным черепом, как будто его саданули по голове топором. Розовый влажный мозг, вывалившийся на палубу, подрагивал, словно горка каши. Колчак с ходу перепрыгнул через матроса, ударил ногой по стойке леера, оттолкнулся от нее, пролетел над грудкой мозга и, громко стуча каблуками, помчался дальше.

На него налетел незнакомый старший лейтенант, едва не сбил с ног, поспешно отпрыгнул от адмирала к стене, вытянулся:

– Покорнейше про… про… – Лицо у офицера задергалось: старший лейтенант был контужен.

– Пустое! – прокричал ему Колчак. – Срочно собирайте людей! Надо немедленно затопить все погреба – все до единого! Иначе линкор взлетит на воздух!

Старший лейтенант понимающе вскинул руку к козырьку фуражки и исчез. Колчак помчался дальше. Ему казалось, что линкор уже весь, целиком, разогрелся, как кастрюля на огне, дышит жаром, к броне невозможно прикоснуться, лохмотья едкого желтого дыма, будто обрывки материи, плавают в воздухе, прилипают к одежде, к коже.

– Тьфу! – на бегу отплюнулся Колчак.

Под ногами у него что-то затрещало, показалось – горит

раскаленный орудийный порох, рассыпанный по палубе, Колчак шарахнулся в сторону, прижался к боку ялика, подвешенного к блокам и закрепленного снизу двумя оттяжками, чтобы не дергался, не раскачивался в плавании, – глянул вниз.

Под плотной серой броней что-то ухнуло, палуба задрожала. Мимо Колчака с криком «Посторонись!» пробежало несколько матросов. За ними тянулась длинная ребристая кишка – пожарный шланг. Контуженный старший лейтенант оказался деловым человеком, команду выполнял неукоснительно – матросы бежали заливать водой пороховые погреба.

Проводив их глазами, Колчак снова ошалело глянул себе под ноги – ощущение, что там вот-вот что-то рванет, не проходило, под броней раздался скрежет, будто изнутри по изнанке палубы провели топором, следом за скрежетом последовал удар – что-то рвануло вновь. Колчак выдернул из кармана брюк платок – слишком запоздало вспомнил о нем, – вытер лоб.

Много он видел на белом свете, много служил и плавал, но чтобы корабль взрывался на собственном рейде... Такого у него не было. У других было, у него – нет.

Он снова вытер платком лицо, услышал задавленный внутренний взрыд. В чем дело? Он плачет? Нет, глаза Колчака были сухи. А лицо – мокрое.

Неподалеку заполошно запела боцманская дудка, хрипловатый голос ее после грозных ударов внизу, под броней, показался ангельски чистым, вселяющим надежду. Следом за пением дудки послышался резкий командный крик – похоже, это продолжал действовать контуженный старший лейтенант.

Через несколько мгновений вокруг Колчака уже суетились люди, много людей, никто не обращал внимания, что рядом находится адмирал, командующий флотом – перед бедой, как и перед смертью, все оказались одинаково равны. Какой-то усатый, с седой головой унтер, не оборачиваясь, попросил Колчака: «Друг, помоги подтянуть кишку. Застряла, гадина...» – и адмирал помог подтащить заупрямившийся пожарный шланг.

Корабль гудел от напора воды, от суеты, топота ног, таинственных ударов, продолжавших раздаваться в корпусе, глубоко внутри, – с этим еще предстояло разобраться, определить, что это за удары, от гулкого лязганья главной машины и заполошного стрекота помп. Главное было – залить погреба водой, погасить саму возможность взрыва, спасти корабль, а потом уж разбираться, что произошло. И кто виноват...

На флоте в России эти вопросы традиционные уже оскомину набили: что произошло и кто виноват?

Если не удастся залить погреба, то погибнет не только

«Императрица Мария» – погибнет город, добрая половина Севастополя будет снесена чудовищной волной воздуха – тугой, поднимающей людей к облакам и на лету отрывающей у них ноги и сшибающей головы, будто гнилые кочаны. Вторая половина будет съедена пожаром – огонь не замедлит вцепиться в штабные постройки, в жилые дома и склады. Колчак на секунду представил себе, что могло произойти, и черными, грязными от копоти пальцами рванул на воротнике кителя крючки – ему сделалось душно, страшно, по спине, по хребту широкой струйкой пополз ледяной пот.

Фуражка-большемерка постоянно сползала ему на нос, околыш набух от пота, соль выедала глаза. Колчак работал вместе со всеми, забыв, что он адмирал, – и пожарные шланги подтягивал, и раскаленные чушки швырял в воду, и на носилки перебрасывал раненых к катеру – делал все, что считал нужным делать. И одновременно командовал главным – заливкой погребов со снарядами.

На линкоре прозвучало еще несколько загадочных взрывов – уже не в погребах, а в иных местах, где ни снарядов, ни патронов со взрывчаткой быть не могло, – каждый раз казалось, что внутри «Императрицы», в глубоком чреве лопается огромный шар. Тягучий внутренний звук этот вышибал перепонки, лупил снизу по ногам, срезая с обуви подметки и каблуки, лупил так сильно, что вообще сбивал людей с ног; Колчак сам как пушинка один раз отлетел к борту, ударился спиной в гибкий пружинистый леер и, отброшенный им, будто рогаткой, припечатался к стальному боку башни. Сплюнул под ноги кровь, выругался, как подвыпивший, разозлившийся на жизнь матрос.

На лихой полет адмирала никто не обратил внимания. На «Императрице Марии» продолжались работы по спасению, царила суета.

А под ногами, в глубине линкора продолжали лопаться чугунные шары, удары больно били в ноги, вызывали у адмирала тревожный вопрос: «Что это? Что взрывается?» Он потерял счет времени, охрип – вместо голоса из глотки вырывался странный птичий клекот, вместо слов – сиплый сор. Он перепачкался копотью, мазутом, маслом – всем сразу, из адмирала превратился в кочегара, сгорбился от усталости и выпрямился, стал походить на адмирала, лишь когда ему принесли обнадеживающую весть:

– Все три пороховых погреба залиты водой!

Колчак почувствовал, как напряжение, металлом скрутившее все его тело, ослабло, губы неожиданно задрожали, он приложил к ним руку, присел на железную тумбу, приваренную к палубе, стер рукою пот со лба. Платок он где-то потерял... Глянул на

недалекий, в осенней поволоке берег, испятнанный желтым и красным крапом – хоть и стояла теплая погода, лето в Крыму в этом году вообще не кончалось, а все-таки осень подбирается, еще немного – и порыжеет вся земля.

Неподалеку от Колчака на палубу сели несколько изможденных, черных как негры матросов – только глаза да губы посверкивали, – двое из них даже сидеть не могли, повалились на горячий металл...

– Ничего, ребята, ничего... – пробормотал Колчак успокаивающе, увидев, что один из них пытается встать, придавил его ладонью – сиди, мол, не дергайся. – Всем, кто участвовал в тушении пожара, будет предоставлен двухнедельный отпуск – съездите домой, малость отдохнете. Наиболее отличившихся награжу Георгиевскими крестами.

Матрос вновь сделал попытку встать – он узнал Колчака:

– Ваше высокопревосходительство...

– Сиди, сиди, – Колчак вторично придавил его ладонью, – заслужил отдых...

Он закрыл глаза, почувствовал, как перед ним поплыло в сторону багровое, в блестящем электрическом искорье пространство; Колчак качнулся, заваливаясь набок, с трудом выпрямился и открыл глаза.

Увидел, что по ногам вновь ползет желтый химический дым – едкий, очень едкий, способный в кровь разодрать не только глотку и легкие – даже башмаки. Дыры на ботинках и сапогах от такого дыма остаются величиной в кулак.

«Откуда же тянется эта ядовитая вонь? – Колчак с трудом поднялся с тумбы, вновь качнулся, но удержался, помял пальцами виски. Застонал: – И вообще, что происходит? Что?»

Дым сделался гуще, внутри, в корпусе «Императрицы» опять раздался знакомый гулкий удар, вновь что-то рвануло, падуба огромного тяжелого линкора задрожала, будто она сделана из фанеры. В воздух полетели заклепки, они щелкали, как пули, калеча людей, со всех сторон слышались крики, а потом по палубе покатилось пламя. Оно катилось, как живое, верткое, страшное, – катилось ошеломляюще быстро, не догнать, пожирая на пути все, что могло гореть.

Матросы, сидевшие на палубе, кинулись от пламени прочь, а Колчак стоял и тупо, совершенно равнодушно смотрел, как огонь подбирается к нему – сейчас обхватит ноги, осталось совсем чуть-чуть.

Один из матросов – тот, что узнал адмирала, – остановился, кинулся к Колчаку:

– Ваше высокопревосходительство...

Адмирал протестующе дернул головой:

– Не надо! Уходи!

– Сгорите, ваше превосходительство!

– Уходи! – Колчак повозил языком во рту, подыскивая нужное слово и цепко следя глазами за приближающимся валом огня. Попросил молящим голосом: – Уходи, служивый!

Но служивый, вместо того чтобы уйти – все-таки ему приказывал адмирал, – упрямо помотал головой, черное длинное лицо его вытянулось еще больше и стало походить на лошадиную морду, он неожиданно подпрыгнул, словно огонь прижег ему пятки, и закричал визгливо, сорванным голосом:

– На помощь!

Напарники его исчезли, ждать помощи было неоткуда, но тем не менее сверху, едва ли не с орудийных башен, незамедлительно соскользнули два матроса, ничего не говоря, подхватили адмирала под мышки и выволокли из полосы огня.

– А ну, пустите меня! – сипло рявкнул на них Колчак, но рявканья не получилось, изо рта у него выкатилось что-то ушибленное, едва слышное. – Я вас под суд отдам, – пообещал он.

– Если сгорите, ваше превосходительство – не отдадите! – просипел ему на ухо один из матросов, и Колчак поморщился от боли, проколовшей ему виски. – Для того чтобы отдать нас под суд, надо целым остаться.

– Что делается, что делается, – задавленно пробормотал второй матрос, оглядываясь. – Море огня. Сашка! – прохрипел он напарнику. – Наши ребята в переделку попали – в огне корчатся. Айда их спасать!

Но спасти уже никого не удалось, – внутри «Императрицы» вновь раздался взрыв – этот взрыв был сильнее остальных, одна из орудийных башен вдруг дернулась и накренилась, с палубы смело горящие шлюпки, катер с проломленным дном, бухту каната, которая размоталась в воздухе и, похожая на страшную, горящую, очень длинную змею, плюхнулась в воду.

Только дым пошел над плоскими угрюмыми волнами, всколыхнул несколько мертвых чаек и исчез.

В следующий миг линкор дрогнул, кренясь на один борт, внутри черной, закопченной по самые мачты громадины раздался долгий тревожный стон, выбивший на коже людей сыпь – слишком страшным, слишком потусторонним, засасывающим в себя был этот стон. Люди почувствовали, что некая неведомая сила – скорее всего, нечистая – увлекает их в преисподнюю, ломает хрящи, забивает назад, в глотки, крик.

Линкор вновь дрогнул, взбил мелкую плоскую волну, ровной линейкой покатившуюся к берегу, усеянному праздными

зеваками – время было раннее, но у зевак, видимо, никаких расписаний нет, они готовы пожертвовать и сном, лишь бы поглазеть на что-нибудь. Колчак нервно приподнял плечи, словно ему было зябко, сунул пальцы крест-накрест в рукава – он хорошо понимал, что сейчас произойдет, но помешать этому уже никак не мог.

Голова болела, в затылке теснилась горячая тяжесть, в ушах стоял звон – не хотелось ни думать, ни действовать. Даже шевелиться и то не хотелось – все тело сковала равнодушная усталость.

«Императрица» дрогнула в третий раз, выдирая из воды темный блестящий бок, с борта начали прыгать люди, по наклонной палубе вновь пронесся огненный шквал, подметая, сгребая рыжими пальцами остатки того, что там находилось. Многоголосое раздавленное «О-ох!» повисло над кораблем.

Послышался тяжелый внутренний гул, потом – скрежет, из башен, прямо из орудийных стволов, также вырвалось пламя, словно корабельные пушки рванули разом, несколько дюжих матросов подхватили Колчака под мышки иперекинули на катер.

На катере уже находился начальник походного штаба Смирнов. Глаза у Смирнова были влажные.

– Это что же такое, Михаил Иванович, творится, – пробормотал Колчак жалобно.

– Диверсия, как пить дать, диверсия, – произнес Смирнов убежденно, перекрестился и поднес платок к глазам. – Лучший корабль Черноморского флота...

С «Императрицы» в воду продолжали сыпаться люди. Судорожно работая руками, они саженками отплывали от погибающего корабля в сторону – иначе засосет в гигантскую воронку, затянет на дно. Воздух был полон криков, рева кораблей, стука машин, плача, скрежета, грохота. Вокруг «Императрицы Марии» сновали катера, подбирали людей, от этого многоголосого гула можно было сойти с ума.

То, что линкор не удастся спасти, было уже всем понятно.

– Диверсия это, точно диверсия, – продолжал заведенно бормотать Смирнов, – такой корабль могли погубить только диверсанты.

Огонь вновь валом покатился по палубе кренящегося линкора – он продолжал ложиться на борт, – не удержался на гладкой горячей поверхности, сорвался в воду, зашипел сатанински, отгоняя от себя катера, и угас, из ревуна «Императрицы» вырвалась белая струя пара, и над морем повис прощальный горький гудок – линкор, как живой человек, который, как и всякий человек, очень хотел жить, прощался сейчас со всеми, кто

пытался его спасти. Лица людей, находящихся вместе с Колчаком на катере, исказились.

Адмирал не выдержал, застонал, рванулся к борту катера, сзади в него вцепился крепкими пальцами, будто клещами, капитан первого ранга Смирнов.

– Александр Васильевич! – выкрикнул он умоляюще. – Вы уже ничем не сумеете помочь.

– Да пустите же меня! – засипел Колчак, стараясь освободиться от рук Смирнова. – Пустите!

Катер застучал мотором, отходя от гибнущей «Императрицы».

– Александр Васильевич!

– Пустите! – Колчак сделал несколько резких движений и угас – понял окончательно, что ни он, ни Смирнов, ни люди, собравшиеся сейчас на катерах – умные, горячие, храбрые, – не смогут помочь тонущему линкору.

А «Императрица» продолжала подавать прощальный гудок: кто-то из офицеров – впрочем, вовсе не обязательно, что это мог быть обязательно офицер, мог быть простой матрос, прошлое унесло этот факт с собой, – скорее всего, раненый, мертво вцепился в рукоять ревуна и не отпускал его.

Звук ревуна вышибал на коже дрожь, рождал слезы, онемение, люди теряли речь, деревенели, слыша его, – слишком щемящим, угасающим был этот долгий звук. Колчак не выдержал, сглотнул слезы, скопившиеся у него в глотке, услышал рядом задавленный взрыд – это корчился Смирнов, – посмотрел на свои черные, ободранные, в крови и саже руки, вытер ими глаза.

Так с долгим прощальным гудком «Императрица» и ушла на дно северного рейда, края огромного буруна приподнялись на несколько метров над водой, втягивая в свистящее нутро обрывки канатов, тряпье, брезент, людей, плавающие доски, целехонькую лодку, невесть откуда принесенную волной, потом опали, и сделалось тихо. «Императрицы Марии» не стало.

Была создана комиссия. Установить причину взрывов и пожара на «Императрице» комиссия не смогла – высказала лишь несколько предположений, в том числе и диверсию...

Уже позже, в советское время, в 1933 году была создана еще одна комиссия, которая тщательно исследовала документы, проутюжила дно северного рейда в поисках обломков – кое-что, естественно, нашла, хотя корабль был поднят на поверхность через полгода после трагедии и к 1927 году распилен на металл, – сопоставила с бумагами, добытыми нашей разведкой, и сделала вывод: против «Императрицы» была совершена диверсия. Руководил диверсией германский разведчик В. Верман.

Кстати, версии о том, что здесь поработали вражеские диверсанты, а русская служба, призванная охранять флот от «тараканов», как обычно, «лопухнулась», придерживался и сам Колчак.

Он сказал:

– Как командующему мне выгоднее предпочесть версию о самовозгорании пороха. Как честный человек, я убежден: здесь диверсия.

Кстати, в официальном заключении, утвержденном морским министром И. К. Григоровичем, было указано на «сравнительно легкую возможность приведения злого умысла в исполнение при той организации службы, которая имела место на погибшем корабле».

Флот не досчитался трехсот человек – одни ушли на дно вместе с «Императрицей», другие умерли от ожогов и ран в госпитале.

Угрюмый, черный как грач, похудевший, носатый Колчак пришел вечером домой, не раздеваясь, упал в кресло, вытянул ноги.

Из комнаты появилась Софья Федоровна – выплыла неслышной птицей, спросила озабоченно:

– Что случилось, Саша?

Колчак неприязненно посмотрел на жену.

– А ты разве не знаешь, что случилось?

У Софьи Федоровны от резкого тона мужа обвяли плечи.

– Как не знаю... Все знаю.

– А спрашиваешь. – Колчак недовольно пошевелился в кресле, усаживаясь поудобнее. – Собирай вещи, мы уезжаем.

– Куда?

– Для начала в Петроград, в распоряжение министра Григоровича. А потом видно будет. Меня снимают с должности.

Софья Федоровна обреченно прижала пальцы к губам.

– Как?

– Это вполне естественно. Утопить такой корабль и не ответить за него... Так не бывает. Уже и новый командующий флотом на мое место определен. – Колчак, как обиженный мальчик, подтянул к креслу ноги. Было сокрыто в его надломленной позе что-то горькое. – Не удержались, не подождали даже выводов комиссии.

– Кто тебе сообщил об этом?

– Смирнов. А ему – какой-то чин из Главного морского штаба.

– А кого же прочат на твое место?

– Альфатера. [144]Василия Михайловича Альфатера.

– Господи, да он же – полное ничтожество.

– Это совершенно ничего не значит. У нас ничтожества занимают и не такие посты. У Альфатера большие связи в Ставке. Он – откровенный карьерист. Причем из тех настойчивых карьеристов, которые обычно всего добиваются. На мой взгляд, максимум, на что он способен, – шаркать ножкой по паркету. Насколько я могу догадываться, ему вместе с новым назначением приготовлен и флигель-адъютантский шнур на погоны.

– Господи! – едва слышно вздохнула Софья Федоровна.

– Вот и я о том же. Но не будем унывать, Сонечка, – с неожиданной горькой нежностью произнес он.

Конечно же, за гибель корабля надо было отвечать – в России во все времена кто-нибудь за что-нибудь обязательно отвечает и, случается, лишается головы, Колчак тоже приготовил свою голову для топора... Тем же вечером под балконом у него зафыркал штабной автомобиль. Колчак выглянул в окно – из автомобиля поспешно выбрался Смирнов.

У Колчака невольно дрогнуло, заныло тоскливо, удушливо сердце, приложил пальцы к груди, застонал еле слышно. Смирнова он встретил в прихожей уже одетым.

– Вас к прямому аппарату, Александр Васильевич, – сказал ему Смирнов.

– Кто на связи?

– Морской министр.

«Вот и все, вот и поставлена последняя точка, – тяжело и тоскливо, страдая от внутренней пустоты и холода, подумал он и поднял воротник плаща: его била дрожь. И состояние было такое, будто он заболевал. – А что дальше – непонятно. Хотя совесть моя чиста – я не виновен в гибели „Императрицы Марии“.

Под колесами автомобиля дребезжала, вызывая зубную боль, мокрая булыжная набережная, с неба сыпалась водяная пыль.

В штабе Колчак, не раздеваясь, поднялся в комнату связи, к телеграфистам.

Старший смены телеграфистов, пожилой прапорщик, протянул адмиралу узкую телеграфную ленту.

– Поехали! – приказал Колчак прапорщику.

Застрекотал аппарат.

«Как настроение, Александр Васильевич?» – спросил морской министр.

– Ответьте: «Настроение плохое», – проговорил Колчак.

Бобина аппарата медленно двинулась, подставляя ленту под текст, который поспешно отбивал телеграфист. Григорович отозвался так же коротко: «Поводов для уныния не вижу».

– Отбейте министру: «Благодарю за поддержку, ваше высокопревосходительство. Но тем не менее считаю себя

виновным в гибели „Императрицы Марии“. – Колчак подождал, пока телеграфист отобьет этот длинный текст, телеграфист работал, как автомат, и, когда он умолк, Колчак продолжил: – Собираю вещи, чтобы выехать в Петроград».

Телеграфист министра отстучал незамедлительно: «Зачем, Александр Васильевич?»

– Передайте следующее... – Колчак нетерпеливо пощелкал пальцами, лицо у него дернулось, как от укола, он вновь нетерпеливо, словно бы куда спешил, пощелкал пальцами. – «По существующим правилам, насколько я знаю, командующий флотом несет персональную ответственность за крупные потери».

«Совершенно верно, – ответил министр, – но с причинами гибели „Императрицы Марии“ будем разбираться позже, после войны. Моя точка зрения: в гибели линкора вы не виноваты».

Колчак выдернул из кармана платок, промокнул им глаза.

– Ответьте министру: «Благодарю вас за доверие!»

Через несколько секунд крупная плоская бобина вновь дрогнула, и в руки Колчаку поползла лента с распоряжением морского министра: «Приказываю продолжать руководство боевой деятельностью Черноморского флота. Григорович».

Это был конец связи. Колчак еще раз проглядел ленту, прочитал текст и бросил бумажную скрутку на стол прапорщику:

– Расклейте на обычном бланке и положите мне в папку.

Смирнов, стоявший в аппаратной позади Колчака, крепко сжал ему пальцами локоть.

– Есть Бог на свете, Александр Васильевич!

Колчак не ответил, лишь неприятно поморщился – ему сейчас были неприятны вообще все разговоры на служебные темы. Он вышел на улицу, в черный затяжной морок ночи. Около редких тусклых фонарей крутились мотыльки. Сел в автомобиль. Скомандовал шоферу:

– Домой!

В прихожей его встретила встревоженная, с побледневшим лицом Софья Федоровна:

– Ну что?

– Паковать чемоданы пока не будем. Разбирательство с гибелью «Императрицы Марии» отложено до конца войны.

Софья Федоровна обессиленно опустилась на стул.

– Я так боялась за тебя, Саша...

Колчак прошел к себе в кабинет, достал из секретера бутылку коньяка, хрустальный винный лафитник, налил в него – другой посуды не было, а идти за рюмкой на кухню не хотелось, помял пальцами хрусталь, согревая напиток, потом медленно, крохотными глотками, осушил лафитник.

Достал из стола коричневую кожаную папку с бронзовой застежкой, имевшей свой ключик – папка замыкалась на ключ, так что Софья Федоровна не могла увидеть, что в ней хранилось, – вытащил оттуда несколько листов бумаги, реостатом подкрутил свет в лампе, делая его сильнее, поднес бумагу ближе к глазам. Это было письмо Анне Васильевне, которое он бесконечно долго писал и никак не мог закончить, откладывая его всякий раз в сторону – Колчаку казалось, что у него пропадают слова, когда он берется за перо, фразы получаются беспомощными, корявыми – ни мыслей в них, ни чувств...

«Прошло уже два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая, – он оторвался от письма, скосил глаза на календарь: прошло уже без малого четыре месяца, четыре, а не два с той поры, надо поправить, – и так жива передо мной картина нашей встречи, так же мучительно и больно, как будто это было вчера, на душе...»

Он снова оторвался от письма, вздохнул – вспомнил последнюю встречу с Анной Васильевной: они тогда долго бродили по тихим каштановым аллеям Картинеталя – густого ревельского парка, посаженного, как говорили, по велению Петра Первого в честь любимой его жены Екатерины, – и говорили, говорили, говорили. Они, как юные влюбленные, никак не могли наговориться.

Под ногами поскрипывал рыжий песок, в высоких каштановых кронах, будто в паутине, путалось, делая робкие попытки выбраться из цепких сплетений веток, солнце – попытки ни к чему не приводили, солнце лишь запутывалось все больше, воздух между стволами был застойный, сильно пахло крапивой и какой-то дурманящей лесной травой.

У Колчака до сих пор стоит в ушах голос Анны Васильевны – печальный, негромкий, с надсаженной, как после простуды, а на самом деле, детской хрипотцой. И запахи те он помнит до сих пор.

«Сколько бессонных ночей провел я у себя в каюте, шагая из угла в угол, столько дум, горьких, безотрадных, – продолжал Колчак медленно читать свое письмо, – я не знаю, что случилось, но всем своим существом чувствую, что Вы ушли из моей жизни, ушли так, что я не знаю, есть ли у меня столько сил и умения, чтобы вернуть Вас. А без Вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь, и продолжать ее без Вас мне невозможно. Все мое лучшее я нес к Вашим ногам, как к божеству моему, все свои силы я отдал Вам.

Я писал Вам, что думаю сократить переписку...» – Колчак

вновь откинул лист с письмом от себя, крепко стиснул зубы: внутри у него возникла и тут же погасла сладкая боль – он тосковал по этой женщине, пытался взять себя в руки, но все было безуспешно – в следующую минуту он вновь раскисал и не узнавал самого себя.

Как в такой ситуации сократить переписку? Это совершенно невозможно.

Он уже не думал о приличии, об офицерской чести, о том, что Тимирев может вызвать его на дуэль и убить. Ни дуэлей, ни смерти Колчак не боялся. Боялся другого – потерять эту потрясающую женщину.

«Я писал Вам, что думаю сократить переписку, но, когда пришел обычный час, в который я привык беседовать с Вами, я понял, что не писать Вам, не делиться своими думами свыше моих сил. Переписка с Вами стала для меня вторым „Я“, и я отказываюсь от своего намерения и буду снова писать – к чему бы это ни привело меня».

Потянувшись за пером, он подержал его некоторое время в руке, потом всухую поскреб кончиком по бумаге, поморщился от резкого скрипучего звука и, откинув бронзовую крышечку чернильницы, окунул ручку в бадеечку-кюветку, доверху наполненную медно поблескивающей фиолетовой жидкостью.

Старательно вывел: «Вы ведь понимаете меня, и Вам, может быть, понятна моя глубокая печаль...» – опять остановился, как останавливался много раз и раньше. Слова – живые, звонкие, только что вертевшиеся, будто проворные птахи, в мозгу – исчезли вновь. Испарились, словно дым. Колчак взял чистый лист бумаги, провел на нем несколько линий, потом, глядя в окно, за которым с унылым скрипом покачивалась тяжелая каштановая ветка, написал несколько не связанным друг с другом слов и предложений.

«Ночь. Темнота. Каштан. Противный скрип. Одинокий фонарь внизу. Шаги часового. Матрос с винтовкой охраняет мой подъезд. Так положено – охранять подъезд, где живет командующий. Собачий лай вдали. О форточку скребется сучок – оттопырился на каштановой ветке и скребется. Крик ночной птицы. Боль внутри. Все глухо».

Он отложил перо в сторону, поднес лист бумаги к глазам и прочитал написанное. Бред какой-то. Поток сознания, слепая фиксация того, что он ощущал, что видел в прошедшие несколько минут, и все.

Но минуты набрали скорость и умчались, их уже не догнать, никогда не догнать – они исчезли, а тоска, боль, душевная тяжесть остались. И ни от тоски, ни от боли, ни от душевной

тяжести ему не избавиться. Быть может, никогда не избавиться, слишком уж прочно они засели в нем. Колчак почувствовал, как у него расстроенно задрожали пальцы, и положил лист бумаги на стол.

Писать он больше не мог. Прислушался к звукам, доносившимся из глубины квартиры. Услышал тихие напряженные шаги – это Софья Федоровна не спала, ходила по комнатам, бесцельно переставляла с места на место вазы, пепельницы, книги, подбирала Славиковы игрушки. Она все чувствовала, все хорошо понимала и переживала.

Колчак встал, одернул на себе китель и вышел из кабинета.

– Соня! – позвал он. – Соня, ты почему не спишь?

– Не могу, – помедлив, отозвалась она. – Сон не идет. Тревожно что-то на душе.

Он подошел к ней, поцеловал в лоб – поцелуй был легким, Колчак едва прикоснулся губами к тонким, едва приметным морщинкам, растекшимся по лицу Софьи Федоровны.

– Спи, – сказал он, – и ни о чем не тревожься.

Но тревожиться ей было о чем.

Недописанное письмо Колчак, естественно, Тимиревой не отправил, вместо него отправил другое – на этот раз очень короткое, неприлично нежное, тоскующее.

Севастопольский, имени наследника-цесаревича дамский кружок помощи больным и раненым воинам, которым руководила Софья Федоровна, устроил концерт в пользу «вновь открываемой санатории для нижних чинов». Входная плата на концерт, главным исполнителем в котором был портовый хор под управлением Грабовского, а также портовый оркестр – большой, с талантливыми музыкантами, – оставляла один рубль.

Народ на концерт повалил валом – не потому, что люди соскучились по басам портового хора и звонкой меди оркестра, по оркестрантам, наряженным в новенькую матросскую форму, – по другой причине: хотелось помочь нижним чинам, особенно раненым, ведь они должны жить, как и верхние чины... Как люди то есть.

– Успех ошеломляющий, – сказала Софья Федоровна своей тезке Софье Юрьевне Постельниковой, жене контр-адмирала Фабрицкого, – полный успех! Не думала, что простые матросы могут так близко воспринимать серьезную музыку.

На концерте исполнялась Третья симфония Бетховена, более известная под названием «Героической». Не понять ее было трудно, потому она так и понравилась матросам.

– А вы это, дамочка, вы в следующий раз циркачей нам

пригласите, пожалуйста, – попросил Софью Федоровну степенный, с висячими, как у запорожского казака, усами унтер-офицер первой статьи. Он не знал, что разговаривает с женой командующего флотом, иначе вряд ли бы к ней осмелился обратиться. – Очень это хорошо будет – жонглер или фокусник.

– И что же вам нравится в фокусниках? – холодно поинтересовалась Софья Федоровна.

– Я как-то видел одного на площади и, не поверите, – до сих пор удивляюсь, как же он мог проделывать такие сногосшибательные фокусы. – Унтер энергично взмахнул рукой, георгиевские кресты и медали на его груди – набор был внушительный – тихо звякнули. – Очень удивительные это были фокусы.

– Ну, например?

– Например, фокусника посадили в железную клетку, надели на него капюшон, крепко связали, покрыли белой тканью, перекрестили, закрыли на замок, клетку поставили на костер, в самую середку, и распалили костер так, что пламя взвилось до самого неба. – Унтер не выдержал, тряхнул плечами, его пробила азартная дрожь. – Все стоят, разинув рты, ахают, руками всплескивают – ведь на глазах у них сгорает человек, а фокусник этот, как ни в чем не бывало, стоит позади толпы и тоже глазеет на костер. Вот как, спрашивается, дамочка, он сумел неприметно выбраться из огня, из клетки, а?

Софья Федоровна переглянулась с Софьей Юрьевной и весело произнесла:

– Не знаю.

– И я не знаю. Но что видел своими глазами, то видел.

Унтер-офицер этот был маленький, колченогий, на высокую Софью Федоровну смотрел снизу вверх – смотрел чуточку насмешливо и печально – по годам своим ему давно бы пора сидеть дома на печке да внуков воспитывать, а он все еще продолжал воевать.

– Как вас величают, служивый? – спросила Софья Федоровна манерно, засекла эту манерность в собственном голосе и осталась ею недовольна.

Служивый вытянулся, прижал ладони к широким клешам и отрапортовал:

– Унтер-офицер первой статьи Сыроедов!

Унтер-офицер Сыроедов отличался от основной массы матросов прибранностью, ухоженностью, все на нем блестело, все было у него чисто. Особенно нестерпимым лаковым блеском сияли у него ботинки – никакая вакса не в силах была этого сделать, никакая бархотка – нужно только матросское умение.

– Как же вы умудряетесь драить обувь до зеркального блеска? – неожиданно для себя спросила Софья Федоровна.

– Это делается, дамочка, очень просто. Берем сахар, жуем его, а потом сладкими слюнями покрываем ботинки. Как лаком. – Сыроедов лихо притопнул ногами, изображая плясовое коленце. – Видите, какая прелесть башмаки!

Софья Федоровна рассмеялась от души. Софья Юрьевна поморщилась.

– Что же касается фокусника, то надо подумать, – сказала Софья Федоровна Сыроедову. – Намечены еще два концерта, но программы их уже определены – места фокуснику там нет. Будут давать «Шехерезаду» Римского-Корсакова. Еще – Чайковского и Грига.

– А-а-а, – разочарованно протянул Сыроедов.

– А вот на четвертый концерт мы обязательно пригласим фокусника, – пообещала Софья Федоровна.

– Позвольте вас поблагодарить за это, – сказал Сыроедов и вежливо наклонил голову. – Прощевайте, дамочки!

В фойе Морского офицерского собрания, где был дан концерт, уже затевались танцы, а танцы Сыроедову были неинтересны.

Хоть и находился Сыроедов уже несколько месяцев рядом с Колчаком – бывшим порт-артурским лейтенантом, за которым он ухаживал во время болезни, – а они так пока и не встретились. И неясно была, встретятся когда-нибудь или нет? Не так-то просто рядовому матросскому унтеру повидаться с адмиралом.

Колчак продолжал воевать. После гибели миноносца «Беспокойный», напоровшегося на собственную мину у берегов Румынии, адмирал решил изменить минную тактику: Вилли Сушон ведь был «хреном еще тем» – это матросское выражение Колчаку очень нравилось – он уже приспособился к Колчаку, поэтому нужно было развернуться на сто восемьдесят градусов и перестать минировать выходы из собственных портов и загораживать, их металлическими сетями, в которых не то что подлодка или эсминец – линкор мог запутаться... Это означало, что оборонительная война на Черном море закончилась – подошло время войны наступательной.

Командующий флотом пришел к выводу, что лучше запирать противника в его портах, как он это не раз проделывал на Балтике, и минировать выход из Босфора и Варны. Штаб флота, который недавно официально возглавил Смирнов – по этому поводу каперанг Смирнов получил на погоны по адмиральскому орлу, – засел за бумаги: изменение тактики надо было еще

утвердить в Главном морском штабе. И даже больше – в Ставке.

Когда бумаг набралось много, Смирнов перелистал их и взялся за перо – требовалась рука штабного мастера, чтобы обобщить их. Вскоре появился новый документ. Предлагаю читателю это любопытное свидетельство той эпохи. Документ предписывал:

«1) ставить мины в таком большом количестве, чтобы неприятель не успевал их вытраливать. Для этого приспособить мелкосидящие суда, чтобы ставить мины на тех же местах, где они уже были поставлены раньше;

2) весь флот разделить на две или три группы, чтобы одна группа судов постоянно держалась в море и наблюдала за Босфором;

3) мины ставить возможно ближе к неприятельским берегам и ни в коем случае не дальше пяти миль от берега, чтобы не лишать себя возможности бомбардировать босфорские укрепления с моря;

4) опыт дарданелльской операции англичан [145]показал на невозможность прорыва флота через узкие проливы без содействия армии. Поэтому план овладения в будущем Босфором намечается следующий: высадить армию на побережье Черного моря и завладеть укреплениями прорыва с сухого пути, а затем уже вводить флот в пролив, после занятия укреплений с берега, когда зачистка проходов в минном поле не представит для нас больших затруднений;

5) никакой успех на войне не может быть достигнут без риска потерь».

– Добро, – сказал Колчак, изучив бумагу и подписав ее. Простая бумага незамедлительно обрела силу закона.

Следом Колчак занялся созданием сухопутных частей, подчиненных флоту, без которых было просто не обойтись: и узкий Босфор, простреливаемый насквозь, требовал того, и характер войны здорово изменился.

Вскоре в распоряжение командующего флотом была передана пехотная дивизия ударного типа.

Моряки радовались:

– Вот теперь мы немакам хвосты накрутим. Покажем им, где раки зимуют.

Но радоваться было рано: Россию широким полотном накрыла революция. Успехи флота на Черном море в масштабах всей войны были единичными – в других местах, особенно в Румынии, а также на Балтике все трещало, рвалось, гнило расползалось по швам, царь, взявшись командовать войсками, проигрывал одну операцию за другой.

Неудачи на фронте раскалили Россию донельзя.

В городах выстраивались километровые очереди за хлебом. Останавливались заводы. На каждом углу выступали разные горлопаны, били себя волосатыми кулаками в грудь; что они говорили, понять было невозможно – одного горлопана с трибуны немедленно сбрасывал другой и начинал также толочь воду в ступе. Вполне возможно, говорили они что-то толковое – поди унюхай, речей ораторов не было слышно, – но тем не менее толпа от этих речей приходила в исступление и норовила по полкам, по банкам с вареньем и кускам колбасы разнести ближайшие магазины – толпа, кроме речей, требовала еще и еды. И выпивки тоже.

Все были недовольны царем.

Второго марта 1917 года бледный, с опухшим лицом царь подписал отречение от престола.

Но и это не помогло: революционные выступления в стране не прекратились.

Блестяще разработанный Колчаком план овладения Босфором – при участии британского флота – пошел насмарку.

И вообще всем стало казаться, что скоро, очень скоро наступит конец света.

Тревожные вести приходили с Балтики. Они были не только тревожные, но и непонятные.

В Крыму было тепло, по горам гуляли вольные ветры. Севастополь был наряден от несмети цветов. Цветы росли везде – даже на Графской пристани, на неухоженных клумбах, на пустырях, продирались сквозь окаменевшую землю.

Цветов было много, и матросы, оглядываясь по сторонам, чтобы не видело начальство, обрывали их для своей надобности – дарили знакомым кухаркам, засовывали под ленточки бескозырок, чистили обрезью корешков зубы, просто жевали лепестки, чтобы изо рта лучше пахло.

– Питер-то наш пал, на-аш от пяток до макушки и наоборот, – рассуждали они хвастливыми голосами и сплевывали кожуру от розовых черешков на землю, – братишки-матросы стали в нем теперь хозяевами... Солдаты с крестьянами – тоже хозяева, и рабочие тоже – они больше всего сделали для торжества революции... Царских сатрапов погнали взашей, почистили дворцовые паркеты, чтобы Николашкой и его прихвостнями с аксельбантами там даже и не пахло.

Хотя Колчак и отнесся к революции спокойно, но его настораживало то, что Балтика практически перестала воевать, она развалилась. Многие офицеры, в том числе и командующий

Балтфлотом вице-адмирал Непенин, угодили под пули революционных матросов, на кораблях царила анархия, и уже не командиры, а горластые, накурившиеся анаши матросы, обвешанные бомбами, решали, идти в бой кораблям или не идти.

Был создан Петроградский Совет – верховная власть в российской столице, – который издал «Приказ № 1», требующий незамедлительно передать власть в частях этим самым горлопанам-анашистам, объединившимся в так называемые солдатские комитеты. Впрочем, в солдатских комитетах было немало и здравых голов, в первую очередь таких, как большевики, которые и воевать умели, и права свои защищать. Это уж потом к ним примкнули те, кому было наплевать на Россию. Они также стали называть себя большевиками.

Гуще всего вонь шла от бомбистов с выпученными рачьими глазами – последователей учения умного князя Кропоткина – анархистов и примкнувших к ним любителей вольных нравов. Из бомб, как из кубков – предварительно вычистив пироксилин, – анархисты пили вино. Впрочем, им можно было и не пить, они пьянели от одного духа революции – пьянели сильнее, чем от вина...

Полки на фронтах отказывались воевать, лезли к немцам брататься – те, ошалевшие от окопных вшей, вначале встречали «братанов» пулеметным огнем, потом изменили тактику и стали встречать касками, доверху наполненным ядовитым бимбером – свекольной самогонкой самого низкого пошиба. Бимбер сбивал с ног целые дивизии.

Корабли отказывались покидать причалы. Офицеры выпарывали из фуражек белые канты, те, кто мешкал либо просто не решался это сделать, незамедлительно объявлялись врагами революции.

А с врагами революции разговор был короток – шлеп свинцовую плошку из маузера в лоб, и все дела! «Мы церемониев не разводим», – говорили решительные революционные матросы.

То, что происходило на Балтике, не укладывалось ни в какие рамки. На Черном море, слава богу, этого пока не было – и дисциплину на кораблях блюли, и белые канты из черных морских фуражек не выпарывали, и стрельбой из маузеров по лбам не баловались.

Колчак не любил политику, считал ее делом недостойным – политики, в отличие от офицеров, не имели понятия о чести, – а тут ему самому пришлось ею заниматься: что-то поддерживать, что-то отвергать, что-то просто не замечать.

Первую телеграмму о беспорядках в Питере он получил в море 27 февраля 1917 года. Колчак шел из Трапезунда, старой

турецкой крепости, взятой год назад русской армией, в Батум, чтобы повстречаться там с великим князем Николаем Николаевичем, командовавшим Кавказским фронтом, – единственным, у кого на суше были успехи. Надо было договориться с великим князем о совместных действиях. Телеграмма пришла на эсминец «Пронзительный», на котором развевался штандарт командующего флотом. Следующая телеграмма, подписанная морским министром И. К. Григоровичем, также пришла сюда.

Григорович сообщал, что в Питере восстановлен порядок. «Характер событий совершенно исключает какую бы то ни было внешнюю опасность, и надо думать, что принятыми мерами страна избежит сильных потрясений внутри». Телеграмма была слишком оптимистичной, умный Григорович либо что-то неверно просчитал, либо просто недооценивал ситуацию.

Колчак, переговорив с великим князем – завтрак был великолепен, после чего они совершили поездку в имение генерала Баратова, воевавшего сейчас в Персии, – поспешил отплыть из Батума в Севастополь. Болело сердце. Неясно было, что делается в городе.

В каюте Колчака перед портретом Тимиревой стоял огромный букет магнолий и камелий, – их адмиралу, видя, что тот залюбовался цветами, проворно нарезал адъютант Баратова; букет был такой, что он едва вместился в ведро, принесенное с вахты.

На стенке каюты висел портрет Тимиревой, Колчак вешал его всюду, где появлялся. Он посмотрел на портрет с тихой грустью. Лицо Тимиревой – нежное, улыбающееся – вызвало в нем щемящее чувство и одновременно тревогу: не коснулись ли страшные революционные преобразования и ее? И жив ли сам Тимирев?

В списках убитых морских офицеров, поступивших к Колчаку, фамилия Сергея Николаевича не значилась. Раз не значилась, то можно надеяться – с Аней все в порядке. Он огладил ладонью букет, нагнулся, сунул в цветы лицо. Цветы пахли вкусно. Сладко. Самый что ни есть женский запах.

Погода, едва вышли в море, разом сдала, с гор подул резкий свистящий ветер. Запахло снегом, грязью, Балтикой. Знакомый дух. Он, наверное, будет преследовать Колчака всю жизнь.

Напряжение возрастало. Нервность, издерганность, неопределенность словно передавались из Питера по беспроволочному телеграфу и сюда, на колчаковские миноносцы.

На подходе к Севастополю Колчак получил еще одну телеграмму – от председателя Государственной думы М. В.

Родзянко. [146]Родзянко сообщал, что в думе образован специальный государственный комитет, перед которым поставлена одна, всего одна цель – восстановить в России порядок. От Черноморского флота Родзянко требовал спокойствия и продолжения боевых действий.

Следом, с разницей в несколько минут, пришла телеграмма об образовании Временного правительства – верховного органа власти в России, которое, естественно, требовало полного и безоговорочного подчинения флота себе.

Это Колчаку не понравилось. В конце концов он – военный, у него есть свое «правительство» – Ставка.

Он вызвал к себе заместителя начальника связи флота, находившегося с ним на миноносце, – молчаливого сутулого кавторанга.

– До моего распоряжения об этих телеграммах – никому ни слова.

– Будет исполнено, Александр Васильевич, – старомодно пообещал тот. В выцветших, утерявших зоркость глазах его блеснули две мелкие слезинки: видно, кавторанг знал много больше, чем было сообщено в телеграммах – все-таки он сидел на связи, – но Колчак не стал расспрашивать его. Для начала надо было узнать по своим каналам информации, что же все-таки происходит в Питере.

– Когда прибудем в Севастополь, прервите всю телеграфную и почтовую связь, – наказал кавторангу Колчак на прощание.

– Есть прервать связь. – Кавторанг вскинул руку к фуражке и вышел из каюты.

Колчак послал в Питер Временному правительству, телеграмму о том, что подчиниться он может лишь в случае, если от штаба Верховного главнокомандующего получит соответствующее распоряжение.

Ставка не замедлила отозваться – она поддерживала младшего брата царя Михаила Александровича, – ответная телеграмма пришла через несколько часов. «Наштаверх сговаривается с главнокомандующим о том, чтобы от имени армии принять манифест и присягнуть Михаилу Александровичу [147]с тем, чтобы Михаил Александрович объявил манифест о том, что он по наступлении спокойствия в стране созовет Учредительное собрание [148]».

Колчак незамедлительно издал приказ о приведении вверенных ему частей к присяге новому монарху.

Напряжение продолжало нарастать.

Вечером, придя домой, усталый, раздраженный, он долго сидел у себя в кабинете, прислушиваясь к болезненному гулу в

ногах, в голове, в костях – гудело все тело, гудела даже душа. Сердце захлестывала тревога.

Жена неслышно вошла в кабинет, встала сзади, положила руки ему на плечи. Софья Фёдоровны многого не знала, но душа у нее ныла не меньше, чем у мужа, – тревога, осязаемая, опасная, буквально висела в воздухе.

– Что, Саша, плохо? – тихо спросила она.

Колчак раздраженно дернул головой и произнес жестко, будто разговаривал не с женой, а с подчиненным, не выполнившим приказание:

– Отстань, Соня, мне не до тебя! – Потом вздохнул и, помягчев немного, добавил: – Очень плохо. Полный хаос. Неразбериха не только в солдатской и рабочей среде – неразбериха в правительстве. Еще немного – и у меня начнется восстание на кораблях.

Восстания на кораблях Колчак боялся.

– Саша, мне страшно, – проговорила Софья Федоровна.

– Мне тоже, – признался Колчак. С трудом поднялся с кресла: тело не только противно гудело, оно отказывалось ему подчиняться. – Вполне возможно, тебе со Славиком скоро придется уехать из Севастополя. Оставаться здесь становится опасно.

– Саша!

– Да, да. Я это чувствую своей шкурой, – сказал Колчак.

Утром ему на стол положили газеты, неведомо кем привезенные из Петрограда. Газеты призывали к окончательному свержению монархии; вместе с нею и всех «временных» – разных Гучковых, Родзянок, Керенских и прочих. [149]

– Откуда это? – Колчак брезгливо поднял двумя пальцами одну из газет, разжал пальцы, и газета, отпечатанная на плохой волокнистой бумаге, шлепнулась на стол.

– Надо полагать, прибыла с ночным товарным поездом, – сказал Смирнов. – На нем, кстати, прибыла и делегация моряков с Балтики.

– Агитаторы, значит. Вши в клешах, по полтора метра каждая штанина. – Колчак недовольно побарабанил пальцами по столу. – Арестовать их нельзя, Михаил Иванович?

– Нельзя. Опасно.

– Да-д, дожили. – Колчак помрачнел. – Готовьте приказ об учебных стрельбах. В море выводим бригаду линейных кораблей и дивизион миноносцев. Может, хоть это отвлечет матросов от революционного ничегонеделанья?

Приказ вызвал у матросов недовольство.

– Хватит! – орали они на митингах. – Докоде можно терпеть

самодурство царских сатрапов?

Это Колчак-то – царский сатрап? Человек, которого Николай Второй на дух не переносил?

– Колчака – на штыки!

Тех, кто требовал поднять Колчака на штыки, придавили быстро: авторитет адмирала на флоте хоть и таял, но был еще очень высок.

– Тогда пусть придет к нам на митинг и расскажет, кто он и что он? – требовали горлопаны. – И вообще с кем он?

Колчак не испугался, приехал на митинг на автомобиле. Один – никого не хотел подставлять. Речь его была резкой.

– Если мы уступим в этой войне немцам – покроем позором русское оружие. Опозорим имена Суворова, Кутузова, Ушакова, Нахимова, Корнилова, Макарова, опозорим свои имена, – прокричал он в толпу. – Революция революцией, но корабли наши должны находиться в полной боевой готовности. Иначе завтра же крымскую землю будут топтать кованые германские сапоги, а мы со своим флотом будем зажаты в луже, именуемой Азовским морем.

Матросы притихли: Колчак был прав.

После Колчака на трибуну вылез маленький, черный, худой, как клещ, которому надо обязательно во что-то вцепиться, меньшевик Канторович. Канторович был известен тем, что участвовал в восстании на броненосце «Потемкин» [150]в 1905 году, носил клеши шириной в шестьдесят пять сантиметров и обладал среди матросов авторитетом не меньшим, чем Колчак.

– Братухи! – прокричал он хрипло. – Предлагаю послать телеграмму приветствия Временному правительству!

Колчак дернулся, но промолчал.

– Правильно! – дружно, в одну глотку, заорали матросы.

Через двадцать минут телеграмма была сочинена все тем же Канторовичем, клещом с колючими глазами-гвоздями, оглашена с трибуны и послана в Петроград. «Вот и все, – с грустью подумал Колчак, – вот так и совершаются предательства. Присягал царю, а служить приходится какому-то Ваньке-Каину из Временного правительства. Тьфу!» Но на лице его ничто не отразилось, ни один мускул не дрогнул, только подглазья почернели, будто там образовались два синяка.

На митинге был избран Центральный военный исполнительный комитет. Возглавил его все тот же Канторович. Фамилию эту Колчак раньше никогда не слышал, а тут в течение часа она прозвучала по меньшей мере раз пятнадцать – больше, чем фамилия самого Колчака.

– Будем работать вместе, – сказал Колчаку Канторович и

сунул руку со скрюченными, коричневыми от никотина пальцами.

Колчак, хоть и было ему противно, пожал протянутую руку – он был готов сейчас даже самому дьяволу протянуть руку либо сесть на раскаленную сковородку, лишь бы ему помогли справиться с взбунтовавшимся флотом.

Когда он вернулся в штаб, его ждала телеграмма, перехватившая дыхание: Верховным главнокомандующим вместо царя был назначен генерал от инфантерии (пехоты, значит) Михаил Васильевич Алексеев. Алексееву Колчак верил.

Вечером, прибыв домой, Колчак сказал жене:

– В России с монархией покончено, похоже, навсегда. Монархия никогда не сможет подняться с колен. У нее сейчас только один путь – лечь в землю и укрыться могильным холмом.

– Это так страшно, Саша.

– Да, Сонечка, да. И-и... возвращаясь к прежнему разговору – тебе надо как можно скорее уехать из Севастополя и увезти с собою Славика. Желательно в Париж. Тут оставаться опасно. Сегодня я еще держу матросов в повиновении, а завтра они меня поднимут на штыки.

А назавтра Колчак сам решил немного поиграть в революцию: публично присягнул на верность Временному правительству и организовал парад войск.

– Да здравствует победа революции! – кричал он на параде чужие слова и поднимал над головой наградную золотую саблю с надписью «За храбрость».

Матросы восторженно ревели «Ур-ра-а!».

Через сутки Колчак отдал приказ об обысках в крымских имениях членов императорской фамилии и об аресте близких родственников Николая Второго. Если они, конечно, там окажутся.

– Ур-ра-а-а! – продолжали реветь матросы – действия Колчака им нравились. – Колчак – настоящий революционный адмирал! – И пачками покидали корабли, чтобы сходить на танцы в Морское офицерское собрание.

Когда об этом сообщили Колчаку, он лишь поморщился. Офицеры в своем собрании, кстати, почти не появлялись.

– Канторович, наведите порядок среди... своих, – попросил Колчак своего «коллегу» – председателя ЦВИКа. Тот уныло развел руки в стороны:

– Не могу!

– Тогда возьмите маузер и шлепните пару горлопанов! Мигом все наладится.

– И это не могу. – Вид Канторовича сделался еще более унылым.

Революционное напряжение нарастало. При участии Колчака было произведено перезахоронение останков лейтенанта Шмидта [151]– руководителя восстания на крейсере «Очаков», расстрелянного в 1906 году. Колчак на митинге снова сказал речь – за собой он наблюдал словно со стороны и с горечью отмечал, что из боевого адмирала он потихоньку превращается в штатного политического говоруна, – эта речь его, как и прежние, также была принята с восторгом.

– Ну, как вам наш адмирал Колчак? – спрашивали черноморцы у своих корефанов – балтийских делегатов, не перестающих удивляться тому, что зима с весною в Крыму – все равно что лето на Балтике. «Лепота, – вздыхали они, – при таком климате ревматизма никогда не прижмет. Хорошо тут кантоваться!» – завидовали они черноморским матросам и на вопросы о Колчаке не отвечали.

– Ну, как вам наш Колчак? – продолжали приставать к ним черноморцы с разными «глупостями». – Хороший ведь мужик... Боевой.

– Поживем – увидим, – снисходили до туманных ответов балтийские делегаты. – Пока каши дают вволю, перестанут давать – скажем все, что думаем про вашего адмирала. Он у нас на Балтике также фигура известная.

Надо было выходить в море – флот давно не показывал свои зубы ни туркам, ни румынам, ни австриякам с немцами. Впрочем, после того как Вилли Сушона назначили командовать флотом на Балтике, воевать здесь стало скучно – скоро совсем достойных противников не будет. Хотя, по данным разведки, Сушон пока продолжал оставаться на здешнем театре войны.

Колчак распорядился перенести свой штандарт на линкор «Императрица Екатерина Великая».

– Приготовиться к выходу в море! – отдал он распоряжение штабу в тот момент, когда перед ним положили сообщение, что на линкоре «Императрица Екатерина» неспокойно. – Приготовиться к выходу в море! – повторил команду Колчак. Спросил у Смирнова: – Михаил Иванович, в чем дело?

– Матросы потребовали убрать с линкора офицеров с немецкими фамилиями. Обвиняют их в шпионаже в пользу Германии.

– Час от часу не легче! – Колчак ощутил, как у него раздраженно задергалась щека.

– А мичмана Фока – в попытке взорвать корабль.

– Кто это такой – мичман Фок?

– Храбрый и честный офицер. Воюет, как и все, – без малого три года... Неплохо воюет.

– А попрекают его, конечно же, тем, что он даже не знает, как пахнет горелый порох.

Колчак решительно нахлобучил фуражку-большемерку на голову, она мигом сползла ему на нос и сделала адмирала похожим на уличного уркагана.

– Вы куда, Александр Васильевич?

– На «Императрицу Екатерину»...

– Один? Это опасно.

– Нынче, Михаил Иванович, даже в гальюн ходить опасно.

– Я с вами, Александр Васильевич!

– Нет. Я один. – Колчак резко нагнул голову, набычился, и в ту же секунду Смирнов неожиданно увидел в его глазах некое смятение и понял: адмирал растерян.

Растерян он не по поводу какого-то конкретного случая – скажем, «немецкого» бунта на линкоре. Растерян от того, что творится в стране, он не понимает всего происходящего в России – как, впрочем, не понимает и сам Смирнов, – и вся его кипучая деятельность замешана на одном – на сознании того, что в открытом море во время шторма оставаться нельзя, надо прибиваться к какому-то берегу. Либо к одному, Либо к другому, либо... к третьему. Если он останется в море – непременно погибнет.

Адмирал прыгнул в катер, под днищем маленького бокастого суденышка взбугрился пенистый вал – катер, с ревом съехав с пенистого бугра, помчался к линкору «Императрица Екатерина Великая».

Едва он отбыл, как по антеннам штабного радио пробежала искра – штаб принял радиограмму с линкора: «Мичман Фок застрелился у себя в каюте».

Смирнов с досадою всадил кулак в стол – как из ружья, сразу из двух стволов» пальнул:

– Сволочи!

Вернулся Колчак через два часа – бледный, злой, с крепко сжатым ртом.

– Команда попросила прощения, – нехотя разжал он рот. – А Фока жалко. Говорят, хороший был офицер.

Через час, вечером, когда небо сделалось лиловым, тихим, а по земле, крадучись, будто звери, поползли печальные тени, в штаб флота пришло еще одно сообщение: в Гельсингфорсе пьяными матросами был убит командующий Балтфлотом вице-адмирал Непенин.

Непенина Колчак знал как храброго и честного человека.

Немцы ненавидели его не меньше Колчака – раньше в руках Адриана Ивановича Непенина была сосредоточена вся разведка, и на должности главного разведчика Балтики он немало насолил «немакам». Колчак поугрюмел, рванул крючок на воротнике кителя, позвал к себе Смирнова:

– Идите, Михаил Иванович, помянем хорошего человека.

Он достал из шкафа бутылку коньяка, хотел было попросить адъютанта, чтобы тот принес несколько бутербродов, но махнул рукой, взял два стакана, стоявшие на хрустальном подносе рядом с графином, налил в них коньяк. Лицо его странно дернулось, в груди послышался зажатый скрипучий звук.

– Пусть земля будет тебе пухом, дорогой Адриан Иванович, – сказал он и залпом выпил коньяк.

Если Колчак не разбирался в политических коллизиях, в сопении, в возне, в желании набить друг другу морду, в подковерной борьбе, которую всегда обожали российские политики, то в военных делах он разбирался превосходно. Он понимал, что начавшийся развал русской армии полностью развязывает руки немцам, и стоит им немного активизироваться, как русская кровушка польется широкой рекой на всех фронтах. И на море тоже.

Германские корабли, все эти «Гебены» и «Бреслау», зажатые в турецких бухтах так, что они дальше маяков носа не высовывают, сейчас могут вновь появиться на Черном море и почувствовать себя хозяевами – особенно если поймут, что Колчак уже никогда не сумеет провести операцию, к которой он столько готовился, – взятие Босфора и Константинополя.

В этом случае кайзер может очень скоро снять крупные сухопутные силы, которые держит здесь, и бросить их на север, в Румынию, где русские войска увязли в тяжелых позиционных боях, и очень быстро решить все в свою пользу... Тогда остается выбросить белый флаг... Надо было срочно показывать немцам зубы.

Штандарт командующего флотом по-прежнему болтался на «Императрице Екатерине Великой», и Колчак вскоре переселился на линкор.

– Приготовиться к выходу в море! – вновь прозвучала его команда. Корабли выстроились в линию, задымили трубами и потихоньку, один за другим, потянулись к незаминированной горловине бухты. У Колчака радость стиснула сердце – нет, не совсем еще распался, расползся, как гнилая тряпка, Черноморский флот, еще дымят трубы линкоров, и орудия крупного калибра ощупывают страшными черными провалами

своих огромных стволов неприятельский берег, съежившийся от тоски и страха: а вдруг эти дуры пальнут?

Одиннадцатого марта Колчак, придя с командного мостика к себе в каюту, сел за стол и написал на листе бумаги: «ЛК „Имп. Екатерина“, на ходу в море. ГАВ...» Что означало: «Линейный корабль „Императрица Екатерина“!.. Глубокоуважаемая Анна Васильевна...» Лицо его посветлело, разгладилось, в облике появилось что-то мальчишеское. Он вытянул перед собой руки, растопырил пальцы и посчитал, сколько же дней не писал Анне Васильевне. Все пальцы на обеих руках оказались загнутыми: выходило – более десяти дней.

Вот и надо за эти десять дней отчитаться перед «милой, обожаемой моей Анной Васильевной».

«За эти десять дней я много передумал и перестрадал, – писал Колчак, – и никогда не чувствовал себя таким одиноким, предоставленным самому себе, как в те часы, когда я сознавал, что за мной нет нужной реальной силы, кроме совершенно условного личного влияния на отдельных людей и массы, а последние, охваченные революционным экстазом, находились в состоянии какой-то истерии с инстинктивным стремлением к разрушению, заложенным в основание духовной сущности каждого человека. Лишний раз я убедился, как легко овладеть истеричной толпой, как дешевы ее восторги, как жалки лавры ее руководителей, и я не изменил себе и не пошел за ними. Я не создан быть демагогом – хотя легко мог бы им сделаться – я солдат, привыкший получать и отдавать приказания без тени политики, а это возможно лишь в отношении массы организованной и приведенной в механическое состояние. Десять дней я занимался политикой и чувствую глубокое к ней отвращение, ибо моя политика – подчинение власти, которая может повелевать мною. Но ее не было в эти дни, и мне пришлось заниматься политикой и руководить дезорганизованной истеричной толпой, чтобы привести ее в нормальное состояние и подавить инстинкты и стремление к первобытной анархии.

Теперь я в море. Каким-то кошмаром кажутся эти 10 дней, стоивших мне временами невероятных усилий, особенно тяжелых, т. к. приходилось бороться с самим собой, а это хуже всего. Но теперь, хоть на несколько дней, это кончилось, и я в походной каюте с отрядом гидрокрейсеров, крейсеров и миноносцев иду на юг. Где теперь Вы, Анна Васильевна, и что делаете? Уже 2-й час, а в 5 [1]/ [2]уже светло, и я должен немного спать».

Двенадцатого марта он написал очередное письмо Анне Васильевне, где жаловался на туман, на то, что турки посылали

по радио сообщения «гнуснейшего содержания» – с матом, – явно составленные каким-то беглым каторжником. Колчак ждал, что команда какого-нибудь из кораблей сорвется и ответит матом, но матросы проявили выдержку... Если честно, их больше раздражал густой и липкий, как сметана, туман, в котором шли корабли.

Недописанное письмо пришлось отложить – Колчаку сообщили, что в «сметане» замечен неприятельский корабль. Колчак спешно поднялся на командный мостик, выругался: неприятельский корабль оказался большим неряшливым парусником, на корме которого вяло болтался турецкий флаг.

– Утопить паршивца! – приказал Колчак.

Команда парусника попрыгала в шлюпки и поспешно отгребла в сторону. Грохнули орудия. Всего по паруснику было произведено пять выстрелов. От судна остались лишь щепки да плавающие обгорелые тряпки. Эскадра двинулась дальше.

Следующее письмо Колчак написал тринадцатого марта. Жаловался на появившиеся подводные лодки и на назойливость германской авиации, которая вреда не приносила – обстреливала русские корабли лишь издали, – но действовала на нервы.

«Подлодки с точки зрения линейного корабля – большая гадость, – признался он в письме. – Все время приходится менять курс, рисовать в воде зигзаги, чтобы какая-нибудь особенно нахальная субмарина не всадила в борт торпеду. Другое дело – подвижной приземистый миноносец, для миноносца встреча с подлодкой – одно удовольствие...

Днем, «при ясном небе, полном штиле и мгле по горизонту» – «сметанная погода» осталась позади, – произошла неприятность: разбился русский разведывательный аппарат – тогда самолеты называли аппаратами – с двумя летчиками на борту.

Колчак ожидал, что в море появится Сушон со своим флотом, но тот в море так и не высунулся. Побоялся. «Нет, Сушон меня решительно не любит, – отметил Колчак в том письме, – и если он два дня не выходил, когда мы держались на виду Босфора, то уж не знаю, что ему надобно».

Он думал о Тимиревой и тревожился – как бы с ней чего не случилось, думал о жене своей: как ощущает себя Софья Федоровна в бурном Севастополе, оставшись без него?

Колчак разрывался. Он не знал, не умел, не мог просчитать, что будет с ним и с его любимыми женщинами завтра или что будет послезавтра, он не мог даже понять, что произойдет через два часа, – настолько будущее было неясным.

Молочный туман, сметана, в которой два дня назад шли его корабли, а не будущее.

Военным министром России был назначен А. И. Гучков. Колчак его хорошо знал по прежним годам, когда он, еще молодой и как следует не обтершийся в обществе герой Русско-японской войны, вздумал с группой таких, как и он, горячих, влюбленных в Россию офицеров восстанавливать отечественный флот. Гучков поддержал Колчака, и Колчак, всегда помнивший добро, был до сих пор благодарен ему за это.

В апреле Гучков вызвал Колчака в Петроград.

Оказалось, министр вызвал не только его одного – всех командующих. И морскими, и сухопутными силами. На совещании выступил начальник штаба Балтфлота Чернявский – на место убитого Непенина еще никто не был назначен, поэтому докладывать пришлось начштаба. Выступление Чернявского произвело гнетущее впечатление. Балтийский флот развалился, похоже, окончательно, превратился в гнилую, коровью тушу – на всех кораблях уже раздаются не распоряжения командиров, а выкрики оборванцев-агитаторов, доносится вонь разложения, везде – неподчинение, самосуды, казни офицеров, уголовщина, анархия. Погибли уже сотни преданных России, ни в чем не повинных офицеров.

Слушая Чернявского, Колчак время от времени неверяще дергал головой – у него сдавливало дыхание, надо было постоянно делать резкие движения, чтобы освободить себе глотку, – в висках было горячо... Балтийский флот он знал не хуже Черноморского, а может быть, даже и лучше.

Следом выступал Колчак. Доклад Колчака даже в сравнение с тревожным упаднических сообщением Чернявского не шел, это были небо и земля. В докладе Колчака не прозвучало ни одной пораженческой нотки: все четко, сжато, конкретно. С предложениями, как приостановить разложение не только флота, но и армии вообще, с хорошо обдуманными планами продолжения боевых операций против немцев.

Когда совещание закончилось, Гучков попросил Колчака остаться.

– Александр Васильевич, есть мнение, – Гучков так и сказал: «Есть мнение». В этой фразе, укоренившейся в последующие годы, как в формуле, заложены были могучие основы российского партийного бюрократизма, такова великая обезличенная фраза «Есть мнение», – перевести вас на Балтику. Командующим.

Колчак медленно покачал головой.

– Нет.

– Почему?

– Балтийский флот уже не восстановить, он съеден разными бациллами, разложен донельзя. А Черноморский еще держится.

Если я покину Севастополь, там произойдет то же самое, что и в Гельсингфорсе, – матросы начнут расстреливать офицеров.

Лицо Гучкова поугрюмело, он невольно поджал рот.

– Но пока же этого нет...

– По нескольким причинам. Севастополь удален от Петрограда – революционного центра России – это раз. Два – мои корабли постоянно находятся в плавании, меньше общаются с берегом, в отличие от кораблей Балтики. Три – у нас просто меньше немецких шпионов, чем здесь. Те из них, кто проявился, был засечен и выловлен, а кто не проявился, увидев такое дело, попрятались по норам. Да потом в финский город Гельсингфорс немецкому шпиону проникнуть в сотню раз легче, чем в закрытый русский город Севастополь, и это тоже надо учитывать...

Колчак был недалек от истины: у Гучкова имелись сведения об активной работе немецких лазутчиков в Гельсингфорсе. Отличить немца от шведа, норвежца, финна или эстонца было практически невозможно.

Да потом разные горлопаны-агитаторы слишком хорошие деньги получали за свою работу. И они старались отработать эти деньги «на все сто», как говорила горничная Гучкова – простая деревенская женщина, всем сердцем ненавидевшая немцев. Не всегда знают агитаторы, что делают... Увы!

– Все-таки не говорите окончательно «нет», Александр Васильевич, – попросил Гучков.

Он думал, что в конце концов патриотические чувства возьмут верх в душе Колчака и он даст сбой, попятится, откажется от намерения возвращаться в Севастополь.

– Здесь Петроград – столица российская, – нерешительно проговорил Гучков.

Но Колчак был непоколебим. Он еще раз сказал:

– Нет! – Затем, понимая, что отказ звучит слишком резко, постарался его смягчить: – Простите меня, но, если я не вернусь на Черное море, мы и этот флот потеряем. Поэтому мое «нет» – окончательное.

На следующий день Колчак уехал в Псков, на совещание командующих армиями.

Вернувшись в Севастополь, Колчак сказал Смирнову:

– Россия в агонии.

У Смирнова потяжелели, сделались чужими глаза:

– Неужели конец, Александр Васильевич?

– По-моему, да. Армия превратилась в кисель. На фронте происходит братание, наши солдаты лезут с поцелуями к немцам. Те наших дураков угощают разведенным скипидаром, выдавая его

за крепкий немецкий шнапс. Дисциплины – никакой, дезорганизация полная. Двадцатого и двадцать первого апреля... – Колчак закашлялся, помахал перед лицом ладонью, словно хотел разогнать дым, подошел к книжному шкафу и достал бутылку коньяка, стоявшую за томом Гнедича, – двадцатого и двадцать первого апреля я был свидетелем гражданских манифестаций. Это начало войны внутри России, Михаил Иванович...

Смирнов неверяще покачал головой.

– Хуже этого ничего не может быть, – проговорил он глухо и потрясенно.

Колчак выдернул из бутылки пробку, потянулся к стаканам, стоящим на хрустальном подносе около графина, поставил их рядышком, налил коньяк.

– Что-то часто мы стали выпивать, и все – по грустным поводам. В последний раз мы пили, если мне не изменяет память, за Адриана Ивановича, царствие ему небесное. А сейчас давайте выпьем за Россию, Михаил Иванович. Ей сейчас трудно как никогда.

За Россию выпили не чокаясь, как за мертвеца.

– Больше всего меня поразили не плакаты, которые разные крикуны несли на манифестациях, поразили лица людей. Плакаты – это тьфу, это обычное дело, их полно и у нас в Севастополе: «Долой Временное правительство!», «Долой войну!», «Мир хижинам, война войне» и так далее, но вот лица... У нас таких лиц нет. Совершенно безразличные, тупые. Явно этим людям заплатили. Если бы им дали плакаты другого содержания, совершенно полярного: «Да здравствует Временное правительство!», «Война до победного конца!» и так далее, они бы с тем исступлением вышли на улицы и с этими плакатами. Чувствуется, немцами запущена огромная денежная машина... Хуже этого не может быть ничего, вы правы. – Колчак снова налил в стаканы коньяка.

– Что предполагаете делать?

– Перво-наперво выступлю на собрании во флотском экипаже, все расскажу как на духу, ничего утаивать не стану. Лозунг «Отечество в опасности» устарел, он слишком слабенький, зовы о том, что мы можем погибнуть – обычный дилетантский лепет, ничто, тьфу! Отечество ныне находится просто в критическом положении, одна нога у нас уже занесена над пропастью, а вторая еле держится на краю...

25 апреля в Севастополе было созвано делегатское собрание. В цирке Труцци, самом крупном помещении города, Колчак выступил с речью.

– Какой же выход из положения, в котором мы находимся? – взывал он к собравшимся. – Первая забота – это восстановление духа и боевой мощи тех частей армии и флота, которые ее утратили, – это путь дисциплины и организации внутренней жизни, а для этого надо обязательно прекратить доморощенные реформы, основанные на самоуверенности невежества. Сейчас нет времени и возможности что-либо создавать, надо принять формы дисциплины и организации внутренней жизни, уже существующей у наших союзников: я не вижу другого пути для приведения нашей вооруженной силы из мнимого состояния в подлинное состояние бытия. Это есть единственно правильное разрешение вопроса.

Речь Колчака произвела на собравшихся впечатление. Адмиралу аплодировали долго и горячо. В ней все было правильно. Главным лозунгом в Севастополе после этого собрания стал лозунг «Война до победного конца!».

Собравшиеся приняли решение послать делегацию Черноморского флота в действующие части – пусть агитируют братишки растерявшихся, попятившихся назад солдат. Война до победного конца! Никогда Россия под «немаками» не ходила и ходить не будет.

В делегацию вошло двести с лишним человек. Позднее список дополнили – добавили в него еще двести пятьдесят матросов.

Черноморские моряки, подновив себе клеши и бескозырки, разъехались по воюющей России, по фронтам. Побывали в Москве, Питере, Гельсингфорсе, на севере, проскребли гребенкой и революционный Балтийский флот. Агитировали за войну. И не потому, что им очень хотелось воевать, а потому, что было очень противно получать по морде от Германии.

– Неужели мы не загнем этому сухорукому Вилли салазки за спину? – кричали они на митингах и делали недоуменные лица. – А?

Черноморским морякам верили. На форменках у многих из них позвякивали Георгиевские кресты.

От агитации черноморцы часто переходили к делу – хватали винтовки и поднимали людей в атаку.

Многие из агитаторов в Севастополь так и не вернулись – погибли во время этих бесшабашных показательных атак. Широко по фронтам они разнесли славу и о Колчаке:

– У нас – самый лучший в России командующий флотом. Самый боевой. На Черном море «немаки» без его разрешения и шага сделать не могут.

Но не только черноморцы ездили по фронтам со своей агитацией. В Севастополе тоже появились агитаторы в черных

бушлатах и новеньких, недавно со склада, форменках. И тоже горланили... Лозунги у них были совсем иные: «Долой войну! Пора домой!»

Флот из боевого, слаженного, радующего душу, на глазах превращался в базар, где каждый что хотел, то и делал. На очередное боевое задание отказался выйти миноносец «Жаркий». Колчака, который там появился совсем некстати, матросы едва не скинули за борт, в черную маслянистую воду. Следом отказался выходить на задание миноносец «Новик». Затем матросы арестовали одного из руководителей севастопольского военного порта генерал-майора береговой службы Н. П. Петрова.

Когда Колчак покидал в Питере кабинет военного министра, то заявил ему, что он благодарен за лестное предложение командовать Балтийским флотом, но он откажется и от командования Черноморским флотом, если там возникнет ситуация с «одним из трех обстоятельств».

Обстоятельство первое: «Отказ какого-либо корабля выйти в море и исполнить боевое приказание». Обстоятельство второе: «Смещение с должности без согласия командующего флотом кого-либо из начальников отдельных частей вследствие требования, исходящего от подчиненных». И третье, последнее обстоятельство: «Арест подчиненными своего начальника».

Сейчас же возникла ситуация, когда из трех обстоятельств два были налицо.

Колчак вызвал к себе Смирнова.

– Ну вот, и все, Михаил Иванович, – сказал он устало. – Мне пора уходить с флота. Сегодня же. Завтра уходить будет поздно.

Смирнов принялся уговаривать Колчака, пытался найти нужные слова, но не находил их – все слова были деревянными, какими-то неубедительными.

– Нет, нет, нет! – твердо заявил Колчак и хлопнул ладонью по столу.

Потом небрежным щелчком отбил к Смирнову лист бумаги, лежавший перед ним на столе.

Это было прошение об отставке военному министру Керенскому – Гучков продержался в этом кресле недолго и передал портфель говорливому адвокату.

– Александр Васильевич! – умоляюще произнес Смирнов, прижал руку к груди.

– Нет, нет, нет и еще раз нет!

Керенский отказался принять отставку Колчака. Более того – начал по прямому телеграфному проводу уговаривать адмирала:

– Александр Васильевич, не торопитесь, прошу вас. Я скоро приеду в Севастополь, и мы с вами все уладим. Все обговорим,

повстречаемся с матросами, убедим их... Поверьте мне.

Отношение Колчака к Керенскому было отрицательным, адмирал считал бывшего адвоката обычным болтуном, и чем больше уговаривал его Керенский, тем больше мрачнел Колчак.

Через несколько дней Керенский на роскошном поезде прибыл в Одессу. Колчак отправился туда на миноносце. Встреча с Керенским оставила у Колчака отвратительное впечатление. Разговаривая с ним, Колчак морщился, будто попал в не продезинфицированный матросский гальюн.

Из Одессы они вместе прибыли на миноносце в Севастополь. Керенский жаловался: слишком узкие, слишком тесные на миноносцах каюты! Нет бы сделать их пошире, поуютнее. Колчак, слушая бывшего адвоката, молчал.

В Севастополе Керенский развернулся во всю ширь, он выступал, выступал, выступал... Выступал на кораблях, во флотских экипажах, в паровозном депо, в ремонтных мастерских, в Морском собрании, он был готов выступать даже перед дворниками, считал, что его речи производят неизгладимое впечатление. По мнению же Колчака, речи Керенского не производили никакого впечатления.

Но как бы там ни было, Колчак решил пока не уходить в отставку, решил повременить – вдруг все наладится?!

Керенский уехал, и положение в Севастополе резко ухудшилось: на смену говорливому министру 27 мая прибыла внушительная делегация Балтийского флота. Состояла она в основном из анархиствующих братишек и большевиков, имевших твердый наказ Я. М. Свердлова: «Севастополь должен стать Кронштадтом юга». Прибывшие имели и другую цель: обязательно скомпрометировать Колчака.

«Братишки» с Балтики разгуливали по севастопольским бульварам, обрывали с каштанов свечи и жеманно нюхали их:

– Чего же вы адмирала своего никак не прогоните? Он – татарин, мусульманин, православных братишек ест с чесноком. Давным-давно находится на содержании у турок. Зарплату получает звонкими золотыми луидорами. Монета сия – не в пример деревянным николашкиным рублям. Сдаст «немакам» флот и ускачет прямиком в Стамбул, а оттуда – в Париж.

Черноморцы лениво отбрехивались – не все в агитации «братишек» им нравилось:

– Погодите малость, не загибайте слишком круто кочергу. Дайте разобраться.

– А чего разбираться-то? – хмыкали балтийцы. – Вашего Колчака на флот еще царь Николашка ставил... А где он сейчас, царь-то? Будь наша воля, мы бы вашего Колчана, – Колчака они

упорно начали называть Колчаном, – привязали бы к березе да расстреляли гнилыми огурцами. Либо свинцовым пряником угостили бы. Промеж ушей. Ну, учитывая ваше к нему отношение и прошлые заслуги, дали бы сделать выбор – промеж ушей спереди или промеж ушей сзади. Колчану вашему – в отличие от вас, темных и забитых, на негров похожих, есть что защищать – у него золото в слитках скоплено за границей, два имения в Тверской губернии находится, одно в Ярославской, шесть доходных домов в Москве, три в Питере, один в Одессе, счета в Швейцарии и Италии. Чего медлите, братишки? На березовый сук его – и дело с концом!

Но черноморские «братишки» молчали. И медлили. Не всему в речах балтийцев они верили – кое-что смущало...

До Колчака эта агитация доходила, вызывала немую ярость – особенно сплетни насчет золотых слитков и доходных домов в Москве и Одессе. Все богатство, которое он нажил, вмещалось в два чемодана – он был нищ, как мичман, который только что поступил на службу.

– Имейте в виду, братишки, – предупреждали балтийцы, – ваш Колчак лично заинтересован в продолжении войны. Иначе ведь все его богатства пойдут козе под репку, станут народными. Это надо же столько награбить добра, а?

Балтийцы врали беззастенчиво. Черноморцы продолжали угрюмо молчать. Но видно было, что и они наливаются злобой, мрачно переглядываются друг с другом: они думали, что командующий их такой же нищий, как и они сами, такой же пролетарий, а он, оказывается, вона – доходные дома в Москве, Питере и Одессе, теплая человеческая кровь утром, которую ему подают в хрустальных стаканах, а в обед перед ним ставят жареного младенца. Это надо ж!

В конце концов балтийцы договорились до того, что Колчак – прусский помещик, имения у него есть не только в России, у него в Германии – несколько «латифундий». Еще есть «латифундии» в Австрии, в Италии и отель на берегу моря в Турции.

Колчак как услышал про отель на берегу моря в Турции – побелел. У него и голова в эти дни белеть начала.

Прыгнул в машину и помчался в Черноморский флотский экипаж, где шел митинг и его обливали грязью балтийские «братишки».

Митинг был огромным, во дворе экипажа, на плацу, волновалась плотная черная масса – собралось не менее пятнадцати тысяч человек. Посреди двора стоял грузовик, и на нем какой-то волосатый небритый человек, перепоясанный двумя пулеметными лентами, зажав в руке бескозырку, распространялся

как раз насчет Колчака. Собравшиеся дымили цигарками и с интересом слушали оратора.

Выругавшись, Колчак хищной птицей взлетел в кузов грузовика. Оратор увидел его, согнулся, будто получил тычок кулаком в самое больное место, и у него перехватило дыхание.

– Ну, продолжайте, продолжайте, – тихо, яростно потребовал Колчак.

– Я все сказал, – угрюмо пробормотал оратор и нахлобучил на голову бескозырку. – Смерть мироедам! Долой войну!

– Ну, тогда скажу я. – Колчак подошел к краю кузова, засунул руки в карманы. – Такие вопросы, кто является прусским помещиком и имеет богатые «латифундии», а также доходные дома и отели в Турции, на берегу моря, надо обсуждать, глядя друг другу в глаза, а не трусливо, за спиной. Так вот... Кроме двух чемоданов с бельем, у меня ничего нет. И не было никогда. Не было недвижимого имущества, о котором только что распространялся этот господин... – он поискал глазами стремительно растворившегося в толпе «господина», перепоясанного пулеметными лентами, но слишком много матросов во дворе выглядело так же, мода такая пошла, не нашел его и с досадою дернул головой, – или товарищ... Мне без разницы. Безразлично, как называть его. Хоть дружком. Хоть бобиком.

В толпе кто-то захохотал.

– Правильно, называй его бобиком!

Выкрик был грубым, на «ты», но Колчак не обратил на него внимания.

– Я не имею имущества не только недвижимого – латифундий, доходных домов и отелей, я не имею имущества даже движимого, – продолжал Колчак. – Все оно погибло в Любаве, когда немцы накрыли ее артиллерийским огнем. Моя жена едва успела вывезти оттуда детей. Бросила в Любаве все... С четырнадцатого года я живу только тем, что у меня имеется в чемоданах. Больше у меня нет ничего!

– Врешь! – раздался из толпы тонкий, острый, как осколок стекла, голос.

Колчак вгляделся: голос раздался оттуда, где было больше всего людей, перепоясанных пулеметными лентами. Это были балтийцы. Колчак почувствовал, как в горле у него возник душный, какой-то волосатый ком, похожий на шарик от лапты, сделалось нечем дышать. Но он одолел себя.

– Врать не приучен с детства, с гимназической поры, – тихо и горько произнес Колчак. – В жизни не врал. Если кто-нибудь найдет где-нибудь у меня имение, доходный дом, постоялый

двор, гостиницу, счет в банке или слиток золота – может считать это своим. Я немедленно перепишу все найденное на него.

Толпа молчала. Еще не кончив говорить, Колчак понял: этот раунд он выиграл. Легко, почти невесомо спрыгнул на землю, спокойно прошел к автомобилю – ни один возглас не прозвучал ему вслед, митинг продолжал молчать. Он сел на заднее сиденье и глухо, сдавленно бросив в спину водителю, пехотному прапорщику в потертой кожаной форме «Поехали!», откинулся назад. Автомобиль адмирала покинул просторный двор флотского экипажа.

Колчак был недоволен собою, недоволен тем, что опустился до толпы, до объяснений с нею, недоволен сбивчивой своей речью – она хоть и произвела впечатление на собравшихся, но произвела не выстроенностью, не четкостью и хлесткими словами, не блеском, не системой неоспоримых доказательств, которые отличают талантливого оратора от посредственного, а – внезапностью, натиском. Он выступил как посредственный оратор.

И если сегодня он выиграл схватку – сумел выиграть, – то завтра ее проиграет.

На дворе уже стоял июнь 1917 года. «Братишки» с Балтики изменили тактику и перестали твердить о несметных богатствах адмирала – всякому человеку невооруженным глазом было видно, что у Колчака нет никакого богатства, они начали дергать другую веревочку:

– Ваш Колчан, кореша-черноморцы, обыкновенный паркетный козел, который звание получил, танцуя «па де грас» с сучкой-императрицей. Пошаркал немного ногами по лакированному полу в Зимнем дворце – одного орла на погоны схлопотал, еще пошаркал немного – пожаловали второго орла. А кто-нибудь видел его в бою, а?

Черноморцы напряженно молчали.

– То-то и оно. – Балтийцы пальцами вышибали из носов содержимое прямо на плац флотского экипажа – будто из пожарных брандспойтов лупили. – А то, что он на мостике линкора к турецким берегам бегал, так это он к себе домой бегал. Почему бы не сбегать за казенный счет да на дармовой горючке? Адмирал он – плохой, а вот паркетный танцор, шаркун – отменный.

– А ордена? У него же полно боевых орденов!

– Что ордена! Их тоже за танцы дают. И знаете, сколько? Если взять в масштабах всей России – не сосчитать!

«Братишки» с Балтики лезли из кожи вон, чтобы сбить Колчака с ног. Собьют – и, считай, черноморский флот станет

революционным. А пока он ни то, ни се. Следом за «паркетным шаркунством» они выдвинули новое обвинение адмиралу, именно обвинение, отличное от обычной митинговой обывальщины.

– Колчан сегодня ночью совершит контрреволюционный переворот. ЦВИКу вашему сделает цвик из пулеметов, собрание разгонит, непокорных шлепнет, тюх, которые наполовину наши, а наполовину нет, – утопит в море. Цвик, в общем. Полный цвик!

И это обвинение возымело действие, черноморцы не выдержали:

– Арестовать Колчака!

Шестого июня делегатское собрание вынесло решение: Колчака и Смирнова от должностей отстранить, вопрос об их аресте передать на рассмотрение судовых комитетов. Командующим избрать адмирала Лукина и «для работы с ним составить комиссию из 10 человек».

Колчак дома не появлялся, он находился на корабле – ему было стыдно, он боялся увидеть глаза Сонечки, глаза своего сына, который все уже понимал, он боялся унижения... А его унижали.

Лукин был обычным адмиралом, который звезд с неба не хватал, особо ничем не выделялся, с одним орлом на погонах. Почему именно его предпочли матросы, было непонятно. В конце концов Лукин так Лукин. Командовать ордой Колчак не хотел, да и не мог – это было противно. Жаль, что он поддался Керенскому, Гучкову, Смирнову, другим и не ушел с флота.

Ему противны были всякие революции с контрреволюциями, была бы его воля... Оставаться командующим больше было нельзя. Колчак вызвал к себе Смирнова:

– Михаил Иванович, подготовьте приказ о вступлении в новую должность вышеупомянутого контр-адмирала Лукина Ве Ка.

– А вы? Как же вы, Александр Васильевич?

– Что я? Я – все, хватит! Вы же видели, какое решение приняла эта толпа!

Смирнов опустил голову и вздохнул – Колчак был прав, иного выхода для него не существовало, – прошептал горестно:

– Эх, Александр Васильевич, Александр Васильевич... История запомнит этот день – шестого июня семнадцатого года, она обязана его запомнить. Это черный день для флота российского.

В городе начались обыски и аресты офицеров. Колчак отправился на свой флагман – линкор «Георгий Победоносец», переименованный в «Свободную Россию». Хотя надо было бы ехать домой – ведь Софья Федоровна со Славиком могли оказаться в опасности... Одно он понимал: через сорок-пятьдесят минут после того, как он окажется дома, в квартиру обязательно

вломятся матросы. Он боялся этого.

Пробормотал, стиснув кулаки:

– Эх, Сонечка! Говорил же я тебе: уезжай из Севастополя! Как можно скорее уезжай! В Париж, в Лондон, куда угодно, но только уезжай! Здесь жить опасно. А сейчас время потеряно.

Флагманский корабль уже перестал быть флагманским – штандарт командующего флотом был с него спущен.

Колчак молча прошел в свою каюту, так же молча повалился на диван. Закрыл глаза. Перед ним стремительно завертелся, заструился хоровод пятен, иногда из хоровода высовывалась тяжелая черная рука, скребла пальцами по пространству, стремясь дотянуться до его горла, до лица, не дотягивалась и исчезала. Потом высовывалась другая рука, такая же страшная, такая же черная... Апокалипсис какой-то! Конец света. Колчак застонал. Через несколько минут он забылся.

Очнулся от того, что в дверь кто-то настойчиво стучал. Колчак, разом скинув с себя остатки забытья, стремительно поднялся с дивана.

На пороге стояли трое матросов. Один из них – плутоватый, перехлестнутый патронными лентами, с двумя бомбами, висящими на новеньком офицерском поясе, и маузером, болтающимся на тонких кожаных ремешках, – был тот самый говорун, который выступал против Колчака во дворе флотского экипажа.

– Сдайте оружие, гражданин адмирал! – потребовал он с ехидной усмешкой.

– Чье это решение?

– Решение судового комитета. Разоружить всех офицеров без исключения. И вас в том числе.

Оружия у Колпака никогда не было, да и стрелять с поры северных экспедиций он ни разу не стрелял. Ни из винтовки, ни из револьвера, ни из пулемета.

Стоявший рядом с волосатым степенный седоусый матрос обескураженно отер рукою лицо, попросил Колчака:

– Вы, ваше высоко... гражданин адмирал, подчинитесь пока, а там разберемся.

Волосатый матрос глянул на него колюче, едко:

– А тебя, Ненашко, так и тянет адмиралу облизать задницу. Ты еще отпей из его ночного горшка!

– Дурак! – миролюбиво произнес Ненашко.

– У меня нет оружия, – сказал Колчак волосатому, внутри у него шевельнулось что-то нехорошее, но он быстро подавил в себе это ощущение и спокойно, в упор глянул на волосатого.

– Ни леворьвера, ни пистолета? – спросил тот.

«Волосан» задумчиво поскреб пальцами верхнюю губу – полную, красную, как у женщины, подергал уголком неряшливо обритого рта.

– А эта самая... ну, махалка с надписью «За храбрость». Это ведь тоже оружие.

У Колчака невольно потяжелело лицо, он подвигал нижней челюстью, ощупал языком вдавлины, оставшиеся от выпавших зубов, и, поняв, что эти люди ищут повод, чтобы придраться к нему, тихо произнес:

– Ладно, отдам наградную саблю.

Наградная сабля находилась у него в каюте, он держал ее на корабле, а не дома. Может быть, надо было держать дома, а не здесь? Тогда целее бы была? Если бы, да кабы... По лицу его пробежала судорога. Нет, все правильно. Он снял со стены саблю, поцеловал ее, прислушался к тому, что происходит за дверью каюты.

Матросы переминались с ноги на ногу, доносился скрип паркета – адмиральский этаж на линкоре был уложен паркетом, еще был слышен глухой, словно приходящий из далекого далека, бубнящий голос волосатого матроса – тот придирался к своим товарищам, возможно, требовал арестовать адмирала, но те не соглашались, и бубнящий голос наполнялся злостью, неприятным металлическим звоном... Колчак вытащил саблю из ножен, с тихим стуком вогнал назад, лицо его исказилось – саблю эту ему вручали не матросы, а отнимают матросы во главе с волосаном, пахнущим чесноком и гнилыми зубами.

Он решительно шагнул к двери, спросил у волосатого с плохо скрываемой яростью:

– Куда надо сдавать наградное оружие?

Тот ухмыльнулся, показал два желтоватых прокуренных клыка – Колчак невольно подумал, что таких людей, наверное, подбирают специально, чтобы производить аресты, расстрелы, экспроприации, ибо у человека, способного расстрелять другого только за то, что он носит офицерские погоны, не может быть человеческого лица.

– Итак, куда? – нетерпеливо повторил вопрос Колчак.

Волосатый расплылся в еще более широкой ухмылке, ткнул рукой себе за спину:

– В судовой комитет.

За его спиной, совсем недалеко, располагалась бронированная дверь с узким иллюминатором, над которым нависла тяжелая «ресница» с двумя закручивающимися барашками. Колчак, держа в одной руке саблю, решительно шагнул к двери, свободной рукой потянул вниз рычаг-заслонку,

открыл дверь.

В лицо ему ударил лиловый вечерний свет. Солнце садилось прямо в воду, оставляя на ней длинный, извилистый, очень чистый красный след, будто кто выдавил из тюбика краску прямо на мелкую рябь рейда. Свет был лиловый, печальный, с тревожной костерной дымкой, заставляющей вспоминать прошлое, а солнечная дорожка – нестерпимо красной, похожей на разлитую кровь.

Колчаку показалось, что его загоняют в щель... в сапог – целого человека, с двумя ногами, с руками, с головой и сердцем, со всеми помыслами, разумением и понятием о мире... загоняют в сапог, в котором должен он отныне сидеть и подчиняться тому, что сапог пожелает...

Нет. Этого никогда не будет. Он шагнул к борту и еще раз поцеловал эфес сабли. Эфес был без нагромождений-завитков, без рельефа, без светской мишуры – обычная солдатская сабля с дорогой надписью и золотым эфесом. Колчак снова поцеловал эфес, приложился лбом к ножнам и, широко размахнувшись, швырнул саблю через борт в воду.

Та косо изогнулась в полете, послала последний прощальный луч света в глаза людям и почти беззвучно, без единого всплеска вошла в воду.

Волосатый матрос, стоя позади Колчака, даже подпрыгнул, гулко бухнулся тяжелыми ботинками в металлический рифленый коврик, врезанный в паркет.

– А это вы напрасно, гражданин адмирал. – Он покраснел густо и сильно, даже уши и те сделались красными, на лбу проступил крупный пот. – За это придется ответить.

В Колчаке враз все погасло, стало спокойным, холодным – ни внутренней дрожи, ни обиды, ни злости, он произнес с усмешкой:

– Не вы мне дали Георгиевское оружие, не вам его и отнимать. [152]

Волосатый затопал ногами, взметнул над собой кулаки, но Ненашко схватил его за руку:

– Тихо, тихо, братишка!

В тот же вечер заседало делегатское собрание, которое должно было решить, что делать с Колчаком и начальником штаба флота Смирновым: то ли шлепнуть их и отправить рыбам на корм, то ли содрать с них погоны и пинком под зад вышвырнуть на берег – пусть катятся на все четыре стороны, то ли связать руки проволокой и по железной дороге, в арестантском вагоне доставить в революционный Петроград?

В выражениях разгулявшиеся революционные матросы не стеснялись, вели себя оскорбительно, но руки пока не распускали

– знали о популярности Колчака на кораблях. Каждый корабль должен был вынести свою резолюцию и прислать ее в делегатское собрание.

От суммы резолюций и зависело – жить Колчаку со Смирновым или не жить.

Когда резолюции – часть катерами, часть по телеграфу – были доставлены в делегатское собрание и был произведен подсчет, то оказалось, что за арест Колчака высказалось только четыре корабля, 68 были против. За арест Смирнова – семь, против – пятьдесят.

«Братишки» с Балтики были обескуражены.

– Это что же такое получается? – вопили они. – Кому вы служите? Царским сатрапам и акулам мирового империализма! Корефаны! Арестуйте своего Колчака – и дело с концом! Дружба Балтийского и Черноморского флотов не должна от этого нарушиться. Она – вечная!

Но черноморцы не пошли на поводу у балтийских «братишек». Пока не пошли.

Вечером Колчак впервые обратил внимание, что он здорово поседел – белизна опорошила виски, прядями прошлась по темени – в черной плоской прическе проступали солевые борозды. Уголки плотно сжатого рта дергались.

Нервы находились на пределе, еще одно небольшое натяжение – и они порвутся.

У Вилли Сушона была хорошо налаженная разведка – он прекрасно был осведомлен о том, что происходит в Севастополе. Под шумок заседаний делегатского собрания, под агитацию волосатых «братишек» с Балтики он разминировал Босфор и в узкий безопасный проход бросил хорошо подлатанный крейсер «Бреслау» – надо было пошерстить ослабевшие румынские берега, вспомнить прошлое и показать, кто в здешних водах хозяин.

«Бреслау» утюгом ворвался в устье Дуная и раздолбал из пушек митингующие полки, как раз принимавшие резолюцию «Долой войну!» и «Немцы – наши братья!». Бреслау показал им братьев – в воздух полетели оторванные ноги, руки и головы говорливых агитаторов.

Но пушечной пальбой дело не закончилось. «Бреслау» высадил на берег десант, захватил пленных, сжег укрепления и беспрепятственно растворился в розовой морской дымке и вернулся с почетом на базу: крейсер с лихвой разделался за прошлые свои унижения.

Контр-адмирал Лукин, занявший место Колчака, палец о палец не ударил, чтобы помешать «Бреслау» и Вилли Сушону.

Через четыре дня после развала флота – десятого июня 1917 года – Колчак уехал в Петроград.

Возвращаться в Севастополь он не хотел. Хватит!

Единственное, что его успокаивало: здесь, в Петрограде, он будет ближе к Анне Васильевне Тимиревой – оттуда, из Севастополя, до нее было очень далеко, расстояние угнетало Колчака.

С Анной Васильевной все было в порядке, она была жива, здорова, «цвела»...

Семья Колчака осталась в Крыму.

В Севастополь Колчак, как и планировал, больше не вернулся, и флоту Черноморскому больше не удалось взять ту высоту, на которой он находился при нем. Все это осталось в прошлом.

Сам же Колчак оказался не у дел.

Часть четвертая
Верховный правитель

Известие об Октябрьской революции в России Колчак получил в Штатах и не придал ему особого значения: одной революцией больше, одной меньше – все едино. Россия сейчас была похожа на большой кипящий котел, в котором в конце концов сварится все, абсолютно все, как и абсолютно все превратится в некое безвкусное едово, в кашу, где будет смешано и сало, и компот, и свежие фрукты, и затхлая солонина. Всякая еда, которая готовится на политическом костре, бывает именно такой. Политику Колчак по-прежнему не любил, считая ее грязной.

О семье своей Колчак не беспокоился – ему сказали, что Софья Федоровна вместе со Славиком благополучно покинула Севастополь и сейчас находится в Париже, живет там под присмотром старого друга Колчака контр-адмирала Погуляева. [153]

Сергеевич Погуляев учился вместе с Колчаком в Морском кадетском корпусе, в одном выпуске. Одно время Погуляев был морским агентом во Франции, до Михаила Ивановича Смирнова [154]занимал должность начальника штаба Черноморского флота, а летом в чине контр-адмирала зачислен во французские военно-морские силы. А адмирал во Франции, как известно, может многое.

Но сведения эти были неверные, и Колчаку надо было все же побеспокоиться – Софья Федоровна сейчас находилась в России, пряталась в семьях знакомых моряков, ждала мужа, а десятилетнего Славика, которого она начала называть Ростиком, отправила в Каменец-Подольский, на свою родину, к закадычной подруге, с которой вместе провела детство.

Там Славика приняли как родного, ни соседям, ни близким не стали объяснять, чей это сын, – появился мальчик и появился, а чей он – угрюмый, молчаливый, излишне серьезный, – дела никому быть не должно.

Часто Софья Федоровна доставала пожелтевшие бумажки, которые носила вместе с узелком вещей, – собственные письма мужу, которые отправляла ему на Балтику, – он привез их в Севастополь и отдал Софье Федоровне.

Одно из писем всякий раз вызывало у нее слезы, и она, не стесняясь, хлюпала носом. Письмо начиналось, как некая абракадабра: «Мыняма папа гм цыбабе канапу. Мыняма у цыбабы

цалу». Это она пробовала писать письмо мужу под диктовку сына.

Сейчас она могла только вспомнить, что «канапа» в переводе со Славикова языка на нормальный – конфета. Ниже она сообщала мужу: «У Славушки прорезались два коренных зуба. Я купила ему щеточку, и он усердно чистит зубы себе. Сейчас раздевается и показывает мне, как он это делает, а то „цыбабы будет гляники“.

«Гляники» – это грязненький. По утрам он говорил матери: «Поля тявать». «Такой забавный», – отмечала Софья Федоровна.

Иногда она прикладывала к лицу листок, втягивала ноздрями далекий сухой дух, исходящий от бумаги, и глаза у нее опять невольно делались мокрыми: это был запах прошлого, давно ушедших дней, запах того, что никогда уже не вернется.

По ночам в Севастополе громыхали выстрелы, по городу ходили перепоясанные пулеметными лентами патрули – «братишки» с Балтики окончательно одержали победу, и, конечно, узнай эти бравые молодцы, что она – жена «самого Колчака» – ей не поздоровится. Тут же отведут в овраг и прикончат из маузера, даже не посмотрев на то, что она женщина.

Надо было выбираться из Севастополя, но выбираться она не спешила – Фомин, которого муж когда-то перевел с Балтики сюда, в Крым, сказал, что располагает верными сведениями: Александр Васильевич должен вернуться в Севастополь. И не один, а с вооруженными отрядами, которые живо поставят «братишек» на место. И Софья Федоровна ждала мужа, ждала в Севастополе, никуда отсюда не трогаясь.

В Севастополе хоть было не голодно, не то что в Петрограде, где, как она знала от Фомина, было, например, очень голодно, холодно. Пайка хлеба составляла пятьдесят граммов на человека, а там как сам обернешься. Повезет – добудешь еще пятьдесят граммов, выменяешь их, отдав новые ботинки либо шелковое платье, не повезет – останешься голодным. И это – в богатом сытом городе, где столы всегда ломились от еды – даже в простых извозчичьих трактирах подавали не только уху с расстегаями, борщи с чесночными шаньгами и демидовские пироги, но и супы мипотаж-натюрель, фаже из рябчиков, тур-тюшо, мясо с цимброном и пиво с огромными ростовскими раками. А сейчас – пятьдесят жалких граммов тяжелого, как глина, черного хлеба, который прилипает к пальцам и к зубам.

Виски жгла боль, в горле хлюпали слезы, но глаза были сухи, они увлажнялись, лишь когда она доставала свои письма и перечитывала их – собственные строки били, как тревожные удары колокола, рождали боль и неодолимо тянули заглянуть в прошлое.

«Дорогой мой Сашенька! Пыталась писать тебе под Славушкину диктовку, но, как видишь, получается все одно и то же: „мыняма папа“ и потом опять сначала „мыняма папа“.

Она беззвучно втянула воздух, покрутила головой от того, что внутри сжалось и похолодело. Такое состояние бывает перед несчастьем, в преддверии его.

Под окном послышался мат, и гулко ударил выстрел. Софья Федоровна отогнула краешек портьеры. Какой-то матрос с винтовкой наперевес, широко расставляя ноги, будто находился на палубе во время сильного шторма, гнался за шустрой старушонкой, одетой во все черное.

«Анархист, – определила Софья Федоровна. – Из лютых бомбистов. Господи, когда же все это кончится?» Она отерла пальцами один глаз, потом другой.

Старушка оказалась проворнее матроса, тот вновь прокричал что-то пьяное, матерное, неразборчивое, вторично ударил по старушке из винтовки, та шарахнулась от пули в сторону и через несколько мгновений исчезла в узком проходном дворе. Матрос, раскорячившись, шагнул было туда, но в следующий миг остановился: старушка исчезла. Словно сквозь землю провалилась. Как нечистая сила. Только что была, тонкими своими ножонками, обтянутыми черными чулками, стригла воздух и вдруг исчезла.

Вид у матроса сделался растерянный и смешной. Он резко повернулся, глянул на противоположную сторону улицы, как будто старушка могла исчезнуть там. Софье Федоровне показалось, что матрос увидел ее. Она поспешно отодвинулась от портьеры, уходя под прикрытие стены.

Узнав про мирные переговоры России с Германией, [155]Колчак возмутился:

– Какие могут быть переговоры с этим сухоруким барабанщиком?

Кайзера Вильгельма Второго звали по-разному, в том числе и барабанщиком, учитывая, наверное, особые способности этого усатого, похожего на кота человека – он умел лихо играть на флейте, а также на различных свирелях, губных гармошках и тому подобное, мог даже исполнить какую-нибудь немудреную мелодию на боцманской дудке, вполне прилично бренчал на фортепьяно и любил высоким голосом распевать патриотические песни, дирижировал оркестрами в концертных залах и соборах – и делал это также неплохо, тискал мандолину, выдавливая из нее грустные звуки, писал пьесы, стихи и самое главное – любил и умел произносить барабанные речи.

– Барабанщика надо добивать в его же барабане – сунуть

головой внутрь, как в котел, и задолбать до смерти барабанными палочками. Либо просто сварить с перцем и лавровым листом и отдать собакам. Никакого мира, никаких кабальных бумаг. Они что там, в Питере, совсем мозгов лишены? Барабанщик – мужик зубастый, ему протяни палец, он оттяпает всю руку.

Всякие мирные переговоры с немцами Колчак считал унизительными, поэтому, понимая, что Россия воевать с немцами уже не будет, попросился на службу к англичанам, в частности на Месопотамский фронт, [156]где находились русские части, которые провели несколько успешных наступательных операций, а корпус генерала Н. Н. Баратова, умело поддержав атаки англичан на Багдад, вышел непосредственно в плодородную Месопотамскую долину.

К этой поре в Месопотамии умер от холеры генерал Фредерик Мод, [157]командовавший английскими войсками, и его величеству королю Великобритании срочно понадобились грамотные военные, желательно с генеральскими звездами на погонах. Но при бурном проявлении патриотизма почему-то никто не изъявлял особого желания ехать в места, где от холеры как мухи мрут генералы... Тогда что же приходится говорить о простых солдатах?

Колчак был готов ехать в Месопотамию – и вовсе не затем, чтобы конкретно заменить почившего в бозе сухопутного генерала, – он ехал воевать с немцами. И готов был занять любую должность. Хоть командира роты.

Он побывал уже в нескольких странах. Остановки были длительными, изматывающими, Колчак физически ощущал, что он стремительно стареет, находясь где-нибудь в Иокогаме, – гораздо быстрее стареет, чем у себя дома, в России. Неверно говорят, что дороги удлиняют человеку жизнь. Совсем наоборот – укорачивают. Он сильно тосковал по России, не понимал, почему оттуда так редко поступают свежие сообщения; кроме одной, главной новости, что Россия ведет унизительные переговоры с Германией (и еще, пожалуй, известия о том, что дома произошла революция), он не знал ничего. Ну будто тяжелый пыльный полог свалился с небес и отгородил Россию от остального мира. Так недолго и забыть. Впрочем, вряд ли.

У него с собою был целый альбом фотокарточек. Очень дорогих, милых. Фотоснимки Тимиревой, Софьи Федоровны, Славика, покойного отца. Узнав, что Софья Федоровны все-таки не смогла покинуть Севастополь, Колчак обеспокоенно заметался: как быть, чем ей помочь? Помочь было нечем. Осталось только молиться за нее да переживать.

Еще были письма. Письма, которые он писал Анне Васильевне

и с опозданием отсылал в Россию, не зная, доходят они туда или нет.

«Я с двумя своими спутниками принят на службу Его Величества Короля Англии и еду на Месопотамский фронт, – сообщал он в письме. – Где и что я буду делать там – не знаю. Это выяснится по прибытии в штаб Месопотамской армии, куда я уезжаю via [158]Шанхай, Сингапур, Коломбо, Бомбей. В своей просьбе, обращенной к английскому послу, переданной правительству Его Величества, я сказал: не могу признать мира, который пытается заключить моя страна и равно правительство с врагами...»

Кстати, это он повторял постоянно, на встречах с самыми разными людьми, с генералами и послами, со швейцарами гостиниц и таксистами.

«Обязательства моей Родины перед союзниками я считаю своими обязательствами. Я хочу продолжать и участвовать в войне на стороне Великобритании, т. к. считаю, что Великобритания никогда не сложит оружия перед Германией. Я желаю служить Его Величеству Королю Великобритании, т. к. его задача – победа над Германией – единственный путь к благу не только его страны, но и моей Родины.

На вопрос посла, какие мои желания в отношении положения и места службы, я сказал, что, прося короля принять меня на службу, я предоставляю себя всецело в распоряжение его правительства. У меня нет никаких претензий или желаний относительно положения, кроме одного – Fight». [159]

Письма были для него неким спасением, он отдыхал, когда сочинял их.

Путь Колчака из Штатов, где он находился во главе военно-морской миссии, [160]был долгим. Вначале он остановился в Японии, потом в Сингапуре.

«Я затопил камин, поставил Ваш портрет на стол и долго говорил с Вами, а потом решил Вам писать? – это строки из письма, присланного Колчаком Тимиревой из Сингапура. – Когда дойдет письмо до Вас да и дойдет ли? Где Вы, моя милая, моя дорогая Анна Васильевна, в Кисловодске ли Вы, или в Бочево, или, может быть, в Гельсингфорсе? Не задаю вопросов – Вы знаете, что все, что относится до Вас, мне так дорого, что Вы сами ответите мне...»

В Сингапуре информационную глухоту словно бы прорвало. В газетах появилось сразу несколько сообщений из России. И все – тревожные.

«Сегодня я прочел в газетах про двухдневные убийства офицеров в Севастополе – наконец-то Черноморскому флоту не

стыдно перед Балтийским. Фамилий погибших, конечно, не приводится, но думаю, что погибло много хороших офицеров. Из Севастополя, где была моя семья, я имею известия только от сентября. Никаких ответов на мои телеграммы, письма нет. Офицеры, которые туда отправились с моими письмами, ничего не сообщают, и я не знаю, доехали ли они до Севастополя. Что с моей семьей, что с моими друзьями сталось в эти дни, я ничего не знаю. Нехорошо, очень нехорошо».

Колчак, написав эти слова, действительно почувствовал себя нехорошо – строчки перед глазами запрыгали, поползли в сторону: а что если и Соня со Славиком попали под дула матросских винтовок?

Стихия темных людей, особенно в России, – беспощадная, неукротимая, ее можно сдержать только с помощью винтовок, – сметает все, что у нее оказывается на пути. Не жалеет даже детей.

Он подкинул в камин несколько кривоватых, колючих, мелко нарубленных веток – с настоящими дровами в душном влажном Сингапуре было плохо, служки из гостиницы привозили их на тележках из-за города и распределяли по номерам – в каждую комнату, где имелся камин, понемногу.

К одной из веток прилипла большая рыжая улитка, Колчак поспешно выдернул деревяшку из огня, щелчком сбил с нее улитку, потом снова сунул ветку в пламя.

Улитка, костяно хряпнув панцирем, шлепнулась на пол, выпростала из завитка влажную пятку, осторожно ощупала ею пол.

Колчак сделал несколько частых вдохов-выдохов, утишая внутреннюю боль, выглянул в окно на мокрую, занесенную туманом улицу, по которой бежал рикша в прилипшей к телу рубашке, оглядывался по сторонам в поисках седока и что-то кричал протяжно, горько – слова разобрать было невозможно, кричал он по-китайски, – боль, возникшая внутри, вместо того чтобы угаснуть, сделалась сильнее.

Сколько людей погибло в Севастополе, кто именно, здешние газеты не сообщали. А что, если действительно в эту мясорубку угодила и Соня? Сколько раз он говорил ей, требовал, убеждал: «Уезжай в Париж, там ты будешь в безопасности», но Соня не уезжала, все чего-то ждала.

Лишь на лице ее появлялось обиженно-упрямое, какое-то выжидательное выражение, да глаза начинали сухо поблескивать. Будто старые монеты.

Он попытался мысленно представить, где сейчас находятся две самые дорогие его женщины, помотал в воздухе рукой, словно призывая на помощь чей-то всевидящий дух, твердил губы. Анна

Васильевна скорее всего сейчас находилась в Петрограде, а вот где конкретно находилась сейчас Сонечка… Он вновь вяло помотал рукой, услышал, как в голове встревоженно затрещал сверчок – что-то случилось в его крепком организме… А вот что произошло конкретно, он не мог понять.

Неужели Сонечка до сих пор продолжает оставаться в этом страшном Севастополе?

Он ошибался – Анны Васильевны уже не было в Петрограде, она вместе с мужем тряслась в вагоне на жесткой полке бывшего трансконтинентального экспресса, лишившегося прежней роскоши и удобств, и думала о Колчаке.

В Питере было голодно, кусочка хлеба, выдаваемого по карточкам, хватало лишь на два судорожных глотка и один нюх, все, что имелось в доме съедобного, было съедено, Сергей Николаевич даже пробовал варить суп из новенького матросского ремня, но потом с искаженным лицом зашвырнул ремень в бак с мусором и, уединившись у себя в кабинете, долго сидел с прижатыми к лицу руками. Одя плакал.

Анна Васильевна понимала, что ругать мужа за то, что он такой бестолковый, необоротистый в быту, бесполезно – этого человека уже не переделать, а потом она понимала, что надо сдерживать в себе извечную потребность русской женщины ругаться: слишком много петербургские бабы ругаются и сквалыжничают, это даже стало притчей во языцах.

Тимирев был одет в штатское платье – он вышел в отставку в чине контр-адмирала и ехал теперь на Дальний Восток с поручением, данным ему в канцелярии самого Ленина, – ликвидировать имущество тамошнего флота. Брест-Литовский мир был только что заключен и заключен на самых невыгодных для России условиях.

На руках у Тимирева имелся специальный мандат, в кармане хрустели командировочные – плохо отпечатанные керенки, [161]поражали воображение их большие суммы. Раньше миллионеров в России было раз, два и обчелся, теперь миллионером сделался каждый второй.

Когда отъехали от Питера километров на шестьдесят и за окнами замелькали убогие виды заснеженных станций с водокачками, вяло трясущими на ветру полуоборванными рукавами, с разбитыми крышами домов и пепелищами, рождающими в душе холод, с голодными собаками и людьми, которые выглядели голоднее собак, Тимирев нерешительно поднялся с нижней полки, на которой сидел.

– Аня!

– Что?

– В этом поезде имеется вагон-ресторан.

– Ну и что?

– Мы можем туда пойти и, если удастся, пообедать. Раньше в поездах подавали прекрасную отварную стерлядь, украинский борщ с пампушками и телятину в глиняных горшочках с черносливовым пюре...

– Наивный! – уничижительно произнесла Анна Васильевна. – Все это осталось в прошлом. Вместе с государем Николаем Александровичем.

– Не скажи, – возразил Сергей Николаевич. – Я все-таки схожу в вагон-ресторан.

– Тогда и я с тобой. Чего уж ты без меня? – Она неожиданно нахмурилась, приложила ко лбу палец. – А как же вещи? У нас с тобой много вещей. Вдруг украдут?

– Не украдут. Кому нужны наши жалкие манатки?

Чемодан, который они везли с собой, был неказистый, фибровый, лысый; потертости имел такие, что, казалось, ткни пальцем – и фибра провалится насквозь, – с такими чемоданами по здешним дорогам ездили только мешочники.

Тем не менее они попросили какую-то девушку с трогательно-беззащитным лицом и глазами, готовыми в любую минуту увлажниться, присмотреть за их «манатками» – чемоданом и большой брезентовой сумкой, которую они поставили на верхнюю багажную полку, заткнули за чемодан, чтобы не было видно: в сумке этой Анна Васильевна везла меховую горжетку – на случай, если во Владивостоке будет холодно, вещь очень нужную.

Вагон-ресторан находился в центре поезда. Сергей Николаевич почувствовал этот вагон издали – остановился в одном из тамбуров и поднял указательный палец:

– Чуешь, Анечка?

– Что? – рассеянно и хмуро спросила та.

– Хлебом пахнет. Пахнет настоящим, свежим, недавно испеченным пшеничным хлебом. Через два вагона будет ресторан – ровно через два...

Сергей Николаевич оказался прав.

Первое, что они увидели, войдя в ресторанный салон, был хлеб. Хлеб горками лежал на тарелках – наложен был вольно, с верхом, без всякого счета, на каждом столе. Анна Васильевна переглянулась с мужем и сглотнула слюну: они не верили, что такое хлебное изобилие может находиться рядом с голодом.

Сели за стол и дружно потянулись к хлебу. Им не успели еще ничего принести – ни вкусно пахнущего супа с клецками и настоящими мясными фрикадельками – Одя, как пить дать,

назвал бы их крокодилками, ни гуляша с картофельным пюре (настоящее рабоче-крестьянское блюдо), – как тарелка оказалась пустой.

– Однако, – произнес Тимирев пристыженно.

Им поставили вторую тарелку с хлебом. Через несколько минут и эта тарелка была пуста.

– Вот тебе и однако, – удрученно проговорила Анна Васильевна.

Похоже, поезд этот, хоть и имел раскуроченные спальные вагоны, и ресторан, который вот-вот должен был сползти со своих осей – слишком нетрезво он раскачивался на кривых, громко стучащих колесах, – и паровоз, чье нутро скоро должно было прогореть от жара и черного ядовитого дыма, но ворвались они в эту жизнь из жизни совсем иной, которую даже не хотелось вспоминать.

Обед был сытный – в свой вагон они вернулись с приятной тяжестью в теле и неким отупением в мозгах, – после такого обеда очень хотелось спать.

Утром – новый сюрприз: пришли в вагон-ресторан, а там за столом, тесно прижавшись друг к другу, сидит давно знакомое семейство капераига Петра Ильича Крашенинникова – он сам, жена его Евгения Ивановна и двое славных их детишек, Маша и Сережа.

Крашенинников, как увидел Тимирева, так и привстал на бархатной ресторанной лавке:

– Ба-ба-ба!

Воистину, какая-то сказка все это, сказка, не иначе. Женщины обнялись, расцеловались и в следующую минуту заплакали.

– Вы куда едете? – стерев слезы с глаз, спросила Анна Васильевна у Евгении Ивановны, улыбнулась с робкой надеждой: а вдруг они вместе направляются во Владивосток?

– Пока в Харбин, а дальше не знаем – как повезет... Может быть, в Шанхай. Если, конечно, удастся там зацепиться. – Крашенинникова также стерла слезы с глаз, улыбнулась: – Ну и встреча!

– Да, – согласилась Анна Васильевна.

– Вы обратили внимание, Анечка, что на станциях здесь продают вещи невыносимо вкусные: молоко, лепешки, яйца? В Питере нам такая еда даже сниться перестала.

– Я вот все думаю: а почему нельзя скупить все это и послать в Петроград? Ведь там же от голода умирают дети.

– Видимо, кто-то специально этого не хочет. Побаивается: не пущать, запретить, ограничить, предупредить, расстрелять, арестовать, закопать, связать, прибить гвоздями к стенке...

– Наверное, наверное, – со слабой улыбкой наклонила голову Крашенинникова.

Решили все переместиться в один вагон – скорее всего, в тот, в котором ехали Тимиревы, он был получше, покрепче, потеплее.

Поезд шел медленно. По ночам предпочитал отстаиваться на станциях, чтобы не угодить в лапы какой-нибудь банды – в лесах, подступающих к самым рельсам, постреливали, иногда схватки происходили такие ожесточенные, что в ход пускали даже артиллерию, и тогда трещали стволы вековых деревьев, тяжело шмякались на землю срубленные макушки, и, случалось, снаряды скручивали в рогульки железнодорожные рельсы.

Днем же поезд продолжал аккуратно наматывать километры на колеса.

Все зависело от локомотива – если паровоз попадался старый, дырявый, со сгнившим нутром, то тогда и плелись еле-еле – по пять-шесть километров, если же железнодорожное начальство выделяло машину поновее, то и жизнь казалась пассажирам поезда веселее – можно было даже в окошко полюбоваться на проплывающие мимо пейзажи.

Но главным по-прежнему оставалось – не угодить в ловушку, не вывернуть карманы в руки каким-нибудь бандюкам в мерлушковых папахах и волчьих малахаях, которые вели настоящую охоту за поездами.

Постепенно подобралась компания – «теплая», как, усмехаясь, охарактеризовала ее Анна Васильевна: Тимиревы, Крашенинниковы, девушка с влажными оленьими глазами по имени Женя – она так же, как и Крашенинниковы, ехала в Харбин, к родителям – путейским служащим, двое бравых пареньков-лицеистов, напористых, как гусары давыдовской поры, с пробивающимися на лице темными усиками.

Иногда, когда останавливались на какой-нибудь дальней железнодорожной станции, в голову приходила невольная мысль о двух параллельно существующих жизнях: одна протекала в поезде, в движении, на колесах, другая – у других людей, на земле, она стояла мертво, никуда не двигалась, и эти две жизни никак не соприкасались, не смыкались, они текли параллельно друг другу, и тогда сам собою возникал вопрос: неужели такое может быть?

Где-то шла война, бушевал Дон, [162]уже погиб от шального красного снаряда генерал Корнилов, [163]поднимал свою голову чехословацкий корпус, составленный из пленных и управляемый каким-то отставной козы барабанщиком – бывшим ветеринаром, а их поезд все продолжал оставаться вне времени, вне событий, вне России, хотя и занимал место в пространстве, был осязаем.

Когда уезжали из Петрограда, там трещали морозы, какие в Питере бывали редко, на улицах валялись замерзшие трупы людей, если где-то подавала голос собака, то добрый десяток страждущих незамедлительно бросался на лай, чтобы беднягу изловить, спустить с нее шкуру и бросить в кастрюлю, а сейчас уже была весна, от морозов ничего, кроме худых воспоминаний, не осталось, – и чем дальше уходили на восток, тем чаще попадался цветущий багульник, тем оживленнее делалась природа.

Так добрались до Иркутска, где и случилась осечка: поезд застрял мертво – ни туда, ни сюда.

Простояли сутки, за первыми – вторые, потом третьи, затем – четвертые. Жизнь без движения начала надоедать. Стали исподволь спрашивать – не в лоб, а исподволь, в лоб совершенно ничего нельзя было узнать, никто ничего не говорил, – в чем же дело, почему остановился поезд? Или дым в паровозе кончился?

Оказалось, впереди идут бои. Забастовали рабочие черемховских копей, взялись за оружие. Проезд дальше – только по специальным пропускам. Такого пропуска ни у Тимиревых, ни у Крашенинниковых не было. Сергей Николаевич пошел к коменданту станции.

Тот сидел раздраженный, усталый, с портупеей, вдавившейся в погон под тяжестью маузера. На столе, среди бумаг, также лежал маузер.

Погоны на кителе этого человека были парадные, золотые, полковничьи.

– Не могу дать вам такого пропуска, – мрачно проговорил комендант.

– Почему?

– Не имею права, – комендант подозрительно сощурил глаза. – А у вас, гражданин, какое звание?

– Контр-адмирал.

– Почему без погон? Где ваши погоны?

– Вышел в отставку, потому и без погон. – О том, что у него лежит в кармане командировочное предписание от советской власти, выданное аж в самом Смольном, Тимирев не говорил, и правильно делал – этот царский полковник, еще не снявший с кителя погон, запросто мог поставить его к стенке. – Доберусь до Владивостока, там, если прикажут, погоны надену снова.

Тимирев не лукавил, он, несмотря на предписание, служить советской власти не собирался, но если его снова призовут под Андреевский флаг и заставят вспомнить о присяге, данной государю, колебаться он не будет ни минуты.

Пропуск ему добыть не удалось.

Несколько человек все-таки получили эту бумагу, погрузились в отдельный вагон – нераскуроченный, спальный, с мягкими диванами – и покатили дальше. Счастливчикам завидовал весь поезд.

Собственно, что до Хабаровска, что до Харбина оставалось одинаково, казалось – это совсем не далеко, стоит только заглянуть за горизонт, как увидишь Хабаровск. Но близок локоть, да не укусишь. Тимирев нервничал, ругался, иногда наведывался в вагон-ресторан, без Анны Васильевны – там приказывал налить в стакан водки, залпом выпивал и заедал свежей, собранной ресторанной бригадой прямо на снежных проплешинах черемшой.

Время шло, будущее казалось мутным, неопределенность выбивала из колеи. Когда удастся сняться с якоря, было непонятно.

Тут свои недюженные способности проявили братья-лицеисты, они показали, на что способна современная молодежь: умудрились достать документы некой загадочной компании, то ли русско-канадской, то ли американо-русской – какой именно, не понял никто, вписали туда фамилии Крашенинниковых, Тимиревых, девушки Жени и свои собственные, под эту грубо сработанную, явно фальшивую бумагу получили пропуск – один на всех, коллективный – и покатили дальше.

Места боев усеченный поезд старался проскочить на скорости. Во многих местах глаза пугали своей чернотой сожженные бараки, вонзившие в небо горелые стропила, будто орудийные стволы, водокачки с обрезанными рукавами, несколько вокзалов были спалены, в стенах вместо окон красовались угрюмые, обметанные сажей провалы. Пахло смертью.

А сопки уже окрашивались в белый цвет, будто невесты, – багульник уже отцвел, начала цвести черемуха.

На одной из станций, уже на подступах к Хабаровску, Анна Васильевна вдруг увидела человека, показавшегося ей знакомым.

Тот покупал у крохотной аккуратной старушки-карлицы варенье. Анна Васильевна вгляделась в этого человека: где же она его видела? Где? В Любаве, в Ревеле, в Кронштадте?

По перрону бродили тощие длиннорылые свиньи. Они были хорошо знакомы с правилами железнодорожного движения – ни одна из них никогда не попадала под колеса паровоза или вагона. Свиньи вольно ходили и по городу.

Молодой человек купил у карлицы две банки варенья, повернулся, и Анна Васильевна наконец узнала его: это был Боря Рыбалтовский – лейтенант, который когда-то на «Цесаревиче»

служил под началом ее мужа; Анна Васильевна безуспешно пыталась обратить на себя его внимание, но Рыбалтовский не дал растопить свое сердце, остался верен мужскому долгу... Потом он пропал.

– Господи, это вы, Боря? – неверяще воскликнула Анна Васильевна.

– Как видите, – неохотно отозвался Рыбалтовский. – Собственной персоной.

– Как вы здесь очутились?

– Не знаю. – Он усмехнулся и отвел глаза в сторону, на важную, шерстистую, будто овца, свинью, вышагивающую по перрону с видом дежурного начальника вокзала. На боку свиньи было жирно выведено дегтем «Транс-Сиб». – Как-то так, занесло...

– Здесь находится Сергей Николаевич, в вагоне. – Она оглянулась. Их укороченный состав находился далеко от станции, стоял практически в тупике. – Не хотите повидаться?

– Вы знаете, Анна Васильевна, очень хочу. Но не могу. – Движения Рыбалтовского вдруг сделались суетливыми. – Я очень спешу. В следующий раз – обязательно. А сейчас не могу. Извините!

– Куда вы, Боря, направляетесь?

– Думаю добраться до Харбина.

– Зачем?

Он как-то странно, испытующе посмотрел на нее:

– Там сейчас находится Колчак.

Анна Васильевна невольно вздрогнула, по лицу ее пробежала тень, и она тесно прижалась плечом к Жене, стоявшей рядом. Уточнила, едва шевеля деревянными, враз переставшими слушаться губами:

– Александр Васильевич?

– Так точно! Александр Васильевич.

Глаза у Анны Васильевны влажно заблестели, она перевела взгляд с Рыбалтовского на недалекую церковь, откуда после утренней службы возвращались люди. Теперь, кроме Владивостока, у нее появилась новая цель – Харбин. Она обязательно должна побывать в Харбине, обязательно должна повидать Колчака. Губы у Анны Васильевны задрожали, растеклись в слабой неверящей улыбке.

Она даже не заметила, как Рыбалтовский, сухо поклонившись, исчез.

Женя, стоявшая рядом, все поняла – эти вещи женщины, обладающие более тонкой кожей, чем мужчины, ощущают очень хорошо, – порылась в сумочке, чтобы найти листок бумаги и карандаш. Она хотела прямо тут же, на перроне, оставить Анне

Васильевне свой харбинский адрес. Спросила почти машинально, на всякий случай, хотя можно было и не спрашивать, она хорошо знала ответ:

– Вы приедете ко мне в Харбин?

Анна Васильевна ответила не задумываясь, тотчас же, радостно зазвеневшим голосом:

– Приеду!

Колчак к этой поре действительно переместился в Китай, только находился он не в Харбине, а в Пекине.

Он сидел в маленьком номере гостиницы и, простуженный, усталый, слушал, как за окнами бесится дождь. У него в последнее время все чаще и чаще возникало ощущение, что им играют, как обычной игрушкой, переставляют с места на место, дают незначительное задание и опять переставляют на новое место, словно не знают, куда эту ценную безделушку в конце концов определить.

За его спиной состоялся какой-то сговор, это Колчак ощущал явственно – с ним обошлись, как с обычным товаром на рынке. На Месопотамский фронт он так и не попал: ему объяснили, что военные действия там сошли на нет, русские части, дотоле храбро колотившие немцев, разбежались, да и Россия, заключив мир на самых невыгодных, которые только можно было придумать, условиях, выбыла из войны. А посему надлежит господину Колчаку, поступившему на службу в английские вооруженные силы, явиться в Китай. Здесь для него тоже найдется дело. И дело это будет горячим и интересным.

Из вольного, бандитского, украшенного флагами самых разных стран – спектр был очень широк, от Зеландии до Бурской республики – Шанхая он прибыл в Пекин, в русскую дипломатическую миссию.

Его встретил посол князь Н. А. Кудашев.

– В России – анархия, голод, холод, – сказал он Колчаку. – И никаких перспектив на то, что ситуация выровняется. С анархией надо бороться, поэтому возникли силы, которые способны дать по зубам и меньшевикам, и эсерам, и монархистам, и большевикам, и кадетам – всем, кто решил выйти на разбойную тропу, словом. Действуют уже две добровольческие армии – генерала Алексеева и генерала Корнилова. Нужна третья добровольческая армия. [164]Здесь, на Дальнем Востоке. В Сибири. Иначе нам порядок не обеспечить – здесь также все развалится.

– Что же вы предлагаете, князь?

– Стать во главе этой армии.

– Но я нахожусь на службе у его величества короля Англии.

Кудашев сделал рукой пренебрежительный жест:

– Скажите, Александр Васильевич, вам и двум вашим спутникам, зачисленным на эту службу, выдали хотя бы раз деньги? Подъемные, проездные, суточные, аванс в счет будущего жалования, деньги на обмундирование?

Колчак смущенно кашлянул в кулак: князь попал не в бровь, а в глаз.

– Ни пенса, – сказал он.

– Тогда о какой серьезной службе может идти речь? – спросил Кудашев.

Не знал Колчак, что за его спиной англичане сговорились с Кудашевым, с генералом Хорватом, управляющим КВЖД [165] – огромным хозяйством, обслуживающим значительный кусок трансконтинентальной железной дороги, проходившей через Китай, и решили задержать Колчака на Дальнем Востоке. Здесь он нужнее, чем в других местах.

Лучше бы он остался в Америке – американцы предлагали ему это, предлагали и работу по любимой минной части; тогда бы он и имя свое сохранил, и жизнь. Но нет, пришлось все-таки адмиралу Колчаку заняться делом, которое он бесконечно презирал, – политикой.

Он сразу почувствовал, какой неровной, зыбкой сделалась земля у него под ногами, какой неустойчивой, шатающейся стала его походка.

Из Пекина Колчак направился в Харбин, у Бори Рыбалтовского на этот счет были точные сведения.

Огонь в камине горел плохо, дрова были сырые, чадили, трещали, тщедушный огонь все время норовил подлезть под горку серых углей, образовавшихся в изножье дровяной кучки, и затаиться там.

Из головы не выходили ни Анна Васильевна Тимирева, ни Сонечка. «Как они там? Живы ли?»

Из Японии он привез две самурайские сабли – одной было пятьсот лет, ее отковал великий оружейный мастер Го-Но-Иосихиро, другая была чуть помоложе – триста пятьдесят лет назад ее изготовил Нагасоне Котейсу. Сабли обладали странным успокаивающим свойством. Как лекарство. На них можно было смотреть часами. Прикасаться пальцами к холодной стали, прижимать плашмя к щеке, ощущать, как кожу начинает остро покалывать холод времени, – в голове в такие минуты обязательно возникали возвышенные мысли.

«Японская сабля – это высокое художественное произведение, не уступающее шедеврам Дамаска и Индии. Вероятно, ни в одной стране холодное оружие не получило такого значения, как в Японии, где существовало и существует до сих пор то, что

англичане называют cult of cold steel. [166]Это действительно культ холодной стали, символизирующий душу воина, и воплощением этого культа является клинок, сваренный из мягкого сталеватого магнитного железа с лезвием поразительной по свойствам стали, принимающим остроту хирургического инструмента или бритвы. В этих клинках находится часть живой души воина, и они обладают свойством оказывать особое влияние на тех, кто относится к ним соответствующим образом».

Клинок, сваренный мастером Котейсу, обладал еще и некой тайной. Колчак брался одной рукой за костяной эфес, украшенный золотым узором, другой – за кончик острия, подносил клинок к уху и обязательно слышал далекий печальный звон – это звучали удары стали о сталь, сабли о саблю во время поединков, это неведомый воин отстукивал боевой ритм, поднимая самураев в атаку. Кожа на щеке, на виске делалась красной, сердце начинало усиленно биться.

Нет, воистину в этой сабле было сокрыто что-то колдовское.

«Когда мне становится очень тяжело, я достаю этот клинок, сажусь к камину, включаю освещение и при свете горящего угля смотрю на отражение пламени в его блестящей поверхности и тусклом матовом лезвии с характерной волнистой линией сварки стали и железа. Постепенно все забывается и успокаивается, и наступает состояние точно полусна, и странные, непередаваемые образы, какие-то тени появляются, сменяются, исчезают на поверхности клинка, который точно оживает какой-то внутренней, скрытой в нем силой – быть может, действительно „частью живой души воина“. Так незаметно проходит несколько часов, после чего остается только лечь спать».

За окном продолжал лить дождь. Везде этот проклятый, иссасывающий, мелкий, словно дым, дождь, способный забираться куда угодно, даже в кости. В Сингапуре дождь, в Китае дождь, в России, наверное, тоже идет дождь.

«Как там Анна Васильевна? – в очередной – наверное, в тысячный – раз задавал он себе вопрос и не мог на него ответить, – Как там Сонечка со Славиком? Где они сейчас? В Париже? В Севастополе? Или где-то еще?»

Колчак вздохнул озабоченно, обернул клинки куском старого шинельного сукна и спрятал в чемодан.

Имущества у него было немного, совсем немного, даже удивительно, что у прославленного адмирала, солидного человека, может быть так мало имущества.

А Софья Федоровна находилась в Севастополе. Это счастье, что ее до сих пор еще не узнал никто из чужих… Впрочем, трудно было узнать в сгорбившейся женщине с потухшим взглядом и

дрожащими старческими руками властную даму, жену командующего флотом, организовавшую когда-то в городе «санаторию для нижних чинов»...

Расстрелы в Севастополе сделались частью жизни: не было дня, чтобы не приходила весть о чьей-нибудь гибели.

Только за два декабрьских дня 1917 года, пятнадцатого и шестнадцатого числа, были убиты контр-адмиралы А. И. Александров и М. И. Каськов, вице-адмирал П. И. Новицкий, начальник Минной бригады И. С. Кузнецов, видные офицеры из числа наиболее боевых командиров Ю. Э. Кетриц, А. Ю. Свиньин, Н. Д. Калистов, В. Е. Погорельский, Н. С. Салов и другие. В общей сложности – двадцать два человека.

Двадцатого декабря матросы расстреляли В. И. Орлова. Десятого февраля 1918 года – контр-адмирала Н. Г. Львова, Б. В. Бахтина, А. А. Яковлева.

Расстрелы участились после того, как отряд черноморских «братишек» побывал на Дону, решив примерно наказать казаков за то, что те косо поглядывали на советскую власть.

Получилось наоборот: казаки в пух и прах расколотили «братишек», многие из матросов прибыли в родной Севастополь вперед ногами. Суша – не море, на суше матросы вояками были слабыми.

После этого моряки и вызверились: дело дошло до самосуда, до того, что случайно увиденного на улице офицера закалывали штыками.

Более позорных страниц в истории русского флота, когда свои били своих – били ни за что, – еще не было. В одну только февральскую ночь – с 22 на 23 число – глухую, безответную, как пустыня, – было убито двести пятьдесят человек.

Но как ни гребли страшными своими граблями моряки, как ни прочесывали дома, в которых могли находиться офицеры, а Софью Федоровну не выгребли – она, имея на руках чужой паспорт, осталась неузнанной.

Это ее и спасло.

Славик продолжал оставаться в Каменце-Подольском.

Прибыв во Владивосток, Анна Васильевна первым делом написала письмо Колчаку. Почта здесь, не в пример Петрограду и Москве, работала исправно, словно никогда ни революции, ни войны пне было. Впрочем, имелся еще более надежный путь – через английское консульство. Колчак в одном из своих писем, присланных из Америки, специально подчеркнул: послание можно оставить в консульстве, а там найдут способ переправить письмо туда, где находится адмирал.

Сам Тимирев углубился в дела Тихоокеанского флота,

проводил ревизию кораблям, дома появлялся поздно вечером, и Анна Васильевна была предоставлена сама себе.

Анна Васильевна написала Колчаку, что готова приехать в Харбин.

Прошло несколько дней. Жарких, суматошных, каких-то безмятежных, даже радостных: во Владивостоке торговали все магазины и лавки, работали рестораны, отовсюду доносилась патефонная музыка – да ладно бы звучали только патефоны, звучали целые оркестры. Списанные с кораблей и разменявшие матросские бушлаты на красные сатиновые рубахи, перепоясанные шелковыми шнурами, оркестранты теперь самозабвенно играли на своих инструментах в лучших владивостокских шалманах.

Прилавки ломились от тканей, на вешалках было тесно: платья доставляли сюда прямо из самого Парижа – страшно подумать, в парфюмерные отделы невозможно было зайти – от изобилия товаров начинало ломить глаза. Универмаг Кунета и Альберса ежедневно проводил распродажи со скидкой. Улицы были тесно заставлены лотками со свежими овощами – это старались корейцы, искусные огородники, мукденские купцы – узкоглазые, улыбчивые, со смешными тощими косичками (чем длиннее косичка, тем знатнее и богаче купец, некоторые имели косички аж до самых пяток, непонятно было, как они умудряются на них не наступать), раскладывали прямо на камнях шелк, бархат, парчу, черный и розовый жемчуг, табакерки и шкатулки из перегородчатой эмали.

Это был совсем не русский город Владивосток – очень он не походил на мрачные, голодные русские города – это был восточный город. Второй Сингапур. Хотя в Сингапуре Анна Васильевна никогда не была.

Утром, когда под окнами гостиницы начал истошно орать зеленщик-кореец, в дверь номера Тимиревых раздался тихий стук.

Анна Васильевна открыла. На пороге стоял человек с плоским сосредоточенным лицом и серыми, какими-то скучающими глазами. Анна Васильевна вопросительно посмотрела на него.

– Вам письмо, – сказал человек, тщательно выговаривая слова, по этой тщательности можно было легко понять, что он не русский – слишком уж долго и сосредоточенно обкатывает во рту каждое слово.

– От кого? – спросила Анна Васильевна, хотя уже прекрасно знала, от кого пришло письмо. Она ожидала, что молодой человек передаст ей конверт, но вместо конверта он протянул ей обычную папиросу.

Анна Васильевна взяла папиросу, с недоумением повертела

ее в пальцах.

– Это что?

– Я же сказал – письмо.

Письмо было от Колчака. Закатанное в папиросу. Видимо, доставлено было по тайному каналу – англичане на этот счет были большими мастерами. Колчак просил Анну Васильевну немедленно прибыть в Харбин.

В тот же день пришло письмо и от Жени – она также звала Тимиреву в Харбин. «Приезжайте немного и для меня», – с изрядной долей лукавства писала она. Анна Васильевна радостно запорхала по номеру, собирая вещи.

Когда вечером появился Сергей Николаевич, чемодан уже был собран и стоял у двери. Тимирев все понял, прошел к креслу, сел. Отер тяжелой подрагивающей рукой лицо. Усы у него тоже подрагивали. Тимирев молчал, не произносил ни одного слова, будто в нем что-то отказало.

Так он просидел минут двадцать. С кресла поднялся вконец расстроенный, с постаревшим лицом и душным ужасом, наполнявшим все его тело, – это ощущалось по глазам, Сергей Николаевич не верил в то, что жена может уйти от него, как не верил и в ее шашни с адмиралом Колчаком. С одной стороны, его щадили и долго о них не рассказывали, с другой – он долго закрывал на них глаза, думал – обойдется, пронесет…

Причем верил он не жене – юная красивая вертихвостка может отчебучить и не такое – верил своему старому товарищу, боевому адмиралу и – надеялся на тот негласный кодекс чести, который соблюдают все они…

Выходит, напрасно верил. Как и напрасно надеялся.

Усы у него перестали дергаться, лицо застыло, как перед смертью.

Тимирев спросил тихим, совершенно чужим голосом, в котором не было ни одной знакомой нотки, как не было ни надежды, ни тепла, ни обычного домашнего беспокойства, когда один человек беспокоится за другого, – ничего, словом:

– Ты вернешься?

Именно этот мертвый чужой голос уколол Анну Васильевну в сердце – на расстроенное лицо она не обратила внимания, отреагировала лишь на голос, – и ответила совершенно искренне:

– Вернусь.

– Когда?

Риторический вопрос. Анна Васильевна замялась.

– Сделаю кое-какие дела, повидаю кое-кого и вернусь.

Ну какие могут быть у нее дела в чужом Харбине? Сергей Николаевич ощутил, как у него горько задрожал левый уголок

рта, в ушах возник звон, и он снова тяжело, будто больной, опустился в кресло.

...Она потом признавалась, что ехала в Харбин как во сне – разводила руками даже воздух перед собой, словно пыталась уменьшить сопротивление и взлететь над землей, пронестись по пространству, – с удивлением глядела на сопки: те как будто были покрыты снегом.

Но за окном вагона было тепло. Сияло солнце.

– Это что, снег? – спрашивала Анна Васильевна у попутчиков, не зная их имен, не видя их лиц, как это часто бывает во сне.

Те смеялись:

– Нет, это не снег. Это цветет черемуха.

Г-господи, да она уже встречала точно такие же белые сопки за Читой.

Вместе с дымом паровоза в окно вагона врывался горький нежный дух. Это был дух цветения, который влюбленная Анна Васильевна восприняла как дух счастья.

Склоны сопок были белым-белы – хоть на лыжах катайся.

Она думала, что в Харбине, на вокзале, ее встретит Колчак – Анна Васильевна через английское консульство передала ему записку о приезде, встречайте, мол, – но встретила ее Женя. Сияющая, радостная, она кинулась к растерянной Анне Васильевне на шею, расцеловала ее.

– А где Александр Васильевич? – спросила та.

– Да здесь он, в Харбине! – Женя рассмеялась, сделала небрежное легкомысленное движение. – Он сейчас в отъезде. Будет завтра утром!

На следующий день они встретились, Колчак и Анна Васильевна. И вот конфуз: Анна Васильевна не узнала Колчака, а он не узнал Анну Васильевну.

Колчак был одет в обычный офицерский пехотный мундир, ничего общего с элегантной морской формой не имеющий, Анна же Васильевна, несмотря на радостную встречу, была во всем черном. Они обнялись. Колчак поцеловал Анне Васильевне руку, спросил:

– Вы в трауре?

– Да. Недавно умер мой отец, Василий Ильич Сафонов. [167]

Колчак искренне вздохнул.

– Жаль. Выдающийся был человек. Его хорошо знают в Америке.

Анна Васильевна кивнула, потом подняла сияющие глаза на Колчака, в голове промелькнула мысль об отце, который провел в Штатах целых четыре года, был там дирижером филармонии и одновременно – директором Национальной консерватории в Нью-

Йорке, но воспоминание моментально исчезло, она улыбнулась как-то беспомощно, потянулась к адмиралу и поцеловала его в щеку.

– Сейчас мы поедем обедать, Анна Васильевна, – сказал Колчак.

– Куда?

Наивный вопрос.

– Ко мне, – ответил Колчак. – В мой личный вагон.

На запасных путях, совсем недалеко от вокзала, стоял роскошный с завешенными окнами вагон. У входа прохаживался, поскрипывая сапогами, часовой с винтовкой. Анна Васильевна засмеялась радостно.

– Ну, совсем как у царя. У Николая Александровича был точно такой же вагон.

– Вполне возможно, что это его вагон и есть.

– Да-а?

– Да. Я это допускаю.

В вагоне было прохладно, ветер лениво шевелил шелковые занавески, дубовый, на двенадцать персон, стол был тщательно сервирован. На все двенадцать персон.

– Будут еще гости? – удивилась Тимирева.

– Нет.

...Остановилась Анна Васильевна у Жени, это было удобно – квартира Жениных родителей была большая, народ в ней обитал сердечный. Колчак несколько раз приезжал туда, но чувствовалось, что он зажат, будто находится не в своей тарелке, поэтому Анна Васильевна спросила у него напрямик:

– Может, мне переехать в гостиницу?

Колчак улыбнулся мягко, просяще, потом наклонил голову:

– Это было бы лучше всего.

На следующий день Анна Васильевна переехала в гостиницу.

Расстрелы в Севастополе продолжались недолго – прошло немного времени, и в Крыму немцы загрохотали сапогами с привинченными к резиновым каблукам железными скобками, революционные моряки вынуждены были потесниться. Софье Федоровне сделалось жить еще хуже: если бы немцы почуяли – не узнали, а лишь почуяли, что в Севастополе находится жена адмирала Колчака, взбесились бы больше «братишек» и незамедлительно вздернули бы на первом суку. Без всякой проверки документов.

Подложные документы пока спасали Софью Федоровну. Спасало также доброе отношение людей – никто, ни один человек не выдал Софью Федоровну, хотя за ее голову могли получить и деньги, и масло, и сахар с крупой и мясом, и несколько ящиков

консервированной говяжьей тушенки – все это ценилось в голодном Крыму на вес золота. И даже дороже золота.

Настала пора уезжать. А уезжать не хотелось. Анна Васильевна призналась в этом Колчаку.

– Не уезжайте, – произнес тот неожиданно дрогнувшим голосом. – Зачем вам уезжать? Оставайтесь здесь, в Харбине.

– Вы шутите, Александр Васильевич. – Тимирева расстроенно махнула ладонью. – Как можно?

– Так и можно. Оставайтесь со мною, и я... буду вашим рабом. Хотите иметь очень покорного, очень исполнительного раба в адмиральском чине? Я буду им. Это очень удобно. Я стану чистить ваши прелестные башмачки, утром буду подавать в постель кофе, буду читать вам стихи.

Анна Васильевна засмеялась и перевела разговор на другую тему.

На следующий день Колчак вновь вернулся к этому разговору.

– Оставайтесь. Очень прошу вас, Анна Васильевна.

– Ладно, я подумаю, – пообещала Анна Васильевна.

Утром за Колчаком приезжал длинный, с откидным кожаным верхом автомобиль. Жизнь Колчака в Харбине была непростая: он не мог найти общего языка с генерал-лейтенантом Д. Л. Хорватом, управляющим КВЖД, решившим образовать свое правительство – так называемый Деловой кабинет. Он был человеком заносчивым и безнадежно устаревшим. Возникали ненужные трения и с тремя дальневосточными казачьими атаманами: Г. М. Семеновым, возглавлявшим Забайкальское казачье войско, И. П. Калмыковым – главой Уссурийского казачьего войска и предводителем амурских казаков – И. М. Гамовым.

Больше всего хлопот было, конечно, с Семеновым – человеком жестким, не привыкшим идти на уступки, в военном деле прямолинейным, как бревно. Он жил в основном под японским флагом – там и подкармливали его, и оружием снабжали, и деньги на «карманные расходы» давали. Что желали японцы, то Семенов и делал. Колчак только удрученно качал головой.

– Странная ситуация складывается: хвост вертит собакой, а не собака хвостом.

Домой, в свой вагон, адмирал возвращался измочаленный донельзя. Наспех мылся. Натирал себе шею резиновой губкой, ругался:

– Этот Хорват – обычная старая швабра. И по виду, и по содержанию. Давно пора сдать его на склад ветоши – пусть

пылится где-нибудь в углу. Ан нет – метит в верховные правители России.

Хорват действительно своей длинной нечесаной бородой и громоздкой худой фигурой, наряженной в мятый военный костюм, с саблей, жестяно хлопавшей его по голенищу сапога, походил на швабру.

И каждый вечер Колчак задавал Тимиревой один и тот же вопрос:

– Ну, что вы решили, Анна Васильевна? Остаетесь со мной или нет?

В конце концов она сказала:

– Конечно, уговорить можно даже зайца – все мы подвержены уговорам, но вот только что из этого получится?

Колчак тихо засмеялся – почувствовал, что лед растаял, река тронулась, – произнес:

– Уговаривать вас, Анна Васильевна, не хочу. Это – своего рода насилие. Вы все должны решить сами. Сами.

Анна Васильевна не думала о муже – он ее больше не интересовал, думала о сыне, находившемся сейчас в Кисловодске, у бабушки.

– Хорошо, – наконец сказала она. – Я согласна. Только с одним условием: мой сын остается со мною.

Это условие Колчака устраивало, он улыбнулся незнакомо, смущенно – эта улыбка не была улыбкой Колчака, и Анна Васильевна поняла: он также думает сейчас о своем сыне, о Славике. Оставлять Софью Федоровну ему не жаль, а вот сына жаль, очень жаль.

– Я бы хотел, чтобы мой сын тоже остался со мною, – проговорил он тихо, закашлялся, словно слова застряли у него в горле, потянулся рукой к графину с холодным морсом. Махнул обреченно: кто знает, где сейчас находится сын и где находится жена? В Париже или где-то еще? Может, в Каменце-Подольском?

Кокетка Анна Васильевна умудрялась заводить романы и здесь, в Харбине, под самым носом у Колчака.

В нее влюбился генеральский сын Дима Баумгартен. Втюрился крепко, по уши – и, видимо, Анна Васильевна дала ему для этого повод, – у Димы даже лицо делалось серым, если он видел Тимиреву разговаривающей с каким-нибудь другим мужчиной.

Когда Анна Васильевна собралась ехать вместе с Колчаком в Японию, Дима хватил пару стопок водки и решил объясниться с адмиралом. По-мужски. Тет-а-тет. Чтобы расставить все точки над i.

Колчак потом, добродушно посмеиваясь, рассказал об этом

визите Анне Васильевне.

– У меня сегодня был Дима Баумгартен.

Тимирева почувствовала, что щеки у нее сделались горячими.

– Да-а? – довольно спокойно протянула она – владеть собою Анна Васильевна научилась прекрасно. – И что же его интересовало?

– Вы!

– Как так? – Анна Васильевна сделала недоуменные глаза.

– Он спросил у меня, буду ли я иметь что-либо против, если он последует за нами в Японию.

– И что же вы ответили?

– Ответил, что это зависит только от вас.

Анна Васильевна почувствовала, что щеки у нее вообще раскалились, как металл, готовый вот-вот поплыть – руку поднести нельзя, обожжет, – но голос у нее по-прежнему был спокойным: ни дрожи, ни смущения – нич-чего.

– А он?

– Что он? – Колчак усмехнулся. – Он признался, что не может жить без некой Анны Васильевны Тимиревой.

Наконец Анна Васильевна смутилась.

– Глупость какая-то, – пробормотала она.

– Не скажите, – возразил Колчак. – Я так не считаю.

– И что же вы ответили Диме?

– Я сказал этому юному герою следующее: «Вполне вас понимаю, дорогой друг, поскольку сам нахожусь в таком же положении».

Позже Анна Васильевна призналась, что в Харбине у нее был роман не только с Димой Баумгартеном, но и с неким господином Герарди. Что это был за человек, кто он, история не сохранила для нас никаких сведений.

После этого разговора они поехали кататься по вечернему Харбину. Ужинали в китайском ресторане, где уютно светили керосиновые лампы и тихо пели наряженные в шелк, женщины, исполнявшие древние уйгурские песни. Колчак в разговорах был откровенен с Анной Васильевной, ничего от нее не скрывал. Анна Васильевна решила также быть откровенной с Колчаком и также ничего не скрывать от него.

«Все, что происходило тогда, что затрагивало нашу жизнь, ломало ее в корне и в чем Александр Васильевич принимал участие в силу обстоятельств своей убежденности, не втягивало меня в активное участие в происходящем, – написала она впоследствии. – Независимо от того, какое положение занимал Александр Васильевич, для меня он был человеком смелым, самоотверженным, правдивым до конца, любящим и любимым. За

все время, что я знала его – пять лет, – я не слышала от него ни одного слова неправды, он просто не мог ни в чем мне солгать...»

Остается добавить, что Колчак вообще не умел лгать, даже если от него этого требовали обстоятельства или нужно было покривить душой в угоду политическому моменту – он не лгал. И удивлялся искренне разным политикам и генералам, находящимся рядом с ним, которые порою врали так вдохновенно, что даже сами верили в собственное вранье.

Политики виноваты в том, что сделали из Колчака того самого страшного злодея, которым в школах целых семьдесят лет пугали детишек. Его заставили отвечать за все, что происходило в Сибири в восемнадцатом и девятнадцатом годах, за бесчинства чехословацких корпусов, которым было наплевать на Сибирь и Россию, за зверства семеновцев и калмыковцев, принципиально не подчинявшихся Колчаку, за козни японских военных и американцев, которые прилаживались к России, к ее Дальнему Востоку, чтобы откусить шмат поприличнее, да с задачей своей не справились, но кровавых следов оставили после себя великое множество.

За все пришлось расплачиваться Колчаку. И не только своим добрым именем...

Пока Колчак вместе с Тимиревой находился в Японии, в России, в Сибири, возникла Директория – Временное российское правительство. В состав Директории вошло пять человек. Чтобы управлять хозяйством, надо было создавать аппарат. Возникло Омское правительство. Затем – административный совет, впоследствии преобразованный в Совет министров, и так далее. В общем, пошла чехарда, в которой, как говорили сибирские чалдоны [168]той поры, без бутылки не разберешься.

В действиях членов Директории тоже было трудно разобраться: один тянул в одну сторону, другой – в другую, третий – в третью... Лебедь, рак и щука, словом.

Тем временем в Сибири объявилась новая сила – белочехи. Ими командовал человек, для которого не было ничего святого, – Радола Гайда. [169]Настоящее имя его было Рудольф Гейдль.

Гейдль был обычным фельдшером, специалистом по чирьям, умело, за бутылку «бимбера», облегчавшим страдания простудившимся солдатам австро-венгерской армии, еще он умел ловко ставить клизмы офицерам. За эту тонкую работу Гейдль брал гонорар колбасой.

Воевать ему не хотелось – подставлять голову под русские пули могут только дураки, считал он, и был по-своему прав, еще большее боялся быть насаженным на русский штык, поэтому с фронта дезертировал. Но направился Гейдль не на запад, не в

свои родные места, пропахшие пивом и копчеными свиными сардельками, а на восток, в темную загадочную Россию. Тем более что он умел довольно сносно «балакать» по-русски, разучил песню про ямщика-неудачника, пел ее надрывно, со слезой, и даже знал, чем «рушник» отличается от «утирки», а «забор» от «запора».

В России он назвался Радолой Гайдой, незамедлительно присвоил себе офицерское звание, которого не имел, и попросился на военную службу. Правда, с одним условием – чтобы его не посылали на фронт. Представляете себе вояку с офицерскими звездочками на погонах, который чурается фронта? В общем, на этом Гайде негде было ставить пробы. Но тем не менее он выделился из всех, пошел наверх, словно прыгучая блоха, вздумавшая вскочить на подножку проезжающего литерного поезда.

И Гайда вскочил на эту подножку. В Сибири оказалось много пленных чехов. Были они разрозненны, разбросаны, связи между собой не имели, население относилось к ним с симпатией, считало их своими братьями, как-никак славяне.

Различий между чехами и словаками не делали, что чех, что словак – все равно брат, в печати их называли «чехословаками», а эти «чехословаки» показали симпатизировавшему им населению, где раки зимуют.

Особенно старался бывший военфельдшер, нацепивший к той поре погоны генерал-майора.

Колчак истории Гайды не знал, встретился с ними во Владивостоке, в здании порта, где размещался штаб бывшего специалиста по выдавливанию чирьев.

Держался Гайда важно, взгляд имел пронзительный, быстрый, было сокрыто в этом взгляде что-то вороватое, скользкое, и на это адмирал немедленно обратил внимание. Поздоровавшись с Колчаком, Гайда щелкнул пальцами, будто нетерпеливый господин в ресторане, требующий официанта.

На щелканье незамедлительно явился щеголеватый, одетый с иголочки адъютант. Сам Гайда тоже был одет с иголочки – во Владивостоке, на складах хранилось немало добротных тканей, а добротных портных было еще больше – слепить могли такую вещь, которая в Париже даже не снилась.

– Коньяк и кофе! – приказал Гайда адъютанту.

Колчак с интересом оглядел кабинет генерала, он знал, что тот возглавил чехословацкий корпус и в конце мая 1918 года помел большевиков во всей Восточной Сибири, тяжелым танком прополз до океанского берега и находился теперь в зените славы.

«Слишком много лишних вещей в кабинете, – отметил

Колчак, – только пыль зря собирают. Географическая карта в полстены размером не имеет никакой военной ценности – наверное, украдена в одной из гимназий. Мебель в стиле ампир – слишком финтифлюшистая для кабинета военного человека...»

Гайда тем временем сел за приставной столик и доверительно притронулся пальцами к рукаву Колчака:

– Я очень много слышал о вас, адмирал... Рад знакомству.

– Я тоже рад.

– Я так понимаю: ситуация у нас, в России, сложилась настолько запутанная, трагическая, что распутать дела в этой конюшне смогут только военные.

«У нас, в России», – невольно отметил Колчак, достал из кармана серебряный портсигар, – он что, считает себя русским? Если бы считал, не стал бы сравнивать Россию с конюшней...» Прикурил от спички, поспешно поднесенной Гайдой, кивнул:

– Возможно.

– Выход вижу в одном – в становлении военной диктатуры, – сказал Гайда, – в подчинении всех гражданских служб военным, иначе Россия захлебнется в собственном дерьме, в супе, так неумело сваренном, и будет раскромсана на части Германией, Англией, Францией, Штатами и Японией. Даже слабенький Китай, едва стоящий на ногах, и тот постарается оскалить зубы и отхватить себе кусок.

У Колчака были сведения о том, что Гайда уже предлагал свою кандидатуру на роль главнокомандующего всеми российскими силами и военного диктатора по совместительству, но никто всерьез это предложение не принял: в России были военные посильнее Гайды – Корнилов, Алексеев, Юденич, Деникин.

– Как вы относитесь к идее военной диктатуры, адмирал? – спросил Гайда:

Колчак пыхнул дымом и наклонил голову:

– Положительно.

– Будете ли вы поддерживать меня, если я предложу свою кандидатуру на пост главнокомандующего? – неожиданно резко, ставшим вдруг каким-то сорочьим, скрипучим голосом спросил Гайда. Он и сам сделался похожим на сороку, нервно, по-птичьи, подергал одним плечом.

«Для командующего Гайда мелковат, – Колчак затянулся сигаретой, окутался дымом, лица его не стало видно, – звезд на погонах маловато, о военных успехах его, кроме майских драк с большевиками, никто не знает... Вполне возможно, их и нет. Зато гонору много, очень любит красоваться на публике, ведет себя как павлин... Нет, на главнокомандующего он не тянет».

– Пока я над этим не думал.

– А вы подумайте, адмирал, подумайте, – Гайда вновь по-птичьи суетливо подергал одним плечом, – к вашему мнению прислушиваются, оно много значит.

У Колчака сейчас была другая цель, совсем не связанная с обсуждением кандидатуры будущего главнокомандующего, – добраться до Омска, где только что сформировали Временное правительство... Такую задачу перед ним поставили англичане. И служил он сейчас его величеству королю Англии. Хотя жалованья от англичан не получил ни рубля, ни пенса.

– С другой стороны, я и без того – главнокомандующий, – произнес Гайда и неожиданно засмеялся – не мог сдержать себя, лицо его сделалось довольным. – Мне предложено переместиться в Екатеринбург и возглавить Сибирскую армию. – Он оборвал смех и спросил: – Как вы относитесь к большевикам?

Адмирал сделал небрежное движение, хотя на лице его ничего не отразилось.

– Отрицательно, – наконец произнес он.

Вообще-то Колчак относился к ним довольно равнодушно, если не считать досадных историй, происшедших с ним в Севастополе, вызывающих у него чувство горечи и стыда. Пьяное буйство нечесаной заросшей матросни, увешанной бомбами и перепоясанной пулеметными лентами, озлобленные зыркающие глаза, прилипающие к каждой блестящей медяшке: а вдруг это золото? Но вполне возможно, это были не большевики, а совсем другая публика – меньшевики, эсеры, анархисты, эсдеки... Кто там еще завелся на земле российской? В Севастополе их было каждой твари по паре.

А вот в одном Колчак не был согласен с большевиками целиком – в заключении позорного мира с немцами. Немцев надо было бить, бить и бить. До тех пор, пока во рту у этих вояк не осталось бы ни одного зуба.

А вообще ситуация сложилась более чем странная: союзники России в этой войне, Англия и Франция, сделались победителями и поставили Германию на колени, а побежденная Германия, в свою очередь, поставила на колени союзницу победителей Россию. Удивительная ситуация, а? Такое можно увидеть только в дурном сне. Да еще в российской действительности.

У Колчака насмешливо и горько дрогнули губы.

– А я отношусь более чем отрицательно, – сказал Гайда, вздернул дугой одну бровь.

– Передо мною сейчас стоит одна задача, куда более локальная – выехать в Омск, – сказал адмирал. – Но этого я сделать не могу – железная дорога контролируется людьми из

вашего корпуса.

– Да, мои люди сели на дорогу плотно, – подтвердил Гайда. – Но вас, адмирал, мы доставим в Омск с курьерской скоростью.

Колчаку был выделен отдельный вагон – не такой роскошный, как был в Харбине, но очень приличный. С Колчаком, переодевшимся в штатское, ехал адъютант, также переодевшийся в гражданский костюм, – капитан Апушкин, про которого Колчак знал, что он – человек Деникина, и уже решил при первом же удобном случае заменить его на своего человека, скорее всего, преданного морского офицера. С ним ехала и Анна Васильевна. Она окончательно порвала с мужем и бросилась теперь вслед за Колчаком в темноту времени, не зная, что это – взлет или падение? И Колчак не знал.

Впечатление, которое Колчак вынес от встречи с Гайдой, было отрицательным – крылось в Гайде что-то суетливое, двусмысленное, негенеральское. Конечно, Гайда прав: власть в России должен взять в свои руки военный человек, диктатор – хотя бы на короткое время, – чтобы навести порядок, а потом вновь вернуть ее гражданскому лицу.

Но диктатором никак не может, не должен стать пришлый, тем более бывший военнопленный, чех – может быть только русский. Нужен человек с крупным именем, талантливый военный, которого поддержала бы армия. Генерал Алексеев, генерал Деникин. О себе Колчак не думал и к крупным военным не причислял.

«Но Гайда! Гайда никак на эту роль не годится!» – Колчак откинул шелковую занавеску. За окном вагона проплывала голая рыжая падь с черными изогнутыми спичками горелых стволов – война уже успела прокатиться и по этой земле. Лицо Колчака сделалось сосредоточенным. Некоторое время он вглядывался в падь – спаленная падь, которая казалась бесконечной, ползла и ползла за окном. Колчак хотел было позвать адъютанта, чтобы узнать, где они сейчас находятся, но потом передумал и задернул занавеску и адъютанта звать не стал.

Тяжесть, образовавшаяся в душе, не рассасывалась. «Хотя, с другой стороны, Гайда – прекрасный организатор. Что есть, то есть – он легко организовал поездку Колчака в Омск, без усилий, хотя сам Колчак не мог выехать из Владивостока целых пять дней. Гайда этот вопрос решил с легкостью необыкновенной – в сорок минут. Власть, власть... Господи, это же самый трудный вопрос – вопрос о власти. Но до него надо решить вопрос о вооруженной силе. Если у власти не будет войска, на которое она может опереться, власть эта очень быстро рассыпется, как глиняный горшок, по которому достаточно один раз хорошенько ударить...»

В Японии у него по этому поводу был подробный разговор с военным министром Ихарой, а также – с Ноксом, [170]британским генералом, прибывшим в страну по приглашению микадо. Об Альфреде Ноксе Колчак знал, что тот в свое время находился в качестве военного наблюдателя в армии Самсонова, и Самсонов, чувствуя, что его предал сосед Карлуша – генерал Ренненкампф, – приказал майору Ноксу немедленно покинуть его армию.

Тот заартачился: «Как так? Я – не ваш подчиненный и здесь нахожусь для взаимодействия с армией союзников!» «А так! – рассвирепел Самосонов. – Завтра вы будете схвачены немцами, и они вас, такого миленького, с превеликим удовольствием повесят на первом же суку!» Аргумент был убедительный, и майор Нокс покинул армию Самсонова. Если бы не покинул, то вряд ли был теперь генералом – погиб бы вместе с русскими солдатами в котле, который так славно помог немцам соорудить их соотечественник, генерал, похожий на свеклу, Ренненкампф.

– Мы с вами очень скоро встретимся в России, – пообещал Нокс.

– Буду рад, – сказал Колчак. Нокс ему понравился.

Что же касается Ихары, то тот заверил Колчака, что обязательно разберется в разногласиях, возникших между адмиралом и представителем японской армии на Дальнем Востоке генералом Икошимой. Колчак терпеть не мог этого надутого хомяка в круглых очках с железной оправой. Икошима отвечал ему тем же, но предварительно предложил отдохнуть на знаменитом японском курорте – в городе Никко.

– В Никко немного подлечитесь и приведете себя в порядок. Вполне возможно, встретите там кое-кого из старых своих знакомых.

– Кого же?

– Узнаете, – загадочно ответил военный министр. Никко был местом, которое может только сниться во сне.

– Боже! – воскликнула Анна Васильевна. – Какая красота! Всюду шелест струящейся воды, горы, храмы, люди в белых одеяниях. Может, мы вовсе не на земле находимся, а? Может, мы на небе, в раю?

Колчак лишь добродушно посмеивался и говорил:

– В Японии есть поговорка: «Не говори „Кекко“, пока не побываешь в Никко.

«Кекко» по-японски означало «Все хорошо».

Отовсюду доносились успокаивающие нежные звуки – по бамбуковым трубам и сливам перемещалась вода, перетекала из озера в озеро, из бассейна в бассейн, из речки в речку, звенела, пела, над водой нависали таинственные, почти прозрачные горы.

Жизнь здешняя проходила под сенью струй.

Когда они пошли прогуляться на берег реки, чтобы там, в тиши, никем не замеченными, никем не потревоженными, тщательнее рассмотреть статуи, украшающие аллею Ста Будд, по дороге им попался крепкий, с белесыми от седины висками и живыми черными глазами человек, одетый в белую холщовую рубаху. Человек поклонился Колчаку и произнес внятно, чисто, по-русски:

– Доброе утро, Александр Васильевич.

Колчак остановился.

– Мы с вами знакомы?

– Да. Напомню вам... Порт-Артур, декабрь девятьсот четвертого года.

Адмирал невольно приложил палец ко лбу.

– Господин... господин... – Он вспомнил человека, торговавшего с тележки шашлыками из крохотных осьминогов, хотя имени его вспомнить не смог, имя растворилось в памяти. – Господин Фудзо, кажется?

Японец вежливо улыбнулся:

– Верно, в разведке у меня была кличка Фудзо, а вообще-то я – Роан Такэсида.

– Извините, господин Такэсида.

– Ничего. Запамятовать несложно, времени с той поры прошло много – четырнадцать лет.

– Вы все в армии, в разведке? – Колчак задал вопрос и удивился ему: зачем же он его задал? На такие вопросы обычно не отвечают.

Такэсида тоже удивился вопросу Колчака. Наклонил голову:

– В армии. Контр-адмирал. Еще немного – и догоню вас.

– Больше всего меня удивляют ваши храмы из красного лака, – сказал Колчак, резко и неуклюже переводя разговор в другое русло, но Такэсида игры не принял.

– Как вы расцениваете будущее России, Александр Васильевич?

«Будто все сговорились и задают этот вопрос, – подумал Колчак, – словно я ясновидящий какой-то».

– Довольно мрачно, – ответил Колчак.

– Можно я с вами чуть прогуляюсь?

Иметь такого спутника, как Роан Такэсида, не хотелось, но отказать ему было нельзя. Колчак покосился на Анну Васильевну, одетую в белый английский костюм, счастливо отрешившуюся от земных забот, она, похоже, даже не слышала, о чем говорили Колчак с японцем, – взял ее под руку и произнес сухо:

– Хорошо.

Такэсиду как разведчика интересовал тот же самый вопрос, что интересовал Нокса и Ихару: что происходит в России и как там организовать власть. Колчак сухо и сжато объяснил: страна лежит на спине, задрав свои глиняные лапы в небо, лодка, в которой плывет народ, сплошь в дырах, небо над головой – туманное, нет ни одной звезды, по которой можно было бы сориентироваться. Помощи от союзников ждать не приходится: все союзники только глазами рыскают, чтобы нащупать слабину в российской карте, примериваются, где удобнее оттяпать кусок.

Такэсида жестко сжал глаза:

– Япония не относится к числу таких стран, Александр Васильевич!

Колчак не изменил сухого тона:

– Дай-то Бог!

– Хотите знать мою точку зрения, что надо сделать России в первую очередь?

– Валяйте! – небрежно бросил Колчак.

– Нужно создать надежные вооруженные силы.

– Они обязательно будут созданы. Если, конечно, вы поможете.

– Чем?

– Оружием, патронами, одеждой, едой. Все остальное у нас есть.

Разговор с Такэсидой оставил неприятное ощущение, испортил прогулку по аллее Будд. Колчак вместе с Анной Васильевной с полпути вернулся в гостиницу. Занимали они номера в японской части гостиницы – им было интересно пожить так, как живут японцы. Проходя через двор, услышали русскую речь. Общаться с русскими не хотелось. Колчак и Анна Васильевна молча прошли мимо.

– Япония – божественная страна, – сказала Анна Васильевна уже в номере, раздевшись и опустившись на жесткую тростниковую циновку. – Хочется побывать здесь осенью, когда клены станут красными.

– Когда клены станут красными... – задумчиво повторил за ней Колчак.

– Я что-нибудь не то сказала? – обеспокоилась Анна Васильевна.

– Нет, все то... И все так.

И вот Колчак ехал в Омск, чтобы заняться организацией армии, которая могла бы перекусить горло и внутренним врагам: крикунам, ворью, разным выскочкам и агитаторам, нацепившим на косоворотки красные банты, дезертирам, покинувшим фронт, матросам-бомбистам, решившим, что они стали выше царя, и

врагам внешним.

Одно плохо было – чувствовал себя Колчак неуверенно, словно земля начала продавливаться у него под ногами, он опускался в нее все ниже и ниже, и идти было все труднее и труднее.

За окнами вагона продолжали тянуться угрюмые горелые пади, земля и небо были грязными, рождали в душе маету и холод.

Единственное, что немного согревало его душу, – присутствие Анны Васильевны.

Четвертого ноября 1918 года в Омске вышел указ Директории о новом составе Совета министров. Первой в списке министров – вслед за председателем – стояла фамилия Колчака.

Колчак был назначен военным и морским министром.

Он едва занял этот пост, как оказался тут же втянутым в политическую борьбу, а этого он очень не хотел. И министром он тоже сделался слишком скоро и лихо, даже глазом моргнуть не успел, как о его назначении сообщили газеты.

Слишком большую известность в России имел Колчак. Когда он в первый раз появился в здании Совета министров, то служащие высыпали из кабинетов в коридор, чтобы посмотреть на него.

Он продолжал жить в вагоне – собственно, ничего удивительного в этом не было, тогда многие жили в вагонах, это было удобно: при любом изменении обстановки можно было вместе с «домом» переместиться туда, куда надо было. Хотя вокруг него крутилось очень много людей – самых разных, но в основном именитых, достойных, с которыми можно было подружиться, – Колчак чувствовал себя очень одиноко.

Единственной отрадой, единственным близким человеком в этом злом мире была его Анна.

– Саша, надоело жить в вагоне, – пожаловалась она как-то Колчаку. – Может быть, снимем квартиру в городе?

Колчак поразмышлял немного и снял комнату – только одну комнату – в доме казачьего полковника Волкова. Волков в ту пору был комендантом Омска, отличался жестким характером, тяжелой рукой, черносотенными взглядами и считался большим специалистом по перегибам. Колчак быстро понял, что житье в доме Волкова компрометирует его, и через несколько дней освободил комнату, которую занимал, – произошло это восемнадцатого ноября, – переселился в здание штаба, а оттуда, в середине декабря, – в особняк семьи Батюшкиных, расположенный на берегу Иртыша.

Причем едва ли не всем бросилось в глаза, что Тимирева в

особняке не появилась – она сняла квартиру в центре города, – и среди общих знакомых поползли слухи, что они разошлись.

Кстати, снять жилье в тогдашнем Омске было трудно. Сам город считался центром огромной Акмолинской губернии, насчитывал больше ста тысяч жителей, но поскольку сюда начали стекаться все, кто бежал от большевиков, население Омска скоро перевалило за миллион. Снять квартиру, особенно зимой, в центре, когда по окраинам города бегали волчьи стаи, а морозы уже в ноябре начали подползать к сорокоградусной отметке (в Омске было полно безухих и бесхвостых собак и котов, уши и хвосты у них отгнили от мороза), было очень тяжело.

Но тем не менее Анна Васильевна сняла – сама, без помощи Колчака, – комнату на Надеждинской улице, восемнадцать, у угрюмого бровастого чалдона, произносившего в день не более двух слов, которого она за такую редкую «речистость» прозвала Цицероном. «Цицерон» кхекал, кашлял, дымил самосадом, отирал рукою рот, сводил и разводил брови, но ничего не говорил – все его мысли и рассуждения были скрыты лишь в кряканье да в кхеканье.

В ноябре Колчак вместе с английским полковником Уордом – человеком очень влиятельным, депутатом парламента – выехал на фронт под Екатеринбург.

Там адмирал получил известие, что страны Антанты победили Германию... Германия победила Россию. Колчак, когда услышал об этом, застонал от унижения.

Вот ведь, какая странная штука в результате испеклась: то ли пирог, то ли торт, то ли расстегаи с коровьим дерьмом – в общем, селедка с повидлом, в соусе из керосина, приправленного толчеными гвоздями... Несуразица какая-то.

От предложенного бокала шампанского в честь победы союзников Колчак не отказался. Он, похоже, уже перестал быть самим собою, Александр Васильевич Колчак из адмирала окончательно превратился в политика.

В Омск ему пришлось вернуться досрочно – до него дошли слухи о брожении среди казаков, о ночных перестрелках на улицах, о том, что среди войсковых казачьих старшин зреет мнение: пора производить военный переворот. Директорию поддать под зад и на ее место поставить людей в погонах. К Колчаку незамедлительно потянулись ходоки – все хотели, чтобы он поддержал переворот. И, может быть, даже возглавил его.

– Нет! – довольно резко отвечал он на все предложения. – Я – человек приезжий, многое еще не усвоил, армии у меня нету... Увольте. Да и не уверен я, что такой переворот сейчас нужен.

– Нужен, Александр Васильевич, нужен!

– Не уверен.

Переворот совершился ночью восемнадцатого ноября без участия адмирала. Колчака разбудили в кромешной темноте, в четыре часа. Электричества не было. Над постелью Колчака склонился дежурный ординарец со свечой в руках.

– Ваше высокопревосходительство, к телефону! Очень важное сообщение!

В шесть часов утра Совет министров собрался на свое заседание.

В половине седьмого Колчак стал Верховным правителем России с месячным жалованием в четыре тысячи рублей и шестнадцатью тысячами «персональной надбавки». На представительские расходы.

На следующий день Совет министров принял «Положение о временном устройстве государственной власти в России», а также произвел вице-адмирала Колчака в полные адмиралы. Вечером на погонах Колчака сияло уже три черных мрачных орла.

Поздно, уже в темноте, в половине десятого, автомобиль Колчака остановился на глухой, без единого фонаря, сжатой лютой студью Надеждинской улице. Колчак вышел из машины. Флотский лейтенант Комелов, сменивший Апушкина на посту личного адъютанта адмирала, вынес два свертка.

В одном свертке была еда, в другом – шампанское. Анна Васильевна еще не спала. Из своей комнаты, завешенной домотканым полотном, вышел Цицерон. Недоуменно подвигал нижней губой, к которой намертво присохла цигарка.

Разглядев орлов на золотых погонах адмирала, Цицерон перекрестился: «Свят, свят, свят!» – и задом подлез под домотканую занавеску. Больше Колчак в тот вечер его не увидел.

Взять власть просто, трудно ее удержать. Вот тут-то многие и пускаются во все тяжкие – делают все возможное, чтобы она не выскользнула из рук, кровь и вино льются в этой борьбе одинаково обильно, повороты случаются такие непредвиденные, что историки потом только диву даются, распутывая их.

Не все с одинаковым восторгом отнеслись к избранию Колчака Верховным правителем России. Резко против выступили забайкальский казачий атаман Г. М. Семенов, [171]лидер партии эсеров В. М. Чернов, командующий вооруженными силами Южного Урала Ф. Е. Махин. Чехословацкий корпус постарался переворота не заметить.

– Это сугубо внутреннее дело русских, – вполне резонно заявил один из командиров генерал-майор Я. Сыровны.

Против Колчака выступило и беглое Учредительное собрание, переместившееся из Петрограда вначале в Екатеринбург, а потом,

после арестов, произведенных по распоряжению Колчака, в Уфу. Несколько членов Учредительного собрания погибло: И. Н. Муксунов был застрелен в гостинице, арестованный депутат Н. В. Фомин убит во время бунта в тюрьме, К. Т. Почекуев, бежав из тюрьмы, замерз на окраине города.

Следом было расстреляно несколько членов Учредительного собрания, эсеров и меньшевиков – Кириенко, Марковецкий, Девятов и другие. Сделала это группа колчаковских офицеров. Поговаривали – по распоряжению самого адмирала. Сам же Колчак это категорически отрицал, хотя и чувствовал: власть в руках без крови не удержать.

Все эти смерти были записаны на личный счет Колчака – кровавый счет, ибо за все, что сейчас ни делалось в России, отвечал уже он. Лично.

Дни у Колчака перемежались с ночами, ночи с днями. Он потерял ощущение времени – жил, действовал вне его. Как на фронте, в Первую мировую войну. Но там был враг, была цель, все было ясно, здесь ясности не было никакой.

Колчак чувствовал, что он плывет по течению, будто упавший с дерева в реку лист, и куда его вынесет поток, не знает никто.

Кем только ни была набита Сибирь той поры! Тут оттачивали свое боевое мастерство японские и американские дивизии. В грабежах и поборах соревновались друг с другом английские, французские, чехословацкие, сербские, польские, румынские солдаты – каждая часть со своим национальным флагом, со своими героями и своими генералами во главе. Особо стояли казаки Семенова и Калмыкова – Колчака они ни видеть, ни слышать не хотели.

– И чего эта морская вошь вздумала затесаться в нашу степную полынь? – недоумевали они. – Непонятно. Морей у нас на тысячи километров – ни одного. Окромя, конечно, Байкала... Очень даже непонятен интерес этой соленой жужелицы к степным просторам.

Французы с англичанами – несмотря на то что Колчак формально был «их», находился на английской службе – считали, что власть в России можно удержать только с их помощью. Они уже не были связаны войной с кайзером, поэтому самое время перебросить части с германского фронта в Сибирь и дать тамошним «краснюкам» по зубам. Колчак – это, конечно, хорошо, но пусть адмирал занимается своими делами, играет в Омске в свои мелкие игры, а они будут заниматься делами своими...

В общем, заварилась обычная для России каша, когда совершенно невозможно было разобрать, кто свой, а кто чужой, кого надо немедленно бить наотмашь, а кого – еще подождать...

Клемансо [172]и Ллойд-Джорж, [173]встретившись, пришли к выводу, что война против большевиков в России, и в частности в Сибири, должна вестись только под руководством их человека, и выдали такой мандат – между прочим, мандат верховного главнокомандующего, хотя этот пост уже занимал Колчак, – французскому генералу М. Жанену. Заместителем Жанена назначили А. Нокса. И соответственно предписали им немедленно вступить в командование всеми зарубежными и русскими войсками в Сибири.

Колчаку сделали подножку. В большей степени – французы, в меньшей – англичане.

Жанен, едва прибыв во Владивосток, сидя на чемодане из крокодиловой кожи и обмахиваясь шелковым платком – ему было душно, – дал интервью:

– В течение ближайших пятнадцати дней Советская Россия будет окружена со всех сторон, и ей придется капитулировать.

Жанену вторил чехословацкий военный министр М. Р. Штефаник, который также прибыл во Владивосток:

– Да, так оно и будет. Что же касается меня лично, то я приложу все усилия, чтобы чехословацкий корпус в ближайшее время вернулся на фронт.

Вояками чехи оказались плохими – они больше умели грабить да приставать к смирным деревенским бабам, – участки фронта, порученные им, быстро опустели, чехи отказались сидеть в окопах.

– Раз отказались, то и махнули бы к себе домой на печки! – не выдержал Колчак. – К бабам под юбки!

Колчак не уступил Жанену своего места главнокомандующего.

– Это же бред сивой кобылы – командовать русскими войсками с Запада. Они бы сюда еще эфиопа с эполетами прислали!

Под словом «они» Колчак имел в виду Клемансо и Ллойд-Джорджа.

Жанен обиделся, но плетью перешибить обух не сумел. Договорились так: Колчак будет главнокомандующим в российских войсках, Жанен – во всех остальных, то есть в «заморских». В боевых операциях «заморские» войска участия практически не принимали – охраняли железную дорогу да иногда поливали свинцом настырных партизан, однако обмундирования, оружия и патронов забирали себе непомерно много – львиную долю. Колчаку иногда вообще ничего не доставалось.

Со своими соотечественниками Колчаку тоже пришлось немало хлебнуть. Ни Семенов, ни Калмыков его так и не признали. Очень долго колебался Деникин. Уже и Юденич [174]подчинился, и Миллер, [175]и Дутов [176]со своим Оренбургским казачьим войском, а Деникин все еще колебался: очень не хотелось ему на старости лет заглядывать кому-то в рот и вообще получать приказы от «мокропутного». Но тем не менее и он, едва ли не последним – это произошло тридцатого мая 1919 года, – признал власть Колчака. В своем приказе Деникин написал:

«Спасение нашей Родины заключается в единой Верховной власти и нераздельном с нею Верховном командовании.

Исходя из этого глубокого убеждения, отдавая свою жизнь служению горячо любимой Родине и ставя превыше всего ее счастье, я подчиняюсь адмиралу Колчаку как Верховному правителю Русского Государства и Верховному главнокомандующему Русских армий.

Да благословит Господь его крестный путь и да дарует спасение России».

В ответ на это признание Колчак назначил Деникина своим заместителем.

Происходила чехарда и в Совете министров. Видимо, в этом заключена еще одна беда России – тасовать министров как колоду карт, перебрасывать их с места на место, словно никчемные бумажки: едва министр привыкнет к своему креслу, обживет малость кабинет, как его, глядишь, уже р-раз! – и на другой стул пересадили. А там – все сначала. Генерал Жанен записал в своем дневнике: «Любопытная вещь – перманентность министров: они работали с Директорией, работают с адмиралом, который опрокинул Директорию». Министры у Колчака были «разноцветные», но больше всего среди них насчитывалось эсеров и меньшевиков.

Хотя, принимая из рук адмирала портфели, они дружно заявили, что выходят из своих партий... Но симпатии-то все равно остались.

Партий существовало в ту пору много, очень много – вплоть до партии любителей канареечного пения, которая тоже претендовала на свой портфель в правительстве, все партии действовали, запрещена была лишь одна – партия большевиков.

Колчак назначил своими указами ряд генерал-губернаторов, восстановил суды и сенат, городские думы и земства, утвердил государственный герб России: им стал хорошо знакомый всем двуглавый орел, только без корон – Романовы пали! – вместо корон был изображен крест Константина и начертан девиз «Сим победивши», вместо державы и скипетра в лапах орда были зажаты два меча. Национальный флаг был оставлен старый – тот, что раньше развевался на торговых судах, – бело-сине-красный...

Колчак утвердил «звездную палату» – Совет Верховного правителя, куда входили и гражданские министры, и люди с погонами, генералы, – но все равно машина управления действовала медленно, вызывала у адмирала раздражение. Понимая, что в условиях войны он один равен целому Совету министров, – приходилось спешно, ни с кем не советуясь, подписывать различные бумаги, поскольку время не ждало.

Было широко распространено обращение «К населению России», где Колчак заявил следующее:

«Я не пойду ни по пути реакции, ни по гибельному пути партийности. Главной своей целью ставлю создание боеспособной армии, победу над большевизмом и установление законности и правопорядка, дабы народ мог беспрепятственно избрать образ правления, который он пожелает, и осуществить великие идеи свободы, ныне провозглашенные по всему миру».

Правильные, в общем-то, слова, хотя терпимость к меньшевикам и нетерпимость к большевикам многих откровенно настораживала – партия-то одна, что у меньшевиков, что у большевиков, – но Колчак почему-то ненавидел большевиков люто.

Он издал несколько распоряжений, касающихся предпринимательства, поощряя деловых людей, объявил свободную торговлю по «вольным ценам», начал совершенствовать налоговую систему, боролся со спекулянтами, в чем, кстати, был полностью солидарен с большевиками, считая, что нельзя позволить мужику с кошелкой под мышкой и сальными губами сесть рядовому гражданину на шею и выуживать из него последние копейки... Такому мужику – свинцовую плошку в лоб из маузера. Что заслужил, то заслужил.

Начал Колчак усердно изучать и труды Столыпина [177]– их было немного, и тем более они были ценны – и всерьез подумывал о создании в Сибири фермерского хозяйства, по американскому принципу. Стремился ладить с рабочими и крестьянами.

Рабочим он откровенно сочувствовал, зная, как трудно они живут, но тем не менее запретил им бастовать. Как-то к нему явилась делегация рабочих – Колчак принял ее незамедлительно, отложив все дела. Гости вольно расположились в кабинете. Старший из рабочих потянулся к хрустальному графину с водой:

– Это почему же, господин Колчак, мы не имеем права бастовать?

Колчак улыбнулся: на него этот ершистый мужик произвел хорошее впечатление. Не требует сию же минуту повысить зарплату, не пристает с ножом к горлу, чтобы ему незамедлительно выдали пару пудов хлеба и по селедке на нос, а печется о воле...

– Потому что идет война, – пояснил Колчак. – Кончатся бои – бастуйте на здоровье! Сколько угодно бастуйте. А сейчас нельзя.

Рабочие ушли от Колчака довольные: выслушал, объяснил, что к чему. Поговорили, в общем, по душам.

Сидя в Омске, Колчак вспомнил свои походы по Северу и решил направить в Арктику экспедицию.

– Арктика – будущее России, – громко заявил он.

Создал дирекцию маяков и лоций. Следом образовал Комитет Северного морского пути и Институт исследований Сибири.

Ему казалось, что жизнь становится лучше, но она становилась все хуже и хуже. Хотя в сравнение с западной частью России, конечно же, не шла – там люди голодали. В Сибири до этого дело не докатилось, но даже зажиточный здешний люд проделал в своих ремнях немало новых дырок.

Помощь, которую Колчаку оказывали страны Антанты, была небезвозмездной: за нее приходилось платить золотом.

Золотой запас России – золото в слитках и монетах, платина, серебро, ювелирные изделия и ценные бумаги – хранился в Казани. В августе 1918 года он был взят чехами и доставлен в Самару. Оттуда – в малость надкушенном виде – в Омск, в распоряжение Верховного правителя России. Произошло это восемнадцатого ноября.

Общая стоимость золотого запаса составляла 651 352 117 рублей 18 копеек. Это было много, очень много. Даже в условиях революционной инфляции. На оплату поставок из-за рубежа было потрачено 242 миллиона золотых рублей – за каждую копейку Колчак обязательно отчитывался, в этом вопросе он был крайне щепетилен. И не его вина в том, что солидную часть из этой суммы положили себе в карман белочехи и бравый атаман Семенов.

Помощь из-за рубежа оплачивать надо было обязательно, чтобы ручеек этот не иссяк. Без него невозможно было поставить на ноги заглохшую, а кое-где и вовсе грохнувшуюся вниз лицом промышленность.

Колчаку до всего было дело, он успевал заниматься вопросами социальной помощи: восстановил пенсионное обеспечение, образовал несколько приютов для престарелых, инвалидов и детей-сирот, старался помочь семьям солдат – особенно георгиевских кавалеров, погибших на фронте, создал несколько протезных предприятий.

Хотя адмирал и был против жестокости, но подчиненные ему люди – прежде всего военные – этой жестокостью отличались особо. И Колчак не спрашивал с них за это.

Увы! Например, генерал-лейтенант С. Н. Розанов, занимавшийся борьбой с партизанами в Енисейской и Иркутской губерниях, ссылаясь на личное распоряжение Колчака, приказал спалить два крупных села. Села спалили только за то, что у Розанова имелись сведения: жители этих сел якшаются с партизанами.

Колчак же такого распоряжения генералу Розанову не давал.

Свирепствовали чехи Радолы Гайды: без суда и следствия

расстреливали мужчин якобы за сопротивление при побеге, пороли женщин, в реках топили детей и старух. И ни один из этих хваленых вояк не ответил за свои действия. Россия была для белочехов чужой страной, а на чужое – плевать!

Население страдало от поборов, налогов, изъятий зерна и продуктов, которые производили под видом исполнения указов Колчака.

Все, что ни происходило в Сибири, «вешали» на Колчака: по его-де велению…

Лютовали казаки. Эти – прежде всего семеновцы – отличались жестокостью: всех, кто не был причислен к казачьему сословию, не считали за людей. Обычным явлением стали карательные операции, а что оставляли после себя каратели-казаки – известно всем. Остовы сгоревших изб, разграбленные амбары, растерзанные люди.

И во всем обвиняли Колчака – он, дескать, приказал…

Даже когда Колчак, промерзнув в легкой шинели до костей, свалился с воспалением легких в постель и лежал без сознания, он все равно отвечал за зверства своих подчиненных. Зверства происходили в тылу, не на фронте – на фронте шла обычная война.

Колчаковцы провели блестящую операцию и взяли Пермь. А вот на юге Урала, наоборот, продули кампанию и вынуждены были оставить Уфу и Оренбург.

Зима 1919года была очень успешной для Сибирской армии Колчака. Сам адмирал часто выезжал на фронт, посещал места боев, знал, какой жизнью живут солдаты в окопах, и к Пасхе 1919 года был награжден Георгиевским крестом третьей степени.

Кроме орденов царских, которые были в ходу, в Сибири существовали ордена и колчаковские. В частности, ордена «За великий сибирский поход» двух степеней, а также «За освобождение Сибири» четырех степеней, учрежденные еще Директорией.

Хоть и равнодушен был Колчак к орденам, а от очередного офицерского Георгия не отказался.

Жизнь закрутила его, выбила из привычной колеи, в толчее дней он совершенно забыл о жене, о сыне, стал забывать даже Анну Васильевну Тимиреву, хотя та находилась совсем рядом – жила всего в пяти или шести кварталах от штаба Колчака. Несколько раз он оставался ночевать в штабе – в темноте, в охлестах вьюги, в мороз, до дома добраться было невозможно, бывали случаи, когда обессилевшие люди находились уже в пяти метрах от собственного жилья, но одолеть эти пять метров не могли, так и замерзали на пороге.

Сибирский холод – штука немилосердная, коварная, таинственная, мороз будто бы имеет злую душу, и цель также имеет – злую, жестокую: умертвить человека. Чем больше людей умертвить – тем лучше.

В половине четвертого дня в городе делалось темно, как ночью, двигаться против ветра можно было только вслепую либо повернувшись к ветру спиной, иначе он вместе с крошками железного льда, с россыпью скрипучего, острого, будто наждак, снега высечет глаза, а уж о том, что снег забьет рот, ноздри так, что нечем будет дышать, и говорить не приходилось. Это случалось со всеми сотрудниками отдела печати, в котором тогда работала Анна Васильевна.

Казаки – их конные разъезды патрулировали Омск круглосуточно, – похожие на лохматые снежные привидения, часто останавливали коней и, спешившись, пальцами выковыривали у них из ноздрей сосульки. Если этого не делать – кони погибнут.

С наступлением поры зимних ветров люди в Омске начинали болеть – так было всегда, временами казалось, что болеет весь город, – и тогда по Омску ползла тихая паника... Не было ничего хуже заболеть в эту пору.

Некоторые не вставали с постелей уже никогда.

Закашлял, зачихал, захлюпал носом Цицерон, борода у него растрепалась, поредела, сделалась жалкой, будто пук использованной пакли. Вечером шестого февраля он, поникший, облезший, зашел в комнату к Анне Васильевне.

– Сударыня, не найдется ли у вас каких-нибудь противопростудных порошков, а? Либо микстуры? Грудь заложило гноем. Болит.

Анна Васильевна удивилась несказанно: Цицерон заговорил! Всполошилась:

– Голубчик, вам же к врачу надо!

Цицерон помрачнел:

– В жизни не ходил по эскулапам.

– Надо, голубчик, надо!

Цицерон медленно покачал головой:

– Нет. И таньги, чтобы платить эскулапу, у меня нету. – Цицерон сгорбился еще больше, закашлялся и беззвучно, будто привидение, хотя мужиком он был грузным и на привидение никак не походил, ушел к себе.

– Тогда хозяйка пусть вам нагреет воды, попарьте себе обязательно ноги, – крикнула ему вдогонку Анна Васильевна.

Цицерон промолчал. Хозяйку Анна Васильевна видела редко – убогая, всегда улыбающаяся, с мокрым ртом, она передвигалась

только боком и жила в совершенно ином мире – в тайге ее укусил энцефалитный клещ, с тех пор она и стала такой.

Четырнадцатого февраля 1919 года Анна Васильевна послала письмо Колчаку, находящемуся на фронте: «Дорогой мой, милый Александр Васильевич, какая грусть! Мой хозяин умер вот уже второй день после долгой тяжелой агонии, хоронить будут в воскресенье. Жаль и старика, и хозяйку, у которой положительно не все дома, хотя она и бодрится. И вот, голубчик мой, представьте себе мою комнату, покойника за стеною, вой ветра и дикий буран за окном. Такая вьюга, что я не дошла бы домой со службы, если бы добрый человек не подвез – ничего не видно, идти против ветра – воздух врывается в легкие, не дает вздохнуть. Домишко почти занесен снегом, окна залеплены, еще нет 5, а точно поздние сумерки. К тому же слышно, как за стеною кухарка по складам читает псалтырь над гробом. Уйти – нечего и думать высунуть нос на улицу...»

Люто было в ту пору в Омске.

В Севастополе по сравнению с Омском – райская погода. Лишь изредка с неба на землю падает водяная пыль, и все, больше из осадков – ничего; хотя, впрочем, пыль иногда оказывается затяжной, тогда она переходит в мелкий серый дождик, который, смочив булыжник на мостовых, все же стихает, следом сквозь раздвинутые облака проглядывает солнце.

Оно здесь, как и облака, также бледное, зимнее, ни тепла от него, ни иного проку, такое солнце даже загара не оставляет, но в душе все же рождает надежду: не все зиме быть. Зима обязательно кончится, и наступит благословенное теплое лето. И тогда на хмурых лицах людей появляются улыбки.

В один из таких дней, когда солнце перемежалось с мелким дождем, англичане вывезли Софью Федоровну вместе с сыном из Севастополя. Вывезли на узком, с крохотными каютами, старом хищном миноносце – англичане оказались людьми не только слова, но и дела, они считали, что Колчак будет чувствовать себя спокойнее, а действовать уверенней, когда узнает, что семья его находится в безопасности.

В этом они были правы.

Конечно, Колчак хорошо знал, что такое контрразведка, но никогда ей не придавал большого значения, особенно на Балтике, где германских шпионов было, как мух в забытой на столе тарелке супа. И уж тем более такого, какое она приобрела под его крылом в Сибири.

Некоторых людей только при одном слове «контрразведка» начинал бить колтун, будто их раздели донага и вывели на мороз.

Особенной жестокостью отличался начальник Иркутской

контрразведки полковник Сипайло. Имелся у него и надежный помощник – штабс-капитан Черепанов, из тех, кто умеет сбривать на ходу подметки и к делу своему никогда не относится наплевательски – только с выдумкой, творчески. И что еще ценно – ни от какого задания, даже самого грязного и трудного, не отказывается.

Таких сотрудников, как Сипайло и Черепанов, у Колчака были тысячи.

Контрразведка лютовала – была она пострашнее казаков, белочехов и сибирских морозов, вместе взятых. В армии генерала Каппеля любимым занятием контрразведчиков было пускать человека в расход «изысканным» – сибирским – способом. Человека раздевали догола и в чем мать родила выводили на мороз. Там ставили на снег, обливали несколькими ведрами воды.

«Хар-рошо, когда в доме топится печка!» – радовались контрразведчики, глядя, как несчастный превращается у них на глазах в сосульку. Оказывается, человеку для того, чтобы стать сосулькой, надо очень немного – всего десять минут. На часах даже засекали – ровно десять минут.

Причем, как выяснилось, мужчина «поспевает» быстрее, чем женщина, – нет у мужиков того запаса внутреннего тепла, что имеется у женщин.

Замерзших людей потом не прятали, не хоронили, а выставляли напоказ на улицах – чтобы неповадно было чалдонам выступать против Верховного правителя.

Молодые офицеры контрразведки, глядя на замороженных людей, весело покуривали французские сигаретки и чесались гладко выбритыми щеками о погоны:

– На юг что-то хочется. В Крым.

Когда у них спрашивали: «По чьему приказу казнены эти люди?» – офицеры браво щелкали каблуками и отвечали:

– По приказу главкома войск.

Кто такой «главком войск», не спрашивал никто – и без слов было ясно: Александр Васильевич Колчак.

Колчаком недовольны были все, не только большевики – и эсеры, и монархисты, и горлопаны-анархисты, и меньшевики – контрразведчики всякое недовольство подавляли жестоко.

– Сейчас время такое – всех, кто против нас, – к ногтю. Никакой жалости, – говорили они, – иначе мы продуем Россию окончательно.

И все-таки реже всего в руках контрразведчиков оказывались большевики – они ушли в подполье, на рожон особо не лезли, действовали продуманно, – чаще всего попадали просто

случайные люди. Их пытали. На сорокапятиградусном морозе их превращали в ледяные глыбы. Кто, спрашивается, велел это делать?

– Главком войск! – отвечали молодые офицеры, руководившие пытками.

Самым крупным ледоколом на Байкале считалась «Ангара» – с приземистым тяжелым корпусом и высокими трубами, с уютными, обшитыми деревом каютами и сильной паровой машиной. «Ангара» расправлялась с толстым байкальским льдом играючи. На ней однажды побывал даже Никифор Бегичев – поседевший, раздобревший, в офицерской морской форме без погон, но еще не растерявший прежней ловкости, он сходил на «Ангаре» к Шаман-камню и похвалил:

– Толковый карапь эта «Ангара». В нашу пору таких было мало.

Но большей частью «Ангара» простаивала в ледяном затоне неподалеку от дымного, завешенного радужным облаком места, где река Ангара ныряла к Байкалу под лед, как под одеяло, и растворялась там.

Саму Ангару сковать льдом было трудно, она выдерживала морозы под пятьдесят градусов и не поддавалась студи, Байкал же весь, целиком находился под панцирем, отдыхал – ледокол пройдет по нему немного, разомнет стальной голубой покров своей грузной тушей, но едва он возвратится в затон, как байкальскую воду вновь стиснет своими холодными колючими руками мороз, и через полчаса на Байкале уже ничего, кроме спекшегося прочного льда, не будет. Неведомо чем глянулся ледокол штабс-капитану Черепанову, только контрразведчик, что называется, положил на него глаз. Постоял на берегу напротив ледокола, поприкидывал что-то про себя, помял теплыми мягкими бурками снег и отправился к коменданту порта штабс-капитану Годлевскому.

– А что, если мы этот ледокольчик, сударь вы мой любезный, приспособим для наших дел? – проговорил он в кабинете Годлевского невнятно – то ли задавал вопрос, то ли не задавал, сосредоточенно стягивая с рук за пальцы тесные перчатки. – А?

Годлевский поднялся с кресла:

– Ледокол к вашим услугам!

– Вот и чудненько, – дружелюбно молвил Черепанов и стал натягивать на руки перчатки. – Есть тут у нас одна задумка...

– Хотите проучить врагов России? – готовно улыбаясь, спросил Годлевский.

– Хотим.

– Ледокол к вашим услугам! – повторил Годлевский. По лицу

его проскользила озадаченная тень: это как же, интересно, контрразведка использует ледокол в борьбе с врагами России?

Черепанов не стал разбираться в психологических тонкостях этого вопроса, возникших в душе Годлевского вместе с некими смутными переживаниями, приложил два пальца к папахе и вышел.

Ночью затон окружили солдаты Особого Маньчжурского отряда – они были приписаны к контрразведке, – через двадцать минут на ледокол доставили арестованных. Всего арестованных насчитывалось тридцать один человек, в основном мужчин. Впрочем, были и женщины... Арестованных немедленно спустили в трюм, у люка поставили часовых.

– Командуйте отход! – приказал Черепанов капитану ледокола Базилевскому.

Тот молча взял в руки жестяной рупор.

Через несколько минут отошли.

Следом за ледоколом, метрах в двадцати от него, двигался «Круглобайкалец» – задрипанный пассажирский пароходишко с плохими каютами, но с мощной машиной.

– Куда идем? – хмуро спросил Базилевский у стоявшего рядом с ним Черепанова.

– В Листвянку.

Капитан щелкнул тумблером – на несколько минут включил прожектор, установленный на носу ледокола, – ему надо было сориентироваться, Черепанов проворно протянул руку к тумблеру и выключил прожектор.

– Не надо, – тихо произнес он.

Базилевский вопросительно покосился на штабс-капитана.

– Не надо, – повторил тот тихим голосом. От такого голоса по коже обычно бегают мурашки. – Не надо привлекать к себе внимание.

– Но я же в темноте могу налететь на камни!

– Налетите на камни – расстреляем, – не меняя тихого голоса, убийственно вежливо произнес Черепанов.

Базилевский невольно сгорбился, подул в трубу, соединяющую капитанский мостик с машиной, скомандовал:

– Держите малый ход!

Под днищем «Ангары» гулко затрещали, захлопали, дробясь, льдины, капитан хотел было сам встать за штурвал, но что-то у него внутри закоротило, воспротивилось: не барское это дело – крутить штурвал, его дело – подавать команды, сухое лицо Базилевского сделалось еще суше, совсем стало походить на лишенный мышц череп, он прислушался – не доносится ли из трюма вой заключенных, но воя не было, и Базилевский тихо

произнес, обращаясь к рулевому, крутившему вираж:

– Заложи еще круче, иначе врежемся в целик.

Слева, невидимый в темноте, пополз целик – нагромождения толстого байкальского льда, схожие с горами. В марте сюда придут пильщики, они будут резать голубую твердь на огромные кубы и увозить в Иркутск, в тамошние ледники, чтобы можно было сберечь мясо, масло, запасы байкальского омуля, который, если зимний, имеет совершенно иной вкус, чем летний, июньский или июльский...

Высокий, сутулый, словно на плечи ему опустили мешок с мукой и забыли снять, Черепанов стоял рядом с Базилевским и так же, как и капитан, пристально вглядывался в вязкую черную муть ночи. Тяжелая кобура с револьвером, сшитая из толстого техасского опойка, была передвинута на живот – в любую секунду мог ухватиться пальцами за рукоять... Выглянул из рубки, посмотрел за борт – ничего не увидел, услышал только тяжелый хруст льда, будто кувалдой возили по хрусталю, вгляделся в темноту, за корму ледокола – как там «Круглобайкалец»? «Круглобайкалец», весело посвечивая холодными огнями, шел за «Ангарой», не отставая от нее ни на метр.

Черепанов вернулся в рубку, вновь стал рядом с капитаном.

Ледокол трясло. От такой медленной «езды» зубы крошатся, а уж об обычной боли и говорить не приходится; можно было, конечно, подогнать Базилевского, но Черепанов этого не делал – зачем подгонять? Времени у него было полным-полно. Это у тех, кто заперт в трюме, время на исходе... Он почувствовал, что рот у него сам по себе растягивается в улыбке.

Рассвело поздно – уже в десятом часу, небо посерело, пошло жидкими полосами – признак того, что морозы скоро ослабеют и повалит снег, – ледокол шел по проторенной дорожке в Листвянку, он много раз уже ходил этим путем, таскал за собою баржи и хлипкие, не приспособленные к зимней байкальской жизни пароходики, – привычно давил лед, утюжил черную хрустящую дорожку...

Когда подходили к Листвянке, Базилевский спросил у штабс-капитана:

– Причаливать будем?

– Нет!

– Тогда что делать дальше?

– Разворачиваемся на сто восемьдесят градусов.

Разворот совершили, плотно прижавшись к берегу, – со стороны Байкала наползал тяжелый паковый лед, одолеть его «Ангара» не могла – не по зубам – и по своему следу, местами даже не замерзшему, двинулась обратно.

Когда впереди, среди угрюмой серой равнины стал легким пятнышком мелькать, то возникая из пространства, то пропадая в нем, Шаман-камень, Черепанов скомандовал капитану:

– А теперь – самый малый!

– Зачем? – удавился Базилевский.

– Затем, – внушительно произнес Черепанов и положил руку на кобуру револьвера.

Капитан подчинился приказу. В конце концов его дело – собачье. Маленькое. Губы у него обиженно дрогнули, затряслись, словно от нервного срыва, но это происходило недолго: в следующее мгновение он вновь сделался самим собою.

За дверью рубки показался офицер в добротной бекеше с барашковым воротником, Черепанов кивнул ему, показывая на свое место. Офицер сменил штабс-капитана, встал рядом с Базилевским и извлек из кобуры револьвер.

– Значит, так, – сказал он Базилевскому, – не оглядывайтесь! Ваша задача – только двигаться вперед. На самом малом ходу. Что будет происходить на ледоколе, вас не касается. – Для убедительности офицер постучал рукоятью револьвера по деревянной панели рубки.

Капитан скосил на него глаза. Офицер был еще совсем юный, с черными щегольскими усиками и тремя маленькими звездочками на погонах. Поручик. «Нецелованный еще, жизни не повидавший, – Базилевский вздохнул, – а уж мне, старому хрену, дырявой пукалкой грозит. Сейчас сброшу в байкальскую стынь, будет знать, как грозить...» Но у офицера было оружие, а у Базилевского нет. «Против лома нет приема». – Базилевский вздохнул и сник.

За дверью рубки послышались голоса, топот. Капитан понял – солдаты сгоняют матросов в кубрик.

«Набьют сейчас, как селедок в бочку, потом в кубрик войти нельзя будет, – недовольно подумал он. – Вонь будет висеть в воздухе, хоть лопатой ее расковыривай. Как в коровьем стойле. И чего им матросы помешали?»

– Не оглядываться! – прикрикнул на него поручик, хотя Базилевский и не думал оглядываться.

Но, видимо, на лице у него было написано нечто такое, что невольно заставило поручика обеспокоиться.

– Где Лукин? – послышался в коридоре громкий голос.

– Сидит в каюте, пьет самогон.

– Лукина немедленно к полковнику Сипайло!

Вскоре по узкому железному коридорчику прогрохотали тяжелые сапоги громадного хмельного казака.

Темный, занесенный туманом контур Шаман-камня

прорисовался целиком и неспешно покачивался впереди, по носу ледокола.

Загрохотала цепь, которая была накинута на петли трюмного люка.

– Капитан, переведите ход машины на «самый малый», – скомандовал поручик, ногтем поддел один ус, украшенный кокетливым, почти дамским завитком, затем поддел другой, провел пальцем по верхней губе, подравнивая края усов. Он был доволен жизнью, ему все в этом мире нравилось, и вообще он считал, что будет жить вечно.

– «Самый малый» уже был, – спокойно отозвался Базилевский.

– Значит, медленнее идти не можете? – Голос у поручика сделался раздраженным.

– Нет, – с прежним спокойствием ответил капитан, в душе у него сейчас ничего, кроме странной мертвой тиши и равнодушия не было – все угасло.

Из трюма на палубу начали выводить арестованных – бледных, с запавшими щеками и погасшими, будто у мертвецов, глазами. Многие были хорошо одеты, на пальцах светлыми пятнышками поблескивали золотые перстни.

Базилевский не выдержал, сделал шаг к боковой двери рубки.

– Куда? – закричал поручик, наставляя на капитана револьвер.

– На кудыкину гору. Не могу же я вести ледокол вслепую. Мне обязательно надо смотреть по сторонам, иначе мы напоремся на камни.

– А рулевой на что?

– Обязанность рулевого – смотреть по носу и сверять курс с компасом. Этого ему во время движения – во! – Базилевский приложил ладонь ребром к горлу. – Более чем...

Поручик, подумав, разрешающе махнул револьвером: ладно, раз нужно – значит, нужно. На лице его дернулась мышца, скривила рот, сбила ровную линейку усов. Базилевский выглянул за дверь рубки, посмотрел за борт, в черную ледяную кашу, от которой поднимался пар, потом скосил глаза на корму.

Он рассчитывал увидеть много людей – особенно арестованных, но увидел лишь одного, выдернутого из трюма господина с широкими плечами и отвислым старческим животом, который стоял на корме совершенно голый и прикрывал обеими руками срамное место, над ним навис огромный бородатый казак с деревянной колотушкой в руках. Этой колотушкой команда «Ангары» обкалывала с палубы лед. Поодаль стояли два офицера – тот, что дежурил с ним в рубке, пока не пришла смена, и

грузный неповоротливый полковник с разъевшимся хохлацким лицом.

– Наза-ад! – запоздало закричал поручик, и Базилевский поспешно захлопнул дверь рубки. – Вам же приказано было – не смотреть! – Поручик потряс перед лицом Базилевского револьвером.

– Ну, застрелите меня, застрелите. – Базилевский нашел в себе силы усмехнуться в лицо поручика. – Так вы без меня даже до порта не дотелепаете. Пойдете на дно вместе с вашей солдатней.

Поручик, поразмышляв немного, спрятал револьвер в кобуру.

– Ладно!

– Кого хоть решили уничтожить-то? – спросил Базилевский.

– Большевиков.

В том, что в сети контрразведки попали большевики. Базилевский не был уверен: большевики золотых перстней на пальцах не носят, это он знал точно.

– Уничтожать большевиков – самое нужное и милое дело, – сказал Базилевский. Большевиков он не любил. – Куда команду заперли? – спросил он. – В кубрик?

– В машинное отделение.

– В машинное отделение – это лучше, чем в кубрик, – одобрил Базилевский, – проветрить хоть и нельзя будет, но запах машинного масла сожрет запах дерьма.

Он подумал, что голый пузатый старикан настолько находится не в себе, что даже ногами не приплясывает по палубе, холода не чувствует, а ведь ноги у него точно горят, если только не прилипли к железу палубы – а они не могли не прилипнуть, не могли не прожечь болью, но старикан не чувствовал этого... Отдирать ноги он в таком разе будет от палубы с кровью.

Казак Лукин тем временем размахнулся колотушкой и ударил старика в затылок, тот легкой птичкой взвился над палубой, хотя и был грузным человеком, ступни его с треском оторвались от прокаленного железа палубы, оставив там два кровавых следа, перевалился через ограждение и упал в черную пузырящуюся воду. В следующую секунду на него наехал «Круглобайкалец» и разрубил винтом на несколько частей. Спастись у несчастного не было ни одного шанса.

На палубу вывели следующего – также раздетого – мрачного жилистого человека с худым всосом щек и жгучими черными глазами, явно кавказца, непримиримого боевика, которому и белые были противны, и красные, и зеленые с «жовто-блокитными» – все, словом.

Он уже понял., что сейчас с ним будет, сиротливо поднял

глаза к небу, прося прощения за грехи свои, и метнулся к ограждению. Казак Лукин, не ожидавший от арестованного такой прыти, обиженно взревел и метнулся следом, уже на ходу тюкнул его колотушкой в затылок, и буйный кавказец улетел в воду вслед за своим предшественником. Удар у Лукина получился скользящий, несильный, кавказец вынырнул из черной дымящейся воды, взметнул над собою руки, словно грозя кому-то, и в ту же секунду на него всей тяжестью наполз «Круглобайкалец».

– Следующий! – скомандовал Черепнин. Сразу двое офицеров – Бабосов и Грант – кинулись выводить следующего арестованного.

Им оказался моряк с оторванным лохмотом форменной рубахи на груди, там, где у него висели Георгиевские кресты, с седыми висками и седыми усами. Фамилия моряка была Сыроедов. Он был списан с флота подчистую – получил в Румынии ранение – осколок располосовал ему живот, едва не вывалив в грязь кишки, он, придерживая их обеими руками, чтобы не растерять, сам лег в грязь, и тут Сыроедову не повезло вторично: немцы метнули на русскую сторону несколько химических снарядов. Так в Румынии Сыроедов похоронил свои легкие.

Но остался жив. Хотя списан был подчистую – такие люди, которым жить оставалось всего ничего, на флоте не были нужны.

– А ты, дур-рак, чего не выполняешь приказание? Чего не раздеваешься? – спросил у него Бабосов, поиграл тяжелым стеком. – Хочешь, чтобы я тебе яйца расплющил? Или кости в фарш превратил? – Бабосов поднял стек.

– Зачем же, ваше благородие, – глухо проговорил Сыроедов и стянул через голову форменку. – Мне немцы кости ломали, теперь вы будете...

– Поговори, поговори у меня!

Сыроедов сдернул с худого крестца брюки, дальше они сами сползли с ног на пол. Обут он был в разношенные американские ботинки, которые в Екатеринбурге, где делал остановку, выменял на кусок сала.

– Раздеваться-то зачем? – подал голос из угла господин в шубе с котиковым воротником, по виду эсер. – Там же холодно.

– Мы вам дадим другую одежду, казенную. – Бабосов не удержался от усмешки. – Тепло будет.

Не думал, не гадал Сыроедов, что попадет в такую молотилку – пришел в земельный отдел к своей родственнице Вере Ермолаевой и угодил в облаву. Сыроедов остался один-одинешенек, кроме Веры у него из родственников никого не

сохранилось, все полегли, ему надо было как-то устраивать свою жизнь, и он решил поселиться на Байкале. На Амур с Зеей возвращаться не хотелось – слишком больно было, а здешний воздух, да вода, да козье молоко ставили на ноги людей, изуродованных еще более жестоко, чем он.

Сбросил с себя ботинки, нагнулся, вытащил из кармана бушлата серебряный «брегет», положил сверху:

– Не раздавите, ваше благородие!

Вера сидела в углу и плакала. Сыроедов ничего не сказал ей, лишь вздохнул и шагнул к выходу.

Под лопатки ему ткнулся холодным жестким концом стек Бабосова:

– Быстрее!

Сыроедов шагнул на палубу. Первое, что бросилось ему в глаза, – растекшееся пятно крови, уже застывшее на морозе, и огромный казак с блестящими кошачьими глазами, державший в руке колотушку.

– Вашего адмирала, Колчака Александра Васильевича, я знал, когда он еще лейтенантом был, – неожиданно звонко выкрикнул Сыроедов, в следующий миг сорвался, скрючился в кашле, Лукин навис над ним, загудел обеспокоенно, не зная, как подступиться к этому человеку со своей огромной колотушкой.

Сыроедов – и без того маленький, мускулистый, колченогий – стал совсем маленьким. Выбухав на ладонь несколько кровяных лепешек, он стряхнул их на палубу и выпрямился.

– Так что передайте Александру Васильевичу низкий поклон и благодарность от кавалера трех Георгиевских крестов, унтер-офицера первой статьи Сыроедова. Пусть вспомнит, как я его выхаживал, когда он заболел...

Договорить Сыроедов не успел – Лукин изо всех сил, с размахом огрел его колотушкой, от удара у Сыроедова раскололся череп, изо рта выбрызнула кровь, и он полетел за борт ледокола.

Последней на палубу «Ангары» вывели Веру Ермолаеву. Ее трясло. Вера обхватила себя руками за плечи, произнесла промерзлым, едва слышным голосом:

– Что же вы делаете, господа? Что вы делаете?

Ни к каким партиям, как и ее двоюродный брат Сыроедов, она не принадлежала, ни в какие бомбистские либо партизанские игры не играла – попала в расстрельный список за компанию, как это часто бывает у нас на Руси.

Через минуту не стало и бывшей служащей земельного отдела Веры Ермолаевой.

А в кают-компании ледокола трое ординарцев проворно

накрывали стол. Было шампанское, для любителей «остренького» – американский спирт и китайская женьшеневая водка, был омуль-слабосол, пельмени, сваренные в кедровом масле, рассыпчатая картошка и свежая стерлядь.

Тяжелый рабочий день подходил к концу. Были уничтожены все, кого взяли на борт, – тридцать один человек. Все, как пометил у себя в бумагах Черепанов, – заговорщики. Шестеро из них – большевики.

На деле же среди убитых не было ни одного большевика. Полковник Сипайло, который в казнь не вмешивался, стоял в стороне и не произносил не слова, ожил. Поблагодарил офицеров за службу. Прошел в отсек, где раздевались казненные, сделал небрежный жест рукой:

– Вещи можете забрать себе. Это ваши трофеи, господа.

Бабосов издали указал стеком на «брегет», лежавший поверху одежды Сыроедова:

– Эти часики – мои. В память об их владельце – кавалере трех Георгиевских крестов.

– Что за кресты? – нахмурился Сипайло.

– А-а, не обращайте внимания, – Бабосов небрежно махнул стеком, – прошел тут у нас чистилище один морячок... Знакомством с главкомом войск хвастался.

Полковнику Сипайло сделалось смешно:

– Вот мы его по распоряжению знакомого главкома и ликвидировали. Чтоб больше не хвастался знакомством.

Ценностей набралось много, все разделили поровну, «по-братски».

Ординарцы расстарались – стол накрыли на двадцать пять человек. Пили уже в поту – «Ангара» пришвартовалась к отдаленному причалу и потушила ходовые огни, оставив лишь один тусклый огонек на макушке короткой железной мачты – сигнальный. Наконец-то под днищем и бортами «Ангары» перестал раздаваться противный хруст льда.

Капитана ледокола Базилевского также пригласили за стол, матросов выпустили из машинного отделения и угостили водкой – каждому по шкалику. Тем, кто плохо себя чувствовал, дали по второму.

Ждали командующего Иркутским военным округом генерала Скипетрова. Тот приехал без пятнадцати минут двенадцать ночи, продрогший, озабоченный. С ходу выпил полстакана водки, закусил ломтиком нежного омуля, пожаловался:

– Чехи красных обормотов удержать никак не могут, сдают им станции. А Каппеля к железной дороге почему-то не пускают. Владимир Оскарович точно бы накостылял красным по шее.

Штабс-капитан Черепанов подсунулся к нему с бутылкой холодной водки:

– Ваше высокопревосходительство, отведайте теперь китайской. От нее мужское достоинство стоит, как маршальский жезл, вытащенный из сержантского ранца.

Генерал захохотал:

– Ну вы и даете, Черепанов! Не ожидал-с! За наши маршальские жезлы, – произнес он громко и залпом осушил еще полстакана. Глянул в посудину, будто проверял, не осталось ли чего на дне, вновь протянул штабс-капитану: – Наполните-ка!

Тот послушно выполнил приказ. Генерал поднял стакан, лицо его сделалось торжественным.

– Пью за победу нашего оружия, господа, за то, чтобы мелкие неудачи не портили общую картину... Россия должна быть свободной. За свободную Россию!

Офицеры дружно рявкнули «Ура!», полезли друг к другу целоваться, а штабс-капитан шваркнул хрустальную стопку – из стаканов пили только те, кто хотел, это считалось фронтовым шиком – о железный пол кают-компании:

– Чтобы сказанное сбылось!

В Омске продолжали бушевать метели. Колчак принял документы, пришедшие в Омск из Иркутска, от генерала Скипетрова, усталым взглядом пробежался по приговору, по списку, составленному Черепановым, где шесть фамилий были помечены красным карандашом – большевики! На фамилии Сыроедова глаза его не задержались, проскользили мимо, и адмирал отложил бумагу в сторону.

Посмотрел на часы – через пятнадцать минут к нему должен был прийти Бегичев, что-то радостное, светлое возникло у Колчака внутри, он невольно улыбнулся. Все мы связаны с нашим прошлым, которое отзывается в душе невольным щемлением, рождает теплый свет, и у всех иногда возникает желание вернуться туда.

Бегичев постарел, погрузнел, поседел – он смело подошел к адмиралу, обнял его, прижался щекой к щеке.

– Здравствуйте, Александр Васильевич! – Потом откинулся назад и жадно глянул на адмирала: – Ну разве кто-нибудь в те годы мог помыслить себе, что вы станете главным человеком в России?

Колчак махнул рукой:

– Пустое все это, Никифор Алексеевич. Ничего путного в моей должности нет. Я бы сейчас отдал все, что имею, адмиральские орлы вместе с орденами и прочей чепухой поменял бы на лейтенантские погоны, чтобы очутиться в прошлом – том

самом прошлом, в котором мы с вами когда-то были. Ох, какое прекрасное это было время! – Колчак восхищенно покачал головой. – Никаких забот. Кроме одной – цели, к которой мы с вами шли.

– Александр Васильевич, не расстраивайтесь, у нас с вами еще будет возможность сходить вместе на Север.

Взгляд Колчака угас.

– Будем реалистами, Никифор Алексеевич. Я плаваю в таком дерьме, из которого мне никто никогда не даст выбраться. А на Север надо ходить с чистыми руками. Здесь же вы видите, – он подошел к столу, поднял стопку бумаг, пришедших из Иркутска, – сплошные казни, расстрелы, порки. И все это, я чувствую, повесят на меня. – Он зажато и тяжело вздохнул.

– Бог даст, не повесят.

– Повесят, еще как повесят. И несколько порций чужого дерьма добавят. У нас это любят делать. – Колчак сцепил руки, хрустнул суставами, нервно заходил по кабинету.

Бегичев наблюдал за ним: это был уже совсем не тот Колчак, которого он знал. Впрочем, и сам Бегичев изменился: с него облетела вся романтическая пыльца, как пух облетел с подросшего птенца, остались только перья.

– Слышал, Никифор Алексеевич, ледокол «Вайгач», который я строил в Англии, а потом им командовал, затонул?

– Нет, – Бегичев огорченно качнул головой, – не слышал. – «Вайгач» и «Таймыр» были лучшими ледоколами России. Пробормотал: – Досада какая, а!

– Затонул. – Колчак снова нервно хрустнул пальцами. – Полтора года назад. В Енисейском заливе. Наскочил на подводную скалу.

– А «Таймыр»?

– «Таймыр», насколько мне известно благополучно плавает.

Было слышно, как за окном голодно взвыл ветер, в окна шибанул жесткий снег, проскреб по поверхности, стек вниз, на завалинку, утепляющую фундамент: на улице послышались крики: патруль задержал нескольких подозрительных людей, подбиравшихся к дому Верховного правителя. У Колчака мелко и противно задергалось подглазие, он пробормотал горько, обращаясь больше к самому себе, чем к гостю:

– Нет, из этого дерьма мне уже никогда не выбраться. Не дадут.

– «Таймыр» я видел в работе, – сказал Бегичев. – Прекрасная посудина. Черт, а не ледокол.

Колчак прошел к столу, откинулся на спинку кресла.

– Никифор Алексеевич, изучение Заполярья надо

продолжать, – сказал он. – В конце концов Россия отделается от всей этой дури, именуемой гражданской войной, и ей снова понадобится Север. Без надежного морского пути, проложенного по Северу, России не обойтись. В Карском море работает Вилькицкий...

– Тот самый? Генерал?

– Генерал Вилькицкий умер. Работает его сын. Замечу – работает очень успешно. Пора и вам, Никифор Алексеевич, пристрять к одной из экспедиций. Мы сейчас готовим группу на Новосибирские острова. Готовы поехать?

Бегичев встал со стула, одернул на себе морской китель:

– Всегда готов!

– Да вы сидите, сидите. – Колчак сделал мягкий взмах, усаживая гостя, напряженное расстроенное лицо его изменилось, в нем появились новые краски, оно потеплело. – Я до сих пор вспоминаю, как вы были у меня свидетелем на венчании в Иркутске...

– Это была другая жизнь, – со странной незнакомой улыбкой проговорил Бегичев, – и государство наше было другое. Вернуться бы нам туда, Александр Васильевич. Да не дано, к сожалению...

– Не дано, – огорченно подтвердил Колчак, взялся за колокольчик, стоявший перед ним на столе. – Сейчас мы с вами поужинаем вдвоем, Никифор Алексеевич. Вы не возражаете?

– Помилуйте! Конечно же нет.

Адмирал позвонил – звук у колокольчика был резким, как крик ночной птицы, Бегичев даже вздрогнул: изделие явно нерусское по происхождению, русские колокольцы обладают голосами другими – нежными и серебристыми.

Вошел адъютант.

– Через пять минут мы будем в столовой, – сказал ему Колчак.

Адъютант молча наклонил голову и вышел.

Бегичев хотел спросить насчет Софьи Федоровны – жива ли она? – но не стал. Слышал он, что адмирал в Омске пребывает не один, в спутницах у него ходит не Софья Федоровна, а другая женщина – переводчица из отдела печати канцелярии. Работает с иностранцами – военными наблюдателями, прикомандированными к правительству Колчака.

Дамочка, говорят, фигуристая, форсистая, с хорошо поставленным голосом и манерами недотроги. Бегичев, правда, сам не видел, но слышать слышал. Молва о ней идет широкая.

– А насчет барона, которого мы тогда искали с вами, Александр Васильевич, так ничего не выяснилось?

– Увы. Барон Толль погиб вместе со своими людьми. Как вы

помните, он ушел с Земли Беннета и ни одного следа не оставил. Так потом ни одного следа не обнаружилось. Что можно было найти – мы тогда нашли.

Ужин у Колчака был скромным – не в пример тому, что устроили себе офицеры иркутской контрразведки на ледоколе «Ангара». Даже водки, и той было совсем немного ~ выпили по две стопки, и Колчак отставил графин в сторону. Бегичев сощурился – небогато живет Верховный правитель России.

– Помните, как я величал вас на Севере, Александр Васильевич? – Бегичев достал из кармана портсигар, раскрыл его и замялся – не знал, удобно ему закурить или нет?

Колчак улыбнулся: это он помнил.

– Ваше благородие Александр Васильевич.

Лицо Бегичева счастливо расплылось. Колчак сделал ему разрешающий жест: курите, мол...

– Да, это было так, – подтвердил Бегичев. – А вот скажите, Александр Васильевич, «Верховный правитель» пишется с маленькой буквы или с большой?

Улыбка на лице Колчака погасла.

– Как напишете, так и будет, Никифор Алексеевич.

Разговор расклеился окончательно – собственно, если честно, его и не было, – Бегичев почувствовал, что Колчаку не до него, адмирал озабочен совсем иными делами, чем экспедиция на Север, качнул головой сожалеюще: эх, Александр Васильевич, Александр Васильевич! Конечно же, он был сейчас лишним, Колчак бы прекрасно поужинал и без него. Оглядел столовую. Довольно просто обставлена, совсем не по-царски.

А ведь Верховный правитель – это почти царь! Главное лицо в нынешней России. Есть еще, правда, Ленин, но Ленин – это по ту сторону фронта, а Колчак – по эту. Бегичев вздохнул – вздох был неловким – и произнес вслух:

– Эх, Александр Васильевич!

Колчак вздох понял правильно, ничего не ответил, лишь заработал быстрее вилкой и ножом – принесли мясо, и мясо это было жестким. «Ободрали какого-то перестарку и подали адмиралу под видом парной телятины, – недовольно отметил Бегичев. – И тут... даже тут, у самых высоких верхов – воровство».

Вскоре Бегичев поднялся:

– Александр Васильевич, мне пора. Поздно уже, темно, патрули, метель, замерзнуть недолго.

Адмирал не стал задерживать Бегичева.

– Вас отвезет моя машина. Вы ведь в гостинице остановились?

– Гостиница мне – того... – Бегичев поморщился, ему

неприятно было об этом говорить, – кусается. Я у одной бабули снял угол.

Колчак хотел сказать, что Анна Васильевна тоже снимает угол, но промолчал – в конце концов это, во-первых, личное дело каждого, где жить, а во-вторых, Бегичев совершенно не знает, кто такая Анна Васильевна, и знать ему это совершенно необязательно.

Вместо доверительного разговора, добрых, до слез воспоминаний двух старых северных волков получился обыкновенный невкусный ужин. Колчак тоже поднялся из-за стола. Легкая печальная улыбка возникла у него на лице, он подумал: «Надо бы Бегичеву присвоить какое-нибудь офицерское звание, сейчас это в моих силах, подмахнуть бумажку – плевое дело», но в следующий миг возникшая мысль угасла.

Существует хорошее правило: если не хочешь неприятностей, не хочешь, чтобы прошлое ударило кулаком в поддых, никогда в него не возвращайся, не ищи с ним свидания. А он нарушил это правило – стал искать встречи. И ошибся: теплых сердечных объятий с восторженными возгласами «А помнишь?» не получилось.

– Ну, ваше благородие Александр Васильевич, – Бегичев вновь назвал Колчака по старинке, и адмирал против этого не возражал, – подошел к Колчаку: – Ну...

Они обнялись, постояли несколько секунд молча. Бегичев услышал, как гулко дернулся и застыл на шее адмирала кадык, ему сделалось жаль Колчака, он откинулся от него:

– Что ж, на Север так на Север, только плохо, что без вас, ваше высокопревосходительство. Очень хотелось бы еще разок сплавать вместе.

– Мне тоже очень хотелось бы. – На шее у Колчака вновь гулко, будто гирька от часов, подброшенная рывком металлической цепи, подскочил и опустился кадык.

«Все-таки ты, Александр Васильевич, такой же земной, такой же мясной и костяной, как и все мы, человек», – невольно отметил Бегичев.

Через минуту он ушел. Больше они с Колчаком никогда не встречались.

Колчак часто бывал на фронте, пожалуй, даже чаще, чем следовало бывать Верховному правителю. Война на суше сильно отличается от войны на море – это на море командующий флотом должен обязательно находиться на мостике и заниматься оперативным руководством – баталии там зачастую разыгрываются на небольших водных пространствах, которые с точки зрения военных действий на суше вообще не имеют

никакого значения, крупные боевые операции на земле порою захватывают тысячи километров, и тут командующему вовсе необязательно непосредственно находиться в войсках, сидеть в окопах, ему гораздо важнее видеть все происходящее на карте и предусматривать всякое, даже малое движение противника. Тут – совсем другие мерки, совсем иное мышление.

Вскоре злые языки стали поговаривать: как только Колчак побывает на фронте, так фронт в этом месте незамедлительно прогибается.

Так это произошло с Челябинском.

Адмирал побывал там, был ласково принят населением, восторженно – в войсках, утвердил план разгрома красных частей – фронт, кстати, был длинным, без малого полторы тысячи километров – и отбыл с фронта, уверенный в победе. Надо заметить, что армия Колчака к этой поре была огромной – четыреста тысяч человек. Кроме того, под его крылом (но под командованием французского генерала Жанена, человека с ущемленным самолюбием) находилось около сорока тысяч белочехов, восемьдесят тысяч японцев, оседлавших дальневосточные сопки, будто свои собственные, шесть с лишним тысяч англичан и канадцев, восемь тысяч американцев, полторы тысячи французов и еще кое-что по мелочи – соединения сербов, поляков, румынов, итальянцев и прочих любителей отведать сладкого пирога с чужого стола. С такой армией перекусить горло можно было кому угодно, не только оборванным, голодным и холодным, иногда совершенно безоружным красноармейцам.

И все-таки Колчак не перекусил. Не смог.

По плану штабистов Челябинск надлежало сдать, заманить в город, как в котел, красных и накрыть их там крышкой. И сварить в собственном соусе.

Не получилось.

Город благополучно сдали – произвели это неряшливо, отходя от плана и расстреливая по ошибке своих, – а взять обратно не взяли. И крышкой его не накрыли. И суп из красных не сварили. Остались на бобах – «при своих интересах», как говорят игроки в карты.

Следом начали прогибаться и другие фронты, словно злой рок преследовал генералов, командовавших колчаковскими армиями, – Дутова, Савельева, Ханкина.

Стали поговаривать, что Колчака тоже преследует злой рок.

Первого мая 1919 года произошло событие, на первый взгляд рядовое – такие неприятные истории у Колчака случались и ранее, но прежде они не были поворотными: на фронт прибыл украинский полк имени Тараса Шевченко. Хохлы свой полк

упорно называли куренем, как во времена славного Тараса Бульбы, но этим сходство их с легендарным героем и заканчивалось: воевать им не хотелось, хотелось сала с вареньем, хотелось пограбить справные уральские «мазанки», и хохлы на станции Сарай-Гир, недалеко от Златоуста, подняли мятеж.

Восстание решили подавить, но опоздали: к куреню примкнули «сочувствующие» – солдаты четырех полков и егерского батальона.

В результате несколько тысяч солдат вместе с артиллерией и обозом перешли к красным. Еще несколько тысяч просто разбежались. На фронте образовалась дыра – большая дыра, в целую сотню километров. В эту гигантскую брешь немедленно ринулась конница красных.

Колчак о бреши узнал с опозданием – ему просто побоялись об этом вовремя сообщить. В дыру бросили формирующийся, еще не слепленный, сырой, почти без командиров, без штаба корпус. Корпус ничего сделать не смог. Только людей зря погубили.

В результате, чтобы выровнять фронт, пришлось отводить несколько колчаковских частей.

Нагло вели себя чехи, руководимые генерал-лейтенантом Гайдой. Бывший фельдшер продолжал быстро двигаться по лестнице и стал уже генерал-лейтенантом. Воевать чехи не умели, зато умели хорошо грабить.

Грабили они знатно. Достаточно сказать, что, когда они со своим барахлом оттягивались на восток, каждому чеху было выделено по половине вагона под трофеи.

По половине пульмана – это не шутка: там английский танк можно спрятать, а уж награбленного вместить – без счета. Начальство, соответственно, больше.

Когда началось отступление, они захватили более двадцати тысяч вагонов, около семисот паровозов – драпали так, что на железной дороге только рельсы прогибались. Своим беспримерным драпаньем они умудрились полностью парализовать жизнь великой транссибирской магистрали. Главное для чехов было – поскорее удрать. Не пустыми, естественно.

Они везли с собою несколько десятков тонн золота – точная цифра никому не известна, поскольку это золото, бывшее российским, стало личным золотом этих людей, растеклось по карманам, ранцам и мешкам чехословацкого корпуса, серебра было украдено много больше – в несколько раз больше.

Везли деньги – валюту самых разных государств, что попадалось на глаза, то и брали, особенно охотно белочехи гребли фунты, франки, доллары и рубли – штампованные

николаевские червонцы и пятерки. Не брезговали даже польскими злотыми. Везли машины, ценное сырье, включая медь, олово, свинец, оборудование предприятий, граммофоны, швейные машины, женское белье, украшения, штуки первосортного сукна и ткани «бостон», породистых лошадей, коляски, тарантасы, автомобили, посуду, они волокли с собой даже библиотеку Пермского университета, бесстыдно украденную, очень ценную, приглянувшуюся какому-то уланскому полковнику.

Если кто-то пытался помешать им в пути, чехи немедленно выставляли в окна вагонов тупые рыла пулеметов и без предупреждения открывали огонь. Крови эти вояки пролили много. Людей, которые называли их грабителями, без суда и следствия ставили к стенке. Слово «грабители» чехам не нравилось.

Но это было потом, а пока они во главе с Гайдой лишь начали свое беспримерное драпанье с фронта. Покидали фронт они так лихо, что конники Тухачевского [178]не поспевали за ними на своих быстроногих скакунах – в беге чехи отрывались от лошадей.

Французский генерал Жанен, командовавший союзными войсками, пробовал образумить их, но чехи над ним только посмеялись и обозвали трехцветным петухом, а затем, поскольку за годы войны довольно хорошо поднаторели в русском языке, послали генерала на три буквы. На фронт они так и не вернулись, а осели на железнодорожных станциях, занялись тем, что выбраковывали из товарных составов вагоны похуже, отправляли их на «дистанцию», себе же забирали вагоны получше.

Бездарная челябинская операция, к которой они имели самое прямое отношение, не получила никакого продолжения. Собственно, отдавая дань справедливости, замечу, что к провалу этой операции имели отношение не только чехи, но и начальник колчаковского штаба полковник Д. А. Лебедев, незамедлительно произведенный в генералы, и командующий Западной армией генерал К.В. Сахаров. Все оказались хороши.

Кроме того, сказывались на ситуации постоянные распри между Гайдой и новоиспеченным генералом Лебедевым. Гайда считал Лебедева дураком, Лебедев Гайду – авантюристом.

Гайда отказывался выполнять приказы Лебедева, Лебедев жаловался на него Колчаку:

– Ваше высокопревосходительство, у нас ведь война, а не показательные уроки вышивания крестиком. Уберите с фронта этого специалиста по куриным прививкам! Он не то что командовать армией не может, он даже роту сводить в атаку не сумеет. Провинциальный парикмахер, а не командующий армией. При первом же пуке красных бледнеет, как барышня.

Не было мира и единства в стане Колчака.

А красные ужесточали свои удары, не давали колчаковцам передышки. У красных появились очень толковые командиры – М. В. Фрунзе, [179]М. Н. Тухачевский, В. К. Блюхер, [180]Г. Д. Гай. [181]

– Откуда они взялись? Кто такие эти Гаи и Блюхеры? – спрашивал у подчиненных Колчак и не находил ответа. Призывал на помощь разведку...

Разведка каждый раз выдавала ему скупые сведения: ни полковничьих, ни генеральских званий у красных командиров не было – в лучшем случае одна маленькая прапорщицкая звездочка... Но воюют-то эти люди лучше признанных полководцев, окончивших Академию Генерального штаба! Вот загадка, на которую никто не находил ответа.

Иногда Анна Васильевна приезжала к адмиралу, и они проводили время вдвоем. В камине гулко пощелкивало пламя, на смолистых поленьях лопались пузыри, тени метались по стенам, за окнами подвывала ветром черная страшная ночь. Они старались никого не приглашать к себе, коротали время вдвоем.

Друзей в Омске у них не было. Михаил Иванович Смирнов, единственный близкий человек, находился сейчас в Перми, командовал там флотилией. На одном из кораблей флотилии, кстати, служил лейтенант Вадим Макаров, сын адмирала Макарова. Сережа Погуляев находился в Париже, он вряд ли уже захочет когда-либо вернуться в Россию. Уезжал Погуляев из одной страны, а приезжать в другую, ставшую чужой, враждебной, ему совсем не резон. Последнее время Анна Васильевна сблизилась с Ольгой Алмазовой – вдовой генерала Гришина-Алмазова, однажды они вместе с Колчаком побывали даже в ресторане, но причислить Ольгу к друзьям, без которых невозможно жить, было нельзя. Она просто относилась к близким знакомым.

На белой накрахмаленной скатерти стояла бутылка красного вина, рядом – бутылка коньяка и жбан самодельного морса, который очень умело готовил личный повар Колчака, на тарелках были разложены закуски – рыба, мясо, куропатки, которых в эту зиму расплодилось под Омском видимо-невидимо, в кюветке повар подавал осетровую икру собственного посола, здешнюю, сибирскую – была она нисколько не хуже астраханской, подавал он и икру грибную, приготовленную по старым французским рецептам... Но ни есть, ни пить не хотелось.

Каждый думал о своих. Колчак – о Софье Федоровне со Славой, Анна Васильевна об Оде и муже. Ей теперь было жаль мужа. Анне Васильевне сообщили, что после ее отъезда Сергей Николаевич не стал задерживаться во Владивостоке,

незамедлительно покинул его и появился где-то в Шанхае, устроился работать обычным капитаном на торговый пароход. Тимирева думала: боевой адмирал пошел служить рядовым поденщиком-капитаном на зачумленное дырявое корыто, плавающее под китайским флагом... Конечно же, это он сделал в отместку ей. Одя по-прежнему находился у бабушки.

Что же касается Софьи Федоровны со Славиком, то еще в феврале Колчак получил телеграмму от министра иностранных дел Франции, который прислал ее, правда, не напрямую Колчаку, а своему послу в Омске, а посол уже передал Верховному правителю.

Из телеграммы следовало, что Софья Федоровна находится в Париже, благополучно добралась до этого города вечного праздника, благополучно устроилась, и Колчак незамедлительно перевел ей все деньги, что у него имелись. Свои собственные деньги, личные, из собственного жалования – взять хотя бы одну копейку из казны сверх того, что ему причиталось, он считал недопустимым. Это было для Колчака вопросом чести.

– Мне кажется, Анна Васильевна, мы очень скоро покинем Омск, – сказал он Тимиревой. – Нас повсюду теснят, кругом предательство, вы видите, что происходит с белочехами... Этот фазан с брылями генерал Жанен ничего сделать не может, максимум, на что он способен, – чистить по утрам зубы... У красных оказалось много талантливых командиров. В общем, нам не удержаться. – Колчак зажато вздохнул. Пожаловался: – Очень хочется напиться. Эта бордовая кислушка, – он ткнул пальцем в бутылку с французским вином, – годится только для компрессов.

Бесшумно, бестелесно, будто дух, возник повар в роскошном колпаке с дутым накрахмаленным верхом. Действительно дух, а не человек. Колчак перевел взгляд на его ноги: повар был обут в мягкие, обрезанные до середины икр валенки, потому и скользил по паркету без единого звука.

– Голубчик, поставь-ка в снег пару бутылок шампанского, – попросил Колчак. – Да предупреди часового, чтобы постерег, иначе сопрут.

– Я сам постерегу их, выше высокопревосходительство!

– Зачем же? – Колчак усмехнулся. – Не царское это дело.

– Слушаюсь! – Повар покорно склонился перед Колчаком.

– Русские люди любят пить с прицепом, – сказал он Анне Васильевне, когда повар ушел, – хлебом не корми, дай что-нибудь прицепить. К пиву прицепляют водку, к шампанскому – коньяк.

– Подчиненные вам офицеры пьют шампанское с водкой. Выпивают стакан водки, потом – полбутылки шампанского. Раскрутят его веретеном и проглотят вместе с дыханием. А потом

– на мороз. В снежки играть. – Анна Васильевна натянула на плечи шаль, поднялась, подошла к Колчаку сзади, обняла за плечи и, как обиженная девочка, ткнулась носом в его волосы, в самую макушку.

– Вы очень редко достаетесь мне, Александр Васильевич, – пожаловалась она, – мне плохо без вас.

Он вывернул голову, притиснулся губами к ее пальцам.

– Что поделаешь, Анна Васильевна, жизнь у нас такая непутевая, – поморщился: очень уж безликой, очень затасканной прозвучала у него эта фраза. Но ведь вся жизнь наша сплошь состоит из затасканностей, из повторов, из расхожих явлений, из тривиальных поступков, из стыда перед самим собою, из банальностей и зла. И все меньше и меньше становится в ней благородства, тепла, чистоты, ощущения того, что ты кому-то нужен. – Что поделаешь, Анна Васильевна, – повторил он дрогнувшим, неожиданно сделавшимся горьким голосом.

Недавно он отправил письмо в Париж – через посла, дипломатической почтой, – где посетовал жене, что работает по двадцать часов в сутки, свободного времени у него бывает, дай Бог, полчаса, но чаще всего и этих пресловутых тридцати минут не выпадает. Он загнан, как лошадь, с которой в течение нескольких суток не снимали седла. Максимум, на что он годен, – на мясо да еду другим. Съесть его хотят многие: и Жанен, и Гайда, и генерал Дитерихс, и Пепеляев – родной брат министра внутренних дел Виктора Николаевича Пепеляева, которого он намерен передвинуть в кресло премьера правительства, и чешские военные лидеры, очистившие от фронтовой грязи свои сапоги и наштукатурившие их до зеркального сверка, и еще десятка два начальников разного ранга с крепкими зубами и крупными щучьими ртами. Все – отменные едоки.

Он вновь склонил голову набок и поцеловал тонкие холодные пальцы Анны Васильевны.

Внутри у него родилась теплая волна, вызвало хмельное чувство, он налил себе коньяка, Анне Васильевне – вина. Шампанское еще, наверное, не подоспело. Дурацкая привычка у кухонного люда – хранить шампанское, водку и белое вино в тепле. Красное вино, портвейны, коньяк можно хранить сколько угодно, но эти благородные напитки, которые любят холод и ненавидят тепло... Зачем же их хранить «в валенках», оберегать, как повар оберегает свои ноги?

Впрочем, повар у него был совсем неплохой.

– Выпьем, чтобы нам никогда не разлучаться, – сказал Колчак, потянулся своей рюмкой к бокалу Анны Васильевны, – чтобы никакие ветры, никакие холода этому не помешали. Чтобы

всю жизнь вместе...

– Чтобы всю жизнь вместе, – эхом повторила Анна Васильевна.

– До смертной черты.

– До смертной черты.

Потом он сел за фортепьяно и сразу почувствовал, что давно не садился за инструмент, пальцы были чужими, не чувствовали клавиш, кончики их были деревянными, тупыми, будто обтянуты чужой кожей, хромом или шевро, ничего с такими пальцами не сыграть, не «огородить» – бесполезно. Но потом Колчак немного размялся, заиграл тихо и проникновенно. Это были знакомые аккорды вступления к романсу «Гори, моя звезда». Анна Васильевна аккуратно прижала пальцы к уголкам глаз и, боясь смазать подрисовку, сделанную черным французским карандашиком, тут же опустила. Запела проникновенно, подлаживаясь своим голосом под голос Колчака:

Гори, гори, моя звезда,
Звезда любви приветная,
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда,

За стеной выла вьюга, горсти снега с хрустом всаживались в окна, грозя выбить их, от тепла внутри и холода снаружи кряхтел весь дом, звонко поскрипывали матицы, вырубленные из старого смолистого и очень пахучего кедра, в камине слабо потрескивал огонь, за окнами перекликались часовые.

Казалось, что именно здесь, у этого огня, за этим столом находится центр России, но центр России находился совсем не здесь, и Колчак, понимая это, иногда замирал в неком нервном оцепенении и, слыша, как в ушах звонко бьется сердце, беспомощно разводил руки в стороны: власть у него, словно вода, проливалась, проскальзывала между пальцами и уплывала, он не мог удержать ее и от этого страдал.

– Неужели нам придется покинуть Омск? – спросила Анна Васильевна, испуганно покосилась на расплывчатые тени, отбрасываемые огнем камина на стены.

– Как это ни прискорбно – придется. И покатимся мы на восток, и покатимся. Что нас ждет там – неведомо никому.

Гайда струсил. Сбежав с фронта, он все-таки решил вернуться туда – вернулся и незамедлительно начал искать себе союзников, понимал, что власть скоро будет передана из рук Колчака в другие руки, и лучшего ставленника на место адмирала, чем он сам, Гайда не видел.

Он всю жизнь интриговал, бывший фельдшер Гейдль, но ладно бы просто интриговал, устраивая сеансы борьбы под ковром, – это Бог с ним, это еще терпимо, но он порою бросал фронт на несколько дней только ради того, чтобы провести время в объятиях какой-нибудь любвеобильной деревенской вдовушки, – такого себе позволить не мог никто, а Гайда, он же Рудольф Гейдль, позволял.

Однажды Колчак не выдержал и вызвал Гайду к себе. Все были уверены – адмирал сдерет с него погоны, отнимет награды и прикажет конвою отвести бывшего военфельдшера в овраг. Так полагал и сам Гайда. Он хотел было исчезнуть – практику на этот счет имел немалую, но не успел – около его штаба спешилась сотня бородатых сибирских казаков.

Гайда, бледный, с перекошенным ртом и дрожащими руками, поехал к Колчаку в Екатеринбург – Верховный правитель прибыл туда вместе со своим поездом.

Когда Гайда появился на окраине Екатеринбурга, на одной из улиц, похожей на обыкновенную кривую деревенскую «першпективу», расхристанный пеший казак, оказавшийся поблизости, узнал Гайду и выдернул из ножен шашку. С ревом кинулся на чеха:

– У-у, иуда!

Казачий конвой немедленно взял Гайду в двойное кольцо, через которое было не прорваться. Казак с лязганьем вогнал шашку обратно и кулаком стер с глаз слезы.

– Из-за этого иуды у нас от сотни тринадцать человек всего осталось. Всех краснюки порубали. А он находился рядом и палец о палец не ударил, чтобы прийти на помощь. Иу-уда! – На глазах казака вновь проступили слезы.

Гайда оцепенел, сидя в седле, сжался, сделавшись маленьким, совсем маленьким, как мальчонка младшего гимназического возраста, почувствовав лезвие шашки своей шеей. Даже не шеей, а копчиком, поскольку хороший рубака разваливает «клиента» пополам – от шеи до копчика. Лучше бы было ехать на автомобиле, но казаки сказали Гайде, что за автомобилем могут не поспеть, а одного, без конвоя, Гайду по дороге просто шлепнут... Пришлось послушаться.

– Не бойся, барин, – оттесняя плачущего казака подальше от чехословацкого генерала, сказал сотник, – в обиду не дадим! – Добавил с усмешкой: – Пока команды другой нету...

Колчак уже прибыл на екатеринбургский вокзал. На дороге царил бардак, хотя и охранял ее Жанен вместе с чехами. За счет воюющего белого воинства Жанен своих подопечных неплохо одевал. Все там было – и шубы с роскошными меховыми

воротниками, и мундиры из чистого шевиота, и ботинки на вечной спиртовой подошве. Из поступающего оружия Жанен опять-таки большую часть отдавал не воюющим колчаковским дивизиям, а союзникам. В результате патроны они меняли на рынке на «куриные фрукты» – яйца морозостойких сибирских пеструшек и хохлаток. Десяток патронов – один «куриный фрукт». Ни поляков, ни румынов, ни итальянцев на фронте невозможно было найти.

Места же, где появлялись белочехи, мигом делались уязвимыми. До Колчака не раз доносили гадкие высказывания Гайды про него и требования спихнуть адмирала с кресла и на его место посадить Гайду. Спит и видит себя Гайда и Верховным правителем, и главнокомандующим, и даже диктатором. Жанен поддерживает Гайду. Он кого угодно будет поддерживать, даже Фрунзе с Тухачевским, лишь бы досадить Колчаку. Вот фазан!

За собственные неудачи Гайда совершенно не умеет отвечать, вину обязательно сваливает на других. Учиться на ошибках не хочет. Надо убирать из армии этого зоотехника, или кто он там есть? Фельдшер? Значит, надо убирать фельдшера, пока еще не поздно.

Колчак назначил комиссию по проверке деятельности Гайды. Она побывала в его частях и вернулась обескураженная. Теперь все должен был решить разговор Колчака с Гайдой.

На вокзале Гайда совсем расклеился – увидел неподалеку от состава Верховного правителя одинокий зеленый вагон с решетками на окнах. Зачем подогнали этот неказистый страшный вагон к роскошному поезду Колчака, не надо было объяснять: в этом вагоне Гайду доставят в Омск, Гайда сделался белым, как бумага, у него начали приплясывать губы, он не мог успокоить себя. Руки тряслись так, что нз пальцев вываливалась сигарета.

Адъютант Колчака дал ему новую сигарету, но вывалилась и она.

– Хы-хы-хы, – застонал, давясь воздухом, Гайда, – хы-хы!

Несколько человек с сочувствием посмотрели на него.

– Пожалуйте в вагон, господин генерал-лейтенант, – адъютант Колчака сделал вежливый жест.

Гайда, по-прежнему бледный, с трясущимися губами – очень сильно перетрухнул голубчик, – на полусгибающихся ногах поднялся в вагон. Кто-то перекрестил его вслед:

– Царствие тебе небесное!

Гайду не любили. И было за что не любить.

Но концовка у этой истории была неожиданной. Колчак не снял Гайду с должности, чем вызвал крайнее удивление у своего окружения, не снял человека, которому была грош цена в

базарный день, который не единожды предал его, который не только воевать – даже толком сморкаться в платок и то не умел.

Из вагона Верховного правителя Гайда вышел таким же бумажно-бледным, как и вошел. Руки только не тряслись да губы не приплясывали. Рот был плотно сжат. Он ненавидящим взглядом посмотрел на вагон, в котором только что побывал, и, сгорбившийся, какой-то облезлый, пошел к конвойной сотне, с которой прискакал в Екатеринбург.

Гайду проводили взглядами несколько человек.

– Ну все. Более опасного врага, чем этот бледногубый чех, у Александра Васильевича не будет.

Замечание было верным: если до этого дня Гайда боялся Колчака, то теперь он его ненавидел. За то, что Колчак оставил его живым. Колчак совершил ошибку: Гайду надо было расстрелять. Если бы он сделал это, уверен – судьба самого Колчака сложилась бы по-иному.

– А французский генерал Жанен? – запоздало спросил кто-то.

Тоже верно: генерал Жанен продолжал гадить Колчаку где только мог и никак не хотел остановиться. Хотя они должны были быть заодно, но получалось, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку...

Несмотря на то что почти все чехи сбежали с фронта, Гайда сохранил за собою пост командующего армией. В оперативном подчинении у него находилась еще одна армия – Западная. Более нелепого решения в тех условиях принять было нельзя. Но Колчак принял его.

А вот начальника штаба Лебедева Колчак с должности снял. Кто-то должен был ответить за бездарную челябинскую операцию. И он ответил.

Наступление красных было остановлено с большим трудом и большими потерями.

Верховный главнокомандующий собрался выехать в Тобольск. Под Тобольском шли тяжелые бои, белые еле держались в своих окопах. Солдатам, с точки зрения адмирала, требовалась срочная моральная поддержка. Адмирал вез с собою два ящика Георгиевских крестов.

Погода была мерзкая. Дул ветер, тяжелые угрюмые тучи низко ползли над землей, натыкались на макушки деревьев и трубы, зависали обессиленно, плевались снегом, мокретью. Из дома, из тепла, не хотелось выходить.

Адмирал стоял у окна и смотрел на раскуроченный флигель. Он словно ждал, когда кончится это светопреставление. Иногда отводил взгляд в сторону и косился на камин, в котором медленно догорали несколько сосновых поленьев. Как все-таки

тепло, как уютно здесь, и как плохо там, за окном. В лице адмирала что-то дрогнуло, под правым глазом мелко затряслась крохотная, но, видимо, важная жилка, он прижал к глазу пальцы, вновь перевел взгляд на раскуроченный флигель.

Когда за спиной появился адъютант, занемогший, со слезящимися красными глазами и вздувшейся от флюса щекой, Колчак приказал:

– К моему возвращению флигель обязательно восстановите, проследите за этим лично, Михаил Михайлович!

Беда пришла из ничего, из воздуха – стряслась на ровном месте. В караулке, расположенной во флигеле, один солдат решил отдохнуть, – он только что сменился с дежурства, и это было святое дело – на пару часов «придавить клопа» – прикорнуть на американской маленькой подушке, набитой какой-то упругой дрянью; русские подушки, не в пример американским, хорошо держали «тело», и голова от них не болела, как от американских «клопов». Нерусских подушек в караулке не было, приходилось довольствоваться тем, что есть. Солдат стянул с себя пояс, на котором висели гранаты, а потом решил сунуть гранаты под «клопа» – наверное, для того, чтобы мягче было спать. Дурак он и есть дурак, сунул бы лучше под голову что-нибудь другое.

Одна из гранат взорвалась. Прямо под головой. Дурной котелок мигом отделило от туловища и забросило на печь, туда же швырнуло и окровавленного «клопа», осколками посекло двух солдат, мирно жующих сало за столом, а для того, чтобы желудок лучше переваривал пищу, перекидывавшихся в самодельные картишки; недоеденный кусок сала также густо нашпиговало рваным железом.

Этим дело не кончилось. Следом раздался еще один взрыв – более страшный: запоздало сдетонировало сразу несколько гранат, в результате караулку развалило, как гнилую коробку, на несколько рваных кусков, и в воздух полетели разломанные бревна, обрывки железа, окровавленные лохмотья, раздавленная мебель.

Знающие люди усмотрели в этом большее, чем обычный несчастный случай.

– Быть беде, – заявили они. – Над адмиралом висит злой рок.

Адмирала в этот час дома не было – находился под Омском, на учениях. Когда ему доложили о несчастье, он все выслушал молча, с каменным лицом. Спросил лишь:

– Лошади мои целы?

Из лошадей он очень ценил одну, подаренную генералом Ноксом, канадской породы, на каких разъезжает конная полиция озера Онтарио и города Торонто.

– Лошади целы, – доложили ему, и адмирал спокойно отвернулся.

На всякие «ахи» и «охи» насчет злого рока он решил не обращать внимания: чему бывать, того не миновать.

Развороченный флигель продолжал сиротливо смотреть в небо полуспаленными костями стропил и черными обгорелыми стволами выдранных вместе с гвоздями балок.

Когда взорвался флигель, у дверей его стоял часовой. У часового даже царапины не оказалось – был целехонек, словно из купели, только сильно оглушен. Его пробовали расспрашивать – контрразведчики, можно сказать, сели на солдата верхом, но он лишь немо, почти безъязыко открывал рот да показывал себе на уши. Из ушей текла кровь.

Догадались снять солдата с поста лишь через час, когда в госпиталь были увезены все раненые, а из-под рухнувших бревен флигеля извлечено несколько трупов.

Сколько еще удастся пробыть в Омске – никому не ведомо. Вполне возможно, что завтра здесь будут хозяйничать красноармейцы.

Тем не менее адмирал еще раз предупредил адъютанта:

– Обязательно проследите за восстановлением флигеля. Лично!

Подошел к столу, достал оттуда белую шелковую перчатку. Это была перчатка Анны Васильевны, которую он возил с собою в Америку, так она с ним и путешествует все это время – побывала в Японии, в Сингапуре, в Китае, некоторым образом она уже стала своего рода амулетом.

Колчак поднес перчатку к губам, поцеловал. Потом осторожно втянул в себя легкий запах, исходящий от перчатки. Перчатка пахла очень вкусно. Она пахла одеколоном, сухой травой, какими-то мазями, чистотой – в общем, пахла женщиной. При всем том перчатка немного постарела – ее не носили, а она постарела, и это маленькое открытие добавило в душу Колчака еще больше печали.

Неожиданно сильно потянуло дымом. Колчак встревоженно выпрямился и сунул перчатку в карман. Ветер за окном усилился, но тяжелые, готовые совсем рухнуть на землю облака быстрее от этого не поползли. Горький тухловатый запах дыма сделался сильнее, он лез в ноздри, выедал их.

«Неужели пожар?» – мелькнуло в голове обеспокоенно и одновременно неверяще: какой может быть пожар в такую холодную погоду? Если только огонь разожжет нечистая сила? Но, видимо, огонь действительно разожгла нечистая сила – Колчак увидел, что по двору пробежало несколько солдат –

пригнувшись, словно они пересекали пространство под пулеметным огнем, двое метнулись к воротам, поспешно распахнули их, и в ворота внеслась тройка очумелых коней с длинной, громыхающей расхлябанными колесами телегой, на которой стояла бочка с водой, опутанная длинной, в матерчатом чехле кишкой, с четырьмя дюжими топорниками, блистающих медными, до сверка начищенными касками.

В доме Колчака действительно возник пожар – в трубе вспыхнула сажа. Когда ее собирается много, с кирпичей – прямо внутри трубы – начинают стекать черные блестящие сосульки, и сажа обязательно загорается. Жаркое пламя из печного пода достигает сосулек, и те вспыхивают, как петарды. Иногда случается, в трубе взрывается граната, вышибает несколько кирпичей. Но это не граната, это – сажа.

На то, чтобы задавить огонь в доме, ушло сорок минут. И Колчак все это время ждал, не покидал помещения. Когда он уехал, его проводили сочувственными взглядами: «Роковой человек!»

Как будто действительно над ним – умным, прославленным, талантливым, храбрым – зажглась черная звезда, та самая, что приносит несчастье – от него отвернулся не только Господь, отвернулись даже ангелы-хранители, – и Колчак ощущал это.

Он остался один, совсем один. Даже близость Анны Васильевны не приносила ему тепла и удовлетворения – иногда он не видел ее целыми неделями...

Его поездка под Тобольск, на фронт, не принесла никакой пользы, скорее наоборот – фронт прогнулся, у красных умело действовал нахрапистый Блюхер, который собственноручно рубал беляков, будто капусту – хоть в бочки для засолки складывай, в окопах было полно вшей, больные, исстрадавшиеся, усталые люди не хотели воевать. Но красные-то хотели – а они находились точно в таких же условиях, – и Колчак не понимал, в чем дело. Приезд его на фронт только ухудшил положение.

Да, стало очевидно, что наступала пора покидать Омск и откатываться на восток, чтобы там перегруппировать свои силы.

Прибыв в Омск, Колчак написал письмо жене. Это было последнее письмо, которое Софья Федоровна получила от мужа. Писал он его пять дней.

Ушло это письмо во Францию с дипломатическим курьером, и Софья Федоровна получила его.

Потом Колчак написал письмо сыну, необычайно короткое, хотя Колчак всегда писал длинно, почти исповедально, но, впрочем, не лишенное политической риторики. Вот оно.

«Дорогой, милый мой Славушок.

Давно не имею от тебя писем, пиши мне, хотя бы открытки по нескольку слов.

Я очень скучаю по тебе, мой родной Славушок. Когда-то мы с тобой увидимся.

Тяжело мне и трудно нести такую огромную работу перед Родиной, по я буду выполнять ее до конца, до победы над большевиками. Я хотел, чтоб и ты пошел бы, когда вырастешь, по тому пути служения Родине, которым я шел всю свою жизнь. Читай военную историю и дела великих людей и учись по ним, как надо поступать, – это единственный путь, чтобы стать полезным слугой Родине. Нет ничего выше Родины и служения ей.

Господь Бог благословит тебя и сохранит, мой бесконечно дорогой и милый Славушок. Целую крепко тебя. Твой папа».

Часть пятая
Черная звезда

Колчак покинул Омск за два дня до его падения. Красные напирали, белые не могли их сдерживать: бои шли уже едва ли не на окраине города. Через Омск, не задерживаясь, проносились казачьи части – покинув фронт, казаки уходили к атаману Семенову – считали, что он будет воевать удачливее адмирала Колчака.

Адмирал переживал происходящее и ругал, очень ругал себя за то, что вляпался в дерьмо, от которого уже никогда и ни за что не отмыться.

Он был готов к самому худшему.

Канцелярия правительства, штаб, охрана, сам Верховный заняли пять эшелонов, которые двинулись на восток под литерами А, В, С, Д, Е. Колчак ехал во втором эшелоне, под литерой В – угрюмый, бледный, погруженный в себя. С ним шел и груз, к которому сейчас тянулись руки очень многих людей – и Семенова, и Гайды, и даже Жанена, – золотой запас России. Жанен, тот вообще требовал сдать золотой запас под охрану союзников, но Колчак отказался – понимал, что тогда этот запас Россия уже никогда не увидит.

Жанен в ответ поджал губы и еще больше обозлился на Колчака.

Едва поезда Колчака покинули Омск, как уткнулись в задницу чехословацкого поезда, состоявшего из пятидесяти вагонов, набитых барахлом, с очень сильной охраной, вооруженной пулеметами. Драться с чехами было бесполезно – из дверей каждого вагона торчало пулеметное рыло.

Уступать дорогу либо отдавать награбленное чехи не желали – все двадцать тысяч вагонов они намеревались перегнать во Владивосток и там перегрузить на корабли. И англичане, и французы были готовы им в этом помочь.

Но Гайда и те, кто находился рядом с ним, прекрасно понимали, что до Владивостока они могут и не добраться – красные окажутся быстрее, перережут дорогу впереди, подопрут сзади, возьмут в мешок и завяжут горловину. А не лучше ли попытаться найти общий язык с красными, договориться, что те пропустят эшелоны с чехословацким корпусом и трофеями, а за это получат ценный дар – живого Колчака? Вместе с его штабом и необоротистыми генералами.

Так Гайда благодарил Верховного правителя за то, что тот

сохранил ему жизнь.

Второй причиной такого поведения чехов был, конечно же, золотой эшелон. Пока Колчак на воле, пока он командует, к золотому запасу никого не подпустит, но как только за золотом не станет верховного пригляда – золотой запас можно будет взять голыми руками. Вместе с охраной.

От грандиозных планов у Гайды начала даже болеть голова. Было отчего заболеть «бестолковке». Продумывая вариант со сдачей Колчака красным, он велел как можно дольше придерживать пять литерных поездов.

– Но ведь это же все-таки Верховный правитель России, – возразил Гайде генерал Гирса. – Стоит ему дунуть в трубу, как у нас с шинелей пуговицы полетят.

– И кто способен это сделать? – с иронией поинтересовался Гайда. – Кто сбреет с наших шинелей пуговицы?

– Генерал Каппель, [182]например.

– У Каппеля не такие длинные руки, как представляется с первого взгляда. Есть более серьезная сила – генерал Сахаров, но Сахаров палец о палец не ударит, чтобы вызволить Колчака. Есть генерал Пепеляев, родной брат министра внутренних дел, но я с ним провел несколько душещипательных бесед, и он тоже не придет адмиралу на помощь.

Гирса с откровенным восхищением посмотрел на Гайду.

– У русских есть очень хорошая поговорилка, – он так и сказал, назвал поговорку поговорилкой, – «Наш пострел везде поспел»...

Слово «пострел» было не менее трудным, чем слово «поговорка», но Гирса одолел его без особой натуги, произнес хотя и медленно, но правильно.

– Вот именно, – сказал Гайда. Русский язык он знал лучше, чем Гирса. – Золотой эшелон мы также будем вынуждены отдать красным. Но предварительно мы несколько облегчим его.

Гирса улыбнулся.

– Вы, Радола, хороший едок, – похвалил он.

– На аппетит не жалуюсь, – пробурчал Гайда.

– В таком разе – приятного аппетита!

– Это хорошо, что вы поддерживаете мою идею. – Гайда мстительно улыбнулся, губы у него сделались тонкими, жесткими, будто два телефонных шнура, сжались в одну прямую линию: вот и наступает пора, когда он разделается с Колчаком за все унижения, за притеснения – за все, словом.

– Поддерживаю, – подтвердил Гирса. – Но что скажет на это Жанен?

– Жанен спит и видит, как вставить этому мореплавателю

перо в задницу. Чтобы он не только плавал, не только бегал по земле, но и летал. Как ангел.

– Хорошо, – довольно произнес Гирса. – Ну, а Сырова я возьму на себя. Он нас поддержит. Он тоже недоволен Колчаком.

Так адмирал Колчак был предан собратьями по борьбе – своими союзниками. Впрочем, не только союзниками. Анатолий Пепеляев все чаще и чаще выступал против адмирала, он стремился к тому, чтобы брата своего Виктора Николаевича Пепеляева сделать преемником Колчака на посту Верховного правителя. И опять, судя по всему, не последнюю роль сыграл тут золотой эшелон – Пепеляеву также хотелось распоряжаться его судьбою. Естественно, по старой, хорошо известной арифметической формуле «Один пишем, восемь в уме».

Кольцо вокруг Колчака сжималось.

Тимирева ехала с Колчаком в одном поезде, только в другом вагоне. Позже, когда она заболела, он забрал ее к себе.

Зима в этом году выдалась ранняя, угрюмая – даже природа и та взбунтовалась против Колчака.

Литерные эшелоны по-прежнему больше стояли, чем двигались, и ночью, лежа на жесткой полке в своем огромном купе – мягких полок он не любил, – Колчак, глядя остановившимися глазами в серое, наполовину прикрытое занавеской окно, анализировал свои ошибки.

В чем он ошибся? Прежде всего в том, что сел в это кресло. Его уговорили, соблазнили и, как часто водится на Руси, подставили. Укрылись за его спиной, а самого подставили. Впрочем, теперь – к сожалению, только теперь – он понял, что больше, чем русские, его подставили англичане, к которым он попросился на службу.

Попросился же он к ним совсем не из политических соображений, но они смогли неприметно, потихоньку развернуть его лодку и пустить по грязной политической реке. Хотя поначалу плыл он по реке совершенно чистой, и помыслы его были чистые – довести войну с Германией до победного конца.

Конечно, он оказался слишком самонадеянным, когда пять месяцев назад отклонил предложение Маннергейма. [183]Маннергейм предложил Колчаку бросить стотысячную финскую армию на Петроград и смять власть большевиков – в обмен на независимость Финляндии. [184]Колчак не пошел на это, считая, что не вправе решать вопросы, связанные с территориями. Зато это с большим удовольствием сделали Ленин со товарищи, которые, не успев прийти к власти, по-своему распорядились землями бывшей Российской империи.

Не удалось ему достичь успехов и в борьбе с коррупцией –

этот микроб проник даже в офицерскую среду. И сейчас за деньги какой-нибудь штабс-капитан готов вынести из канцелярии Колчака эсерам либо большевикам не только папки с секретными материалами, но и на грязном блюде с прилипшими к краям остатками лапши собственную совесть. Коррупция, взяточничество, продажность стали бичом для разлагающейся армии.

Атаманщина. Тоже не подарок. Каждый атаман мнит себя по меньшей мере пупом земли и старается тянуть общую лямку в сторону, из кожи вон лезет, пыжится, кряхтит – делает, словом, все, чтобы на него обратили внимание. Дурацкое дело – штука заразительная. Следом за атаманами стали соперничать командующие армиями...

С союзниками он тоже не сумел найти общего языка.

Если с Ноксом все было в порядке – Нокс хорошо понимал Колчака, а Колчак хорошо понимал Нокса, – то с Жаненом все происходило с точностью до наоборот. Растущая борьба населения против него. Словно бы он об этом населении совсем не пекся. Одних только приказов, запрещающих реквизицию продуктов в деревнях и тем более телесные наказания людей, наберется целый том...

Партизаны. Подполье. Партийная борьба. Этот вонючий котел с кипящей грязью никогда не чистится. В эту грязь старались все время втянуть Колчака, а он все время пытался уклониться. Эта борьба тоже отнимала время и силы. Хотя, если честно, на партийные дрязги просто не надо было обращать внимания.

Что еще? Плохо, что он не решился на аграрную реформу, хотя прочитал все, что написал по этому поводу умный человек Петр Аркадьевич Столыпин. Надо было бы решиться на эту реформу, надо было бы... Но он не решился. А сейчас уже поздно.

Не все, к сожалению, зависело и зависит от него. Многое из того, чего он не мог сделать, на что не решился, вызывает у него какое-то странное чувство, очень схожее с оцепенением, и нет такой силы, которая способна вывести его из этого оцепенения. Тут даже Анна Васильевна не может ничего сделать. Колчак вообще в последнее время стал иным: он сдал, изменился, сделался угрюмым, вспыльчивым, в глазах у него, прорываясь сквозь печаль, иногда зажигался злой мутный огонь, способный перерасти в бешенство, – признак того, что Колчак перестал управлять собою, но в последний момент Колчак находил все-таки в себе силы, чтобы сдержаться. Анна Васильевна представляла себе, что за тяжесть навалилась на его плечи, но всех проблем, навалившихся на него, представить все-таки не могла.

Омск они покинули двенадцатого ноября. Днем тринадцатого Колчак пришел в соседний вагон, в купе к Анне Васильевне, устало опустился на откидную лавку, обтянутую бархатом, и неожиданно чисто и открыто, будто мальчишка, улыбнулся.

– Вы знаете, Анна Васильевна, сегодня утром я вспоминал Японию.

Анна Васильевна улыбнулась ответно.

– Я ее тоже часто вспоминаю. И, пожалуй, чаще других – город Никко. Буддистский монастырь, синтоистский храм Тосегу, фантастические криптомерии, вулканы.

– А я, если говорить о Никко, вспоминаю воду. Как много там было воды! Никко – единственное место, где вода может петь песни. Других таких мест на земле нет.

Анна Васильевна почувствовала, как у нее тоскливо сжалось сердце, глазам сделалось тепло.

– Это – лучшее время, которое мы провели вместе с вами, – сказала она.

– Жаль, что мы там не остались навсегда.

– Вряд ли бы когда-нибудь мы с вами прижились в Японии. Это не наша страна.

– Зато не было бы всего этого. – Колчак сделал брезгливый жест, обводя пальцем пространство вокруг себя.

– Это верно, – погрустнев, согласилась Анна Васильевна. – Но к вам грязь не липнет, Александр Васильевич.

Он снова улыбнулся. На этот раз только одними глазами.

– Я сейчас думаю о том, какой след мы оставим в истории – вы, я...

– Я – никакой, – перебив его, быстро произнесла Анна Васильевна.

– Не согласен.

– Я – с вами. В вашей тени. Вы – на свету, а я – где-то под локтем, под мышкой, рядышком.

– Не принижайте своей роли, Анна Васильевна, – грустно и серьезно произнес Колчак. – А о том, что мы с вами не остались в Японии, я искренне жалею, Анна Васильевна. – У Колчака нервно задергался левый глаз, тик переполз на щеку, следом стала дергаться и щека.

Она протянула руку к его лицу, Колчак отшатнулся от Анны Васильевны, губы у него задрожали, Анна Васильевна произнесла горько, неверяще: «Саша!» – и Колчак пришел в себя. Анна Васильевна подумала, что сейчас не дай Бог заглянуть к нему в душу, пропасть там такая, что голова может закружиться. Осознание этого родило в ней слезы. Анна Васильевна прижала к себе голову Колчака.

– Милый вы, мой милый... – прошептала она нежно. – Вы не один. Я – с вами.

Поезд остановился, под окнами вагона, громыхая винтовкой, у которой замерзший ремень, стукаясь о приклад, издавал железные звуки, пробежал солдат, за ним еще двое. Анна Васильевна погладила голову Колчака и встревоженно выпрямилась: ей показалось, что вся эта суматошная беготня таит в себе опасность. Колчак же не обратил на нее никакого внимания. Он был спокоен – уже был спокоен: ни дергающегося лица, ни странного мертвецкого мерцания в глазах, – даже рот, будто у мальчишки, приоткрылся безмятежно.

Ей очень захотелось поцеловать Александра Васильевича, но что-то остановило ее. Под окнами снова пробежал солдат. За ним, бурча на ходу, еще несколько.

Колчак поднялся:

– Шут знает что! – Он выругался. – Нас теперь будут задерживать у каждого столба. Проклятые чехи! Жаль, я не отдал под расстрел Гайду.

– А с нами ничего не будет? Нас эти проклятые чехи не возьмут в заложники?

– Ни в коем разе! У нас охрана – пятьсот человек солдат и шестьдесят офицеров. Пулеметы. При случае мы даже орудия можем подтащить.

– Тогда почему нас держат?

– Потому и держат, что мы сильные.

Через полчаса поезд тронулся, прополз километра два и снова остановился.

– В чем дело? – возмутился Колчак.

– Пропускаем чехословацкий эшелон.

– Еще один? Они же все ушли вперед, на восток.

– Не все, ваше высокопревосходительство, – ответил Колчаку адъютант. – Думаю, у нас с чехами еще будут проблемы.

Колчак потяжелел лицом и промолчал, ничего не ответил адъютанту.

Прошли сутки. За эти сутки литерные эшелоны продвинулись вперед километров на пятьдесят, не более. До Иркутска, куда переселялась ставка Колчака и омское правительство, было еще ехать да ехать. Скорость, с которой они двигались, рождала лишь зубную боль. Колчак часами неподвижно сидел за столом, сжав кулаки и уставившись в пространство оцепенелым взглядом. У него был вид больного человека.

– Вы не заболели? – спросила у него Анна Васильевна.

– Нет!

Через час она задала этот вопрос снова, и вновь прозвучал

прежний жесткий ответ:

– Нет!

Следующие сутки принесли еще пятьдесят километров. Литерные эшелоны Колчака, похоже, безнадежно увязли в заснеженных сибирских просторах.

На каком-то маленьком разъезде, не имевшем даже станционного здания – была лишь будка с высокой железной трубой, откуда вместе с дымом вылетало веселое искорье, – стояли особенно долго. Колчаковский вагон замер напротив мертвой березы, раскинувшей во все стороны страшные кривые сучья. На нижней ветке – длинной, узловатой, черной – устроились две вороны. Обе – старые, с железными, похожими на гвоздодеры, клювами, заглядывали издали в вагон Верховного правителя, словно что-то искали в нем. А может быть, что-то чувствовали...

Какой-то солдат остановился около березы, громыхнул прикладом винтовки о мерзлую землю:

– А ну, кыш отсюда! Пр-роклятые!

Вороны даже глазом не повели: обращать внимание на разных плюгавых человечишек было не в их правилах. Анна Васильевна долго смотрела на птиц в окно:

– Очень похожи на собак, которые готовятся напасть на человека.

На следующий день также удалось одолеть километров пятьдесят – и вновь прочно встали.

– В чем дело? – пробовал возмутиться Колчак.

– Мне сообщили, что следом за нами эвакуируется чехословацкий полк, – ответил адмиралу адъютант Комелов. – Мы покинули Омск двенадцатого ноября, чехи – тринадцатого.

– Помилуйте, Михаил Михайлович. – Голос у Колчака натянулся и зазвенел. – Я-то хорошо знаю, когда чехи покинули Омск. Последний их полк ушел из Омска пятого ноября. Пятого, а не тринадцатого.

– Я оперирую теми фактами, Александр Васильевич, которые мне дали сами чехи.

– Чехи подгоняют факты под себя, а не под нас. Что им выгодно, то они и говорят. – Колчак отодвинул в сторону шторку и выглянул в окно.

Серый снег ежился под натиском морозов. Ветер сбивал его с макушек сосен и пихт, дробил в воздухе, играл им, кидая из стороны в сторону целыми пригоршнями, немедленно залепил окно, в которое смотрел Колчак, но снег на стекле не удержался, сполз вниз. Анна Васильевна, зябко передернув плечами, нагнулась к Колчаку, также заглянула в окно.

Первое, что она увидела, были две огромные недобрые вороны с клювами-гвоздедерами. Они сидели на макушке пихты, кое-где еще сохранившей свой рыжий колючий наряд, и сосредоточенно смотрели на Колчака. Анна Васильевна не выдержала, прижала пальцы к губам: показалось, что это те самые вороны, и они проделали пятидесятикилометровый путь вслед за поездом. Было сокрыто в их стремлении не отстать от эшелона Колчака что-то бесовское.

Пятнадцатого ноября чехи заявили официально – раньше таких заявлений не было, – что им совершенно нет дела до России, до Сибири, до революции и белого движения, они немедленно возвращаются домой.

Эшелоны Колчака – литерные, которые по всем законам дороги надо было пропускать в первую очередь, не задерживая ни на минуту, – стояли. Даже эшелон В, в котором ехал правитель. Единственный поезд, который белочехи желали бы пропустить, а потом подрезать ему хвост, был эшелон Д. В нем находился золотой запас России. Но Колчак этот эшелон держал подле себя, не отпускал.

На линии Новониколаевск – Ачинск шли сильные бои; было много раненых, обмороженных. Когда началась эвакуация пострадавших, чехи поснимали с санитарных эшелонов все паровозы и поставили на свои поезда.

А в русских теплушках тем временем умирали люди. Колчак направил несколько телеграмм Жанену и Сыровны – бесполезно. Он просил: обеспечьте паровозами хотя бы эшелоны с ранеными. Сам он готов был подождать. Ни Жанен, ни Сыровны на эти телеграммы даже не отозвались, словно Колчак перестал существовать для них, уже не был Верховным правителем.

22 ноября, прямо в вагоне, Колчак подписал постановление о назначении Виктора Николаевича Пепеляева председателем Совета министров. Вызвал Пепеляева к себе в вагон, дал прочитать ему бумагу с еще не высохшими чернилами и спросил напрямик:

– Что намерены делать? Ваша программа?

– Прежде всего – всех примирить, – не задумываясь, ответил Пепеляев. – Совмин с городскими думами Сибири, земство с армией, союзников...

– ...с партизанами, – усмехнувшись, оборвал его Колчак.

Пепеляев сделал вид, что выпада Верховного не заметил.

– В конце концов создадим правительство общественного доверия.

– Кого же вы в него включите? – спросил Колчак.

Пепеляеву очень хотелось назвать первым своего брата

Анатолия Николаевича, но вместо этого он протянул задумчиво:

– Ну-у… Наверное, Червена-Водали, Шумиловского, Ларионова, Клафтона… [185]– Пепеляев вопросительно глянул на Колчака, ожидая, какая же последует реакция.

Колчак молчал. Лишь неприятно, по-боксерски, словно после нокаута, двигал нижней челюстью и молчал.

– И еще… еще надо, Александр Васильевич, созвать земский собор, – сказал Пепеляев. – От этого очень многое зависит. Очень, – повторил он с выражением, видя, что Колчак молчит.

Раз молчит, значит, колеблется.

– Как вы относитесь к генералу Сахарову? – неожиданно спросил Колчак.

– Отрицательно. – В голосе Пепеляева появились резкие, почти визгливые нотки. Он знал, что Сахаров находится во враждебных отношениях с его братом, и это раз и навсегда определило отношение Пепеляева к Сахарову. – Бездарно сдал Омск. Сейчас бездарно отступает.

– И что же вы советуете с ним сделать?

– Арестовать!

– Кого на его место?

Пепеляев вновь хотел назвать имя своего брата и вновь не решился. Промолчал.

– Ясно, – произнес Колчак угрюмо: он все видел, он все прекрасно понимал. – Сахарова пока не трогайте.

– Хорошо, – пообещал Пепеляев-старший (разница в возрасте братьев составляла семь лет), но первое, что он сделал, когда встретился с Сахаровым, – приказал арестовать его.

Колчаку ничего не оставалось делать, как назначить на место Сахарова Владимира Оскаровича Каппеля. Каппель был единственным человеком, которого доколчаковская Директория [186]произвела в генералы, вторую генеральскую звезду он получил уже из рук Колчака.

Хоть и было Каппелю всего тридцать семь лет, а Колчак считал, что этому выпускнику Академии Генерального штаба России – самого аристократического учебного заведения – генеральское звание присвоили слишком поздно.

Когда Колчак понял, что с братьями Пепеляевыми ему вряд ли сварить кашу – братья обведут его вокруг пальца, поскольку понятие о чести у них отсутствует вовсе, – он по прямому проводу связался с Каппелем.

Каппель находился в пути – его армия совершала так называемый Ледяной поход – охваченная тифом, голодом, холодом, преследуемая по пятам частями Пятой армии – красной, – она уходила на восток по глубоким снегам, по

бездорожью, по старому сибирскому тракту, К железной дороге Каппеля не подпускали вооруженные до зубов чехи: они хорошо понимали, что может сделать регулярное войско. Каппель матерился, но с чехами не связывался – все-таки союзники...

«Владимир Оскарович, я намерен снять с себя полномочия Верховного правителя», – отстучал ему по телеграфному проводу Колчак.

«Очень сожалею, – прямодушно ответил Каппель, – кроме вас, я не вижу ни одного человека, который мог бы занять это место».

«А я вижу».

«Кого?»

«Вас».

Некоторое время Каппель молчал. Старенький, с гнутыми катушками телеграфный аппарат как будто умер. Наконец Каппель ожил:

«Благодарю вас, Александр Васильевич, но я не готов принять столь лестное предложение. Я отказываюсь...»

«В чью пользу?» – вновь перебил его Колчак, и по тому, как он, обычно осторожный, старающийся не обижать людей резкими словами или излишней поспешностью, повел себя, было понятно, в каком состоянии он находится.

«В вашу, Александр Васильевич!»

На этом телеграфная связь прервалась. Каппель двинулся дальше. Он пробивался к Байкалу. Морозы жали все сильнее и сильнее, от них лопались деревья, и не только они – с пушечным грохотом, опасно стреляя каменной шрапнелью, разваливались старые скалы, каменные зубья, с языческих времен сидящие в здешней земле, которым поклонялись все, кому не лень, даже солдаты микадо, рассыпались. Исчезли птицы и звери: они либо гибли, либо ушли в более теплые места, либо затаились, зарывшись в снег, в землю, сами сделавшись землей, ее плотью, корнями деревьев – главное было выжить, и для этого можно было притвориться кем угодно. Только одни люди не могли стать землей, они хрипели, плевались кровью, оставались лежать на дороге. Присел вроде бы человек малость перевести дыхание, скорчился на корточках, а в следующую секунду, глядь, его уже и нет – ткнулся головой в ледяной заструг и затих, – остальные шли дальше, на восток.

Части Каппеля пробились к Байкалу только в конце января 1920 года. Каппеля к этому времени уже не было в живых: он отморозил себе обе ноги – их ему отрезали, – а легкие застудил так, что вылечить генерала было невозможно: не помогли ни медвежья желчь, ни жир, пахнущий навозом, который надо было пить с ложки расплавленным, ни настойка золотого корня, – и

умер. Произошло это на разъезде Утай, близ Иркутска, 26 января.

Это случилось позже, через два месяца, а пока на дворе стоял ноябрь 1919 года.

Телеграфная связь Колчака с Каппелем так и не возобновилась.

– Достойный человек, – сказал Колчак Анне Васильевне. – Как только прибудем в Иркутск, я ему присвою звание генерала от инфантерии.

Но присвоить Каппелю звание полного «пехотного» генерала Колчак не успел.

Пока же самыми боеспособными, самыми организованными войсками в колчаковской армии оставались войска Каппеля. Русские эшелоны продолжали стоять – чехи не пускали их, перекрывали дорогу, оставляя на съедение противнику. В эшелонах было много раненых и больных, не способных двигаться людей.

24 ноября Колчак послал командующему чехословацким корпусом телеграмму: «Продление такого положения приведет к полному прекращению движения русских эшелонов и гибели многих из них. В таком случае я буду считать себя вправе принять крайние меры и не остановлюсь перед ними».

Едва телеграмма ушла, как к Колчаку явился Пепеляев, новый премьер.

– Слишком резко вы с чехами, Александр Васильевич, – заявил он. – Нельзя так...

– Можно! – Колчак повысил голос. – Я возрождаю Россию и для достижения этой цели не остановлюсь ни перед чем. И уж тем более перед тем, чтобы силой усмирить чехов, наших бывших военнопленных.

Но усмирять чехов ему было нечем. Ни сил, ни оружия – ничего уже не было. Положение оказалось унизительным. Колчак иногда слышал, как у него в груди что-то затяжно, мокро, хлюпало – это хлюпали слезы.

Все его поезда, в том числе и главные, под литерами В и Д, продолжали стоять. Конфликт с чехами разрастался.

Пепеляев предпочел отцепить свой вагон от поезда Колчака и прицепиться к другому составу. Главное для него было сейчас добраться до своего брата – тогда он и жизнь себе сохранит и – что было главнее жизни – портфель, так удачно свалившийся на него.

Узнав об этом поступке Пепеляева, Колчак выразился коротко и очень определенно:

– Гнида!

Едва адмирал произнес это слово, как залязгали железные

суставы поезда, огромный, синий, недобро мерцающий своей макушкой горб снега, находившийся напротив окон вагона Верховного правителя, дрогнул, пополз назад, макушка его тихо двинулась куда-то вниз, и в образовавшемся провале Колчак увидел двух больших клювастых ворон, жадно глядевших на него.

Все птицы в этот гнетущий мороз исчезли – ни воробьев, ни синиц, ни клестов, – только эти жирные, похожие на телят вороны... Они почему-то остались. Похоже, это было их время – время жирных ворон. Колчаку сделалось неприятно, и он задернул шторку.

21декабря на железнодорожной магистрали началось восстание: учителя, гимназисты, телеграфисты, чумазые паровозники – рабочие, ремонтирующие подвижную технику, порченую войной, ржавью и морозами (усталая сталь ломалась на пятидесятиградусном морозе, как гнилой картон), лесорубы, охотники – все схватились за берданки. Им было безразлично, кого бить. Особенно охотникам: хоть чехов, хоть японцев, хоть Каппеля, хоть самого Колчака – главное было нажимать на спусковой крючок, а кто окажется в прорези прицела – безразлично. За оружие схватились даже крайне осторожные, действующие по принципу «семь раз отмерь, один – отрежь» земские деятели. Эсеры, меньшевики, анархисты, большевики выступили против Колчака единым фронтом. Избрали свой «Совмин», назвали его Ревкомом. С большой буквы.

Чехи немедленно послали в Ревком свою делегацию со сливовой водкой и самодельной чесночной колбасой – имелись в их эшелонах мастера и по производству водки, и по производству колбасы. На переговорах было достигнуто соглашение: друг друга не трогать.

Собственно, большего чехам и не надо было: главное для них сейчас – вырваться из проклятой России.

Поезда Колчака все еще находились в пути – адмирал был спеленут как ребенок. Сидя в вагоне, Верховный правитель не мог организовать никакого сопротивления.

27 декабря литер В, обойдя стороной Красноярск, около которого шли сильные бои, прибыл в Нижнеудинск.

На станции полыхало несколько домов. Крышу низкого кирпичного пакгауза украшали два тупорылых заиндевелых пулемета.

– Что случилось? – поинтересовался Колчак у адъютанта.

– Сегодня ночью власть в Нижнеудинске захватило политбюро.

– Это что еще такое – политбюро? – поморщился Колчак. Всякие новые незнакомые словечки вызывали у него зубную боль.

– Так называется местный ревком.

Что такое ревком, Колчак уже знал, снова сморщился:

– Ну и звали бы его ревкомом, только с маленькой буквы. А то – политбюро. Натощак даже опасно выговаривать: слово может застрять в желудке, как рыбья кость.

Над пулеметами поднялся стрелок в заиндевелой папахе и толстом, обтянутом тканью полушубке, зло глянул на колчаковский поезд – глаза у него были как гвозди, неприятные глаза, повернулся, что-то сказал людям, лежавшим на крыше, сделал рукою резкий жест, будто хотел их вогнать в эту крышу, и снова лег.

Было слышно, как охрана открыла в колчаковском вагоне тамбур и в свою очередь также выставила пулемет.

– Надо двигаться дальше, – с зажатым вздохом произнес Колчак, – здесь вот-вот начнется стрельба. – Он боялся что под пули попадет Анна Васильевна. – Негостеприимный город! – В груди у Колчака, внутри, послышался хрип, под левым глазом задергалась мышца.

– Ехать пока нельзя, Александр Васильевич, – сказал Комелов. – Надо разобраться, что происходит на дистанции. Иначе угодим в капкан. Чехи ведут себя, как проститутки: и нашим дают, и вашим дают. И щупальцы, как осьминоги, во все стороны раскинули, ничего мимо себя не пропускают. А на пулеметы, поставленные на крыше пакгауза, не обращайте внимания. Это наши пулеметы.

Действительно, тамбур в колчаковском вагоне вскоре захлопнули, «максим» с заправленной в чрево патронной лентой откатили к противоположной двери.

– Почему нельзя ехать? – Колчак нервно пощелкал пальцами. – Из-за возможности капкана? Это мы можем узнать только в пути. Если будет капкан – разберемся. Я сам, в конце концов, возьмусь за винтовку.

Но поезд Колчака прочно застрял в Нижнеудинске. Вскоре к нему присоединился второй поезд – премьера Пепеляева. Виктор Николаевич, как выяснилось, времени не терял и обзавелся своим поездом. Целым составом! Аппетит у него оказался недурный.

Вечером пришла телеграмма из Иркутска, от генерала Жанена. Жанен сообщал, что согласно договоренности с политбюро Нижнеудинск объявлен нейтральной зоной и трем составам – Колчака, Пепеляева и «золотому эшелону» «в видах их безопасности» (так и было написано) следует оставаться в Нижнеудинске.

Это уже походило на арест, пока еще негласный.

Дома на станции благополучно догорели, остались лишь

остовы, которые страшными черными стволами смотрели в небо, словно готовились стрелять. Стропила ближайшего сгоревшего дома перечеркивали небо тюремной клеткой.

Неожиданно на них опустились две толстые грязные вороны с огромными железными клювами-гвоздедерами – те самые, могильные, преследовавшие Колчака. Напряжение нарастало.

Колчаку казалось, что к вечеру они обязательно двинутся дальше и опасный, уже обрыдлый нижнеудинский перрон останется позади, а они уйдут в ночь, в зимнюю морозную чистоту, к промерзлым звездам, но не тут-то было. Колчаковский поезд, как и пепеляевский – Виктору Николаевичу не удалось нырнуть под защиту брата, он вынужден был делить судьбу Верховного правителя, – остался ночевать на нижнеудинском вокзале.

22 декабря Колчак ужинал вместе с Анной Васильевной. Ужин был скромный – котлеты, картофельное пюре, салат из тертой морковки, заправленный жиденькой сметаной, соленый омуль и местный деликатес – моченая черемша. Не хватало хлеба. Колчак морщился – он, как и все на флоте, привык есть много хлеба. Хлеб – вообще русская пища.

– У меня – плохие предчувствия, Александр Васильевич, – пожаловалась Анна Васильевна.

Электричества не было, над головой у Колчака висел керосиновый фонарь, пламя в нем мигало, щелкало – в некачественный керосин, чтобы он лучше горел, подбавляли соль, – на столе стояло две свечи. Колчак достал из кармана спички – длинную деревянную щетку, похожую на расческу, чьи зубья были украшены серными головками, зажег обе свечи.

Анна Васильевна обеспокоенно поднялась из-за стола:

– Надо бы третью свечу. Две свечи – это плохо.

– Почему? – непонимающе спросил Колчак.

– Две свечи – к покойнику. Вообще, четные числа – это мертвые числа, живые числа – нечетные.

Через несколько минут принесли еще одну свечу. Колчак поспешно запалил ее.

– Почему мы здесь стоим? – В голосе Анны Васильевны послышались слезные нотки.

– Таково распоряжение Жанена. – Губы Колчака дрогнули. – Никогда не думал, что я, русский адмирал, вынужден буду подчиняться у себя дома, в России, приказам какого-то чужеземца. Это называется – дожили.

– Чем он обосновывает такой приказ?

– Нашей безопасностью.

– Вот негодяй! – не сдержалась Анна Васильевна от резкого

высказывания.

– Ничего, потерпим еще немного. – В тусклом голосе адмирала появились бодрые нотки, но они быстро угасли, Колчак почувствовал себя неожиданно очень старым, совершенно изношенным человеком, в котором болело все без исключения – проще было перечислить места, которые не болели, – ноздри, например. Это странное состояние внезапно навалившейся старости, оцепенения невозможно было одолеть, и Колчаку от того, что он не может это сделать, становилось тошно.

– Что с вами случилось, Саша? – обеспокоенно спросила Анна Васильевна.

Тот задержал во рту воздух, потом шумно выдохнул, надеясь выбить из себя и боль, и старость, но не тут-то было: все это осталось в нем, боль проколола позвоночник, и только тут он понял, что его вновь, спустя много лет, достал Север. Видимо, нервный запас, отведенный ему, истощился, в нем что-то полетело, потеряло прочность, и Колчак сразу стал чувствовать себя одряхлевшим, со скрипучими больными чреслами человеком.

– А вообще не верю я в эту нейтральную станцию, – произнес он тускло, поморщился: Анна Васильевна поняла, что сказал он это лишь для того, чтобы что-то сказать, открытие это бодрости ей не добавило, лицо у нее побледнело, и Колчак молча выругал себя. Зачем он произнес эту дурацкую фразу?

Было слышно, как под окнами вагона ходят двое часовых, встречаясь, останавливаются, круто разворачиваются, будто на парадном смотре, и снова расходятся.

– Я тоже не верю, – неожиданно произнесла Анна Васильевна. Беспокойство, натекшее было в ее голосе, исчезло. – И союзникам не верю. Но у нас, Саша, есть Бог, все мы под ним ходим... Что уготовано нам судьбой – того не миновать.

С этим Колчак был согласен.

Не тронулся колчаковский состав и на следующий день. Он словно примерз колесами к железной колее Нижнеудинска.

«Сколько же мы будем здесь стоять?» – спросил Колчак по телеграфу генерала Жанена.

«Пока не убедимся, что вам ничего не угрожает», – вежливо ответил Жанен.

Колчак обессиленно порвал телеграфную ленту.

Застряли только три эшелона – его, пепеляевский и «золотой», остальные благополучно ушли на восток.

«Что в Иркутске?» – спросил Колчак у Жанена.

«Восстание, – односложно ответил тот. Потом, понимая, что такой ответ звучит идиотски, добавил: – С восставшими мы ведем

переговоры».

Насчет переговоров Жанен не лгал, он действительно вел переговоры – сдавал Колчака восставшим по всем правилам игры. За это он сам хотел выйти из мясорубки целым, вывести из нее легионеров и в первую очередь – чехословацкий корпус, а заодно и «золотой эшелон».

Переговоры были половинчатыми. Политцентр соглашался за Колчака пропустить к морю всех иностранцев, что воевали здесь, грабили Сибирь, дать им вывезти наворованное добро – двадцать тысяч вагонов только у одних чехов, это же чуть не вся Россия! – дать возможность беспрепятственно выехать иностранным миссиям, но не пропускал «золотой эшелон». Жанену же очень не хотелось отдавать «золотой эшелон», больно уж сладкий был кусок.

Коса нашла на камень. Колчаковский литерный поезд продолжал мозолить глаза нижнеудинским дружинникам. Они уже несколько раз прорывались на станцию, но, узнав о числе пулеметов, охранявших Колчака, откатывались назад.

– Погодьте, погодьте! – кричали они в сторону вагонов. – Мы скоро мортиру прикатим, на прямую наводку поставим, живо стекла повышибаем!

Один раз им с крыши дали очередь под ноги. Взрыхлили снег, в воздух полетела серая ледовая пыль. Пыль рассеялась – на перроне ни одного дружинника. Все попрятались за угол здания. Выглянули оттуда испуганно один раз, другой и затихли.

Приближался новый, 1920 год. Но предстоящий праздник ничего радостного не сулил.

В канун Нового года Колчак пришел в вагон офицеров охраны. Приказал:

– Соберите солдат!

Солдат было много – пятьсот человек, и они не могли поместиться в один вагон.

– Тогда пусть явятся представители, один от десяти человек, – велел Колчак.

Это было можно. Офицеры молчали – понимали, что Колчак должен сказать что-то очень важное. Колчак тоже молчал, угрюмо поглядывал в окно, ждал, когда соберутся все.

Солдаты приходили тихие, подавленные, ни одного громкого возгласа, ни одной бодрой нотки в разговоре.

– Я собрал вас затем, чтобы поблагодарить за верную службу, – сказал Колчак и замолчал. Слова ему давались с трудом, он почти не мог говорить, в горле что-то застревало, мешало дышать, из груди доносился хрип. Он поморщился. – Наверное, каждому из вас я мог бы сказать что-нибудь хорошее и

слова бы для каждого нашел свои, но не могу, нет сил. Простите меня!

Собравшиеся молчали.

– Вы видите, что происходит, – продолжал Колчак, – мы очутились в кольце. Одни. Недалеко от нас находится генерал Каппель, но он вряд ли сумеет пробиться к нам. Связи с ним никакой...

Колчак пробовал говорить быстрее, обычным своим голосом, без срывов и хрипа, но это у него не получилось, к секущей боли в спине добавилась боль в сердце, он тяжело вздохнул и замолчал.

Собравшиеся тоже молчали.

– Я не хочу, чтобы вы попали в молотилку вместе со мной. Молотилка может быть жестокой, она не пощадит никого, ни правых, ни виноватых. – Колчак покосился в темное, затянутое сверкучим инеем окно. В вагоне сильно пахло керосином. Наверное, какой-то неуклюжий криворукий солдат, заправляя фонарь, пролил драгоценную влагу. С керосином было плохо даже в колчаковском поезде. – Вы свободны, – сказал Колчак, опять замолчал и после паузы заговорил вновь: – Я освобождаю вас от всяких обязательств передо мною. В штабном вагоне есть несколько ящиков водки. Заберите их, чтобы было с чем встретить новый тысяча девятьсот двадцатый год. Пусть он будет для вас лучше года уходящего, тысяча девятьсот девятнадцатого.

Собравшиеся продолжали молчать. Лица у людей были подавленными.

– Еще раз спасибо вам за все, – сказал Колчак и тяжело, по-старчески держась за поясницу, поднялся.

Вагон офицеров охраны он покинул в таком гнетущем молчании, что у некоторых даже зашевелились волосы на голове: все хорошо понимали, что происходит.

Честно говоря, Колчак думал, что охрана, получив свободу, все-таки останется с ним – ведь, кроме его индульгенции, есть еще и совесть, а совесть должна была приказывать солдатам остаться. Но утром выяснилось, что вагоны охраны пусты. С Колчаком остались только офицеры.

Это было ударом. Более того, подействовало так, что к вечеру следующего дня Колчак поседел окончательно. Седина была у него и раньше, но не густая, а сейчас он поседел сильно, сплошь.

Новый, 1920 год Колчак встретил в вагоне, в том же промерзшем литерном салоне, все там же, в опостылевшем Нижнеудинске, под прицелом двух пулеметов, которые изменившая Колчаку прислуга разворачивала то в одну сторону, то в другую, чтобы пулеметы окончательно не вмерзли в крышу.

Казалось, что по движению пулеметных стволов можно было

понять, как идут переговоры генерала Жанена с восставшими, в чью сторону склоняются весы.

– Да, жаль, что мы с вами не остались в Японии, – выпив шампанского, неожиданно произнесла Анна Васильевна и заплакала.

Милое удлиненное лицо ее постарело, высохло, она поняла это, прижала пальцы к щекам:

– Я подурнела, Александр Васильевич?

Он потянулся к ней, подхватил вялую холодную руку, прижал к губам пальцы. Произнес тихо:

– Я очень люблю вас, Анна Васильевна!

Она заплакала сильнее.

– Не расстраивайтесь, Анна Васильевна, – попросил Колчак. – У нас с вами была такая жизнь, какой не было ни у кого. Каждый прожитый день способен родить в душе тепло. На том свете я буду вспоминать нашу с вами жизнь и вас.

Он понимал, что несет чушь, произносит не те слова, не о том говорит. Ему надо было успокаивать Анну Васильевну, а он ее расстраивает. Да и вообще, может, сейчас лучше помолчать, чем что-то говорить, молчание почти всегда бывает сильнее самых убедительных речей.

Он вновь налил шампанского в ее бокал. Себе налил водки, чокнулся с Анной Васильевной.

– Я очень жалею, что доставил вам столько бед, – произнес он тихо, каким-то мертвенным, почти лишенным красок голосом, – и вообще часто бывал неправ по отношению к вам. Простите меня!

Анна Васильевна заплакала еще сильнее.

– Простите меня! – вновь тихо и виновато пробормотал Колчак.

Анна Васильевна недавно переболела испанкой, лицо ее, казалось, до сих пор хранило в себе жар хвори, в глазах застрял страх, ей было плохо, но она понимала, что Александру Васильевичу еще хуже, чем ей.

Потому она и плакала. Не за себя плакала – за него. Поскольку знала: он не заплачет.

В новогоднюю ночь Анна Васильевна осталась у Колчака в купе – раньше такого не бывало, Колчак старался не афишировать свои отношения с Тимиревой, но в этот раз соблюдать приличия не было ни сил, ни желания.

Ночью мороз загремел такой, какой в этих местах бывал редко – под шестьдесят. Было слышно, как за стенками вагона ворочались, вздыхали, будто живые, сугробы. Им было холодно. Денщики топили вагон всю ночь, не давали печи затихнуть ни на минуту – та гудела голосисто, рявкала, потом вдруг начинала

петь басом, затем бас, словно у печки где-то в боку образовалась дырка, превращался в фальцет, фальцет же через несколько мгновений переходил в тоненькое комариное пищание. Денщики выдохлись, но тепло в вагоне сохранили.

Ночью первого января 1920 года чехи громогласно объявили, что берут Колчака под свою защиту. Это означало арест.

К Колчаку незамедлительно явились несколько офицеров охраны – те, что решили остаться с ним до конца. Лица этих молодых людей были обеспокоены.

– Это ловушка, Александр Васильевич, – заговорили они горячо, сразу в несколько голосов, – надо бежать!

– Куда? – устало и безразлично спросил Колчак.

– В Монголию! Только туда. Граница недалеко, кони есть, оружие есть. А, Александр Васильевич?

– В такой мороз, без теплой одежды, без продуктов? Со мной Анна Васильевна, ее бросить нельзя.

– Анну Васильевну никто не тронет. Она – самый обычный, самый рядовой сотрудник отдела печати Совета министров. За Анну Васильевну не беспокойтесь.

– Нет, – произнес Колчак после некоторых раздумий.

– Мы вас переоденем в рядового конвойца, в солдата, все сделаем так, что комар носа не подточит... А, Александр Васильевич? Вы же видите, здесь оставаться нельзя.

– Вижу, но покинуть эшелон не могу. И Пепеляев свой вагон не покидает.

– Пепеляев – ничтожество, – горячо проговорил один из офицеров. – Для того чтобы это понять, не надо быть проницательным.

– Нет, все равно не могу покинуть эшелон, – вновь произнес Колчак и почувствовал, как у него нервно задергалась щека, прижал к ней холодные подрагивающие пальцы и отрицательно покачал головой.

Офицеры ушли от него раздосадованные.

Впрочем, у Колчака были кое-какие свои наметки, о которых он не сообщил офицерам. Он все еще рассчитывал на Каппеля: тот был верным человеком.

У Колчака появился командир первого батальона шестого чешского полка майор Кровак, лихо козырнул и на чуть замедленном русском языке произнес:

– У вас тут очень тепло.

– Как в Африке, – недружелюбно подтвердил Колчак.

Майор предложил Колчаку перейти в другой вагон – он назвал его «отдельным» – необжитый, холодный, предложение было сделано поспешно, и у Колчака сложилось впечатление, что

его личный вагон срочно кому-то понадобился.

– Зачем все это? – спросил Колчак.

– Для вашей же безопасности, господин адмирал.

Старая песня. И слова в ней старые, и музыка.

– Хорошо, – наконец произнес Колчак, хотя ничего хорошего в предложении Кровака не было. Если раньше Колчак находился под арестом, так сказать, домашним, негласным, то сейчас условия ареста стали более жесткими. Вагон прицепили к чехословацкому эшелону, украсили его, будто новогоднюю игрушку, союзническими флагами: американским, английским, французским, японским и чехословацким. Потом, подумав, добавили к этой «знаменнице» еще один флаг – белый, по косой перечеркнутый синими полосами, – андреевский. По замыслу эта расцветка должна означать, что вагон находится под защитой иностранных государств.

Но восставшим было глубоко наплевать на то, под чьей защитой находится этот вагон.

К эшелону первого чешского батальона был прицеплен и вагон Пепеляева.

Вскоре эшелон бодро, на завидной скорости, покатил на восток, к Иркутску.

А в Иркутске тем временем заканчивались переговоры генерала Жанена с восставшими. Предметом переговоров – точнее говоря, торга – по-прежнему была голова Колчака.

Последний этап этого торга начался второго января и шел несколько дней.

Восставшие требовали сдать им Колчака, Пепеляева и «золотой эшелон», взамен они обещали беспрепятственно пропустить составы с союзниками на восток. Обещали даже не заглядывать в вагоны с награбленным.

– Мы это дело очень точно понимаем, – говорили представители восставших, – военный трофей есть военный трофей.

Власть в Иркутске к той поре уже разделилась. С одной стороны, восставшими командовал Политцентр (бывшее Политбюро, с большой буквы), куда входили эсеры и меньшевики, председателем Политцентра стал эсер Ф. Ф. Федорович, который провозгласил свержение правительства Колчака, войну большевикам и создание в Восточной Сибири, вплоть до самого океана, демократического государства, вполне возможно, буферного – Федорович был согласен и на это, а с другой – большевики, во главе которых стоял Революционный военный штаб.

Политцентр был пока сильнее штаба, большевики заняли

выжидательную позицию, они выбирали удобный момент, когда власть можно будет выбить одним ловким ударом из рук противников.

Условия переговоров с Жаненом насчет обязательной сдачи Колчака, Пепеляева и «золотого эшелона» совпадали с условиями Политцентра. От имени правительства Колчака переговоры вел кадет А. А. Червен-Водали, вместе с ним – генерал М. В. Ханжин и А. М. Ларионов. Эти три человека и образовали чрезвычайную тройку. Члены тройки были, пожалуй, единственными людьми, которые пытались заступиться за Колчака. Что же касается Жанена, то он палец о палец не ударил, чтобы хоть как-то защитить адмирала. Хотя был обязан это делать по долгу службы.

Чрезвычайная тройка затягивала переговоры – надеялась, что вмешаются японцы, а также втайне рассчитывала на успех семеновцев (не Каппеля, а семеновцев), которые на востоке от Иркутска стали вести активные боевые операции, и операции эти очень тревожили и эсеров, и меньшевиков, и большевиков.

Но атаман Семенов надежд не оправдал, максимум, на что он был способен, – сдувать каждое утро пыль со своих генерал-лейтенантских звездочек. Голодные и холодные красные, почти без патронов, держась только на одной злости, крупно и больно надавали Семенову по морде.

И Семенов, привыкший действовать нагло, безнаказанно, стих и, говорят, даже начал подумывать о том, а не замириться ли ему с большевиками. События тем временем раскручивались с быстротой невероятной. Беспокойное время легко превращало героев в неудачников, трусов делало храбрыми, проигравших возносило на гребень победы, судьбы людские тасовало, как колоду затрепанных карт с подлинно шулерской бездумностью, с ловкостью необыкновенной.

Третьего января чрезвычайная тройка от имени Совета министров отправила Колчаку телеграмму с требованием отказаться от власти. Колчак эту телеграмму даже читать не стал – не теми фамилиями подписана, да и не указ они ему.

Хотя мысль отказаться от власти уже давно не давала ему покоя. Жаль, что Каппель, честный человек, отверг пост Верховного правителя... Достойная была бы замена. Другого кандидата на свое кресло Колчак не видел. Если только Деникин... Да, да, Деникин! Колчак приказал принести ему телеграмму, присланную чрезвычайной тройкой.

Вяло шевеля губами – совсем стал стариком, голова за две недели сделалась, как у луня, не белой, а уже голубой, – он прочитал текст, бросил телеграмму на пол.

Через полчаса к нему заглянул дежурный адъютант,

прикомандированный к службе секретарей.

Колчак сидел на вагонной скамье, вытянув шею и откинув голову назад. Глаза его были закрыты. Телеграмма чрезвычайной тройки продолжала валяться под ногами.

– Принесите лист бумаги, – не открывая глаз, потребовал Колчак от адъютанта.

Тот принес стопку бумаги, походную чернильницу и потертую деревянную ручку. С тех пор, как их переселили в этот вагон – второго класса, у них не стало даже хорошей «канцелярии», все ушло с эшелоном В невесть куда. Даже бумаги более-менее сносной, не говоря уже о «вержэ», не было.

– Пишите крупно, сверху: «Указ», – приказал Колчак.

Адъютант повиновался, написал, поднял глаза на адмирала – понял, что присутствует при свершении исторического акта, шмыгнул по-мальчишески сочувственно: ему было жаль адмирала... Колчак сидел в прежней позе, откинувшись назад и закрыв глаза. Лишь кадык у него на шее дергался, ходил вверх-вниз чугунной гирькой. Лицо Колчака было бледным.

«Может, принести лекарства?» – мелькнуло в голове адъютанта, он засуетился, отложил бумагу в сторону, но Колчак поднял руку, останавливая его, произнес жестко, почти не разжимая губ:

– Поменьше суеты, поручик! Вы не на занятиях по верховой езде.

– Извините, ваше высокопревосходительство, – сконфуженно пробормотал адъютант.

– Пишите. Пункт первый. «Всю полноту военной и гражданской власти передаю генерал-лейтенанту Деникину Антону Ивановичу». – Колчак умолк, послушал несколько мгновений, как адъютант скрипит ручкой. Усмехнулся про себя: ему было хорошо понятно смятение молодого человека. Напрасно он выговорил ему... Попросил извиняющимся тоном: – Если я что-то скажу не так, не стесняйтесь поправить меня, поручик. В голове – полная мешанина, – пожаловался он, – смесь боли, звона, обрывков невеселых мыслей, свиста.

Адъютант молчал, у него словно пропала речь, и он стал безъязыким.

– Может быть, следует даже написать вот так. – Колчак покашлял в кулак: – Не всю полноту власти, а «верховную власть в России передаю Деникину Антону Ивановичу». В общем, это надо подредактировать, обрамить соответствующими словами...

Адъютант послушно наклонил голову.

– Пункт второй, – продолжил Колчак. – «Всю полноту военной и гражданской власти на всей территории Российской Восточной

окраины передаю...» – Колчак вздохнул и умолк. Было слышно, как у него что-то хрипит в легких. Колчаку очень не хотелось называть имя человека, которое он сейчас собирался назвать. Но надо было быть объективным: сильнее этого человека – к сожалению, не самого лучшего – сейчас на Дальнем Востоке не было никого...

Адъютант готовно вытянулся, он ждал, когда Колчак назовет фамилию. Адмирал молчал. Сидел он, по-прежнему не открывая глаз.

– Передаю генерал-лейтенанту Семенову Гэ эМ, – наконец произнес Колчак.

Он не произнес ни имени, ни отчества Семенова, только инициалы.

Уйдя к себе, адъютант отстучал последнее распоряжение Колчака одним пальцем на машинке и принес на подпись адмиралу. Тот подписал, не читая. Спросил только:

– Здесь все верно?

– Все верно, – поспешил подтвердить адъютант, и Колчак отдал ему бумагу.

Так Колчак перестал быть Верховным правителем, превратился в обычного гражданина России, больного и уязвленного.

Вагон, бултыхавшийся поначалу на рельсах с приличной скоростью, вскоре потерял свою прыть, чехословацкий эшелон останавливали так же часто, как и литерный В. Но на станциях Зима и Иннокентьевская все горело, горело и Черемхово – там с белыми сражались восставшие дружинники. Поговаривали о готовящихся взрывах тоннелей на Круглобайкальской железной дороге. Обстановка накалялась.

В Черемхове в вагоне Колчака появились дружинники – восемь молчаливых, прокаленных стужей человек, которыми командовал командир партизанского отряда В. И. Буров.

– Хоть одним бы глазком взглянуть на Колчака этого, – заинтересованно просипел один из дружинников – пятнадцатилетний, вконец простуженный мальчишка в гимназической шинели, туго натянутой на телогрейку.

– Жди, сейчас покажут, – зло фыркнул Буров, – дадут и еще добавят. Цельную фильму на белой простыне увидишь.

– Кино я видал аж два раза, – похвастался гимназист, – очень интересная штука – кино. На всю жизнь запоминается.

– Вот установим свою власть, тогда ты, как заслуженный партизан, только то и будешь делать, что смотреть кино.

Дружинников в вагон не пустили, разместили их в тамбуре. В вагоне, перед дверью, сели двое офицеров из конвоя с

обнаженными маузерами. Мало ли что – вдруг стрелять придется.

А Колчак сидел сейчас у себя в купе и думал о том, что ему следует застрелиться. «Жизнь – омерзительная штука, торг, лавка, цепь предательств. За все в ней надо платить. Даже за чужой проступок, за чужую измену, не говоря уже о чужой боли. Обидно только своей жизнью оплачивать чужие счета, отвечать за то, в чем не виноват...»

Но, если понадобится уйти из жизни, он уйдет, не задумываясь, цепляться за нее не будет.

Оставалась надежда на Каппеля – вдруг Владимир Оскарович подоспеет – и на союзников, в первую очередь на англичан, на Нокса. На Жанена с Гайдой надеяться нельзя – эти уже предали его.

Расставив все по полочкам, Колчак сразу сделался спокоен, сосредоточен, хотя чувствовал, что почему-то все время усиливается эта досадная горечь, становится мучительной, и думал: откуда она происходит, где ее корни?

Как Божий день понятно, почему его предали чехи, почему он в качестве «почетного гостя» прицеплен вместе с вагоном к чехословацкому эшелону. Он еще в Омске заявил, что не допустит вывоза чехословаками огромных ценностей, которые те нахапали, пользуясь безнаказанностью, и дал телеграмму на Дальний Восток об обязательной проверке всех чешских эшелонов, всего барахла, которое те сумели рассовать по своим ранцам. Хапуги! Никто из союзников не ведет себя так, как чехи. Хотя по корням своим они должны были быть ближе всех к русским – славяне все-таки! Но, к сожалению, они совсем позабыли, что такое честь.

Ночью, на одном из перегонов, к Колчаку в купе пришел начальник штаба генерал-лейтенант М. И. Занкевич, человек рассудительный и добрый.

– Александр Васильевич, надо бежать, – шепотом проговорил он, – осталась единственная возможность, последняя... Больше не будет.

Колчак вспомнил офицеров охраны, уже приходивших к нему с подобным предложением, и, сухо поблескивая воспаленными глазами, покачал головой:

– Нет!

– Вы прекрасно понимаете, что будет дальше, Александр Васильевич... Надо бежать. Умоляю вас!

Колчак снова отрицательно покачал головой:

– Нет. Я не Керенский, чтобы бегать по эшелонам в женском платье. Да и потом, знаете... – он усмехнулся. – В заснеженную тайгу ведь придется уходить на лошадях – в женском платье неудобно ездить верхом...

Эшелон первого батальона шестого чешского полка продолжал двигаться к Иркутску.

У Колчака до последней минуты теплилась надежда, что союзники не выдадут его.

Дело шло к вечеру, когда эшелон на медленной скорости втянулся в серые иркутские пригороды. Дома были завалены снегом, в нескольких местах сугробы поднимались едва ли не до самых труб, скрывали целиком крыши, и из сугробов, похожих на горы, струились кудрявые, взметывающиеся прямо к высоким облакам дымы. Было холодно. Иногда из сугробов вылезали люди, глазели на эшелон, прикладывали руки козырьком ко лбу – они словно знали, что в эшелоне находится Колчак, – и снова проваливались в жесткий бездонный снег.

Кое-где снег отступал от железнодорожной колеи, и тогда были видны темные, будто вывалянные в золе избушки, крытые по-амбарному косо, с тусклыми маленькими оконцами: большие окна, как известно, плохо держат тепло, а в бедных домах этого тепла вообще кот наплакал, а иркутские окраины сплошь считались бедными.

Колчак был спокоен, он устал переживать, устал нервничать, устал ждать, он вел себя сейчас как лист, упавший с дерева в воду, – куда течение вынесет, туда и вынесет. Ему уже все было безразлично. И в голове уже ни звона суматошного нет, ни жара в висках, ни теснения в затылке.

Иногда люди возникали у самого полотна, в трех шагах от рельсов – темнолицые, с винтовками и красными повязками, они угрюмо провожали эшелон взглядами – похоже, знали, что в каком-то из этих вагонов скрывается человек, который им ненавистен: они боролись с ним, драли глотки на ветру, идя в атаки, мерзли так, что даже зубы от холода обледеневали, не могли стучать, рот запечатывало снегом и морозной крошкой – они и дышать не могли, и слезы сдерживать не могли, только шамкали от боли, казалось, что жизнь в них поддерживала только одна штука – ненависть к Колчаку.

Но вот какая деталь – они никогда не видели Колчака. И неведомо им было, что невысокий широкоплечий человек, совершенно седой, с темным, будто бы печеным лицом и угасшим горьким взглядом, стоявший у окна одного из вагонов, и есть тот самый проклинаемый ими Колчак.

– Передайте командиру батальона, что я хочу переговорить с ним, – попросил Колчак чехов, когда до иркутского вокзала оставалось всего ничего – километра три.

Командир батальона видеться с Колчаком отказался.

Колчак усмехнулся.

– Я помню, что он майор, а фамилии не помню...

– Майор Кровак.

Они все были достойны друг друга, братья-чехи – Гайда, Кровак, Сыровны, все одним миром мазаны. Военнопленные, словом. Ему подумалось, что человек, побывавший в плену, имеет смещенную психику – это вырабатывают сами условия унижения, издевательства плена; выходит человек из плена обязательно надломленным, с покалеченной волей, даже если он имеет генеральское звание; лагерь для военнопленных, он не только генералов – маршалов ломал, они теряли все человеческое, что имелось в них. Так и Гайда с Сыровны. И майор Кровак. История, конечно, запомнит эти фамилии, но толку-то...

– А ваша как фамилия? – Колчак посмотрел на чешского офицера, жадно пожирающего его выпуклыми круглыми глазами – как кошка свежую рыбу.

– Боровичка! – Чех склонил перед Колчаком набриолиненную, пахнущую одеколоном голову.

«Надушился, будто баба», – поморщился Колчак.

Иркутский вокзал тем временем приближался, до него оставалось совсем немного; Колчак, словно что-то почувствовав, прижал ладонь к сердцу, оглянулся, ища Анну Васильевну, та поспешно приблизилась к нему, он подхватил своими холодными, почти ледяными пальцами ее руку, поцеловал. Анна Васильевна неожиданно тоненько, задавленно всхлипнула.

– Все меня бросили, все, – прошептал Колчак, наклоняясь к ней, – кроме вас, Анна Васильевна.

Анна Васильевна всхлипнула вновь.

Вскоре эшелон остановился. Под окнами, скрипя сапогами, пробежал плотный, перетянутый ремнями, чешский офицер. Колчак узнал его – это был майор Кровак.

Кровак спешил к начальству доложить, что задание он выполнил и за это полагается благодарность не только словесная.

Через двадцать минут майор Кровак вернулся в вагон. Прислонив руку ко рту, он подышал в усы.

К нему подошел Занкевич:

– Ну что?

Кровак смущенно отвел глаза в сторону и перестал дышать.

– Ничего хорошего.

– Это не ответ, майор.

– В семь часов вечера произойдет передача Колчака и Пепеляева представителям Иркутского политич... Иркутского революционного правительства – названия официальных властей менялись в Иркутске едва ли не каждый день, запутаться было немудрено.

Занкевич сжал кулаки:

– Это же... Это же подло! Это предательство!

Майор раздраженно приподнял одно плечо:

– Не мое это дело, генерал! Я получил приказ союзного командования!

– Когда, вы говорите, это произойдет?

– Сдача назначена на семь вечера.

– Мерзко как! Бр-р-р! – Занкевич окинул Кровака брезгливым взглядом и вышел из вагона.

Передача состоялась не в семь часов вечера, а в девять. Вагон, цветисто украшенный флажками союзных держав, оцепили дружинники. Грохоча промерзлыми сапогами и оскальзываясь на ступеньках, в вагон поднялся капитан Нестеров. Небрежно вскинул руку к голове, представился:

– Заместитель командующего войсками...

Через несколько минут Колчака и Пепеляева вывели на перрон.

Пепеляева было не узнать – лицо расплылось, стало плоским, как блин, губы дрожали, он всхлипывал. Колчак, напротив, был спокоен. Анну Васильевну никто не задерживал, но она не пожелала оставаться на воле и добровольно, вслед за Колчаком, пошла в тюрьму.

Был морозный вечер пятнадцатого января 1920 года.

То, что гуляло в воздухе, было у всех на устах, но во что не Хотелось верить – как вообще не хотелось верить в низость человеческой натуры – произошло. Союзники – и чехи, и Жанен – окончательно предали Колчака. Собственно, другого от них и ожидать было нельзя.

Камера номер пять губернской тюрьмы, которую отвели Колчаку, была маленькая: восемь шагов в длину, от зарешеченного тусклого оконца, в котором никогда не мыли стекло, и четыре шага в ширину, от стенки до стенки.

Пахло в камере пылью, мышами и пауками, из нор в углах тянуло сыростью и плесенью, судя по размеру дыр, там обитали крысы.

Колчак, глянув на эти норы, почувствовал, как к горлу подступила тошнота.

К одной стене была привинчена жесткая железная кровать, у которой вместо сетки была вставлена плоская ленточная решетка, скрепленная болтами, больно впивающимися в тело, у другой стены находился грязный железный столик и врезанный ножками в пол камеры неподвижный табурет. Над столом, криво съехав в одну сторону – но не настолько, чтобы с нее шлепалась посуда, – висела «кухонная» полка. В углу стояла параша – обычное мятое

ведро с гнутой ржавой ручкой, а также таз и кувшин для умывания.

В тяжелой железной двери было прорезано окошко с задвижкой – для передачи пищи. Судя по блеску задвижки, камера эта не простаивала, в ней постоянно находились люди.

«И где же они теперь? – устало и равнодушно подумал Колчак, садясь на жесткую железную койку. – В каких нетях обитают, где их души?» Напряжение, в котором он находился весь последний месяц, спало окончательно, осталось лишь спокойствие и полное равнодушие к своей судьбе. Он уже не удивлялся тому, что сделали с ним союзники. Союзники спасали свои шкуры и награбленное, ставя удачно добытое добро выше собственной чести и головы Колчака. Собственно, иными они быть не могли.

Над окном для передачи пищи темнел тусклый стеклянный глазок – волчок, чтоб наблюдать за заключенным. Колчак вздохнул и отвернулся от волчка.

Через несколько минут погас свет. Вообще-то свет в тюрьме гасили очень рано – в восемь часов вечера, но на этот раз задержались с отключением рубильника – ради «высокого гостя».

Колчак остался один в кромешной темноте, совсем один – в камеру не проникал даже самый малый лучик света, густая страшная темнота выдавливала глаза, холодным обручем стискивала лоб, затылок. Колчак застонал.

В камере было холодно, и Колчак не стал снимать с себя шинель. Шинель у него тоже была холодная, солдатского покроя, правда, сшитая из хорошего сукна. Анна Васильевна лишь недавно утеплила ее. У Колчака от прилива нежности, благодарности зашевелились губы, глаза сделались влажными.

Чем, каким аршином измерить беду, в которую он попал, как, каким способом отодвинуть катастрофу, небытие, надвигающиеся на него. Впрочем, ему было все равно: раз на роду написано умереть – он умрет.

По коридору, посвечивая себе фонарем, с грохотом пробежал тюремщик, сапоги его гулко впечатывались в пол. Колчак отер глаза ладонью, прислушался. Тюремщик начал что-то кричать. Слова были смятые, невнятные, но все равно Колчак разобрал, что тот кричал:

– Готовьтесь, белые суки, к своему последнему часу. Всех вас пустим на корм собакам. А Колчана вашего – в первую очередь!

Все повторяется: в Севастополе озлобленные матросы тоже звали его Колчаном, и этот очесок туда же. Холодный обруч сжал голову сильнее, чернота же немного разредилась – к ней привыкли глаза.

Утром Колчака вызвали на первый допрос.

День – коротенький, как воробьиный скок, совсем зажатый, съеденный зимой, неприметный в иные разы, увеличивался, будто резиновый, набухал болью и кровью, свет в нем делался красным, всякое движение вызывало боль, внутренний протест, стоны, нежелание жить. Это, наверное, может знать только тот Человек, который хоть раз сидел в тюрьме и был подвергнут допросам. В гражданской бойне военнопленных в общем-то не бывает, бывают лица совсем иного пошиба, к которым противоборствующая сторона ни за что не снизойдет, не помилосердствует – в гражданской войне противника, попавшего в плен, не милуют, а уничтожают. Тем она и страшна, гражданская война.

И особенно страшна она в России.

Допрашивала Колчака чрезвычайная следственная комиссия, возглавляемая главным иркутским чекистом С. Г. Чудновским.

Первый допрос не был продолжительным, но он показался Колчаку безмерно длинным, как тот короткий день – он тоже показался очень долгим.

Самое любопытное – и загадочное, – что через три дня после ареста Колчака по красноармейским штабам и ревкомам было разослано специальное телеграфное послание. Называлось это послание так: «Телеграмма Сибирского ревкома и Реввоенсовета 5 армии всем ревкомам в Восточной Сибири об аресте Колчака». Под посланием стояла дата – 18 января 1920 года.

Телеграмма гласила: «Именем Революционной Советской России Сибирский революционный комитет и Реввоенсовет 5 армии объявляют изменника и предателя рабоче-крестьянской России врагом народа и вне закона, приказывают вам остановить его поезд, арестовать весь штаб, взять Колчака живого или мертвого. Перед исполнением этого приказа не останавливайтесь ни перед чем, если не можете захватить силой, разрушьте железнодорожный путь, широко распубликуйте приказ. Каждый гражданин Советской России обязан все силы употребить для задержания Колчака и в случае его бегства обязан его убить. Председатель Сибревкома Смирнов, Реввоенсовет 5 Грюнштейн, / ВРИД/ командарма 5 Устичев».

Стиль и язык документа, как принято говорить в таких случаях, сохранены. Нарушать аромат и «образованность» времени нельзя. История за такие шалости может жестоко наказать...

Но вернемся к телеграмме. Послана она была восемнадцатого января. Колчак же был арестован пятнадцатого января, а восемнадцатого он уже сидел в губернской тюрьме. Что за всем этим кроется? Разгильдяйство, нежелание иркутян делить с кем-

либо лавры, обычная неосведомленность, тупость, хитрая игра?

Но председатель Сибревкома И. Н. Смирнов, он-то точно знал об аресте Колчака. В это же время на должность коменданта Иркутска заступил некий Блатлиндер, более известный под фамилией Бурсак. У Блатлиндера в памяти день семнадцатого января отложился очень хорошо – именно семнадцатого он докладывал Смирнову о том, как проходят допросы Колчака и Пепеляева.

Откуда в Иркутске взялся этот самый Бурсак, мало кто знает – то ли он местный был, родившийся где-нибудь на нерчинских рудниках, то ли приезжий – никому не ведомо. Перед тем как стать комендантом города, он служил комендантом тюрьмы и в Иркутском централе чувствовал себя как дома. В жизни Колчака он сыграл зловещую роль. Внешне Бурсак был ладный, тонконогий, в кожаной куртке, для изготовления которой пошла обивка кресел из особняка купца первой гильдии. Из поспешно ободранной с трех кресел кожи новоиспеченному иркутскому коменданту сшили роскошнейшую куртку. Запомнился он еще тем, что любил покрикивать на подчиненных.

В тюрьме Бурсак бывал каждый день по нескольку раз, присутствовал на всех допросах – ироничный, с улыбкой, прочно припечатавшейся к губам, элегантный – этакий законодатель революционной моды, очень выгодно выглядевший на фоне тяжеловатого, тугодумного Чудновского.

Допросы велись неспешно, с общими рассуждениями, с экскурсами в историю и сверкой оценок различных событий, происшедших в недавнем прошлом. Иногда казалось, что сидят рядышком два давних знакомых – Колчак и Чудновский, о чем-то неспешно беседуют, прощупывают друг друга, иногда улыбаются и не только улыбаются – смеются. И эта словесная игра идет на равных, в конце концов они оба встанут со стульев и, довольные друг другом, мирно разойдутся.

Но, видимо, слишком затяжными, слишком утомительными были эти разговоры, раз собеседники долго не могли подняться со стульев и седая голова Колчака от напряжения иногда дергалась, хотя сам он был спокоен.

Чудновского и членов чрезвычайной следственной комиссии интересовали порою вещи, не имеющие никакого отношения к омскому периоду жизни адмирала: например, часто ли в Сингапуре идут дожди? Или – не обращал ли он внимания на то, что командующий Балтийским флотом адмирал Непенин иногда хромал? И правда ли, что Колчак умеет хорошо танцевать? Какова его версия гибели «Императрицы Марии»?

Колчак понимал, что в этих безобидных вопросах может

таиться ловушка, но ловушки не было, на вопросы Колчак отвечал спокойно и охотно, словно его ни в чем и не обвиняли. Впрочем, его действительно пока ни в чем не обвиняли, но он кожей своей, измотавшейся душой, болью, засевшей в мышцах, чувствовал: обвинение, которое предъявят ему, будет жестоким. В том числе его обвинят и в преступлениях, которые он не совершал.

Допросы по времени увеличивались, стали совсем затяжными, в камеру номер пять он возвращался разбитым, усталым, думал, что здесь сможет отдохнуть от издергавшей тело и душу говорильни, но когда он оставался один, усталость делалась удушающей, он изматывался еще больше, падал на койку и слушал самого себя: звук собственного сердца его оглушал, рождал боль и неверие – неужели все кончилось?

Иногда его выводили на прогулку в тесный тюремный двор, где он в одиночестве ходил по кругу, по топанине, оставленной заключенными с предыдущей прогулки, и думал о жизни.

Мысли эти были невеселыми.

Он знал, что Анна Васильевна добровольно отказалась от воли, последовала за ним в тюрьму, но не знал, здесь ли она. Иркутск – город большой, зарешеченные окна имеются не только в губернской тюрьме, вполне возможно, что Анна Васильевна находится где-то в другом месте. Несколько раз он просил разрешить ему свидание с Анной Васильевной. В ответ допрашивающие лишь улыбались, физиономии их принимали двусмысленное выражение, и в свидании ему отказывали.

Один из следователей – кажется, фамилия его была Алексеевский – спросил с грубым хохотком:

– Что, адмирал, на бабу потянуло? Застоялся, конь ретивый?

Это было оскорбительно. Колчак, неприятно морщась, подвигал нижней челюстью, словно проверял, все ли зубы на месте – зубов не было, – и промолчал.

Другой следователь проницательно глянул ему в лицо, разгреб перед собою воздух рукой и произнес сожалеюще:

– Тимиревой здесь нет. По спискам в этой тюрьме не числится.

Единственный знакомый человек, который мог еще находиться в этой тюрьме, был Пепеляев, но с ним встречаться не хотелось. Иногда Колчак проваливался в полудрему-полусон, в некую тревожную рябь, которая начинала укачивать его, и казалось, вот-вот усталость отступит, ему сделается легче. Однако проходило немного времени, и его словно встряхивало от электрического удара, он открывал глаза, слышал собственное сиплое дыхание и наблюдал страшную явь: серый, будто чем-то загаженный потолок, облупленные, с выцветшей краской стены,

параша, стоящая у двери, – он находился в тюремной камере.

Никогда Колчак не думал, что жизнь уготовит ему такое испытание, но, как говорят, от тюрьмы да от сумы не открещивайся. Тюрьма и сума – извечные российские беды, которые висят над каждым из нас.

Он понимал, что его вина перед народом есть, но меру ее определять не ему – как и не тем, кто его допрашивает – определят ее другие. Может быть, эти люди даже еще не родились.

Однажды утром его вывели на тюремный двор, и он неожиданно увидел на противоположной стороне двора тихонько бредущую Анну Васильевну. Морозный воздух мигом сдавил Колчаку горло, ноздри обожгло, он рванулся к ней, но идущий следом за ним охранник предупредил:

– Нельзя! Вы подведете меня!

Колчак разом все понял и сник. Серый воздух перед ним неожиданно засеребрился жемчужно, пошел разводами, повлажнел, и Колчак прошептал растерянно:

– Аня... Анна Васильевна!

Она остановилась – возможно, также была предупреждена сердобольными охранниками, – стерла с глаз слезы:

– Я много раз просила, чтобы мне дали с вами свидание.

– Я тоже, – сказал он и так же, как и Анна Васильевна, стер с глаз что-то, мешавшее ему смотреть. – Но мне все время говорили, что вас в тюрьме нет. И вообще – вас нет даже в Иркутске.

– Я не могла и не могу покинуть вас. Я с вами. Держитесь!

Колчак снова стер с глаз мешавшую ему смотреть налипь. Охранник забеспокоился, поднял голову, шумно, будто охотничья собака, уловившая неприятный запах, вздохнул и скомандовал:

– Вперед! Идите вперед!

Колчак сделал несколько шагов и остановился.

Конвоир скомандовал:

– Не останавливаться!

Сделав еще несколько шагов, Колчак споткнулся и проговорил с тихой болью:

– И все-таки у нас были прекрасные минуты жизни, Анна Васильевна! Я буду помнить их всегда.

– Я тоже, – эхом отозвалась Анна Васильевна.

Неведомо откуда взявшийся второй охранник уже уводил ее со двора.

Одиночество, еще более чудовищное, чем раньше, сосущее, вызывающее столбняк, навалилось на него, кровь отхлынула от лица Колчака, оно сделалось белым – побелели даже губы.

Он, превозмогая оцепенение, усталость, тоску, повернулся к охраннику, поблагодарил его:

– Спасибо!

– Не за что, – тихо ответил тот, оглянулся с опаскою – не слышит ли кто его разговора, поправил на плече винтовку – Колчака даже на прогулку выводили под винтовочным дулом, – скомандовал сиплым, словно расколовшимся, в дырках и свищах, голосом: – Следуйте по кругу дальше!

Колчаку удалось передать Анне Васильевне несколько записок – помогли все те же солдаты охраны, относившиеся к нему совсем иначе, чем, скажем, Бурсак или Чудновский. Анна Васильевна также прислала ему в ответ несколько записок.

Так она сообщила Колчаку о том, что к Иркутску подходят каппелевцы, что они уже предъявили красным ультиматум: немедленно освободить Колчака! В противном случае каппелевцы будут штурмовать Иркутск. Колчак понял: это конец. Красные ни за что, никогда не отдадут его.

Он узнал также, что самого Каппеля уже нет в живых – лежит в наспех вырытой, мерзлой могиле на станции Утай. Войсками же Каппеля командует генерал-лейтенант С. Н. Войцеховский – человек, как и Каппель, преданный Колчаку.

Адмирал хорошо представлял, что испытала армия Каппеля в своем страшном Ледяном походе, сколько людей оставила лежать в снегу, будучи не в состоянии похоронить их по-человечески, как и положено у православных, прося у них прощения, хрипя и выбулькивая из простуженных глоток невнятные покаянные слова и устремляясь дальше на восток. Чехи, сытые, хорошо вооруженные, с лопающимися от нагульного сала рожами не подпускали каппелевцев к железнодорожным путям; чтобы зацепиться хотя бы за пару шпал, надо было положить половину армии, поэтому каппелевцы углублялись в снега, вгрызались в них и шли, шли, шли к Иркутску.

Наверное, это и не армия уже была.

Колчак находился недалеко от истины: под началом Войцеховского находилось не более семитысяч человек, около половины из них были больны, но и больные, они готовы были следовать за своим командующим. Обмороженные легкие, тиф, лица, с которых страшными черными скрутками слезала кожа, ампутированные ноги, нечеловеческая усталость – вот что представляла из себя к той поре армия Каппеля.

А в районе Иркутска только одних партизан собралось шестнадцать тысяч плюс регулярное красное войско – Пятая армия... Ничего генерал Войцеховский со своими людьми не сможет сделать. Увы. Адмирал был обречен.

Слух о том, что Колчак будет расстрелян, прошел по заключенным еще пятого февраля – об этом из камеры в камеру передавали перестуком-морзянкой, вполне возможно, кто-то пробовал достучаться и до камеры номер пять, но Колчак не знал азбуки Морзе и из стука ничего не понял.

В камере было холодно, по углам, просачиваясь сквозь потолок, спускалась вниз блескучая шерстистая струйка: – иней – не иней, снег – не снег, лед – не лед, но очень жгучая, способная умертвить человека на расстоянии струя холода.

Эта шерстистая струйка, казалось, стремилась дотянуться до его горла, все норовила вцепиться в теплую живую плоть, вышибала кашель, будила ревматические боли, затаившиеся в нем, на полу тоже поблескивали красивые серебристые звездочки – и тут проступала стужа. Шинель хоть и была заботливо утеплена Анной Васильевной, а не спасала – Колчак страдал от холода.

Первое время из какой-то ледяной лунки выскакивала крохотная темная мышка, попискивала робко, прося у человека еду, но потом она пропала – то ли замерзла, то ли переместилась в другое место, более теплое.

Согревался Колчак лишь во время допросов – комната, где без устали трудились члены «чрезвычайки», призванные погубить его, отапливалась, как «стратегический» объект, который ни в коем разе не должен был вымерзнуть. В тяжелую чугунную буржуйку, именуемое так хлипкое жестяное сооружение, готовое каждую минуту вспыхнуть, будто было склепано из бумаги, постоянно что-то подкидывали: то смолистые полешки, то калорийный черемховский уголек, то прессованный сопропель – торф. Печушка в ответ весело ухала, стреляла мелкими жгучими угольками, когда кто-нибудь открывал створку, дышала жаром. Она умела голосом своим, уютным гудом снимать с души печаль и переживания.

Допросы продолжались.

Во внутреннем кармане шинели Колчак нашел перчатку Анны Васильевны – ту самую, которая плавала с ним за океан, в Америку, – его плохо обыскали, и Колчак радовался тому, что с ним находится этот кусочек кожи, который хорошо помнит Анну Васильевну, ее руку, хранит ее запах.

Он прижимал эту перчатку к лицу и замирал на несколько мгновений, втягивая ноздрями тонкий вкусный дух, отрешенно улыбаясь и вспоминая дни, которые провел вместе с Анной Васильевной. Не так уж много было этих дней, каждый он помнит хорошо – не только дни, но и часы, – каждый час встает у него в памяти, повторяется, вызывает нежность.

Ему надо было хотя бы на несколько минут увидеть Анну Васильевну, попросить у нее прощения (хотя он делал это уже не раз). Тогда, во внутреннем дворике, во время нечаянной, впрочем, совсем не нечаянной, встречи он опешил, растерялся, не смог сказать ей того, что надо было сказать, в том числе не успел попросить прощения за всю боль, что причинил ей...

Он несколько раз просил у Чудновского разрешения повидать ее, но тот в ответ лишь усмехался да презрительно растягивал бледные губы:

– С чего вы взяли, что она находится здесь?

– Я это чувствую, сердцем чувствую, – Колчак прикасался ладонью к груди; о том, что видел ее во время прогулки, он не говорил, – здесь она!

– Ее давно здесь нет, – врал Чудновский. – Нету. Уехала она.

Выходило так, что они никогда больше не встретятся с Анной Васильевной. Да, выходило так.

Седьмого февраля тюрьму заполнили красноармейцы – все как один тепло одетые, при оружии. За неимением свободных мест в помещении охраны их разместили в камерах.

Ольга Гришина-Алмазова, подруга Анны Васильевны, вдова генерала, также была арестована и находилась в одной из камер. Гришина-Алмазова постаралась наладить связь со своей подругой. Именно она сообщила Анне Васильевне, что к Иркутску приближаются каппелевцы. Она сообщила и о прибытии большой группы красноармейцев. Без слов было понятно, для чего они тут появились...

Ультиматум Войцеховского, как и предполагал Колчак, иркутские большевики всерьез не приняли. Остатки каппелевской армии им вряд ли что могли сделать, да и чехословацкий корпус уже здорово «покраснел», белочехи перестали быть белыми, они скорее стали красночехами. Но на всякий случай из Иркутска они отправили телеграмму в Москву: вдруг тамошние умные головы придумают что-нибудь оригинальное?

«Умные головы», сидящие наверху, придумали. Сохранился подлинник записки Ленина Э. М. Склянскому – заместителю председателя Реввоенсовета Республики. Вот ее текст: «Шифром, Склянскому: Пошлите Смирнову /РВС 5/ шифровку: Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска [187]пришлите строго официальную телеграмму с разъяснением, что местные власти до нашего прихода поступали так и так под влиянием угрозы Каппеля и опасности белогвардейских заговоров в Иркутске. Ленин».

Весь текст, в том числе и подпись, зашифрованы. Дальше

следовала приписка от руки – рука ленинская, почерк его, – состоявшая из четырех пунктов, первый из них касался Колчака: «Беретесь ли сделать архинадежно?»

Из этой шифровки следует, что в Иркутске знали, как надо поступить с пленным адмиралом, – это первое, второе – местные большевики хотели расстрелять его как можно скорее, и это их желание совпадало с желанием центра, и третье – Ленин стремился избежать огласки самого факта, что Колчак будет расстрелян, и расстрелян без суда.

Улыбка Чудновского не предвещала ничего хорошего. Он глядел в упор на Колчака, просто не спускал глаз, как кот с мыши, и улыбался. От такой улыбки невольно делалось холодно. Но Колчак, хоть и понимал, что означает такая улыбка, был спокоен.

Он похудел, щеки всосались в подскулья, лицо сделалось совсем татарским, незнакомым, кожа от холода шелушилась. В комнате допросов часто присутствовал Бурсак, наряженный в роскошную купеческую шубу, отнятую у какого-то богатого владельца меховых лабазов, – он носил ее поверх кожаной куртки, – громогласный, уверенный в себе, с резкими размашистыми движениями.

– У вас много друзей, которые хотят вас выручить, – сказал Чудновский, по-прежнему не сводя глаз с Колчака.

– Кто? – спросил Колчак.

– Каппель, например.

– Насколько я знаю, Владимир Оскарович мертв.

– Верно, – помедлив, отозвался Чудновский. – А известно ли вам, как он умер? А? – Чудновский сжал глаза в узкие жесткие щелки и, заметив, что спокойное лицо Колчака дрогнуло – адмирал не знал подробностей смерти Каппеля, он среагировал на жутковатые нотки, возникшие в голосе Чудновского, – торжествующе рассмеялся: – Мы его загнали в снега и там заморозили. Каппелю отрезали ноги, а вот мерзлые легкие вырезать не могли, и он скончался. Неплохо для белого генерала, а?

Внутри у Колчака вспыхнула боль, потянулась вверх, к горлу, перекрывая дыхание, сердце заколотилось жалостливо, громко, оглушая его, но лицо уже никак не реагировало на слова Чудновского – оно было спокойным.

– Я знаю, что он скончался на станции Утай, – сказал Колчак.

Смех Чудновского угас.

– У вас в тюрьме имеются надежные источники информации, – произнес он с усмешкой, – вы даже знаете название станции, где похоронен Каппель. Откуда такие

сведения?

– Слухом земля полнится.

– Слухом-то слухом, но не настолько. Вы знаете, что означает приближение каппелевцев к Иркутску?

– Догадываюсь. – На лице Колчака на этот раз не дрогнул ни один мускул. – Это моя смерть.

Чудновский засмеялся вновь. Смех его был легким, как у мальчишки, получившего в церковно-приходской школе хорошую оценку за прилежание.

Ночью в Иркутск поступила телеграмма от председателя Реввоенсовета Пятой армии: «Ввиду движения каппелевских отрядов на Иркутск и неустойчивого положения советской власти в Иркутске настоящим приказываю вам: находящегося в заключении у вас адмирала Колчака, председателя Совета министров Пепеляева с получением сего немедленно расстрелять. Об исполнении доложить».

Поскольку существовало распоряжение Ленина скрыть причастность Москвы к расстрелу Колчака, то тогдашние «отцы» города Иркутска решили все взять на себя.

Больше всех старался Чудновский. По его словам выходило, что именно он вынес на заседание Иркутского ревкома предложение о расстреле Колчака и Пепеляева и ревком утвердил это предложение.

Впрочем, не менее Чудновского старался и Бурсак. Он носился по Иркутску на грузовом автомобиле, в кузове которого ежились пробиваемые железным ветром красноармейцы. Бурсак брал с собой красноармейцев специально, важно было, чтобы иркутяне видели: в городе есть хозяин, который все видит, все знает, за все болеет и виновным в промашках и нарушении революционной дисциплины спуску не даст.

За машиной волочился длинный, вкусно попахивающий шлейф черного дыма. Горючего в Иркутске не было, поэтому Бурсак наловчился заправлять мотор грузовика самогонкой – ничего, машина привыкла к первачу. Вначале чихала, выпукивала из выхлопной трубы какой-то смрад, черные козьи катышки размером в дробь, но Бурсак пару раз врезал по капоту, накричал как следует на капризный автомобиль, ударил ногой по колесу, и грузовик быстро поумнел, дело сдвинулось: машина стала бегать по мерзлым иркутским улицам лучше саней.

Первым из камеры Бурсак вывел Пепеляева. Тот все понял, но не хотел поверить в то, что его ведут на расстрел, и все пытался дотронуться до руки Бурсака, скулил, заглядывал ему в глаза:

– Куда это мы, а? Товарищ, куда это мы?

– Гусь тебе со свиньей товарищ! – не выдержав, оскорбился

Бурсак.

Пепеляев не услышал его, он продолжал жалобно вопрошать:

– Куда это мы, а, товарищ?

Камера Пепеляева находилась на втором этаже, на лестнице у Виктора Александровича начали подгибаться ноги, его подхватили с двух сторон красноармейцы. Он висел у них на руках и продолжал жалобно вопрошать:

– Куда это мы, товарищи?

Следом вывели Колчака. Ольга Гришина-Алмазова видела, как его выводили. Ее камера находилась на первом этаже, недалеко от камеры Колчака. Она проснулась, когда в коридоре появились красноармейцы, от грохота их сапог невозможно было не проснуться.

Волчок – круглый, с оторванной крышкой глазок – был заклеен бумагой.

– Хотя бы плотника либо слесаря завели в тюрьме – инвентарь чинить, – ругался довольно бурно дежурный надзиратель, даже слюной брызгал. – Разве это дело – камера без глазка? А если меня заключенный гвоздем оттуда ширнет? Хорошо, в камере баба сидит, смирная, как курица, она до этого не додумается, а если мужик?

Гришина-Алмазова не долго думая выдернула из волос шляпную булавку и, стараясь не продырявить бумажку, чтобы подозрение не падало на нее, отлепила край жидкого бумажного лоскутка от волчка.

Она сделала это вовремя. По коридору среди солдат шел адмирал – спокойный, бледный, одетый в шинель – так, тесно сбитые в кольцо, они прошли рядом с ее камерой. Один из красноармейцев даже вжался в дверь камеры, и дырявый волчок закрыл клок шинельного сукна.

Анна Васильевна в это время спала в своей камере. Шум ее не разбудил. Колчака провели в нескольких метрах от нее, и она этого не почувствовала.

Ночь выдалась морозная, в черном небе праздничным сверкучим сеевом рассыпались звезды, луна слепила – была она огромная, прозрачно-яркая, с косо обрезанными краями. Странная луна! Разве могут быть края у луны обрезаны? Но что было, то было.

У ворот тюрьмы стояло несколько широких саней-розвальней, в сторонке дымил, вкусно сдабривая ночь самогонным выхлопом, грузовой автомобиль Бурсака. Бурсак в сторону своего «персонального» авто даже головы не повернул.

Место для расстрела выбирал он сам – объездил половину Иркутска, даже пешком прошел по ангарскому льду, стараясь

найти площадку поудобнее, и нашел такую площадку: в устье реки Ушаковки, впадающей в Ангару, недалеко от Знаменского монастыря.

Что хорошо было – под монастырем, в ушаковском льду, была вырублена большая квадратная прорубь, откуда монашки брали воду, производили здесь постирушки с полосканиями – не боялись морозов, соблюдали чистоту. Эта прорубь, по замыслу Бурсака, и должна была стать последним пристанищем адмирала.

Колдовской лунный свет со змеиным шипением полз над землей, над снегами, над темными, расплывающимися в воздухе башенками недалекого монастыря, шевелился, как живой, вызывал недобрые мысли, стрелял холодом. Он должен был хотя бы немного согреть Людей, но ледяной свет не грел, совсем наоборот – всасывал в себя последнее тепло; лунные лучи, отраженные от снега, подрагивали в пространстве, устремлялись вверх, к черному разверзшемуся пологу неба и исчезали там. Что-то усталое, горькое, заезженное было сокрыто в природе, в небесной бездони, в дымном шевелящемся свете, в голосах, неожиданно начавших раздаваться из-под земли.

У красноармейцев, усаживающихся в розвальни, от неожиданности по коже побежали мурашки.

Было холодно, но яркий, словно опрокинутый свет луны, устремляющий не от неба к земле, а от земли к небу, предвещал холода еще более сильные. Мороз будет рвать в клочья и воздух, и снег, и ледовые глыбы на Байкале, не говоря уже о живой плоти, о человеке и зверье. Колчак глянул в небо, в яркий, шевелящийся, косо срезанный с краев диск луны и неожиданно улыбнулся: ну будто дырка просверлена посреди неба, и льется в нее могильный свет, похожий на растопленный мороз, слепит, дышит льдом, лишает человека тепла и надежды.

Колчак прислушался к себе, но внутри ничего не было, только холод и спокойствие, будто страшная луна эта все из него высосала: всю кровь, всю боль, всю усталость.

Краем уха он слыхал крики Пепеляева, обращенные к нему: «Александр Васильевич! Александр Васильевич!» – но среагировал на них, лишь когда Пепеляев смолк от отчаяния – будто захлебнулся воздухом, голос угас, вместо него начало раздаваться какое-то странное бульканье. Колчак повернул голову, посмотрел на Пепеляева спокойно и сочувственно.

Думал ли он, что город, в котором когда-то венчался с Софьей Федоровной, станет последним в его жизни, что здесь все беспокойства и закончатся?

Снег под полозьями визжал противно, как стеклянный, вызывал на зубах боль. Говорят, перед кончиной человек видит

всю свою жизнь, проходит ее вновь от начала до конца, нигде, ни на одном событии, впрочем, не задерживаясь, поскольку ни одно событие из прожитой жизни уже не является главным, все они – второстепенные. Колчак подумал о том, что он тоже должен был бы сейчас увидеть вновь всю свою жизнь, пройтись по ней, как по страницам книги, вспомнить людей, которых уже нет, и попрощаться с теми, кто есть, но ничего такого не было – абсолютно ничего. Колчак усмехнулся.

Над ним неожиданно вскинулся Бурсак – страшный, с черными провалами вместо глаз, в центре которых поблескивали сатанинские огоньки – будто гнилушки фосфоресцировали, – выхватил из рук бородатого, в волчьем треухе красноармейца кнут и огрел им лошадь:

– Но, трухлявая!

Бородатый красноармеец пробубнил в нос:

– Пошто обижаете лошадь, товарищ комиссар? Нечего обижать бессловесную скотину.

Бурсак захохотал, ткнул кнутом сидящего рядом Чудновского:

– Самуил, слышал?

Чудновский нехотя кивнул. Он недолюбливал и побаивался Бурсака, его сумасшедших выходок, непредсказуемости, морщился от скрипа кожи его модной тужурки, от которой сильно воняло сапожной ваксой, – Бурсак, чтобы тужурка выглядела поновее, пошикарнее, каждое утро драил ее ваксой. Чудновский этого запаха терпеть не мог и отворачивался в сторону: «Дух, как от кожевенного завода». А к кожевенному заводу, где в чанах гниют, мокнут, киснут шкуры для выделки, как известно, ближе чем на километр лучше не подходить.

– А, Самуил? – вновь воскликнул Бурсак.

Чудновский пошевелился, подышал в воротник шубы, отозвался неохотно и едва слышно:

– Да.

На соседних санях, с комендантом тюрьмы В. И. Ишаевым, везли Пепеляева. Пепеляев корчился, колобком валился на санях то в одну сторону, то в другую, красноармейцы его поддерживали, будто барышню, спина Пепеляева вздрагивала.

Чудновский приподнялся, глянул на соседние сани и удрученно покачал головой:

– Пепеляев совсем расклеился.

Отрешенный, ни на что не реагирующий Колчак неожиданно ожил, посмотрел на Чудновского:

– Неведомо еще, как вы повели бы себя в этой ситуации, господин... – у Колчака вылетела из памяти фамилия

Чудновского, да и незачем было ему ее запоминать, и он закончил спокойно, почти равнодушно: – Господин хороший.

– Во, Самуил, ты уже не комиссар, ты – господин хороший. – Бурсак оглушительно захохотал.

В горле Чудновского что-то захлюпало – то ли смеялся он, то ли негодовал – не понять.

Дорога шла под самыми стенами Знаменского монастыря. Он навис над скорбным санным поездом, как древний город, вознесся вверх, в небесную бездонь и, когда Бурсак скомандовал «Стой!», застыл там.

Красноармейцы кольцом окружили сани с пленниками – одна группа окружила Колчака, другая Пепеляева, бойцов было много – полновесный взвод. Колчак легко выпрыгнул из саней, вновь поднял бледное лицо к небу, к яростной луне, сунул руки в карманы, замер, будто его вывели в тюремный двор на прогулку. Пепеляева же из саней пришлось вытаскивать, он расклеился вконец, губы у него приплясывали с шумом, лицо тряслось, ноги подгибались, разъезжались в разные стороны. Наконец он выбрался из саней, двое красноармейцев встали по бокам, поддерживая его.

Недалеко залаяла собака, всколыхнула своим лаем ночь. Собака была явно монастырская. Только там, в монастыре, пес мог сохраниться – остальных его собратьев в эту лютую бойню либо постреляли, либо съели. И люди ели собак, и волки.

Вот так, под собачий лай, и заканчивалась жизнь адмирала Колчака. Он ощутил, что у него задергался уголок рта, поморщился с досадою – еще не хватало, чтобы окружающие поймали его на слабости, и решил, что лучше всего думать о чем-нибудь постороннем.

Он глубоко затянулся морозным воздухом, опалил себе горло – не миновать бы после таких затяжек красноты в глотке, насморка и хрипучего кашля. Вздохнул.

Собака залаяла вновь.

Красноармейцы выстроились в шеренгу. Было их много: на льду вырос целый забор. Надо отвлечься от того, что он видит, заставить себя думать о чем-нибудь постороннем, незначительном.

Собака, собака... Чего же она лает, дурочка? Собака прикована к человеку, к месту, которое тот обжил, – уйти в лес она не может: обязательно разорвут волки. Некие остряки считают, что виною всему «дамский» вопрос: волк ненавидит пса за «многоженство», за ветреность, за то, что тот не имеет своей семьи – оплодотворил суку и был таков. А следом за ним на нее залез уже другой кобель.

Волк же – однолюб, он может с одной и той же волчицей прожить всю жизнь, до конца, и воспитать несколько поколений волков. Может, конечно, и сменить волчицу. Если не сошелся с нею характером... Как это сделал, например, сам Колчак с Софьей Федоровной.

Он усмехнулся. Он вообще вел сейчас себя так, как вел бы в любой другой жизненной ситуации, был спокоен, словно не замечал готовно выстроившейся шеренги красноармейцев с винтовками наперевес.

Волков же, которые ведут себя как собаки, собратья по стае презирают, а собак, не ведающих, что такое семья, раздирают на части. Мясо не трогают – брезгуют.

С неба сорвалась блестящая звездочка, понеслась вниз – вначале она шла почти неприметно, оставляя после себя тонкий проволочный след, но потом длинная гибкая нить вспушилась огнем и дымом, след стал крупным – звезда плавно, по дуге, огибала небесный под, рождала невольное ощущение боли, некого недоумения: зачем? Зачем бросаться вниз, в преисподнюю, на проклятую землю, когда она могла пожить еще, могла радовать людей, но нет – разбилась, сгорела.

К Колчаку, четко впечатывая сапоги в снег, приблизился Бурсак. Адмирал только сейчас заметил, что тот обут в роскошные меховые сапоги. «У нас таких, когда мы ходили в полярные экспедиции, не было, – невольно отметил он. – Не удосужились. А вот новая власть удосужилась – и обула, и одела себя...»

– Ваша звезда упала, между прочим, – сказал Бурсак.

– Вижу.

– Пора на тот свет, адмирал. – Бурсак не выдержал, снова захохотал.

Колчак спокойно переждал его смех, произнес твердым недрогнувшим голосом:

– И это вижу.

– Глаза завязывать будем?

– Нет.

Бурсак потерся щекою о воротник шубы, было в этом движении что-то ущербное, холопское, Колчак это заметил и отвернулся от него.

Небо опять прочертил длинный огненный хвост, по дороге неожиданно споткнулся и сделал прыжок в сторону, заискрился дорого, по-новогоднему ярко, быстро отгорел и обратился в тонкую жидкую струйку, серую и невыразительную.

– А это – звезда Пепеляева, – не замедлил высказаться Бурсак.

Похоже, у этого человека отказали некие сдерживающие

центры. В следующую минуту Бурсак заторопился, подал команду:

– Взво-од, приготовиться!

«Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная», – возникло в мозгу тихое, печальное, прекрасное, и Колчак едва сдержался, чтобы не запеть романс вслух, пошарил в кармане шинели, достал портсигар. Там оставалось еще несколько папирос – старых, душистых, омских, – Колчак щелкнул крышкой, достал папиросу.

– Можно? – спросил он, ни к кому не обращаясь.

– Последнее желание мы уважаем, – громко произнес Бурсак. – Курите.

Колчак зажег спичку, прикрыл ее ладонью, подождал, когда разгорится жиденькое зеленое пламя – фосфорная спичка дурно завоняла, испортила своим запахом морозный воздух, – потом прикурил папиросу. Затянулся дымом.

Горький душистый дым показался ему сладким. Будто курил он не табак, а яблочный либо медовый кальян – дорогое увлечение мужчин Востока.

«Гори, гори, моя звезда, звезда любви приветная», – вновь возникло в мозгу тихое, настойчивое. Губы адмирала зашевелились вместе с зажатой в них папиросой, жесткое лицо обмякло, проступило на нем что-то незащищенное, детское, вызвавшее у глазастого Бурсака недоумение: разве ведут себя так люди перед расстрелом? Они должны ползать на коленях, кататься по земле, носом ширяться в снег, мокрить его слезами, как это делает Пепеляев. А Колчак? Колчак суетливого коменданта Иркутского гарнизона не замечал.

Тот подскочил к Чудновскому:

– Самуил, пора!

– Погоди, – осадил Чудновский своего ретивого напарника. Чудновский все-таки был старшим в этой группе, он возглавлял губернскую ЧК, самую могущественную после ревкома организацию, а Бурсак был всего-навсего гарнизонным чифом, только и мог что разъезжать по городу на грузовике да отчитывать выстроенных в ряд дедков-партизан. Хотя Чудновский Бурсака побаивался. – Пусть папиросу выкурит.

– Холодно, Самуил! – Бурсак притопнул ногами по тугому, будто дерево, снегу.

– Я же тебе сказал – погоди!

«Ты у меня одна заветная, другой не будет никогда», – продолжали звучать в мозгу Колчака слова, которые еще совсем недавно грели ему душу. А сейчас разве не греют?

Сейчас уже не греют. Все, кончился запас тепла. Он

продолжал курить папиросу, пускал в чистый, неожиданно начавший пахнуть свежими, только что с ветки яблоками – как на Рождество в Петербурге – воздух дым и перебирал в памяти людей, с которыми следовало попрощаться: Анну Васильевну Тимиреву, так и не ставшую его законной женой, поскольку он не сумел развестись с Софьей Федоровной, Славика и Сонечку, бывшего своего начштаба Смирнова, оставшегося в Перми с флотилией... Как жаль, что он рано уходит от них. Впрочем, наступит время, они воссоединятся с Колчаком. На небесах.

«Звезда любви волшебная, звезда прошедших лучших дней, ты будешь вечно незабвенная в душе измученной моей...» Колчаку казалось, что он наяву поет этот романс, слова вплетаются в чистую проникновенную мелодию, уносятся в пространство, в которое через несколько минут унесется и он сам, и это оттуда, с небесной высоты, к нему сейчас прилетает серебряный отзвук мелодии, уже вышелушенный, без слов.

Бурсак вновь хромоногим вороном, боком, притопнув обувкой и обив один сапог о другой, подскочил к Чудновскому:

– Пора!

– Погоди, – с досадою отмахнулся от коменданта Чудновский, продолжая с интересом наблюдать за Колчаком. – Хочу знать, много ли у него форса осталось?

Спокойно, не торопясь, будто обдумывая очередную операцию, Колчак докуривал папиросу, щурил глаза от злого лунного света.

«Твоих лучей небесной силою вся жизнь моя озарена, умру ли я, ты над могилою, гори, сияй, моя звезда», – тихое серебро, звучавшее в мозгу, в ушах, усилилось, но в следующую секунду смолкло, неожиданно прибитое громким горьким аккордом.

Действительно, пора, слишком задержался он на этом свете, не то носатый, в скрипучих меховых сапогах комендант совсем извелся – не терпится ему махнуть рукою, подавая команду молчаливым сосредоточенным красноармейцам: «Пли!» Пора. Колчак погасил папиросу о торец серебряного портсигара, окурок отшвырнул в сторону, портсигар же отер пальцами, счистил с него след пепла, увидел среди красноармейцев матроса – в распахе бекеши у того была видна тельняшка, хотел было отдать портсигар ему, но потом, вспомнив, что творили революционные матросы в Севастополе, сделал шаг вперед и положил портсигар на снег.

– Возьмите. Пригодится кому-нибудь.

Глянул в последний раз в небо, в лик не по-сибирски огромной, неземной луны, подумал о том, что мороз завтра прижмет еще круче, снял с себя шинель, аккуратно свернул; ее,

нежно огладил пальцами меховую подкладку, пришитую Анной Васильевной, и также положил шинель на снег.

Выпрямился. Спокойно глянул в лицо людям, которые должны были сейчас расстрелять его, и произнес фразу, которая для большинства собравшихся прозвучала загадочно:

– А Славику моему передайте: я его благословляю!

Строй красногвардейцев колыхнулся, кто-то хмыкнул недоуменно, скрипнул зубами, зажимая рвущийся наружу возглас, Колчак понял, что эта загадочная фраза может так и остаться здесь, на толстом льду речушки, названия которой он не знает, и поправился:

– Жене моей передайте в Париж, что я благословляю своего сына.

Краем глаза отметил, что рядом с ним поставили Пепеляева, и в ту же секунду услышал сбоку резкий, очень неприятный крик Бурсака:

– Взво-од!

Примкнутые к стволам винтовок штыки шевельнулись, уткнулись острыми своими концами в Колчака и Пепеляева.

– Вот и все. Вот и окончен бал, вот и погашены свечи.

– По врагам революции – пли! – Бурсак перенапрягся, сорвал голос, команда «пли» прозвучала на петушиной ноте.

Ежиная щетка штыков окрасилась оранжевым светом, в лицо Колчаку полыхнул жаркий огонь, он услышал, как рядом застонал Пепеляев, и, прежде чем умереть, успел подумать о том, как же, по какому принципу разделилась эта расстрельная шеренга – кто целит в него, а кто в Пепеляева? По принципу симпатии – кто кому нравится, тот в того и стреляет? Или наоборот – по принципу антипатии? Впрочем, это одно и то же.

Резкий удар откинул его назад, сбивая с ног, но Колчак на ногах удержался, запрокинул голову, увидел далеко-далеко вверху, в жуткой выси, небольшую яркую звезду, неотрывно глядевшую на него.

«Вот она, моя звезда... Чего же этот дурак в меховых сапогах говорил, что моя звезда закатилась? Вот она, моя звезда...»

Ноги больше не держали его. Колчак мягко просел, опустился коленями на лед, ощутил, как горло ему забило чем-то соленым – может быть, слезами, может быть, кровью, внутри раздался тихий щенячий скулеж, словно Колчак вернулся в далекое далеко, в собственное детство – он действительно на минуту ощутил себя ребенком, удивился, какое же маленькое у него тело, сморщился жалобно и ткнулся головой в собственные колени.

Через несколько секунд Колчака не стало.

В это время в тюрьме проснулась Анна Васильевна – ее

изнутри пробила сильная боль, будто ошпарило кипятком, она застонала, потом, напрягшись, проглотила стон вместе с болью, с горечью, скопившейся во рту, и открыла глаза.

Было темно. Лишь на потолке камеры светлело какое-то странное мерцающее, будто бы фосфоресцирующее пятно.

Ей почудилось, что она слышала чей-то крик. Или зов. Она попыталась унять отчаянно забившееся сердце, разглядеть в камере что-нибудь еще, кроме фосфоресцирующего пятна, но это ей не удалось, и Анна Васильевна застыла, вытянувшись в струну на жесткой койке. «Что это было, что?» – задавала она себе вопрос и не находила ответа.

– По расстрелянным надо сделать еще два залпа, – сказал Бурсак Чудновскому, – прямо по лежачим. Ради страховки. По залпу на каждого.

– Не возражаю, – сказал Чудновский, поднял со снега портсигар Колчака, ногтем сковырнул ледяную кляксу, прилипшую к боку, поскреб пальцем по рисунку и одобрительно хмыкнул: – Забавная штукенция. В чем, в чем, а в этом барам надо отдать дань – со вкусом у них все в порядке. Хы!

– Заряжай! – скомандовал Бурсак взводу.

Первым стреляли в лежащего Колчака, потом в Пепеляева. Вогнали по залпу. Потом погрузили оба тела на сани и повезли к проруби, откуда знаменские монахини брали воду для питья, для стирки, для свершения церковных обрядов, для молитвы и освящения своих келий...

Часть шестая
…и все последующие годы (вместо послесловия)

Благословение Колчака дошло до Парижа. Как, каким путем, никто не ведает, но сын узнал о нем и постарался не уронить имени своего отца. Он понимал – не будь у отца черного омского периода, не разыграй его англичане в своих карточных комбинациях, отец был бы в почете и у большевиков. Наряду с адмиралом Ушаковым, Нахимовым, Корниловым.

Но нет, не вышло.

Софья Федоровна жила в эмиграции скудно. Перешивала Славику старые вещи, огородничала, подрабатывала где могла – ей очень важно было дать сыну образование. И она его дала – Ростислав Александрович Колчак [188]закончил в Париже Высшую школу дипломатических и коммерческих наук, в 1931 году поступил работать в Алжирский коммерческий банк – место это было по тем временам очень престижное и, надо заметить, небедное. Но все равно бедность всю жизнь преследовала семейство Колчаков.

Когда-то Колчак, будучи Верховным правителем, встретился с сыном адмирала Макарова Вадимом – флотским офицером, старшим лейтенантом, служившим под началом контр-адмирала Смирнова.

Вспомнили Степана Осиповича, поговорили о превратностях жизни, о будущем и разошлись в разные стороны: Вадим Макаров отправился с флотилией в поход по Каме, Колчак – на фронт инспектировать части Сибирской армии. Больше Колчак и Вадим Макаров не встречались.

В самую трудную минуту Софье Федоровне в Париже передали конверт, присланный из Соединенных Штатов. В конверте были деньги и письмо. Прислал этот конверт Вадим Макаров.

Софья Федоровна написала в ответ: «Глубокоуважаемый и дорогой Вадим Степанович! Получила через барона Бориса Эммануиловича Нольде [189]чек на 50 долларов, т. е. 1888 франков, 5 сантимов, была поражена так, что обалдела от изумления и, как неисправимая мечтательница, дала волю своему воображению: «Как хорошо! Можно серебро выкупить, а то дети все проценты платят…»

Под детьми Софья Федоровна имела в виду Ростислава и его

жену Катеньку, дочь адмирала Развозова, также сгубленного в России.

Через два года после свадьбы у четы Колчаков родился сын Сашенька, названный так в честь деда. Вскоре ребенок заболел дизентерией – североафриканский климат оказался не для него, в том году в Африке свирепствовала страшная жара. Врачи сказали Ростиславу Александровичу: если он незамедлительно не увезет отсюда сына, то может потерять его.

Но, слава богу, дизентерию одолели.

Александр Колчак-младший проживает ныне в Париже, тщательно избегает журналистов – не дает ни одного интервью – и визитеров из России.

Софья Федоровна скончалась в преклонном возрасте – ей было восемьдесят – в 1956 году, похоронена на знаменитом русском кладбище в Сен-Женевьев де Буа, там же похоронен и Ростислав Колчак. Ростислав Александрович умер довольно рано, ему было лишь пятьдесят пять. В одной могиле с Софьей Федоровной и Ростиславом Александровичем лежит и Катенька Развозова.

Еще раз обращаю внимание на то, что вопреки всем журналистским и прочим вымыслам, Колчак-старший не был богат. Точнее, был просто беден. Вот список вещей, которые находились с ним в иркутской тюрьме, на языке тамошних надзирателей названный «Описью»: «Шуба (имеется в виду подбитая мехом шинель), шапка, подушечка, два носовых платка, две щетки, электрический фонарь, банка вазелина, один платок носовой, чемодан с мелкими вещами, расческа, машинка для стрижки волос, портсигар серебряный (тот самый, который Колчак положил на снег за несколько минут до расстрела), кольцо золотое, четыре куска мыла, именная печать, часы с футляром, бритва с футляром, кружка, чайная ложка, губка, помазок, мыльница, одеяло, чай, табак, дорожная бутылка, френч, полотенце, простыня, Георгиевский офицерский крест, зубная щетка, чайная серебряная ложка, банка консервов, банка сахара, кожаные перчатки, белье: три пары носков, две простыни, две рубахи, три носовых платка, платок черный, две пары кальсон, стаканчик для бритья, ножницы».

Опись была произведена седьмого февраля 1920 года – судя по всему, когда камера Колчака уже опустела.

А вот перечень имущества Колчака, оставшегося в вагоне, он красноречиво свидетельствует о том, что представляли собой «богатства» адмирала, его «латифундии», роскошные усадьбы, дворцы и счета в заграничных банках: «Морской штандарт, черное шелковое знамя (коммунистическое), английский флаг, три

андреевских флага, полотенце с вышитой надписью, саше для вязания, [190]грелка для чайника, ермолка вышитая, флаг национальный, саше для платков, две вышитые бисером полоски, палитра с красками (тоже принадлежавшая Анне Васильевне), Святое Евангелие с собственной надписью, два кошелька вышитых, японский подсвечник деревянный лакированный, чайный сервиз деревянный лакированный из 16 предметов, серебряный кинжал, модель из кости куска хлеба с двумя мышами, четыре штуки вееров, гребенка дамская, маленький резной ножик слоновой кости, костяные бусы, брошь костяная, одна каменная коробка, один карандаш, связка кожаных пуговиц, блюдечко фарфоровое, солоница, бисерная ермолка, альбом для стихов, три штуки спиц с клубком (Анны Васильевны), грелка с салфеткой, японская шпилька головная, печать, кубики китайские, семь штук яиц пасхальных, стеклянная чашка, коробка с 7 орденами, открытки 228 штук, четыре штуки часов поломанных, одна часовая цепочка, три рюмки, два бокала, 27 серебряных монет, 21 медная монета, чехол для ручки, вышит бисером, пенсне, печать медная, звезда наградная, футляр для мундштука, мелочь (запонки, булавки и т. п.) в коробке, семь штук разных альбомов, выжженная коробка, коробочка, лакированная яйцом, деревянная коробка с рисунком большая, портрет неизвестной женщины, каталог автомобильный и картины, микроскон и физический прибор, 29 икон и одна лампадка, два портрета, седло, восемь картин разных».

Все эти предметы были изъяты из вагона Колчака, украшенного флагами иностранных государств, представители которых оказались продажными и перевезли имущество в иркутскую гостиницу «Модерн», в номера 37 и 47. У дверей номеров были поставлены часовые с винтовками. Винтовки грозно топорщились штыками.

Для разбора имущества Колчака была создана специальная комиссия, которая среди этих вещей, похоже, что-то усиленно искала. Скорее всего, искала документы.

В отдел народного образования города была передана личная библиотека Колчака – не пропадать же добру! Книги эти и сейчас находятся где-то в Иркутске.

Сергей Николаевич Тимирев, оставшись один, ни разу не бросил ни слова упрека Колчаку. Тимирев, кстати, оказался талантливым литератором и оставил очень теплые воспоминания об адмирале.

Из Владивостока он эмигрировал в Китай, в Шанхай, образовал там общество морских офицеров, прозванное «Кают-компанией», долгое время руководил этим обществом, много

работал – плавал на судах Китайского коммерческого флота и нередко невесело шутил: «Я – единственный в мире адмирал, который командует обычным дырявым мусоровозом».

Умер он рано – в 57 лет, в конце июня 1932 года. Диагноз – рак горла. До самой смерти Сергей Николаевич радовался, что сын его Одя остался в России, что там он непременно будет полезен – в отличие от «потерявшей русское лицо эмиграции». Он сам очень хотел вернуться домой. Но свершиться этому не было дано.

Анне Васильевне Тимиревой пришлось пройти через все круги ада – не счесть того огромного количества арестов, которым она подвергалась, не счесть унижений, этапов и тюрем, выпавших на ее долю. Но она не сломалась, трудилась по большей части в качестве театрального художника, а когда не была занята в театре, подрабатывала и швеей, и вязальщицей, и портнихой, и дворничихой – в общем, хлебнула всего вдосталь. Сочиняла стихи. Писала очень трогательные, нежные акварельные этюды. Умерла Анна Васильевна в Москве, на Арбате, в своей маленькой комнатенке в коммунальной квартире. В последние свои годы она много общалась с пишущим народом, давала интервью.

Сын Тимиревых Одя вырос в талантливого художника. Он учился в Московском архитектурно-строительном институте, был штатным художником в Загорске, в тамошней игрушечной мастерской и, кроме того, сотрудничал в газете «Вечерняя Москва», оформлял книжки, дважды ездил в научные экспедиции на Каспий, где показал себя серьезным исследователем. Его работы, сделанные во время этих поездок, экспонировались на специальной выставке.

Говорят, что в самом начале тридцатых годов (перед смертью Сергея Николаевича) он пытался установить переписку с отцом. Что из этого получилось – и получилось ли что, – не знает никто.

В марте 1938 года он был арестован. При обыске у него нашли шпагу, кинжал и кремневый пистолет. В деле, возбужденном против Оди по печально известной 58-й статье, Колчак фигурирует как его отчим.

Семнадцатого мая 1938 года Владимир Тимирев был осужден и приговорен к ВМН – высшей мере наказания, через одиннадцать дней приговор был приведен в исполнение. В деле имеется справка, где поставлены точные даты приговора и расстрела, а также есть некое резюме: «Считал бы правильным сообщить о крупозном воспалении легких». Под резюме стоит подпись капитана Корнеева, свои подписи поставили также подполковник Фадеев и полковник Логинов. Следом подшита справка о том, что

«Тимирев В. С. умер от крупозного воспаления легких 17.02.43 г. в ИТЛ». (ИТЛ – исправительно-трудовой лагерь.) А Оди к той поре уже пять лет не было в живых. Датирована эта фальшивая справка февралем 1957 года.

В Нукусе в музее изобразительных искусств хранится более ста работ Владимира Тимирева, в Перми – пятнадцать, две приобретены Музеем изобразительных искусств имени Пушкина в Москве.

Так сложилась судьба «пасынка» Колчака.

Никифор Бегичев после встречи с Колчаком в Омске изменил к адмиралу отношение на, скажем так, настороженное. Между ними тогда словно пробежала трещина, превратившаяся в тектонический разлом, который не перепрыгнуть. Но Северу Бегичев не изменил, даже считал тягу к Северу некой болезнью, привадой, хворью, которая оглушает человека один раз и – никогда уже не отпускает. Никифор выбился в люди, стал капитаном и был убит на Диксоне в пьяной (сказывают, в пьяной) драке ножом.

В Союзе писателей России одно время работал Виталий Гузанов, славный человек, бывший соловецкий юнга, писатель, близкий друг Валентина Пикуля. Гузанов присутствовал при вскрытии могилы Бегичева на Диксоне в конце пятидесятых годов и подробно рассказывал мне об этом. Что-то там понадобилось нашим правоохранительным органам, что-то они искали в могиле бывшего колчаковского боцмана, но, кроме костей, ничего не нашли. Позже появилась информация, что могилу вскрывали по просьбе сестры Бегичева. Слишком много ходило разных слухов: одни считали, что он убит, другие – что умер своей смертью, третьи вообще несли чушь – будто его как сподвижника Верховного правителя едва ли не живьем зарыли в могилу. Для того чтобы положить конец этим слухам, могилу решено было вскрыть. Документов о вскрытии, которые явно должны храниться где-то в архиве, мне найти не удалось.

Непростой и в общем-то любопытной оказалась судьба ледокола «Ангара», одного из невольных свидетелей страшного уничтожения колчаковцами арестованных лиц. Кстати, штабс-капитан Черепанов, командовавший той расправой, не успел уйти за кордон, был взят в плен дружинниками и предстал перед судом. Свое он получил – таких людей миловать нельзя.

К слову, из казненных на «Ангаре» в самом деле не было ни одного большевика – это потом проверяли не раз, – хотя Черепанов лично отметил в списке шестерых человек.

В тот день, когда «Ангара» после казни и после отчаянной пьянки контрразведчиков подошла наконец к своей причальной

стенке, вахтенный прокричал в жестяной рупор:

– Эй, на ледоколе! Вы кого резали? У вас весь правый борт в крови. По самую ватерлинию.

Над ледоколом, как и над самим Колчаком, словно повис некий рок – не отпускало проклятие людей, оглушенных колотушкой пьяного казака и сброшенных за корму в морозную воду. С той поры у ледокола постоянно что-нибудь ломалось – то одно, то другое, то третье, он больше простаивал, чем выполнял свою «ледокольную» работу. Однажды на Байкале поднялся шторм, и тяжеленную «Ангару» льды выдавили на берег. Такого на озере не случалось никогда, и люди заговорили об «Ангаре» громко:

– Это не ледокол, это – лобное место. Над ним висит проклятие.

Кстати, членов команды с той страшной поры стали звать «колотушечниками», и это прозвище держалось, не исчезало годами, хотя многие уже не помнили, откуда прозвище пошло.

Через некоторое время – произошло это, впрочем, нескоро, в 1963 году – ледокол вычеркнули из списков «плавсостава». Котлы у «Ангары» погасили, сам корпус отбуксировали в залив Патроны и оставили там ржаветь.

Невеселой оказалась судьба и у щемящего душу романса «Гори, моя звезда». На долгие годы он выпал из жизни. Но не угас, уцелел...

Хотя романс-то в чем был виноват? Только в том, что его любил Колчак? Ох, таинственна же душа российская, ох, и любим же мы перегибы!

На этой ноте я, пожалуй, и закончу свое повествование.

И последнее. Хочу поблагодарить Кузнецова Геннадия Павловича за помощь, оказанную во время работы над романом «Адмирал Колчак».

Об авторе

Валерий Дмитриевич Поволяевродился в 1940 году на Дальнем Востоке. Окончил художественный факультет Московского текстильного института и сценарный факультет ВГИКа. Автор восьмидесяти с лишним книг, в том числе романов «Всему свое время», «Первый в списке на похищение», «Атаман Семенов», «Если суждено погибнуть», «Браслеты для крокодила», «Царский угодник», сборников повестей и рассказов «Не убей меньшого брата», «Коррида в пятницу вечером», «Тихий ветер памяти», «Какого цвета звезды в Севилье», «Кто слышал крик аиста», «Лисица на пороге» и др.

Произведения Валерия Поволяева переведены на многие иностранные языки. Он является лауреатом нескольких литературных премий. Неоднократно бывал в различных горячих точках. В. Д. Поволяев – действительный член Русского географического общества, Международной академии информатизации, Академии российской словесности, Академии российской литературы и др.

Награжден четырьмя орденами, заслуженный деятель искусств России.

Хронологическая таблица

Александр Васильевич Колчакродился 4 ноября 1874 г.

1888–1894 гг. – учеба в Морском кадетском корпусе.

15 сентября 1894 г. – произведен в мичманы.

1895–1899 гг. – заграничное плавание на крейсере «Рюрик» (в качестве помощника вахтенного начальника) и клипере «Крейсер», где сначала занимал должность вахтенного начальника, с 1 октября 1898 г. – старшего штурмана.

6 декабря 1898 г. – присвоено звание лейтенанта.

1899 г., 30 мая – списан с «Крейсера» по прибытии из заграничного плавания в Кронштадт.

Приглашен Э. Толлем в Русскую полярную экспедицию. В ходе подготовки изучал магнитологию в Павловской магнитной обсерватории, практиковался в Норвегии у Фритьофа Нансена.

1900 г., 21 июля – в составе экспедиции Э. Толля отправился в путь по арктическим морям на «Заре», бывшем норвежском китобойном судне.

1900–1902 гг. – две зимовки у берегов Таймыра и о. Котельный. В апреле-мае 1901 г. А. Колчак путешествовал по Таймыру с Э. Толлем, вел маршрутную съемку. За участие в этой полярной экспедиции награжден орденом Святого Владимира IV степени.

1902 г. – после того, как «Заря» была раздавлена льдами и встала на зимовку в бухте Тикси, Колчак на пароходе «Лена» вернулся в Петербург.

1903 г. – организует экспедицию на поиски Э. Толля.

1904 г., 28 января – на следующий день после начала Русско-японской войны, отправил телеграмму президенту Академии наук с просьбой передать его в военно-морское ведомство.

5 марта венчался с Софьей Федоровной Омировой.

17 апреля назначен на минный заградитель «Амур» в качестве артиллерийского офицера, с 21 апреля – командир эскадренного миноносца «Сердитый». Принимал участие в обороне Порт-Артура. За героизм, проявленный в боях в Порт-Артуре, награжден Георгиевским оружием – золотой саблей с надписью «За храбрость».

15 ноября награжден орденом Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость».

1905 г. – после возвращения из японского плена награжден орденом Святого Станислава II степени с мечами. 24 июня определена по морскому ведомству временная инвалидность. Отправлен в отпуск на шесть месяцев.

1906 г. вручена серебряная медаль в память о Русско-японской войне, к ордену Св. Владимира пожалованы «мечи». Сделал сообщение об экспедиции на остров Беннета в Императорском русском географическом обществе, в феврале был избран его действительным членом и получил Большую Константиновскую золотую медаль.

В апреле назначен в Морской Генеральный штаб (начальник статистического отдела).

6 сентября присвоено звание капитан-лейтенанта.

1908 г. 13 апреля – присвоено звание капитана 2-го ранга. Стал командиром ледодава «Вайгач».

1909 г. – плавание по Баренцеву и Чукотскому морям. Опубликована монография «Лед Карского и Сибирского морей».

1910 г. – у А. В. Колчака родился сын Ростислав.

1912 г. – на Балтийском флоте, командовал эсминцами «Уссуриец» и «Пограничник».

1913 г. – в декабре стал капитаном 1-го ранга.

С весны 1914 г. – флаг-капитан по оперативной части на броненосном крейсере «Рюрик». Получил нагрудный знак участника обороны Порт-Артура.

1915 г. 6 января – впервые увидел А. В. Тимиреву.

Сентябрь – вступил в командование Минной дивизией.

1916–1917 гг. – командующий Черноморским флотом.

1917 г., 6 июня – подал в отставку, 8 июня по вызову Временного правительства уехал в Петроград.

27–28 июня – премьер-министром Временного правительства принято решение о посылке Колчака во главе русской морской миссии в Америку. 4 июля дал свою санкцию А. Керенский. 27 июля миссия прибыла в Лондон, откуда отправилась в Глазго. После приема у президента США В. Вильсона 20 октября выехали в Сан-Франциско. На японском пароходе «Карко-Мару» 8 или 9 ноября прибыли в Иокогаму, где участвовавшие в миссии узнали о революции в России.

В конце 1917 г. получил сообщение, что в соответствии со своей просьбой принят на службу в английскую армию, и предписание отправиться на Месопотамский фронт.

1918 г., 11 марта – в Сингапуре получил пакет с распоряжением Генерального штаба вернуться в Россию, ехать на Дальний Восток, в апреле прибыл в Харбин.

Сентябрь – выехал из Японии во Владивосток.

4 ноября в соответствии с указом Директории назначен военным и морским министром.

18 ноября 1918 г. стал Верховным правителем России.

1919 г. – награжден Георгиевским крестом III степени. В

ноябре отправился из Омска к Иркутску.

1920 г., 15 января на станции Иннокентьевская (около Иркутска) выдан белочехами Политическому центру, затем передан большевикам.

7 февраля расстрелян по постановлению Иркутского ВРК.